

ТАКИДЗИ КОБАЯСИ

ИЗБРАННОЕ



/

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



ТАКИДЗИ КОБАЯСИ

ИЗБРАННОЕ

ПЕРЕВОД С ЯПОНСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА — 1957.

Составитель И. ЛЬВОВА

Художник В. СУРИКОВ



СНЕГОЗАЩИТНАЯ РОЩА

Посвящается Хоккайдо

1

Был конец октября.

Над необъятно широкой равниной Исикари хлестал холодный дождь. Куда ни посмотришь — все пустынно и голо. Линия телеграфных столбов, словно поставленные в ряд спички, уходила в бесконечную даль и исчезала

из вида, и снова тянулась равнина, где не на чем было задержаться взгляду. Там и сям качались под дождем и ветром тополя, похожие на большие метлы. Низко нависли тучи, все вокруг потемнело. По временам стан ворон, словно встревоженные чем-то, перелетали с места на место, направляясь в ту сторону горизонта, где еще виднелась узкая светлая полоска.

Гэнкити с большим узлом за спиной возвращался из близлежащего городка, где была железнодорожная станция. Семья Гэнкити жила в деревне, состоявшей из двух десятков домов, рассыпанных по два, по три на этой открытой ветрам равнине. Некоторые домишки стояли вдоль деревенской дороги, другие были построены далеко в стороне, среди полей. За исключением школьного здания в центре деревни, все дома были крыты камышом. Крыши причудливо кренились, глиняные стены были сплошь в трещинах, а внутри домов было так темно, что с улицы ничего нельзя было рассмотреть. Окна в домах были маленькие и походили скорее на щели. Позади дома или против входа обычно располагались конюшни и коровник.

Узкая полоса земли за крестьянскими домишками имела уклон в сторону реки Исикари. Здесь были поля, однако кое-где на участках виднелись камни, краснозем и песок. Их заносило сюда во время половодья: река Исикари в мае месяце ежегодно разливалась, и тогда вся эта полоска земли бывала сплошь покрыта водой. По этой причине здесь не сеяли, пока не кончалось майское половодье. За полями начинались луга с высокой, по колено, травой. Они тянулись до самого леса, который рос вдоль дамбы по реке Исикари. Оттуда до реки было рукой подать. Широкая и до жути глубокая, река Исикари петляла по равнине и, извиваясь, текла бесшумно, внешне ничем не выдавая стремительной силы своего течения. На другом берегу тоже была песчаная дамба, за которой тянулись поля. На горизонте виднелись крыши крестьянских хижин, таких же невзрачных и темных, как и на этом берегу. Часто на крик петухов за рекой откликались петухи на этой стороне.

Погруженный в свои мысли, Гэнкити незаметно подошел к деревне. Был час ужина — из окон, из дверей, из щелей в крытых камышом крышах домов, мимо которых

он проходил, валил густой дым. Из-за дождя дым не поднимался кверху, а тянулся горизонтально, низко стелясь по поверхности полей. Иногда до Гэнкити доносилось громкое мычанье. Выпущенные в поле волю продолжали жевать, поднимали голову и смотрели в его сторону.

Когда Гэнкити подошел к своему дому, он увидел, что внутри темно от дыма. С улицы было слышно, как ругалась мать. Затем, протирая слезящиеся от дыма глаза, в дверях показался младший братишка Гэнкити — Ёси. В руке он держал ламповое стекло. Под глазами у мальчика были размазаны черные круги грязи.

«Ладно, чертова мамка!» — сердито бормотал он.

Гэнкити молча направился во двор.

Ёси, прислонившись к ветхой, испещренной трещинами глиняной стене, принялся чистить ламповое стекло. Подышав внутрь, он засовывал в него скрученную жгутом газету, стараясь таким образом оттереть копоть. Тереть приходилось долго. Вонючая керосиновая сажа приставала к рукам. Ёси терпеть не мог эту непременно ежедневную процедуру. Его матери Сэки приходилось изрядно кричать на сына, а то и угощать его пощечинами, прежде чем он, наконец, брался за эту работу.

«Ладно, чертова мамка!» — бормотал Ёси.

— Ёси, да где же ты, что ты копаешься!

— Сейчас иду! — ответил Ёси. — У, чертова мамка.

Мать, сидя на корточках перед очагом, раздувала огонь. Волосы у нее растрепались, дым ел глаза, и она терла их передником. В темноте, в дыму Сэки не была похожа на человека; казалось, перед очагом ползает какое-то странное животное. Отблески огня освещали половину ее лица, и от этого оно выглядело еще более фантастическим.

— Живо, зажги лампу! — приказала она сыну.

Комната была полна дыма. Ёси, чуть не плача, снял лампу с полки. Глаза у него слезились, из носу текло. Он встряхнул лампу, — керосина не было.

— Мам, керосина-то нет.

— Дурак, сходи попроси у соседей, дрянной мальчишка!..

— А деньги?

— Возьми у брата.

— У соседей собака злая. — Ёси нерешительно переминался с ноги на ногу за спиной матери.

Сэки высыпала в котел рис из корзины, стоявшей на кухне.

— Что ты стоишь? Тебе сказано, иди.

Опасаясь, как бы ему опять не попало на орехи, Ёси вышел на улицу.

— Гэн! — позвал он. Затем, повернув к задней калитке, снова окликнул: — Гэн!

Во дворе Гэнкити чинил коричневую сеть, прикрепляя к ней через определенные промежутки грузила.

— Гэн, дай денег, нужно сходить за керосином.

Гэнкити молча вынул из кармана бумажку в десять сэн и протянул Ёси. Некоторое время Ёси стоял около Гэнкити, наблюдая за его работой.

— Знаешь, Гэн, Фуса Ириэ сказал, что кто-то приехал из префектурального управления.

— Когда он это сказал?

— Сегодня в школе.

— А где этот человек остановился?

— Не знаю.

— Вот дурак. — Гэнкити слегка пожал плечами.

— Фуса сказал, что у них в доме из-за этого все сети попрятали. Гэн, а вдруг этот чиновник придет к нам? Что ты тогда будешь делать? — Ёси показал рукой на сеть.

— Дурак. Ступай, ступай отсюда!

Оставшись один, Гэнкити усмехнулся, потом пожал широкими сильными плечами и громко рассмеялся.

Надвигались сумерки. Ветер усилился. Похолодало. Стоило Гэнкити чуть приподнять голову, взору его открывалась бесконечная равнина, тянувшаяся до самого горизонта. Над нею сгущалась тьма, громясь друг на друга, стремительно неслись тучи. Когда совсем стемнело, Гэнкити стряхнул мусор, приставший к одежде, и вошел в дом. Ёси лежал на полу и при свете лампы рассматривал иллюстрированный журнал. В журнале уцелело всего несколько листов.

— О-Фуми, прочитай, что здесь написано. — Ёси потянул за рукав старшую сестру, которая шила у очага таби¹.

¹ Таби — японские матерчатые носки.

— Глупый мальчишка! — О-Фуми поднесла ко рту палец и пососала его. — Дурак, ведь я же из-за тебя укололась!

— Прочти, что это за собака тут нарисована?

— Не знаю.

— Ну же, прочитай...

— Говорю — отстань.

— Тогда я буду баловаться.

Гэнкити мыл ноги у порога.

— Кацу Ёсимура не заходил? — спросил он О-Фуми.

О-Фуми, подняв голову, взглянула на брата.

— А что? — ответила она после небольшой паузы.

Гэнкити промолчал.

— Заходил, — наконец сказала О-Фуми.

— А-а... он ничего не сказал?

— Ничего.

— Не говорил, что он собирается делать сегодня вечером?

— Нет.

Гэнкити вошел в комнату и сел у очага, скрестив ноги. Огонь в доме разжигали в течение долгих лет, и потолок, перегородки — всё почернело от копоти. С потолка свисали большие хлопья сажки, которые колебались от огня и движения воздуха. В кухне постоянно стоял едкий запах, проникавший из соседней конюшни. Летом он становился особенно резким и стеснял дыхание, и из конюшни тучами прилетали большие мухи. Иногда доносилось тихое ржание лошади. Временами было слышно, как она терлась боком о стену или гулко била копытами в пол.

Посреди комнаты горела единственная лампа, отбрасывая тень на бревенчатый потолок. Лампа покачивалась, и тень дрожала и колебалась.

Матушка Сэки внесла столик.

— Что у тебя за дела с Кацу, Гэн?

— Никаких дел нет.

— А кто же тебе поможет управиться с сетью?

— Гм... поможет кто-нибудь.

— Говорят, будто из префектурального управления приехал чиновник. Ты слышал?

Гэнкити слегка пожал плечами. «Чиновник!..» — проговорил он, усмехнувшись.

— Гэн, скажи, ведь она лает, эта собака, правда? — приставал Ёси, показывая журнал Гэнкити. — Она хочет напасть на кого-то, да?

— Мать, приготовь мне ватник.

— А она, наверное, здоровущая, правда? Соседский Сё говорит, будто бывают собаки сильнее волка. Врет небось, да?

— Вот уже два, даже три месяца, как у нас не было во рту ни кусочка рыбы, мать, — вдруг с жаром произнес Гэнкити. — Над нами издеваются!

— И все-таки нечего лезть на рожон.

— Глупости!

Мать что-то проворчала себе под нос.

— Ну, ешьте.

Из висевшего над огнем котелка она налила всем похлебку из овощей с соевой подливкой.

— О-Фуми, кончай шить, будем есть.

Ёси любил во всем подражать старшему брату. Скрестив ноги и расставив их как можно шире, он оттопырил локти и принялся за еду, время от времени поглядывая на Гэнкити и стараясь ни в чем не отставать от него.

— Скажи, Гэн, а все-таки кто сильнее — собака или волк? Пожалуй, собака?

— Перестань болтать. Ешь-ка лучше живей, — ворчала Сэки, дуя на горячую рисовую размазню, смешанную с картошкой и мелкими красными бобами, и то и дело торопливо шмыгая носом.

Съев все, что ему положили, Ёси постучал по чашке палочками для еды и протянул ее Сэки.

— Знаешь, Гэн, Ёси-тян прислала письмо, — сказала О-Фуми.

— Вот как?

— Она пишет, что скучает по деревне. Вот уж не понимаю! Может быть, с ней приключилось какое-нибудь несчастье?

О-Фуми состроила такую гримасу, словно тоска по дому представлялась ей блажью.

— Опять ты за свое! Ведь не знаешь, может быть она чистую правду пишет, — вмешалась мать.

— Выдумывает она, просто выдумывает. Что здесь у нас хорошего? Куда ни посмотришь, кругом пусто и голо, все равнина да равнина. Соберешься к соседям

сходить, и то уже целое событие; электричества нет, телеграфа нет, даже поезда и то не увидишь. Люди все грязные, оборванные...

— Гэн, значит, собака сильнее волка? — тянул Ёси.

— А теперь она пишет, что в городе увидела ту же грязь, и поняла, что и там не лучше... Она пишет, что жалеет о том времени, когда жила здесь, в деревне.

— То-то же, — вставила мать.

— Что «то-то же»? День-деньской шагай в поле за лошадьё, копайся в навозе, пока не свалишься — нечего сказать, хорошая жизни!

— Знаешь, сынок, О-Фуми в последнее время совсем от рук отбилась, право... — сказала Сэки, обращаясь к Гэнкити.

Гэнкити ничего не ответил.

— Я написала О-Ёси, что мне тоже хочется поехать в Саппоро, а она пишет, что не стоит... Забыла небось, как сама мечтала отсюда вырваться.

За окном лил дождь. Капли стучали о крышу, как горошины. Иногда лампа покачивалась, и тени, падавшие от сидящих, то вытягиваясь, то сжимаясь, дрожали на сёдзи¹.

Ёси, покончив с ужином, поставил ноги на решетку очага и снова углубился в рассматривание картинок.

— А тебе случалось видеть волка, Гэн?

— Нет, не случалось.

— Ну, на картинке-то, наверно, видел?

— На картинке видел.

— Кто сильней, собака или волк?

— Кто сильней, тот и сильней.

— Нет, нет, так не годится, ты отвечай по-настоящему.

Гэнкити громко засмеялся.

В очаг подбросили корневище, и пламя, охватив суховатое дерево, с треском взметнулось вверх, разбрасывая сноп искр.

Один уголек попал на Ёси.

— Ой, больно!.. — закричал он.

Отшвырнув журнал, мальчик повалился на спину.

— Черт, ой... ой... — Ёси раскачивался из стороны в сторону и хныкал от боли.

¹ Сёдзи — раздвижные перегородки в японском доме.

— Это тебя бог огня проучил за то, что сидишь у очага чуть ли не нагишом...

О-Фуми и Сэки при свете свечи мыли в кухне посуду. В окно стучал дождь. По стеклу стекали потоки воды.

— Страх, что творится на дворе, — сказала Сэки.

— Гэн, бросил бы ты лучше свою затею, — поддержала ее О-Фуми.

— Бывало, когда мы поселились здесь, каждый мог ловить кету сколько душе угодно. Тихими ночами слышно было, как пищит кета... Выставит голову из воды и пищит — тоненько-тоненько... — проговорила Сэки.

О-Фуми засмеялась.

— Глупая, я правду говорю. Теперь все пошло по-другому на свете...

Где-то вдали замычала корова. Ей откликнулась другая, но ветер сразу же отнес звук в сторону.

Ёси, лежа на спине, что-то напевал себе под нос.

— Мам, что такое знахарка? — спросил он.

— Знахарка? Да вот на отца Ёсикава гадала знахарка и сказала, что он умер и теперь мучается, горит в огне. Знахарка — это такая старуха. Ее так и называют — «бабка-знахарка».

— Да?

— У Ёсикава тогда жарили для нее лепешки...

— Она как бог Инари?

— Бог Инари — это лиса.

— Лиса, конечно.

— Ёси, сестра Кацу, пошла тогда повеселиться к Ёсикава и вздумала привести с собой собаку, так старуха здорово на нее рассердилась.

— Гэн, а лисица сильнее собаки?

Гэнкити молчал.

— Матушка Ёсикава даже плакала от расстройства, глаза от слез покраснели... — продолжала Сэки.

О-Фуми засветила фонарь и пошла в сарай, находившийся позади дома. Опустив руку в один из мешков, сваленных прямо у входа, она достала оттуда картошку и насыпала ее в передник. В глубине сарая прошмыгнула крыса. По темному потолку двигался светлый круг, отбрасываемый фонарем.

О-Фуми, вернувшись в комнату, вытряхнула картофель из передника.

— Глядите, я принесла картошку.

— Я картошки не хочу, она невкусная.

Развалившись на циновках, Ёси, балуясь, ногой перекатывал картофелины с места на место.

— Ты что это! Грех какой! — Сэки ударила мальчика по ноге щипцами для угля. Ёси поджал ногу и высунул язык.

— У Ёсикава едят сладкий картофель.

— Вот, подожди, подожди, отсохнет у тебя нога-то!

Гэнкити поднял над головой большие руки и потянулся. Его тень, падавшая на сёдзи, походила на изображение черта.

— Ой, Гэн, сиди так, не двигайся. — Ёси, втянув голову в плечи, разглядывал силуэт на сёдзи.

— Что там еще, дурак! — сказал Гэнкити, обернувшись. Он взял несколько картофелин и закопал их в золу очага. — Смотри у меня, когда испечется, не проси!..

Ёси нарочно отвернулся в сторону и, повалившись на пол, откатился прочь.

О-Фуми тоже закопала в золу несколько картофелин и принесла поближе к свету свое шитье.

— Похолодало-то как. Наверное, скоро снег пойдет. Ох, как я не люблю это время! Зимой на Хоккайдо хорошего мало. Сидим, как медведи в берлоге. Целых полгода носа не высунешь. Прямо тошно делается!

— Тошно, говоришь? А что делать-то?

— Да уж ничего не поделаешь.

— Ну, так и помалкивай.

— Я и молчу, — сердито фыркнула О-Фуми.

Ёси, развалившийся на полу, взял у О-Фуми мерку для шитья. Сначала он сгибал и разгибал ее, потом начал исподтишка колоть сестру. Сперва О-Фуми не понимала в чем дело и только машинально подносила руку к уколотому месту. Это забавляло Ёси. Он все колол и колол сестру. Наконец, он кольнул О-Фуми кончиком мерки в шею. На этот раз О-Фуми заметила проделки мальчика.

— Это еще что такое! — прикрикнула она.

Ёси снова кольнул сестру, приговаривая: «А здесь приложим мерку к шее...»

Тогда О-Фуми внезапно обернулась и, с силой дернув мерку, вырвала ее у Ёси.

Мать, сидя у очага, незаметно задремала. При свете лампы на лицо Сэки ложились резкие тени, и тогда становилось особенно заметно, как она постарела.

— Ложился бы лучше спать. Бери пример с матери, — сказала О-Фуми, взглянув на Сэки.

Пламя лампы колебалось, и в комнате становилось то светлей, то темней.

На улице слышались чьи-то шаги. Кто-то прошел мимо дома, чавкая по грязи ногами, обутыми в варадзи¹.

Часы с ослабевшей пружиной медленно пробили четыре раза, хотя стрелки показывали уже восемь часов. Ёси заснул, повернувшись спиной к очагу. Гэнкити вышел на улицу посмотреть, сильный ли дождь.

Потом он начал собираться в путь. О-Фуми, не прекращая работы, изредка поглядывала на него.

— Решил идти?

Гэнкити не отвечал. Одевшись, он взвалил на спину сеть и вышел из дома. Дождь перестал, но ночь была темная. Гэнкити то и дело оступался и попадал ногой в выбоины на дороге. Выбоины были полны жидкой грязи, и брызги обдавали его с головы до ног. На небе проступили звезды. Вдали под порывами налетавшего ветра непрерывно и жутко шумел лес. Кругом не было видно ни огонька. Только далеко на юго-востоке над горизонтом неясно мерцал слабый свет. Там была деревня Ивамидзава.

Гэнкити шел и думал о том, что он собирался сделать.

«Сволочи!» — пробормотал он неизвестно по чьему адресу и несколько раз сплюнул. Его душило внутреннее волнение. И в то же время его бесило, что он должен таиться, прятаться. «Сволочи!» — еще раз повторил он.

Дорога повернула. Впереди заблестел огонек. В маленьком окошке горела лампа. Внезапно зашелестела трава, и снова полил дождь. Всё вокруг наполнилось шорохом падающих капель. Кругом по-прежнему было темно, и только в светлом четырехугольнике озаренного лампы окна видны были струи дождя.

Гэнкити подошел к дому. В темноте залаяла собака. Вспомнив ее кличку, Гэнкити тихонько позвал ее.

¹ Варадзи — крестьянская соломенная обувь.

Лай смолк. Что-то коснулось его ноги — это ластился подбежавший пес. Гэнкити еще несколько раз окликнул его.

Шум дождя стал слабее и постепенно затих. Было ясно слышно, что дождь переместился на восток и льет теперь над рекой Исихари. Ухо отчетливо различало то затихающий, то вновь усиливающийся шум дождя над равниной.

Гэнкити подошел к выходившей во двор двери. «Кацу, Кацу!» — позвал он.

Послышались шаги, кто-то надел в сенях гэта¹ и подошел к выходу. Раздался стук открываемой двери. Сноп света озарил стоявшего у входа Гэнкити.

— Гэн-сан, ты?

— Я. Идешь?

— Да. Подожди, я сейчас...

— Ну, как? — Гэнкити немного понизил голос. — Отец ничего не говорил?

— Не-ет... — неопределенно протянул Кацу.

Гэнкити презрительно фыркнул. Утром он чуть ли не силой уговорил Кацу пойти вместе на рыбную ловлю, — тот боялся и не хотел идти с Гэнкити.

— Собирайся поживей, — сказал Гэнкити.

Вскоре оба уже шагали по темной дороге.

— В какую сторону пойдём?

— Пройдем еще около ри...² Тогда мы будем недалеко от деревни Китамура. А то если нас здесь заметят, так потом не разделаешься...

— Знаешь, говорят, будто приехал чиновник из префектурального управления...

— Ну что же. Тем лучше!

— Лучше?..

— Да разве ему поймать нас? Эти господа не любят себя беспокоить. Он сейчас, поди, спит уже давно... — Гэнкити громко рассмеялся. Смех его одиноко прозвучал и замер в необъятном просторе широкой равнины. Снова кругом наступило жуткое безмолвие.

Гэнкити быстро шагал впереди, за ним молча, словно против воли, тащился Кацу. Вскоре опять полил дождь. Этот путь во мраке, без фонаря, под дождем,

¹ Гэта — японская деревянная обувь.

² Ри — 3,93 километра.

струившимся над бескрайней равниной, отнюдь не придавал бодрости Кацу.

— Ну и дела...

— Что, что?.. — спросил Гэнкити, оглядываясь и стараясь перекрыть шум дождя.

— Я говорю, затеяли мы с тобой дело...

— Ты это о чем?

Вместо ответа Кацу смущенно хихикнул.

— А где этот чиновник остановился? — спросил он немного погодя в широкую спину шагнувшего впереди товарища.

— В Китамура. В тамошней гостинице. Наверное, принял ванну и прохлаждается себе на досуге... Да ты не бойся! Отсюда до Китамура не меньше трех ри, не станет он сюда таскаться, не захочет под дождем мокнуть.

— Сегодня утром мать ходила на реку и видела несколько здоровенных рыбин — они плыли вниз по течению.

— Правда? Вот это хорошо.

Некоторое время оба молчали. Кацу спешил, стараясь не отставать от длинноногого Гэнкити.

Неожиданно где-то поблизости замычала корова. Оба невольно вздрогнули.

— Фу, черт, напугала, проклятая!

Вдали замычала другая корова. Сбоку показалась крестьянская хижина.

Обходя дом, Кацу, как будто вспомнив о чем-то, бросил идущему впереди Гэнкити:

— Слышал про Ёси?

Кацу знал о дружбе, связывавшей Ёси и Гэнкити до того, как девушка уехала в Саппоро.

— Да, — ответил Гэнкити, явно стараясь показать, что это его не интересует. — Наша О-Фуми то... совсем от рук отбилась.

— Как это?

Оба сразу же замолчали, словно столкнувшись лбами.

— Кацу, ты не болтай лишнего О-Фуми про городскую жизнь.

— Я?

— Да, ты. Ты такой же, как и она. Обоим вам крестьянская жизнь опротивела.

Кацу молчал.

— С тех пор как ты побывал в Саппоро, ты только о городе и мечтаешь.

— Да ведь как мы живем... Только болвану не опротивит такая жизнь.

— Вот как? Выходит, я болван, — сказал Гэнкити. Его широкие плечи, маячившие перед глазами Кацу, затряслись от смеха. — Я крестьянин, понял?

Кацу, казалось, немного оторопел. Однако он тихо ответил:

— Гордиться тут особенно нечем.

— А ты знаешь, что делает Ёси в Саппоро?

— Да, говорят, она не очень удачно устроилась... — уклончиво сказал Кацу.

— Она занимается проституцией. Радости в этом мало...

Гэнкити говорил, словно ни к кому не обращаясь. Кацу, шагавший сзади, не все хорошо разбирал.

Они шли уже почти полчаса по ночной дороге среди темной равнины.

— Теперь пойдем к берегу. — Гэнкити остановился и свернул с дороги на маленькую боковую тропинку. — Отсюда уже близко.

Узенькая тропка извивалась между полями. Мокрая трава, растущая по сторонам, цеплялась за ноги. Штаны скоро совсем промокли, тело охватила неприятная сырость.

— Так, теперь осторожнее. — Гэнкити передвинул повыше сеть, висевшую у него на плече. — А впрочем, в такой дождь, ночью, вряд ли сюда кто-нибудь явится.

— Знаешь...

— Что?

— Да так.

— Ну, говори!

— Ёси поймают, не поздоровится.

— Ерунда. Да ты что, боишься, что ли?

Молчанье.

— Ну, в чем дело?

— Да нехорошо как-то все это.

— Дурак, возьми себя в руки.

Они вошли в небольшой лесок. Сквозь верхушки деревьев виднелось небо. Тучи летели так низко, что, казалось, задевали концы тонких черных ветвей. Деревья качались и шумели. Этот шум сливался в странный зловещий стон. Вскоре перед ними блеснула река Исикари. В эту ненастную темную осеннюю ночь она светилась

угрюмым и тусклым блеском. Исикари даже днем не внушала доверия. В середине русла река образовала несколько водоворотов, в которых бесшумно кружилась вода. Палки, обрывки бумаги и другие предметы, плывшие по течению, попав в эти водовороты, начинали вращаться по кругу и засасывались в пучину, как будто что-то затягивало их на дно реки. Об этом и днем-то было неприятно вспоминать. Не удивительно, что Кацу, увидев перед собой эту бесшумную коварную реку, невольно почувствовал дрожь.

— Переправа здесь? — спросил он, подходя поближе к Гэнкити.

Оба спустились к реке. Гэнкити шумно сбросил свою ношу в маленькую лодку, привязанную к берегу. Присев на борт, он минуту-другую оглядывался по сторонам. Затем, доставая табак, сказал:

— Эй, Кацу, запевай-ка песню, да погромче.

Кацу удивился и переспросил.

— Да какую хочешь, любую. Ну, давай я сам спою для начала. Любая песня годится, лишь бы погромче.

Суттотон, суттотон! Ты сама меня звала,
А теперь прогоняешь, ведь так не годится!
Коли ты не любила, сказала бы сразу.
Я б и думать забыл и не стал бы сердиться!..
Суттотон, суттотон...

Гэнкити пел громко, хрипло, не соблюдая размера. Звуки песни глухо замирали во мраке. Кацу было жутко, это пение не приободрило, а скорее ошеломило его.

— Ну что с тобой? — Гэнкити вдруг засмеялся. Его большое тело все сотрясало от смеха, он хохотал бесстрашно, громко, во все горло.

— Что с тобой? — повторил он сквозь взрывы смеха.

— Послушай, перестань! — умоляюще проговорил Кацу, жалобно сморщившись.

Гэнкити продолжал смеяться.

— Пожалуй, спою еще, — проговорил он сквозь взрывы смеха и опять затянул:

И птицы не летают...

— Эх, голос пропал...

Из цветов лучший — вишня,
Из людей — самурай...

— Верно, а, Кацу?

Оборвав песню, Гэнкити вдруг двинулся обратно той же дорогой, по которой они пришли. Кацу плелся следом. Вскоре они снова вошли в лесок.

Здесь Гэнкити остановился.

— Постоим немножко! — прошептал он и застыл, внимательно прислушиваясь и присматриваясь ко всему вокруг. Они стояли так добрых двадцать минут.

— Ну, все в порядке, — проговорил Гэнкити. — Теперь можно идти.

Они вернулись к реке.

— Садись в лодку, — скомандовал Гэнкити.

Когда Кацу уселся, Гэнкити с силой толкнул лодку в воду и в тот же момент ловко и быстро вокочил на корму. От толчка нос лодки задрался кверху, точно голова норовистой лошади. Лодка дрогнула и закачалась.

— Что ты мудришь? Почему мы сразу не поехали? — спросил Кацу, когда Гэнкити опустился на лежавшую на дне сеть.

— Не понимаешь? Надо было проверить, нет ли здесь кого-нибудь. Тебе впервой, поэтому ты и не догадался. Теперь уже все, — сказал Гэнкити. — Больше шуметь нельзя. Теперь надо действовать тихо.

Кацу била дрожь, он никак не мог справиться с собой. В глубине души он уже раскисался, что пошел вместе с Гэнкити. Кацу слышал рассказы о том, что на дне реки Исикари живёт «хозяин». Ему казалось, что лодку вот-вот затянет в водоворот — он никак не мог отделаться от этого ощущения. Днем он отнесся бы к этим рассказам о «хозяине» как к глупым сказкам, но сейчас он готов был верить всему. Действительно, неизвестно по какой причине трупы людей, тонувших в реке Исикари, никогда не всплывали наверх. Река была страшнее, чем ночное море. Кацу чудилось, что какое-то существо вот-вот вынырнет из воды. Течение несло лодку то боком, то кормой. Под лодкой, ударяясь о днище, хлюпала вода. Кругом царил непроглядный мрак. По обеим сторонам то высоко вздымались обрывистые берега, то тянулись низины, такие плоские, что вдали можно было различить линию горизонта. К берегу вплотную подступал лес, качавшийся под порывами ветра. Вода у подножья деревьев была совершенно черная; Гэнкити и Кацу,

до сих пор различавшие друг друга при слабом отблеске воды, теперь уже ничего не видели.

— Слушай, Кацу, ты смотри в эту сторону. Заметишь что-нибудь подозрительное, дай знать, — сказал Гэнкити; сам он стал напряженно всматриваться в другом направлении.

Так прошло минут десять. Дождь лил уже двое суток, и вода в реке поднялась почти на пять сун¹, течение сделалось быстрее. Вскоре лодка очутилась в излучине — река Исикари делала большой плавный изгиб. Гэнкити взял весла и начал грести к берегу, борясь с сильным течением. Кацу тоже помогал Гэнкити. Всякий раз, как оба изо всех сил налегали на весла, утлая лодочка дрожала и качалась, а весла выгибались, как натянутые луки. Вдобавок, гребцов по инерции отбрасывало назад, так как они прилагали больше усилий, чем требовалось. Кацу несколько раз едва не потерял равновесие. Несмотря на совместные усилия, лодку сносило течением на середину излучины.

— Ух... ух... — вырывалось у работавшего веслами Гэнкити. В эту минуту он походил на тех свирепых богов, которых изображают у входа в храмы. Вскоре лодка стала медленно подаваться вперед.

— Ну, налегай!

Кацу тоже обливался потом.

Пробившись примерно на один кэн² от середины реки, лодка пошла легко.

— Вот так, вот так! Хорошо!

Когда нос лодки, шурша, врезался в песчаный берег, Гэнкити, пошатнувшись от толчка, вытер рукавом пот с лица.

— Прежде чем начнем ставить сеть, сходи-ка наверх и осмотришь, — сказал он Кацу и, пошарив в лодке, вынул оттуда и передал ему дубинку, похожую на клюшку, которую употребляют при игре в бейсбол. Кацу удивленно взял ее и неловко усмехнулся.

— Ну и палка...

Вертя дубинку в руках, как будто это была игрушка, он стал наискосок подниматься по песчаному берегу. Гэнкити вытащил веревку, привязанную к концам сети,

¹ Сун — 3,03 см.

² Кэн — мера длины, 1,82 м.

и пошел вслед за ним. Они взобрались наверх и, высунув головы над откосом, настороженно осмотрелись по сторонам. Тьма стояла кромешная; трудно было различить что-нибудь. Откуда-то издали порывами налетал ветер и свистя проносился мимо. Глаз не различал ни неба, ни земли. Только струи хлеставшего вкось дождя иногда белесо светились перед глазами.

— Не бойся! Станет чиновник в такое время сюда таскаться!

Оставив Кацу на страже, Гэнкити привязал к заранее намеченному дереву веревку. Ствол дерева намок под дождем, и веревка, когда Гэнкити изо всей силы затягивал ее, сдирала лохмотья коры. Прочно укрепив петлю, Гэнкити утоптал под деревом небольшую площадку и, упершись обеими руками в ствол, сильно потряс дерево. Над головой зашумели листья, с дробным стуком посыпались дождевые капли. Кацу, стоявший несколько поодаль, испуганно подбежал к Гэнкити. Гэнкити встревоженно обернулся.

— В чем дело? — понизив голос, резко спросил он.

— Что это было? Вот сейчас, только что?.. — спросил Кацу, заикаясь от страха.

— Да что?

— Что-то зашумело.

— Ах, вот ты о чем, — Гэнкити засмеялся. — Ты было и меня напугал.

— Что же это шумело?

— Я потряхнул дерево. Течение сильное, вот я и проверил, выдержит ли ствол. А то, пожалуй, и эта палка не понадобится, не придется глушить рыбу, — сказал Гэнкити со смехом.

Оба вернулись к лодке. Затем, тщательно уложив сеть в строго определенном порядке, Гэнкити сам сел на весла, поручив Кацу выбрасывать сеть. Гэнкити греб изо всех сил, направляя лодку к противоположному берегу. Описав кривую, лодка должна была пристать по ту сторону реки.

— Так, взяли, — приговаривал Гэнкити, взмахивая веслами. Кацу постепенно забрасывал в воду сеть. Пристав к противоположному берегу, они, повернувшись спиной к реке, перекинули через плечо веревку, привязанную к концу сети, и, преодолевая течение, сносившее сеть, привязали ее к дереву. Они работали вдвоем, но

течение было такое сильное, что их отбрасывало назад. Затем приятели вытащили лодку на берег. Установка невода была закончена.

Условившись вернуться сюда утром, в четыре часа, они тропинками возвратились в деревню.

Когда Гэнкити добрался домой, там было темно — все спали. Пробравшись ощупью в кухню, Гэнкити зачерпнул воды из ведра и, шумно глотая, выпил несколько ковшей подряд. В тишине было слышно, как в конюшне лошадь била себя хвостом по бокам.

2

В четыре часа утра было так же темно, как и поздним вечером. В воздухе разлилась какая-то синева; стало холоднее.

Вода в реке поднялась, и под ее напором дерево, к которому была привязана веревка, согнулось и качалось. Когда Гэнкити и Кацу вышли из дома, дождь прекратился, но как только они пришли к реке и начали вытягивать сеть, снова хлынул сильный ливень.

Гэнкити и Кацу сразу же принялись за работу. Однако вытягивать сеть против течения было нелегко. Оба с трудом удерживали равновесие. Несколько раз они чуть не свалились в воду. Оба задыхались от напряжения. Вскоре они взмокли от пота; от разгоряченных тел шел пар. Все же сеть понемногу выбиралась. Некоторое время оба усердно тянули, дружно выкрикивая: «Эн-я! Эн-я!»

Наконец, невод был вытянут. Самая трудная часть работы была позади.

— Кацу, палка у тебя? — немного передохнув, спросил Гэнкити.

— Да, — сказал Кацу. Гэнкити улыбнулся.

— Черт бы побрал этот ливень.

Дождь хлестал с такой силой, как будто кто-то опрокидывал с неба бочки с водой. Ударяясь о землю, дождевые капли разлетались брызгами. Под ногами булькала текущая вода. Было совершенно темно, но из-за дождя кругом разлился странный серебристый свет. На реке слышались всплески, но тут же прекратились. Через неко-

торое время вода снова забурлила, вверх полетели брызги. Опять послышался плеск, но на этот раз уже гораздо более сильный. Сеть постепенно подтягивалась к берегу.

Потянем, потянем!
Потянем, потянем!
Аа, эн-я — вот так, эн-я — вот так.
Доккой, доккой!

Гэнкити, тяжело дыша, раскачивался в такт песне, как во время пляски. Слегка наклонившись и широко расставив ноги, он движениями тела подчеркивал ритм. В этот момент он был похож на ребенка. По мере того как сеть подтягивалась, рыба билась все сильнее и сильнее; казалось, что по воде хлопают досками.

— Гэн, Гэн, Гэн! — вдруг закричал Кацу.

— Чего тебе?

— Посмотри!

Ночь была темна, хоть глаз выколи. Казалось, будто глаза завязаны черной повязкой. И все же, приглядевшись внимательно, можно было увидеть еле уловимый блеск чешуи.

— Кета! — громко закричал Гэнкити. — Вот здорово!

Вода бурлила. Всплески стали такими сильными, словно в воде барахтались ребятишки. На песчаной отмели билось и металось несколько больших рыб. Оставив Кацу в лодке, Гэнкити схватил дубинку и вылез на берег. Подойдя к сети, Гэнкити понял, что там было не меньше, а то и больше десятка рыб. В лицо ему с такой силой полетели вода и песок, отбрасываемые хвостами рыб, что Гэнкити показалось, будто кто-то его ударил.

— Ишь подлые!

Вытирая лицо вымокшим от дождя рукавом, Гэнкити поднял палку. Примерившись, он ударил одну из рыб по голове. Рыба застыла с изогнутым кверху хвостом. Некоторое время она была неподвижна, затем хвост опустился. Рыба дернулась еще несколько раз и больше уже не шевелилась.

Гэнкити позвал Кацу. Когда тот подошел, Гэнкити, ни слова не говоря, ударил по голове еще одну рыбу. Кацу замер от удивления. Гэнкити приглушенно засмеялся. Он бил одну рыбу за другой. Кацу брал рыб за жабры, относил в лодку и складывал в ящик из-под бензиновых капистр. Некоторые рыбы судорожно извивались,

у других только ходили жабры, словно они еще дышали.

Гэнкити пришел в состояние странного иступления. Кусая губы, стискивая зубы, он глушил рыбу за рыбой, повторяя: «Дрянь! Скотина!.. Дрянь!.. Скотина!» Мускулы у него на лице странно напряглись и отвердели. Он бил куда попало, точно лишился рассудка. Невольно с языка у него слетало вертевшееся в уме слово «мерзавцы», и, повторяя его, он продолжал орудовать палкой. Он чувствовал странное возбуждение.

Иногда что-то теплое и липкое брызгало ему в лицо. Это была кровь. Гэнкити считал оглушенных им рыб. Когда цифра стала приближаться к десятку, звук всплесков бившейся на отмели рыбы начал постепенно стихать. Насчитав десять штук, Гэнкити увидел, что немного поодаль от того места, где он стоял, билась еще всего одна кета. Направившись к ней, Гэнкити нечаянно наступил на только что убитую им скользкую рыбу и невольно содрогнулся. Его охватило такое чувство, словно он темной ночью наступил на труп человека, раздавленного поездом. «Одиннадцатая», — сказал Гэнкити, оглушив последнюю кету, и напряженно прислушался. Не слышно было ни звука. Ухо Гэнкити различало только шум дождя. «Значит, одиннадцать», — подумал он.

— Все. Одиннадцать рыб, — проговорил он, обращаясь к Кацу. Кацу, разложив рыбу в два ящика, взваливал их на спину.

— А с лодкой и сетью что будем делать? — спросил он.

— С лодкой? Лодку вытащим и оставим здесь. Когда наступит утро, пройдет моторка и захватит ее. А сеть уж я унесу.

— Ты что, шутишь? Она вся намокла и очень тяжелая.

— Ну, пустяки!

Оба пошли по меже. Гэнкити не ожидал такого богатого улова и радовался, как ребенок. Но Кацу дрожал от страха. Что, если на обратном пути они повстречаются с приехавшим чиновником? При этой мысли Кацу чувствовал себя так, будто его уже схватили за шиворот. Было еще темно. Когда внезапно совсем рядом из крошечной тьмы вдруг вынырнула корова, Кацу чуть не закричал от испуга.

Вдалеке замигал свет фонаря.

— Гэн, фонарь, — окликнул Кацу товарища.

— Ага...

Гэнкити быстро свернул с тропинки в поле. Отойдя примерно на десять кэн от дороги, он остановился. Они стояли неподвижно, пока человек с фонарем не прошел мимо. Кругом была все та же крошечная тьма, виднелся только маленький участок, освещенный двигающимся фонарем. Свет на мгновение выхватывал из мрака то росшую у обочины траву, то поле, то лужу на дороге. Фонарь покачивался, и озаренный светом клочок земли то ширился, то сужался.

Когда человек с фонарем скрылся вдали, оба снова вышли на дорогу.

— Важные господа всегда ходят с зажженными фонарями, — засмеялся Гэнкити. — Издали видно.

— И все-таки я здорово испугался. Ведь мы не заметили его, пока не столкнулись нос к носу.

— Ну, это пустяки. — Обернувшись, Гэнкити поднес к самому лицу Кацу палку. — В случае чего, у меня ведь при себе эта штука.

Кацу ощутил запах крови и отпрянул.

— Дурак, — проговорил он, заикаясь. Он сам не понимал, почему ему так страшно.

— Вот уже три месяца, как в нашей деревне никто не пробовал рыбы. Чего же тут долго думать? Вернись к реке да посмотри хорошенько — кеты полно, рыба чуть ли не выпрыгивает из воды, а мы целых три месяца только глядим на нее да облизываемся. Мерзавцы! Что же тут удивительного? Ты посмотри, все рыболовные участки в низовьях реки захватили богачи. У них есть правительственные разрешения и черт знает еще что.

Кацу молчал.

Начав говорить, Гэнкити почувствовал, что в душе его постепенно разгорается гнев. Повстречайся ему в эту минуту приехавший чиновник, он, может быть, действительно был бы способен ударить его по темени той самой палкой, которой глушил кету.

— Ты сильно ошибаешься, если думаешь, что я решил на это дело только из удали!

Кацу, знавший, что на Гэнкити иногда находят неуправляемые приступы гнева, со страхом прислушивался к словам товарища. «Хоть бы не встретился нам

чиновник», — подумал он, так как не сомневался, что Гэнкити в эту минуту непременно убил бы его. У Кацу имелись основания для подобных опасений. Ему был известен случай, приключившийся с Гэнкити в детстве, и сейчас он вспомнил об этом.

Давным-давно отец Гэнкити приехал из центральной Японии в этот отдаленный медвежий угол на Хоккайдо. Ценой невероятных усилий, ползая по земле, как рак, он, наконец, превратил свой участок земли в хорошо ухоженное поле. Но в один прекрасный день на это поле наложил лапу богач. Спротивляться было бесполезно, землю приходилось передать богачу. Отец, упав духом, говорил, что у него «разламывается голова».

Наступил день, когда в дом вошло несколько человек — богач и чиновники; они потребовали, чтобы отец приложил свою печать к какому-то документу. Отец, окончательно потерявшийся и убитый, пошел в соседнюю комнату за печатью¹, но, вместо того чтобы принести печать, бесцельно бродил по комнате, как будто мучительно стараясь о чем-то вспомнить.

В тот момент, когда отец прикладывал печать, богач, наклонившийся над документом и всецело поглощенный происходящим, вдруг подскочил и громко вскрикнул от боли. Все в изумлении обернулись и увидели, что Гэнкити, которому тогда было немногим больше десяти лет, обхватив ногу богача, вцепился зубами в его гладкую голень. Гэнкити крепко сжимал челюсти, тело его дрожало, как в конвульсиях, лицо исказилось. Перепуганный отец и чиновники старались оттащить мальчика, но никак не могли с ним справиться. Богач — крупный мужчина — бился, как заяц, попавший в силоч, и истошно вопил.

До этого дня Гэнкити ничем не выдавал того, что творилось у него на душе. Даже видя тревогу отца, мальчик, казалось, оставался безучастным. Он только стал молчаливей и послушней, чем обычно. И вдруг все прорвалось наружу. Эта история получила широкую огласку в деревне, ее передавали друг другу со всевозможными добавлениями. Кацу тоже было известно об этом случае.

Гэнкити всегда вел себя сдержанно, даже если что-нибудь случалось. Он не любил, как некоторые другие,

¹ В Японии распространены личные печати, заменяющие подпись.

без конца спорить и толковать об одном и том же. Пока другие рассуждали, не пытаясь тем не менее что-либо предпринять, Гэнкити, не прося ни у кого помощи, один спокойно принимался за дело и выполнял задуманное, как бы это ни было трудно. Добившись своего, он ни с кем не говорил о сделанном и оставался по-прежнему молчаливым и замкнутым. Таких случаев было много в жизни Гэнкити. Кацу не мог понять, происходило ли это в силу странного характера его друга, или объяснялось присущей ему какой-то глубокой внутренней решимостью.

И вот теперь, возвращаясь с рыбной ловли, Кацу вспомнил, как когда-то в детстве Гэнкити вцепился зубами в ногу богача, и не сомневался в том, что, повстречаясь они неожиданно с чиновником, Гэнкити, не задумываясь, пустил бы в ход свою палку. Эта мысль наполняла ужасом сердце Кацу.

Товарищи шли молча. Слышалось только, как чавкала под ногами грязь. Этот звук изредка прерывался, когда нога соскальзывала в выбоину на дороге и идущий едва не падал. Оба напряженно всматривались в темноту. Подойдя к дому, Кацу вдруг почувствовал себя совсем без сил; нервное напряжение, в котором он все время находился, совершенно вымотало его. «Теперь спасен», — подумал Кацу.

— Ну вот, целый год не ели рыбы. Порадуй мать. — Гэнкити пошел дальше и вскоре исчез из вида. В темноте слышался только звук его шагов; постепенно и этот звук замер. По-видимому, Гэнкити свернул на заросшую травой тропинку.

Кацу направился к калитке, ведущей во двор. Сбрасывая свою ношу у сарая, он внезапно опять услышал шаги по грязной дороге. Кацу застыл на месте.

— Кацу! — Это был Гэнкити.

Онемевший от испуга Кацу в первый момент не мог вымолвить ни слова.

— Гэнкити, ты?

— Я. — Крупная фигура ощупью двинулась в сторону Кацу.

— Слушай, Кацу. Утром раздай по одной рыбе всем соседям от вашего дома до реки. Обязательно раздай. Ведь все давно не ели рыбы. Скажи, купили — и все. А я своим чередом раздам от своего дома до дома Исида. Что ж тут особенного?!. Идет?

— Ладно.

— Ну, раз ты согласен, я пошел. — С этими словами Гэнкити повернул назад.

Кацу чутко прислушивался к удаляющимся шагам товарища; ему казалось, что шаги Гэнкити звучат как-то особенно твердо и уверенно.

3.

Ненастная погода, когда казалось, что вот-вот должен повалить снег, прояснилась.

Потянулись ясные дни, какие обычно стоят в конце осени, когда небо высоко и прозрачно.

Все порыжело: поля, луга, скирды, лес, видневшаяся вдалеке на западе невысокая цепь гор. Все отчетливо выделялось на фоне чистого голубого неба, и крестьянам, смотревшим на эту безграничную ширь, казалось, будто они по-новому видят этот знакомый пейзаж.

С этой поры наступала уже настоящая зима, и крестьяне вышли в поля, чтобы окончательно подготовиться к ней. В городок, где была железнодорожная станция, уезжали нагруженные зерном подводы. Ранними утрами девушки, усевшись на телеги, отправлялись в город торговать овощами. О-Фуми тоже ездила вместе с подругами. Сидя на телегах, девушки тараторили между собой и, проезжая мимо крестьянских домишек, перебрасывались словами с соседями.

К вечеру они возвращались домой, накупив материи для набедренных повязок и для рубашек. Подъезжая к деревне, они запевали песни приятными, чистыми голосами, и все сразу же узнавали: «А, вот и девушки возвращаются!»

По сельским дорогам на велосипедах в деревню часто приезжали приказчики из городских лавок. Работавшие на полях крестьяне, распрямив спины, смотрели им вслед, когда они проезжали мимо. Иногда приказчики заговаривали с крестьянами.

Женщины, готовившие на зиму соленья, спустившись по дамбе к реке Исикари, шумно мыли и терли пучки редьки, отмывая налипшую свежую землю, из которой ее только что выдернули. В этом месте река делала поворот, и течением здесь намыло песчаную косу. Крестьянам,

работавшим наверху на дамбе, было слышно, как женщины поют у реки.

Вверх по реке, надоедливо тарахтя, плыли моторные лодки. Они перевозили сельскохозяйственные продукты из горных районов — главным образом зеленый горох. Едва заслышав их шум, ребятишки быстро сбегали по тропинкам к берегу. Они усаживались на дамбе и, болтая ногами, ждали, когда мимо пройдет моторная лодка. Ребята никогда не пропускали случая посмотреть на лодку, если только погода стояла хорошая. Многочисленные излучины реки скрывали лодку вплоть до последнего момента, ее долго не было видно, слышался только шум мотора; но вдруг она всегда неожиданно появлялась из-за поворота. Обрадованные дети били в ладоши и кричали: «Бандзай!» Иногда с лодки какой-нибудь человек в синей промасленной куртке махал им в ответ шапкой. Но бывало и так, что никто не отвечал детям, сколько бы они ни кричали. Тогда они, видя, что на них не обращают внимания, молча провожали лодку глазами. Моторные лодки, тащившие за собой груженные сампаны, непрерывно тарахтели, содрокаясь всем корпусом. Казалось, что они стоят на месте — так медленно они плыли; и все же каким-то образом они продвигались вперед.

— Глянь, моторка! Потеет — пыхтит, — говорили дети.

Еси, схватив руку сидящего рядом с ним товарища и приложив ее к своей груди, говорил: «Слышишь? Стучит: тук — тук — тук... Совсем как у моторки. Одно и то же. Мне сестра сказала».

— Да ну? Да ну? — удивлялись ребята, и каждый прикладывал руку к своей груди. Почувствовав биение собственного сердца, все соглашались: «А ведь верно!».

Проводив моторную лодку, дети дружно убегали помогать родителям, работавшим на полях.

Через несколько дней в помещении начальной школы должна была состояться проповедь буддийского священника, специально приглашенного из города. Местный помещик два раза в год непременно устраивал такие проповеди, заботясь о спасении душ своих арендаторов. Старики обычно ждали этих проповедей с нетерпением. Они любили слушать священника и говорили, что все должны быть благодарны помещику за заботу. Помещик всегда

настаивал на том, чтобы молодые девушки «непременно» присутствовали на проповеди; поэтому нередко за всеми следом тащились и парни.

Когда наступил день проповеди, старики и старухи, сморщенные, как фуросики¹, от долгих лет тяжелого крестьянского труда, согнутые, как ржавые гвозди, с утра начали заходить за соседями, чтобы идти послушать священника. Даже древние старухи, которые и в уборную-то не выходили из дому, считали, что им обязательно нужно послушать проповедь. Маленькие девочки и взрослые девушки, взявшись за руки, спешили к зданию школы. На тропинках между полями замелькали бросающиеся в глаза нарядные яркие кимоно, которые как-то плохо вязались с загорелыми крестьянскими лицами.

После смерти мужа Сэки не пропускала ни одной проповеди. На этот раз она хотела захватить с собой и О-Фуми, но та решительно отказалась.

— У, греховодница!.. — ворчала мать.

К началу проповеди школьный класс, из которого предварительно вынесли столы и стулья, был переполнен. На каждом из собравшихся лежал отпечаток долгой, трудной жизни. Некоторые были калеки. Старики напоминали выползших из земли жаб. Все давно не виделись друг с другом — крестьяне редко собирались вместе, хотя и жили в одной деревне. Начались всевозможные разговоры. Старики вынули трубки и закурили. Внуки, расшавлившись, подняли шум за спинами дедов. В классе стало душно, воздух был спертый.

Священник должен был приехать из другой деревни, находившейся в четырех ри отсюда (то было селение, более походившее на настоящую деревню, чем описываемый нами поселок Хигасимура). Случалось, что священник приезжал на велосипеде прямо в облачении, иногда же он приезжал на крытой повозке, подложив под себя дзабутон². На этот раз он приехал на повозке, так как только что прошел дождь. Священник был невысокого роста мужчина, которому уже перевалило за сорок. У него были глубоко посаженные глаза, густые брови и лысая, словно отполированная голова. Он читал проповедь громким, зычным голосом. Читая, он все время

¹ Фуросики — платок, в который завязывают вещи.

² Дзабутон — подушка для сиденья.

беспокойно рыскал по сторонам глубоко запавшими глазами.

Этот священник ничем не отличался от того, который приезжал в прошлый раз.

После каждого слова, сказанного священником, крестьяне повторяли: «Наму Амида»¹ и перебирали четки грубыми шершавыми пальцами.

— Все совершается по велению Будды Амида². Все происходит по воле Будды Амида. Никогда не забывайте об этом. Поняли?..

— ...Ни в коем случае не ропщите, так учил нас Сакья-Муни³. Все совершается по велению Будды Амида. Те, кто страдал в этом мире, в этой юдоли скорби, обретут царствие небесное, представ после смерти перед Буддой Амида. Попав на небеса, они воссядут на цветах лотоса и провозгласят от всего сердца: «Да святится имя твое, Амида-Будда!» Ни в коем случае нельзя роптать.

Священник говорил заученными интонациями. Крестьяне и до этого много раз слышали подобные речи, но всегда внимали им благоговейно. Склонив головы, они повторяли: «Наму Амида».

Старики вспоминали свою долгую, полную невзгод жизнь и вздыхали с облегчением, убедившись, что никогда не роптали. Они думали только об одном: на их долю выпали такие страдания, что, если им суждено вскоре попасть на тот свет, они смогут предстать перед Буддой-Амида. «Что поделаешь, — говорили они сами себе, — в этом мире надо терпеть». О том же говорил и священник, приводя в пример аскетизм и страдания Сакья-Муни и сравнивая его жизнь с тяжелой долей крестьян. Это трогало стариков до глубины души.

После окончания проповеди священник остановился в самой набожной в деревне семье и начал обходить по очереди все дома, читая поучения. Семьи, в которых были старики, считали своим долгом обязательно пригласить священника, хотя некоторые жили так бедно, что не хватало денег даже на покупку новых табакер. Крестьяне верили, что от этого зависит их будущая жизнь. Больше

¹ Наму Амида — начальные слова буддийской молитвы.

² Амида — главное божество буддийского пантеона.

³ Сакья-Муни (Шакья-Муни) — имя Будды (мифического основателя буддизма).

всего они боялись, как бы после смерти им не пришлось опять мучиться так же, как они мучились на этом свете. Всю свою жизнь им приходилось работать не покладая рук, поэтому мысль о том, что в будущей жизни их снова ждет мучительный труд, казалась невыносимой. Всем опротивел этот мир, в котором крестьянам приходится слишком много работать. Больше всего на свете им хотелось отдохнуть от работы. Ради этого можно было поступиться парой таби или плоской мисо¹. Где-то в глубине души они никогда не переставали думать о будущей жизни, хотя, возможно, не отдавали себе в этом ясного отчета.

В тот день, когда священник должен был зайти в семью Гэнкити, Сэки с раннего утра что-то готовила на кухне. Когда священник пришел, она подала угощение.

С наступлением холодов у Сэки начинали болеть ноги и поясница. Долголетняя непрерывная работа постепенно подточила ее здоровье. Сэки все время заставляла Ёси — к большому неудовольствию последнего — растирать ей поясницу. Священник, приняв многозначительный вид, заывая, наскоро прочел сутру и пощелкал четками; потом он потер и погладил этими четками плечи и спину Сэки. Он проделывал это во всех крестьянских домах. Большинство крестьян, даже те, кто на вид казался здоровым и сильным, мучились по ночам так, что не могли спать: у всех болела поясница, немели плечи. Обходя дома и читая молитвы об исцелении, священник собирал довольно большие деньги.

Пробыв в деревне два дня и посетив все дома, священник уехал. Он положил за пазуху кругленькую сумму.

Возвращаясь с поля, Гэнкити встретился со священником. Священник, похожий на торговца-пройдоху, слегка поклонился, но Гэнкити, нахмурившись, не ответил. Немного подальше Гэнкити увидел директора школы. Это был угрюмый, хмурый мужчина лет около сорока. Он одновременно исполнял обязанности и директора, и преподавателя, и посыльного. В школе имелась всего одна классная комната, в которой стояло два десятка столов. Мальчики и девочки, ученики от первого и до шестого класса, занимались все вместе. В классе висела географическая

¹ Мисо — густая масса из соевых бобов, приправа к еде.

ческая карта и стоял шкаф с экспонатами по естественной истории, среди которых было чучело вороны. В углу стояла фисгармония с ободранными клавишами. Учитель терпеть не мог буддийских священников. Никто не знал, почему он приехал в деревню, но, несмотря на угрюмый характер и кислое выражение лица, он пользовался в деревне всеобщим уважением и слыл «умницей». Поговаривали, что он уехал из города, так как не поладил с директором городской школы. Комната учителя, находившаяся прямо за классом, через коридор, была вся завалена книгами.

— Священник уехал, — сказал Гэнкити, поравнявшись с учителем. Учитель сделал гримасу и сердито хмыкнул:

— Неужели? Было бы хорошо, если бы он вообще провалился ко всем чертям. Всякий раз, как он приезжает сюда, крестьяне раскисают и превращаются в настоящих ослов. Мерзавец!

Местный деревенский праздник приходился как раз на эту хорошую погоду.

На время праздника площадку перед храмом, как всегда, украсили непременно хризантемами и криптомериями. Перед входом, вдоль «ящика для подношений богам», укрепили длинные большие флаги и сколотили на скорую руку сцену, скрипевшую при малейшем движении. Ребятам тоже разрешили помогать во время этих приготовлений. Парни в новых куртках с отпущенными на лоб, намазанными маслом волосами привезли из города на велосипедах взятый напрокат занавес и различную бутафорию. Все это было размещено по-праздничному. С самого утра молодежь была занята последними приготовлениями; возле них вертелись дети, одетые в новые кимоно.

Храм стоял посреди поля, лежавшего за школой, и был с трех сторон окружен небольшой рощей. К вечеру в деревне обычно появлялись торговцы воздушными шарами и сладостями — свой товар они несли за спиной. Из города приезжала труппа исполнителей народных песен; они пели куплеты Анрай¹ и танцевали на приготовленной для этого сцене.

¹ А н р а й — географическое название.

В день праздника О-Фуми и Сэки приготовили специальное угощение. Какую бы жалкую жизнь ни вели крестьяне, они считали, что без этого обойтись нельзя.

Гэнкити, лежа возле очага, в котором горел огонь, играл с Ёси, отбрасывая его от себя ногами.

Ёси цеплялся за ноги Гэнкити и вскрикивал, когда брат неожиданно опрокидывал его навзничь.

— Не одолеешь, не одолеешь! — кричал Ёси, вскакивая и изо всех своих силенок набрасываясь на старшего брата. Но Гэнкити тут же откидывал его в сторону.

— Ну, сильнее! — подзадоривал он мальчика.

— Фу, черт! Вот я тебя укушу!

— Глупыш!

— Ёси, иди на праздник, — закричала мать из полутемной кухни.

Гэнкити, веселясь от души, играл с Ёси, но вдруг остановился. Ёси, которому показалось, что он начинает одолевать, удвоил свои усилия. Гэнкити задумался, вспомнив о прошлогоднем празднике. Ему пришел на память тот вечер, когда О-Ёси, которую он любил, без предупреждения, неожиданно уехала в Саппоро.

— Ага, моя взяла! — Ёси, наконец, одолел ноги Гэнкити и прижал их к циновке. Внезапно вернувшись к действительности, Гэнкити, не рассчитав, слишком резко вытянул ноги. Ёси отлетел назад и ударился головой о дрова, сложенные у очага. Мальчик притворно громко заплакал.

— Противный Гэн, противный, противный!

Гэнкити, смущенно улыбаясь, погладил Ёси по голове большой рукой.

— Ничего, голова у тебя крепкая. Прошло уже? Давай, я заговорю: «Боженька, помоги, боженька, помоги...» — Гэнкити гладил Ёси по голове. Притихший было вначале Ёси, поняв, что брат шутит, снова заревел во весь голос. Гэнкити обхватил ладонями голову Ёси. — Ну, полно, полно! — уговаривал он.

— Взрослый, а связался с ребенком! — крикнула мать.

Все еще плача, Ёси принялся кланяться.

— Дай денежку, дай денежку, а? Дай денежку!

— Черт возьми! Ну и хитрый же ты парень. Значит, стоит мне дать тебе денег, и сразу перестанет болеть?

— Дай денежку, дай денежку, — тянул Ёси, изо всей силы дрыгая ногами. — У-у... — ревел он. — Вот Кэну дали десять сэн... Дай денежку, Гэн, дай денежку, дай...

Гэнкити сидел неподвижно, не слушая Ёси. Он думал о том, что стал совершенно одинок с тех пор, как О-Ёси уехала в Саппоро. В деревне было трудно прокормиться, и женщины уходили в город наниматься на фабрику или в служанки. Уходили даже мужчины, которым следовало бы работать в поле. «Скоро в деревне никого не останется», — подумал Гэнкити. При этой мысли у него стало тяжело на сердце.

— Денежку, денежку-у-у...

Ёси начал трясти Гэнкити. Гэнкити молча быстро вывернулся. Ёси стремглав полетел на пол и заревел еще громче.

— Ах, чтоб тебя! Поори еще у меня! — закричала мать таким голосом, словно терпенье ее истощилось.

Гэнкити почувствовал, как мало-помалу в нем начинает нарастать раздражение.

Во двор вбежали ребятишки звать Ёси на праздник.

— Эй, Ёси, зовут ведь, иди.

Ёси моментально перестал плакать, вытер рукавом лицо и, смущенно улыбаясь, вышел из дому.

Гэнкити лежал на спине и рассеянно смотрел на закопченный черный потолок. Он решил не ходить на праздник.

Стемнело. Мимо дома по улице прошли, оживленно разговаривая, несколько человек. Это были танцовщики, приехавшие из города. Труппа состояла из двух мужчин — одного в темных очках с большим узлом на спине, и другого — худого, напудренного, со скуластым лицом, и из двух женщин — одна была в темных очках с сямисэном¹ через плечо, другая — напудренная девушка лет семнадцати—восемнадцати — ступала мелкими шажками; с ними были три девочки семи—восьми лет. За танцовщиками бежали деревенские ребятишки.

Погруженный в свои мысли Гэнкити продолжал лежать на полу. Рядом с ним перед зеркалом с облупившейся амальгамой сидела О-Фуми. Она трясла над

¹ С я м и с э н — японский трехструнный музыкальный инструмент.

ладонью раздобытую где-то бутылочку белил и белилась¹. Гэнкити лежал молча.

— Что будут плясать сегодня вечером? — спросила его О-Фуми, не отводя глаз от своего изображения в зеркале.

Неизвестно, расслышал ли Гэнкити вопрос сестры. Он продолжал упорно молчать. О-Фуми не особенно нуждалась в ответе. Все ее внимание было целиком поглощено зеркалом. Она даже не заметила молчания Гэнкити.

— Говорят, Року Исида будет петь Нанива-буси...² — продолжала она.

— Интересно, как он споеет... Наверное, хорошо, — снова заговорила О-Фуми немного погодя. — И куда это мать ушла?

Гэнкити по-прежнему упрямо рассматривал потолок. Он лежал неподвижно, закинув ногу на ногу, и лишь изредка шевелил босыми пальцами.

— Ведь я же сказала матери, что собираюсь идти на праздник. Куда же она девалась? Вот всегда так! — О-Фуми все еще не могла отвести глаза от зеркала. — А ты пойдешь?

Гэнкити медленно повернул голову и посмотрел на О-Фуми. Девушка, низко наклонившись над зеркалом, точно прилипла к стеклу и, скривив рот, старалась стереть с носа какую-то соринку. Гэнкити, ничего не сказав, снова отвернулся.

— Вот беда! — О-Фуми начала тереть лицо полотенцем.

— Я обещала зайти за Хару-тян, но как же уйти без матери?.. Пожалуй, все-таки пойду... Как ты думаешь? — При этих словах О-Фуми, наконец, оторвалась от зеркала и посмотрела на Гэнкити. Она впервые за долгое время вымылась, и теперь ее лицо стало гладким, белым, красивым. Заметив взгляд брата, она слегка покраснела.

— Ну, чего уставился? — немного смущенно проговорила она.

Гэнкити отвернулся и, в первый раз за все это время нарушив молчание, сказал, словно ни к кому не обращаясь:

¹ Японки употребляют вместо пудры жидкие белила.

² Н а н и в а - б у с и — широкораспространенные народные сказания, исполняемые под аккомпанемент сямисэна.

— Иди.

Пройдя в глубь комнаты, О-Фуми переоделась и ушла.

— Черт возьми!

Гэнкити поднялся, сам не зная — зачем, и выглянул в окно. Уже стемнело. На улице ничего нельзя было рассмотреть. Гэнкити прошел на кухню и выпил два ковша воды. Вернувшись к очагу, он некоторое время стоял неподвижно, не зная, лечь ли ему снова, или заняться чем-нибудь. Вокруг все было тихо. Лампа то ярко вспыхивала, то почти совсем гасла, словно огонек прятался куда-то. Было ясно слышно, как за кухней в конюшню лошадь обмахивалась хвостом и стучала о пол копытами. Место, где происходило праздничное гулянье, находилось довольно далеко, так что до Гэнкити не долетало ни звука. Гэнкити чувствовал какое-то непонятное раздражение. Кто-то прошел по улице. Послышались голоса. Сначала Гэнкити ничего не мог разобрать.

— Смотри, вон звезда упала.

— Говорят, там совсем пусто, в небе...

— Звезды рассыпаются и падают. Иногда они падают на землю...

Собеседник что-то проговорил в ответ. Потом послышался детский голос:

— Пойдем скорее, ведь пляска кончится...

— Вот, вот, смотри! Опять упала!

— Мама, ведь мы и так опоздали. — Ребенок чуть не плакал.

Они прошли мимо. Голоса затихли. Снова наступила прежняя тишина.

Было так тихо, что Гэнкити слышал свое собственное дыхание, и эта странная тишина действовала на него угнетающе. Он приподнялся. Неожиданно его взгляд упал на письмо, торчавшее из маленького ящика в столе, на котором стояло зеркало. Гэнкити догадался, что это письмо О-Ёси.

«...Я понимаю, что тебе хочется поехать в Саппоро, мне и самой когда-то хотелось того же.

Но здешняя жизнь совсем не похожа на ту, о которой я мечтала. Я пишу тебе все это, чтобы ты не разочаровалась, не сердись на меня.

По правде сказать, мне не хочется, чтобы ты тоже узнала здешнюю жизнь. Хватит и того, что я ее испытала. Разумеется, здесь не приходится, как дома, круглый год

копаться в грязи. Зато здесь на каждом шагу творятся такие страшные дела, о которых вы в деревне даже представления не имеете.

Но, если ты все-таки непременно хочешь приехать сюда, что ж, я тебя жду... Я переговорила с хозяином, и он сказал, что ты можешь приезжать, ему сейчас нужны рабочие руки». В самом конце письма была приписка: «Обязательно передай привет Гэн-сану».

Гэнкити перечитал письмо еще раз.

«Обязательно передай привет Гэн-сану»... — Прочитав эти слова, Гэнкити долго сидел неподвижно, держа в руках развернутое письмо.

Вернулась мать.

— Гэнкити, ты что здесь делаешь? Иди на праздник. Я сейчас встретила О-Фуми.

Гэнкити положил письмо на место и, ничего не ответив матери, вышел.

— Будешь возвращаться, захвати с собой Ёси, — крикнула мать ему вдогонку.

Выйдя на улицу, Гэнкити вздрогнул от холода. Высокое ясное небо было усыпано звездами. Гэнкити не собирался идти на праздник, но на душе у него было так тяжело, что сидеть дома он тоже не мог. Поодаль вдоль дороги стояли в ряд высокие деревья. Между деревьями виднелась река Исикари. Звезды усеяли небо, но вокруг было темно. Только бледно светилась река. По контрасту с ней ближняя сторона стволов казалась совершенно черной. В воде дрожали отражения бесчисленных звезд. Воздух был холодным, и Гэнкити невольно поежился. Во время праздника молодежь всегда охотнее собиралась на этой дамбе у реки, чем перед храмом. Гэнкити вспомнил, что много раз встречался здесь с О-Ёси. Он с ожесточением сплюнул в воду.

Несколько дальше дамба поворачивала. За поворотом прямо впереди виднелись огни праздника. Это ярко освещенное место можно было ясно различить даже издали. Вскоре до его ушей стал доноситься шум. Было слышно, как били в барабаны.

В гул людских голосов по временам причудливо вплетались хлопки лопнувших воздушных шаров и звуки флейты. Перед крестьянскими домами, попадавшимися по дороге, стояли вышедшие на улицу старики и смотрели в сторону гулянья.

- Добрый вечер, — слышалось из темноты.
- Добрый вечер, — отвечал Гэнкити.
- Вышел погулять?
- Да.
- Иди, иди погуляй.

Праздничная сцена освещалась десятком ламп. Перед сценой были постланы циновки; крестьяне, расположившись на циновках, смотрели представление. Большинство зрителей составляли молодые женщины, дети и старики. Подальше от сцены было довольно темно. По обеим сторонам проходившей позади дороги стояли продавцы воздушных шаров с лотками, к которым были прикреплены лампы. Торговец сахарной пенкой, непрерывно крутя ногой механизм, собирал пенку на палочку, показывая ее детям, и что-то говорил.

Перед каждым лотком стояло по несколько ребятишек. Позади храма находилась небольшая площадка, где парни состязались в борьбе. Гэнкити все было неинтересно. Засунув обе руки за пояс, он стоял в стороне и смотрел на сцену. Там плясали. Доски скрипели при каждом шаге танцоров. Издалека, откуда не были видны изъезы костюмов и лица, эта пляска на ярко освещенной сцене показалась Гэнкити красивой. По временам танцующие женщины вместе произносили: «Ах, ах» — и подпевали: «Вот этого-то я не знала».

Гэнкити снова почувствовал прилив раздражения. Пляска показалась ему чуждой. Он обошел торговцев воздушными шарами и направился к площадке для борьбы позади храма. Оттуда раздавались звуки барабанов, в которые обычно бьют при борьбе сумо¹. Но, не дойдя до площадки, он передумал и, повернув назад, пошел прочь от храма. В темноте он чуть не натолкнулся на какую-то женщину. Поглощенный своими мыслями, Гэнкити случайно остановился рядом с ней. Оба вздрогнули от неожиданности. И вдруг Гэнкити охватило желание. Женщина попыталась убежать, но он быстро протянул руки и схватил ее за пояс. У него перехватило дыхание, движения его были безотчетны, словно во сне. Женщина молча сопротивлялась в темноте, но силы были не равны. Гэнкити крепко прижал ее к груди. Тогда она попыталась вцепиться ногтями в сжимавшие ее руки.

¹ Сумо — японская национальная борьба.

— Дурочка, — задыхаясь, проговорил Гэнкити и крепко обнял женщину, больно сдавив ей грудь. В нос ему ударил запах свежего масла, которыми были намазаны волосы женщины, причесанные по-японски. Сердце Гэнкити билось так быстро и сильно, что он сам слышал его удары. Так же отчетливо был слышен и стук сердца женщины. Она вырывалась, и он всем телом ощущал ее движения. Гэнкити легко поднял женщину и, прижимая ее к себе, пошел по маленькой темной тропинке, вившейся по полю. Женщина билась в его руках; казалось, она вот-вот закричит. Она пинала Гэнкити ногами, царапала ему грудь. Однако вскоре она почему-то затихла, спрятав лицо на обнажившейся груди Гэнкити. Он ощутил ее горячее дыхание.

Гэнкити, задыхаясь, некоторое время шагал по тропинке, затем быстро свернул прямо в поле. На сжатом поле оставались стебли срезанной кукурузы, и Гэнкити несколько раз оцарапал о них ноги. Он спотыкался, попадая погой в выбоины, но в него словно черт вселился, он шел дальше, не обращая ни на что внимания, ступая куда попало. Женщина, словно опомнившись, снова принялась отчаянно вырываться. Но чем сильнее она сопротивлялась, тем больший прилив сил ощущал Гэнкити. Страшное возбуждение поднималось из самой глубины его существа.

4

Снова пошли дожди. Дни стали короче, небо покрылось холодными тучами, сеявшими бесконечный град. «Вот когда наступила настоящая зима», — думали все. По утрам лужи затягивались ледком.

Закончив последние приготовления к зиме, крестьяне забирались в крытые соломой сараи и, сидя на циновках, разостланных прямо на земляном полу, вили из соломы веревки и плели варадзи. Круглый год, согнув спины, они копались в земле и все-таки не могли свести концы с концами. Девушки должны были носить на продажу в город овощи и всевозможные кустарные изделия. Крестьяне изготовляли массу различных вещей, большая часть которых шла в город на продажу. Арендаторы добывали таким способом деньги для внесения арендной платы помещику, а те крестьяне, которые имели собственные

кочки земли, — средства для выплаты ежегодных взносов в Колонизационный банк. Кроме того, деньги были нужны для покупки удобрений и сельскохозяйственных орудий. Работая с утра до ночи, крестьяне выращивали рис, бобы, кукурузу, баклажаны, но при этом сами питались изо дня в день одними сушеными овощами и картошкой. Ничего другого они не ели. Какая-нибудь прибавка к обычной пище считалась чуть ли не расточительностью. Крестьяне готовили жиденькую рисовую похлебку, разбавленную бесконечным количеством воды, и подмешивали в нее бобы — это была их обычная еда.

Зимой в пищу шла тыква, которая летом сушилась на карнизах. Тыкву ели всю зиму, изо дня в день, поэтому у крестьян лица, ладони рук, ноги приобретали желтый оттенок. Даже на белках глаз появлялись желтые прожилки.

С наступлением зимы во всех домах старухи принимались за починку старых, порвавшихся за год таби. Таби и так были уже все в заплатках, но могли прослужить еще зиму. То же было и с рубашками, штанами, набедренными повязками. Мать Гэнкити вытащила из стенового шкафа разное тряпье, сложила его в кучу около очага и, привязав нитками к ушам очки с разбитыми стеклами, принялась за работу, низко склонив голову над лампой.

Когда кончалась уборка урожая и в воздухе чувствовалось приближение зимы, в деревню, зарясь на крестьянские деньги, по нескольку раз в день заходили многочисленные бродячие торговцы. Появлялись и нищие, приносившие разную утварь. Но крестьяне, помня об ожидавшей их долгой зиме, не решались купить даже ничтожный клочок какой-нибудь ткани. Из Тояма и Эттю¹ приходили торговцы лекарствами, за спиной у них висели деревянные ящики с множеством маленьких выдвижных отделений. Они раздавали детям рекламы лекарств с изображением лошадей или еще чего-нибудь, и сколько бы им ни говорили, что покупать у них никто не собирается, подолгу сидели на пороге. Потом они уходили, взвалив ящик с лекарствами на спину. Если

¹ Т о я м а — город в центральной части Хонсю, на восточном побережье. Э т т ю — старое название одной из провинций на востоке Хонсю.

бережно хранил доставшуюся ему таким образом рекламу с изображением лошади и в свободное время срисовывал ее.

И все же обойтись совсем без покупок крестьяне не могли. Приходилось запрягать лошадь и отправляться в город. Там крестьяне покупали мисо, сою и все остальное, что им было необходимо. В эту пору перед лавкой, находившейся напротив вокзала, можно было увидеть много крестьянских лошадей, привязанных к телеграфному столбу. Большей частью это были кобылы. Когда изредка мимо проезжали жеребцы, кобылы ржали и волновались. Из лавки выскакивали подвыпившие, с красными лицами крестьяне и оттаскивали кобыл в сторону. В лавке, в сенях, стояло несколько стульев; усевшись на стулья, крестьяне пили из больших стаканов холодное сакэ, закусывая его сушеной рыбой. Некоторые паивались до потери сознания.

— Я пьян, говоришь? А они не пьяны?..

Но приказчик, не слушая, обхватывал пьяного руками и взваливал его, как бревно, на телегу вместе с бочками мисо и сои. Лежа в телеге, крестьянин весело горланил песни, выученные еще в далекую пору молодости, а лошадь сама возвращалась домой той же дорогой, по которой пришла в город.

Гэнкити, выпив залпом несколько стаканов сакэ, с непривычки совершенно опьянел. Раскачиваясь всем своим рослым телом, он нелепо размахивал руками, как машут танцоры, смеялся дурацким смехом, сощутив глаза, и нес какую-то околесицу.

Выйдя из лавки только в восемь часов вечера, он, пошатываясь, подошел к своей привязанной неподалеку лошади, обнял ее за шею и стал гладить лошадиную морду, бормоча что-то себе под нос. Ноги у него то и дело подкашивались. Отойдя от лошади, он немного постоял на месте, потом двинулся вперед нетвердыми шагами. На улицах уже не было прохожих. Гэнкити бил озноб, как это часто бывает с пьяными. Разговаривая сам с собой, он шел, глубоко засунув руки за пазуху.

— Сколько работаешь, а толку никакого! Черт поberi! — бормотал он.

Неподалеку была низенькая лавочка, где торговали лапшой. Гэнкити натолкнулся на столб перед входом. Прислонившись к столбу и не открывая глаз, он повторял:

— Кто это? Что за черт, кто тут?

Напудренная женщина окликнула его из лавочки:

— Заходи, братец, выпей стаканчик.

Она быстро встала и вышла на улицу.

— Ээ... да ты навеселе...

Гэнкити вплотную приблизил свое лицо к лицу женщины и уставился на нее бессмысленным мутным взглядом. В нос ему ударил запах дешевой пудры и женского пота.

— А ты ничего, хорошенькая...

— Заходи. Согрею, а?

Гэнкити, пошатываясь, вошел в сени.

Лошадь Гэнкити, понунив голову, так и простояла на привязи перед лавкой до следующего утра.

Долгими осенними вечерами крестьяне при свете лампы теребили в сенях солому и вили веревки; мысленно они перебирали в уме всю свою прошлую жизнь. В эти осенние вечера ничто не мешало их думам. Песня, которую напевали тихими голосами себе под нос, вдруг обрывалась — незаметно для себя люди погружались в воспоминания.

Там, на Хонсю, им тоже приходилось питаться одной картошкой. Цены на рис и на овощи, выращиваемые крестьянами, были настолько низки, что удобрения и сельскохозяйственные орудия стоили иногда вдвое дороже всего урожая. Задолженность помещику непрерывно росла, и все чаще случалось, что землевладелец конфисковывал урожай на корню и сгонял арендаторов с земли. «Поехать бы на Хоккайдо», — думали крестьяне и, гонимые нуждой, лелея заветную мечту о лучшей жизни, уезжали в какой-нибудь глухой «медвежий угол». Переправившись через пролив Цугару, они шли все дальше и дальше на север. Дети и взрослые, взвалив на спину дорожные корзины, высаживались из вагонов на продуваемых насквозь станциях без платформ и шли многие рю по заснеженным дорогам, которым, казалось, никогда не будет конца. Люди шли и шли, но по-прежнему кругом был только снег и бесконечная равнина. Пальцы и лицо ныли от режущего ветра. И повсюду, куда ни взглянешь, уже торчали дощечки с заявками. Вся хорошая земля была занята, ни клочка свободного не оставалось. Но даже

найдя хороший участок — что случалось очень редко, — крестьяне не имели средств, чтобы обработать его. И в результате, когда с помощью денег, взятых взаймы, пустошь через несколько лет становилась похожей на поле, участок окончательно уходил из их рук. Здесь, на Хоккайдо, им по-прежнему жилось несладко.

— «Как-то поживают на родине?» — думали крестьяне.

Проживи они на Хоккайдо хоть двадцать, хоть тридцать лет, они все равно были бы не в состоянии забыть родные места. Каждый считал, что перед смертью он должен непременно вернуться на родину, в свою деревню, хотя никто из них никогда не видел там ничего хорошего. Надежда возвратиться когда-нибудь на родину всю жизнь не покидала крестьян. «Как-то там, на родине»? — непременно спрашивали они друг друга, случайно разговарившись в свободную от работы минутку. В воспоминаниях родные места представлялись крестьянам, как это ни странно, исполненными неотразимого очарования. В воображении родной край рисовался им прекрасным и радостным. Как идут дела в семье торговца бобовым творогом, как поживает такой-то, вышла ли замуж дочь Кикути, поехал ли каменщик на Сахалин — подобные разговоры то прерывались, то снова возобновлялись. Каждый неторопливо рассказывал о своей прошлой жизни.

Покидая «родину», каждый вначале предполагал хорошенько поработать некоторое время на Хоккайдо, скопить порядочную сумму денег и, вернувшись обратно, зажить припеваючи. Не было человека, который думал бы иначе. Такие же планы строил и отец Гэнкити. Но никому из крестьян не удавалось осуществить первоначальные замыслы. Жизнь на Хоккайдо абсолютно ничем не отличалась от прежней жизни на родине. Однако крестьяне никак не могли уразуметь этого. Каждый из них ясно понимал, что до сих пор не накопил денег, чтобы уехать с Хоккайдо, и, несмотря на это, по-прежнему в глубине души все еще смутно надеялся вернуться на родину с деньгами. Никто не мог расстаться с надеждой на возвращение.

Если изредка кому-нибудь случалось съездить на месяц в центральную Японию (правда, это бывало чрезвычайно редко, например, когда внезапно заболел кто-нибудь из близких родственников или в других таких же

исключительных случаях), земляки уезжавшего давали ему поручения к своим родным: просили передать им или, наоборот, привезти от них что-либо. Обязательно наказывали посмотреть, как выглядит родная деревня.

Когда родители Гэнкити приехали на Хоккайдо, они, как и все, пошли вперед по снежной равнине. Отец нес Гэнкити на спине. Добравшись как раз до того места, где теперь стояла их деревня, они увидели пемного впереди у дороги низенький столб. Время близилось к вечеру, среди необъятной равнины уныло торчал один лишь этот столб. Отец принял его за дорожный указатель и, решив узнать, сколько им еще осталось идти, присев на корточки, отряхнул со столба снег. На столбе было написано: «Здесь покоится NN из деревни NN, уезда NN, провинции Этиго». Отец подозвал мать и прочитал ей надпись. Они содрогнулись, почувствовав себя затерянными и одиночными. «Да, все что угодно, только не это. Только бы не умереть на чужбине». — Гэнкити часто слышал эту фразу от родителей. Вот до какой степени сильна была связь с родными местами.

Незаметно в деревне наступила поздняя осень.

У матери Гэнкити с приближением зимы начала болеть поясница. Сидя в сенях за витьем соломенных веревок, она заставляла Ёси растирать ей плечи и спину. Ёси, который терпеть не мог этого занятия, всячески старался увернуться от матери.

— Я дам тебе монетку, — говорила Сэки, а если и это не помогало, обещала:

— Ну две монетки.

Ёси, снова став за спиной матери, несколько раз проводил руками по ее плечам и сразу же говорил:

— Давай деньги!

— Как, уже?

— Так ведь я же потер тебе плечи!

— Еще.

— Хитрая, хитрая.

— Глупенький, надо растирать, пока мама не скажет — довольно.

— Хитрая, хитрая, обманщица!

— Ах ты чертенок!

Оба сердились. Вдруг мать, сама растирая ломящую поясницу, неожиданно произнесла:

— Надо бы мне этой зимой съездить на родину, как ты думаешь, Гэн? — И грустно посмотрела на Гэнкити.

5

Мать Гэнкити сильно сдала после того, как О-Фуми в ночь деревенского праздника убежала в Саппоро. За работой Сэки вдруг начинала говорить об О-Фуми. Она постоянно разговаривала сама с собой. В такие минуты Гэнкити молча вставал и выходил на улицу.

Стояла поздняя осень. Был тихий вечер. Слышно было, как у реки, протекавшей за деревней, щебечут птицы. Постелив в сенях циновки, Гэнкити с матерью плели варадзи при свете низко опущенной лампы.

За дверью неожиданно послышался чей-то голос.

— Кто там? — спросил Гэнкити, прислушиваясь.

— Это я. — Заскрипела дверь, и в дом вошел школьный учитель.

— Скучно что-то. Вот пришел посидеть с вами, — сказал он. Ёси дремал у очага.

Лампу перенесли в сени, и комната тонула в полумраке.

Поговорив о том о сем, учитель осведомился, что слышно об О-Фуми. Мать, как всегда, начала повторять то, что она уже много раз всем рассказывала.

— А почему бы вам не съездить и не привезти ее домой?

— Да я без конца твержу об этом, но Гэнкити не хочет, говорит, что это бесполезно. Бойтся Саппоро.

— Гэнкити-кун, почему ты не хочешь съездить за сестрой?

— Не имеет смысла, — ответил Гэнкити. — Ну, привезешь ее, а она опять удерет.

— Вот видите! — Мать ошеломленно взглянула на учителя.

Учитель стал рассказывать о своей жизни в Саппоро. Кто хоть немного узнал городскую жизнь, говорил он, тому тяжело жить в такой глуши, как здесь. В городе есть телефон, и с любым человеком, как бы далеко он ни находился, можно тут же переговорить, если надо.

Автомобилей там множество. Проложены трамвайные линии. А женщины всегда ходят напудренные, нарядные как куколки, в кимоно с длинными рукавами. Каждый день кино, можно ходить в театр, бывают концерты. Есть парки. Мужчин по внешнему виду не отличишь от иностранцев, нарисованных на картинках, на ногах у всех начищенные до блеска скрипящие ботинки.

— Неужто? — удивлялась Сэки.

— А крестьяне? — сказал учитель немного помолчав. — Круглый год копаются в навозе, лица обветренные, черные, даже не разберешь, мужчина это или женщина? У здешних женщин кожа на руках как сморщенная тряпка, что — разве нет? Работать приходится с раннего утра, когда еще не рассвело, и до позднего вечера. А иногда случается работать и ночью. Да это бы еще полбеды, если бы хоть денег оставалось много, правда, матушка?.. — Учитель странно улыбнулся.

— Богачи в городах живут в красивых домах, занимаются интересной, легкой работой, а денег получают много. Э, да что об этом толковать. Правильно я говорю? — обратился учитель к Гэнкити.

Гэнкити молчал.

— Правильно, конечно правильно! — восторгалась мать. — Они все такие шикарные, эти господа горожане.

— А ты, Гэнкити, понимаешь, почему это происходит?

Гэнкити посмотрел в лицо учителю, но ничего не ответил. Он набрал в рот воды и стал обрызгивать солому, колотя по ней деревянным молотком. Учитель закурил; наступила недолгая пауза. Неожиданно, словно вспомнив о чем-то, учитель сказал:

— Слыхали, говорят, будто Кацу-кун устроился на работу в железнодорожные мастерские Наэхо?

— Это правда? — Гэнкити внезапно насторожился.

— Да, это верно. Мне сказали об этом у него в доме. Кацу-кун тоже приходится нелегко.

— Это он подбил О-Фуми уехать, этот Кацу! — сердито сказала мать.

— А знаешь ли ты, Гэнкити, что крестьянин работает один, а кормит семью да еще обеспечивает роскошную жизнь помещику, ведь даже прихлебатели помещика живут за счет крестьянина. Вот он каков, крестьянин. От него зависит вся жизнь. Только от него и от рабочего. Интересно получается, правда? — Учитель засмеялся, что

случалось с ним крайне редко, и добавил в том же шутиливом тоне: — Крестьяне молодцы! В целом свете самые замечательные люди — это крестьяне и рабочие. Только они почему-то самые бедные, самые грязные, их почему-то больше всего дурачат и больше всех заставляют работать. Забавная штука, а?

Поддавшись шутиливому тону учителя, Гэнкити неожиданно расхохотался. Лицо матери выражало растерянность.

— Над этим стоит подумать. Помнишь, о чем болтал в июне помещик, когда собирал всех крестьян? Вы, мол, бедны из-за своих грехов, кто добросовестно трудится, тех бедность не постигает. Все слушали и поддакивали. Интересно только, что именно помещики заставляют других работать с утра до ночи, а сами ничего не делают и при этом живут в свое удовольствие, но все равно нуждаться им ни в чем не приходится. Удивительные вещи творятся на свете! Люди не могут понять, что помещик их надувает. Они выбиваются из сил и при этом еще считают, что мало работают, надо, мол, трудиться еще усерднее. А помещики за их спиной потирают от удовольствия руки и приговаривают: «Работайте, работайте» Даже теперь, зимой, крестьяне поднимаются в четыре часа утра и работают до позднего вечера, устают, словно ломовые лошади. Если еще раньше вставать и еще позже ложиться, то ни один человек не выдержит и трех дней. Кто еще трудится так, как крестьянин, не зная ни минуты отдыха? Рассуждения о том, будто крестьяне бедно живут; оттого что мало работают, — просто наглая ложь.

— Господин учитель, что вы такое говорите? — удивленно спросила мать.

— О, ничего. Работайте, работайте усердней. Ведь тогда амбары помещика будут набиты рисом. Но вам-то по-прежнему в рот не попадет ни росинки. — Учитель громко рассмеялся.

Гэнкити, совершенно ошеломленный, сидел с суровым лицом. Молоток застыл в его руке. Учитель продолжал:

— Меня всегда удивляло, что крестьяне не понимают, отчего они так бедны. Так-то, Гэнкити-кун. Помещики платят буддийским монахам за то, чтобы те внушали вам, что на все, мол, божья воля, что сам бог устроил мир таким образом, чтобы в нем существовали помещики.

После таких объяснений в головах наступает полнейшая путаница, людей окончательно сбивают с толку. Но если посмотреть на вещи здраво, отбросив подобные рассуждения, то все становится очень ясно. Помещикам придется плохо, если крестьяне поймут, кто повинен в их нищете, тогда им придется туго! — Учитель опять засмеялся и добавил, как бы про себя: — Да, туго... Поэтому они и стараются держать крестьян в темноте.

Он посмотрел на Гэнкити, словно ожидал от него ответа. Но Гэнкити только нахмурил брови, лицо его было по-прежнему сурово.

— Ох-ох, господин учитель, что вы говорите! Да если, неровен час, господин помещик услышит такие слова, страшно и подумать, что будет!

Учитель немного помолчал и заговорил о другом. Спавший у очага Ёси вдруг вскочил, точно испугавшись чего-то, и спросонок растерянно уставился на сидевших.

— Ёси, ты что такой заспанный?

Ёси бессмысленно огляделся вокруг и несколько раз передернул плечами. Его кусали вши.

— Да проснись же! У нас господин учитель в гостях!

Заметив учителя, Ёси поклонился, но сейчас же снова уселся у очага, уткнул подбородок в колени, свернулся калачиком и заснул.

— Наверное, приснилось что-нибудь... — сказала Сэки.

Посидев еще немного, учитель стал собираться домой. «Ух, холодно», — сказал он, открыв дверь на улицу, и засунул руки поглубже в рукава.

— Добрый вечер, — поздоровался с учителем какой-то прохожий.

— Добрый вечер, — откликнулся обычным грубоватым тоном учитель.

Закончив работу, мать положила начищенную картошку в большой котел и поставила на огонь. Когда картошка сварилась, Сэки вынула ее из котелка и посыпала солью. Подсев к очагу, Гэнкити с матерью принялись за ужин. Мать и сын, дуя на рассыпчатую картошку, уплетали ее за обе щеки. Сэки сидела, скрестив ноги, напротив Гэнкити. Вскоре она задремала, не донеся руку до рта. Однако рука продолжала по инерции двигаться, и мать, очнувшись, все-таки положила картошку в рот, но так и не проглотила и опять задремала. Дрова

в очаге по временам ярко вспыхивали и трещали. Гэнкити ел молча, машинально двигая челюстями, задумавшись о чем-то.

Часы медленно пробили четыре раза. Мать, вздрогнув, проснулась и принялась будить свернувшегося калачиком Ёси. Разбуженный мальчик захныкал.

— Посмотрите-ка на него, господин учитель! — громко сказала мать.

Ёси испуганно оглянулся.

— Неправда, его нет, неправда! Неправда! — В конце концов Ёси расплакался.

— Противный мальчишка, иди скорее в уборную. Выйди на улицу. — Ёси никак не слушался. Сэки должна была несколько раз повторить приказание, только тогда он поднялся. Но и тут он едва приоткрыл дверь и помогился, высунувшись в щелочку.

— Опять ты не вышел на улицу! Сколько раз тебе повторять, чтоб ты бросил эту скверную привычку? Разве можно у самого порога? Уже не маленький... Ладно же, вот Гэнкити прибьет тебя!

— На улице холодно и страшно, — жалобно произнес Ёси.

— Ладно, ладно, кончай там свои дела.

Мать постелила три постели.

— Какой-то странный этот учитель, правда, Гэн? Страшные вещи какие говорит... Ты его не слушай, — сказала она.

Гэнкити кончил есть и молча смотрел в огонь, держа в руках щипцы для угля. Он то строил что-то из углей, то снова разрушал построенное.

Ёси и мать уснули.

Гэнкити подкинул в огонь дрова, сложенные у очага. Пока дрова горели, он сидел неподвижно, как статуя из старой позеленевшей бронзы. Керосин в лампе кончился, язычок пламени почти совсем исчез.

— Гэн, ты еще не лег? Ложись, керосин-то дорог... — сказала мать, проснувшись, приподняв голову с подушки. Только тогда Гэнкити заметил, что огонь совсем погас и в комнате стало холодно.

— Сейчас лягу, — сказал он и встал.

Его огромная тень упала на окно.

— Ох, грехи наши тяжкие, — услышал Гэнкити сонное бормотанье матери.

Наступила долгая зима. В этот год из-за неурожая крестьянам было особенно трудно дотянуть до весны.

Гэнкити вместе с несколькими односельчанами подрядился идти в горы Асари драть лыко с деревьев. Было решено отправиться в путь, как только выпадет снег. Эту работу крестьяне должны были закончить в феврале, после чего Гэнкити собирался на рыбные промыслы в Еити. Домой он рассчитывал вернуться в конце апреля.

Так поступало большинство крестьян. Даже зимой не удавалось отдохнуть.

День за днем, день за днем, не утихая, мела метель. Нельзя было ни шагу ступить из дому. За окном царила непроглядная белая мгла. Дом сотрясался от ветра. Наконец, метель утихла. За дверью намело сугробы. Когда дверь приоткрыли, сугроб обрушился и снег посыпался за порог. Во все стороны, без конца и края расстилалась заснеженная равнина Исикари. Снег до самых крыш засыпал разбросанные там и сям крестьянские домики. Небо еще покрывали низкие темные тучи; далеко на горизонте они сливались с землей. Там было совсем темно, словно вдали еще бушевала метель. Временами, жалобно свистя, налетал ветер. Тогда снег поднимался в воздух, как дым, и стремительно несясь куда-то в пространство. Снежные вихри то крутились на одном месте, то перемещались с поразительной быстротой, мгновенно меняя направление. За углами домов наметало гигантские сугробы.

Когда холода становились очень сильными, ночью в домах слышалось какое-то потрескивание. У стариков ломило поясницу, а плечи ныли так, что больно было пошевелиться.

С дороги доносился звон колокольчиков — это крестьяне, сидевшие из-за метели взаперти и прикончившие съестные припасы, отправлялись за покупками в город. Звон колокольчиков громко раздавался в застывшем воздухе и слышался долго-долго, пока подводы не уезжали совсем далеко. Было видно, как сани летят, описывая кривую, по широкой снежной равнине.

Дней через десять после того как выпал первый снег, крестьяне стали задумываться над трудностями предстоящей зимы. Казалось, при виде снега всех охватила

тревога. К зерну, предназначенному для уплаты аренды, крестьяне притрагиваться не смели даже в тех случаях, когда самим нечего было есть, денег же на покупку продуктов в городе они не имели. Встречаясь друг с другом, люди немногословно говорили о своих заботах, о том, что надо бы что-то предпринять. Всем приходилось туго, и поэтому как-то незаметно все втягивались в эти разговоры.

Река Исикари замерзла, и теперь можно было свободно переходить на другой берег. Отец Кацу, ходивший по каким-то своим делам в деревню за рекой, рассказал Гэнкити, что и там он слышал такие же разговоры. Ученики не могли внести плату за ученье, и число ребят, посещавших школу, быстро уменьшалось. Не стоит платить деньги, чтобы ребята целый день бездельничали, рассуждали родители.

Ребята, скучные, унылые, неподвижно сидели у очагов. Грудные дети все время жалобно плакали — животы у них раздулись, как набитые песком мешки. Даже у неумышленнейшей-младенцев не расходились морщинки между бровями. У них странным образом росла одна голова, а шея оставалась слабенькой — в какую сторону поворачивали ребенка, на ту сторону сваливалась и его голова; самостоятельно повернуть ее он уже не мог. День за днем, в завтрак, в обед и в ужин крестьяне питались густой горячей похлебкой из разваренных сушеных овощей, заготовленных летом. Кроме овощей, ели еще тыкву и картошку. Рис ели только раз в день. Овощная похлебка постепенно приедалась и буквально застревала в горле. Крестьяне начали всерьез задумываться над тем, как быть дальше.

Постепенно решение созрело. Гэнкити услышал от кого-то, что большую роль тут сыграл учитель. Но решающим толчком послужило намерение помещика выселить из деревни нескольких арендаторов, их односельчан.

Из-за реки пришел молодой крестьянин и рассказал, что в их деревне считают, что договариваться с помещиком лучше всем вместе. Было решено собраться в школе и обсудить этот вопрос.

В день собрания поднялась метель. Ветер дул с неистовой силой, крутя снежные вихри. Снег то несся по земле, то взлетал вверх, то бил вкось — так что в двух шагах не видно было ничего, кроме белой пелены.

Стоило свернуть с дороги, и человек по колено проваливался в сугроб. Снег проникал во все щели в одежде, руки и пальцы на ногах мучительно ныли. А ведь некоторым приходилось идти от дома до школы доброе рю.

Входившие в школу люди были с ног до головы облеплены снегом; казалось, они вывалились в пшеничной муке. Поднося ко рту заочечневшие руки, они старались согреть их своим дыханием. Усы, брови, ресницы заиндевели. Те, у которых не было зимней одежды, приходили, закутавшись с головой в кимоно или накинув стеганый ватник. Все оделись кто как мог: некоторые пришли в грязных защитного цвета шинелях, которые они носили давным-давно на военной службе, другие явились в рваных перелицованных пальто, третьи — в куртках с узкими рукавами. Входя в жарко натопленный класс, крестьяне постепенно отогревались. Сосульки на усах и бровях таяли и капельками стекали по щекам.

Лица у всех были грязные, безжизненные и казались немного припухшими, точно после болезни. Здесь можно было увидеть сгорбленных стариков и людей, еще крепких с виду, но уже страдавших какими-нибудь недугами, людей, заросших густыми волосами, и совершенно лысых. Лица у всех были красны, как тыква-горлянка, ведь крестьяне вынуждены были круглый год работать под открытым небом. Собираясь небольшими группками, они не спеша обсуждали свои дела. Пожилые крестьяне, выколотив пепел из трубки на загрубевшую ладонь, сидели особняком, погруженные в свои размышления. Некоторые, размахивая руками, громко рассуждали, окружив себя слушателями.

Вскоре в классе стало душно — чувствовался неприятный запах, который всегда устанавливается там, где собираются крестьяне.

В одном углу несколько человек захлопали в ладоши. Вслед за ними захлопали остальные. Некоторые молча, недоуменно смотрели на хлопающих. Когда шум утих, на кафедру поднялся Исияма, коренастый крестьянин лет двадцати пяти — двадцати шести, с густыми бровями и густой коротко подстриженной бородой. Он приходился родственником учителю.

— Я коротко скажу за всех. — Исияма говорил удивительно простым и ясным языком. — Мы живем хуже собак или свиней. А разве мы когда-нибудь отлынивали

от работы? В чем же дело? Ясно, что это помещики не дают нам выбраться из нищеты, сколько бы мы ни трудились. Когда в такой неурожай, как нынче, помещик требует внесения арендной платы, для нас это равносильно смерти. Нас, крестьян, душат ростовщики и ежегодные платежи в Колонизационный банк, а ведь помимо этого надо еще платить налоги. Того, что у нас остается, не хватает даже на покупку удобрений и сельскохозяйственных орудий. Разве можно молчать, когда мы дошли до такой нищеты? Сегодня, когда мы все собрались здесь, нам нужно сообща решить, что делать дальше. Вот об этом я и хотел сказать.

Исияма замолчал и сошел с кафедры. Всякий раз, когда слышались незнакомые слова, крестьяне взглядывали на Исияма и задумывались. Но когда Исияма начинал говорить о горькой крестьянской доле, люди думали: «Да, так оно и есть», и им казалось, будто перед их глазами проходит вся их тяжелая жизнь. Когда Исияма кончил, все зашумели. Его слова вызвали оживленные споры. Сходя с кафедры, он услышал, как стоявший впереди старик ворчал: «Глупости, чушь городит».

Следом за Исияма на кафедру поднялся другой крестьянин. Это был молодой парень, не старше двадцати лет, с коротким чубом, довольно тщедушный с виду. Держался он неуверенно, но заговорил неожиданно громко и произнес свою речь четко и ясно. Он согласился с тем, что говорил Исияма, и внес предложение обратиться к помещику с «просьбой» о снижении арендной платы. Это был молодой Сайто, недавно вернувшийся из армии.

Затем на кафедру поднялся человек лет сорока. Он вдруг замахал руками и, уставившись на всех пьяными глазами, забормотал что-то нечленораздельное: «Мы... поэтому, вследствие этого... во что бы то ни стало... необходимо...» Он был совершенно пьян. Все хохотали. Раздались крики: «Слезай! Уберите его!»

Неудачливый оратор, пошатываясь, слез с кафедры. Когда-то в молодости он был бродячим актером, и все знали, что, выпив, он начинал декламировать, вспоминая старые времена.

На кафедру поднялся старик. Он заявил, что говорившие до него выражались «непочтительно и дерзко».

— Господин помещик и крестьяне — это все равно что родители и дети, — шамкал старик. — Молодежь не должна забывать об этом. Все должны относиться с почетом к господину помещику. Что мы будем делать, если он отберет у нас землю? — заключил он.

— Правильно, папаша! Понятно! — крикнул кто-то из задних рядов. Когда старик кончил говорить, все снова зашумели.

Общая атмосфера собрания, которая до этого начинала постепенно накаляться, теперь вдруг переменялась. Слова старика заставили крестьян попятиться назад, как пятится бык, которого неожиданно вывели из темноты на свет. Вот так же вели себя и крестьяне.

— Мерзавец! Негодяй! — пьяный крестьянин, выступавший до старика, вновь нетвердыми шагами взобрался на кафедру. — Что он говорит? Совсем из ума выжил! Как же тогда помочь нашей беде?

— Правильно, правильно, — кричали некоторые.

— Слезай! — орали другие.

— Верно, верно...

Тогда снова вышел Исияма и сказал:

— Нам уже ясно, что нужно делать. Если мы ничего не предпримем, то завтра у нас не будет риса, и нас ждет голодная смерть. Те, кто предпочитает умереть, пусть поднимут руки.

Шум утих. Исияма подождал некоторое время.

— Никого нет? Значит будем жить. Мы позаботимся об этом сами! Другого ничего не придумаешь!

Его решительный тон снова поднял общее настроение.

Исияма вынул написанный Сайто «план действий» и предложил обсудить его.

— У кого имеются какие-нибудь соображения насчет этого плана — пусть скажет! — громко произнес Исияма.

Опять стало шумно. Поднялись споры; одни ругали помещика, другие оправдывали. Некоторые из споривших пришли в такое возбуждение, что даже заикались от волнения. Однако каких бы различных мнений ни придерживались крестьяне, все они становились в тупик, когда дело доходило до вопроса: «Что же делать?» Исияма, стоя на кафедре, молча прислушивался к спорам. Он отыскал взглядом учителя, стоявшего позади всех, прислонившись к деревянной перегородке. Несколько поодаль, у окна, Исияма увидел Гэнкити, стоявшего,

скрестив руки, в спокойной, уверенной позе. В центре комнаты, размахивая руками, непрерывно разглагольствовал крестьянин, по имени Катаока; когда-то он спас, чуть не потонув при этом сам, дочь помещика, которая свалилась в реку Исикари. Большинство крестьян, казалось, не имели собственного твердого мнения. С открытыми ртами они поворачивались то к одному, то к другому говорившему.

— У кого есть какие-либо соображения? — спросил Исияма, повысив голос. Наступила пауза. Кто-то сказал:

— Хорошо, если бы помещик совсем ничего не брал с нас.

Против этого все сразу запротестовали. Все считали, что требовать этого никак невозможно, да и не следует.

— Значит, все думают, что нужно просить только о снижении арендной платы? На этом и порешим? — спросил Исияма. Снова поднялся шум.

— Кто против, поднимите руки, — выждав немного, произнес Исияма. Ни одна рука не поднялась.

— Никого нет?

Пауза.

Возражающих не оказалось.

— Значит, принимаем план Сайто?

Все поглядели друг на друга. Затем нерешительно поднялось около десятка рук.

— Да разве этим поможешь крестьянской беде! — раздался вдруг чей-то грубый голос. Все как один повернулись в сторону говорившего. Это был Гэнкити.

— Что же ты предлагаешь? — спросил Исияма.

— Ясное дело, надо совсем отобрать землю у помещика!

Наступила мертвая тишина, сменившаяся в следующее мгновение страшным шумом. На Гэнкити обрушились с бранью. Никто не поддержал его предложение.

Гэнкити не проронил больше ни слова. До самого конца собрания он стоял молча, скрестив на груди руки.

Итак, главное было решено. Теперь встал вопрос, каким образом осуществить намеченный план. Решили, что сначала нужно все объяснить управляющему помещика, приезд которого ожидался через несколько дней (управляющий всегда в это время года объезжал деревни),

а после этого начать переговоры с самим помещиком. Некоторые крестьяне стали спрашивать, как быть с рисом, оставленным для внесения арендной платы. Это был очень важный вопрос, и собравшиеся никак не могли прийти к единодушному мнению. Крестьянам было трудно принять безошибочно правильное решение и предусмотреть все от начала до конца; они обратились за советом к учителю. Учитель посоветовал крестьянам продать в городе все имеющиеся у них продукты и начать переговоры с помещиком после того, как отступать будет уже некуда. Учитель считал такой путь наилучшим, так как было вполне вероятно, что вначале переговоры с помещиком ни к чему не приведут. К тому же не исключено было, что помещик решит отобрать урожай силой.

У каждой отдельной семьи было бы нетрудно отнять принадлежащие ей продукты, и тогда единство крестьян было бы, вероятно, нарушено. Учитель считал, что предложенный им план действий поможет крестьянам избежать раскола. Крестьяне находились в таком безвыходном положении, что согласились с учителем, хотя предлагаемая им мера казалась им чересчур решительной. Конкретное осуществление принятых на собрании решений поручили нескольким наиболее активным крестьянам (к ним присоединился и учитель), которые должны были немедленно довести свои соображения до сведения всех остальных. На этом собрание закончилось.

Крестьяне стали расходиться; шли группками, обсуждая события дня. Ветер на улице не утихал. Нагнув вперед широкие плечи и втянув голову в воротник, крестьяне выходили из помещения.

Гэнкити тоже собрался уходить и уже натягивал куртку, когда в класс вбежали дети учителя и стали уговаривать его остаться поиграть с ними; они стащили с него куртку и повели в комнату. Гэнкити пришлось подчиниться их желанию. Дети любили играть с Гэнкити, потому что он всегда целиком отдавался игре. Однако на этот раз к нему никак не приходило то необъяснимо радостное, беззаботное настроение, за которое его так любили дети. Гэнкити все время чувствовал какое-то раздражение и никак не мог успокоиться. Поиграв немного, он все-таки решил уйти домой. Проходя мимо двери класса, он заглянул туда. Там совещалось несколько крестьян, оставшихся после собрания.

— Гэнкити, присаживайся, давай посоветуемся, — сказал ему молодой крестьянин.

Гэнкити что-то неразборчиво пробормотал в ответ и вышел.

«Куда вы идёте!» — подумал он.

Гэнкити видел, что ему надо как-то рассказать другим о своих мыслях. Крестьяне напоминали ему быка, который пьётся назад. На словах они все понимали, но вперед идти не хотели. А Гэнкити считал, что жалкие половинчатые меры не могут привести к каким-либо ощутимым результатам.

— Почему они не хотят пойти дальше? — думал он.

У Гэнкити с детских лет сложилось убеждение, что земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает, хотя до сих пор эти мысли, возможно, не принимали такую отчетливую форму. Много лет назад отец Гэнкити переселился с семьей на Хоккайдо. В те времена это означало рисковать жизнью. Приехав на Хоккайдо и не зная, куда деваться на этой снежной бескрайней равнине, над которой бушевала метель, родители Гэнкити ценой невероятных усилий отвоевали себе возможность существовать. Это была борьба буквально не на жизнь, а на смерть. В те годы в этих краях свободно разгуливали медведи. Они часто задирали лошадей и вытапывали поля. Как-то раз отец Гэнкити пошел на реку купать лошадь и увидел медведя, который, стоя у берега, ловил кету. Бледный как полотно отец прибежал домой. Голодные медведи бродили вокруг деревни. Ночью в каждом крестьянском доме поддерживали огонь. Звери боялись огня. Гэнкити до сих пор помнил, как мальчиком он, бывало, дрожал от страха, — ему казалось, что в окно заглядывает медведь.

С тех пор родители Гэнкити почти двадцать лет работали, не зная отдыха. Впоследствии, когда Гэнкити вырос, мать рассказывала ему, что отец в ту пору внезапно просыпался по ночам и выходил из дома. Сначала мать не придавала этому значения, думая, что он выходит за нуждой, но он почему-то очень долго не возвращался. Иной раз он приходил назад только через час, через два. Наконец, мать не выдержала и спросила у отца, где он бродит по ночам. «Хожу на поле», — засмеявшись,

ответил отец и больше ничего не сказал. Как-то ночью Сэки, все больше дивясь странному поведению мужа, отправилась вслед за ним. Она увидела, что он бродит по полю в темноте. Матери стало страшно. Присев на корточки, она стала наблюдать за ним. Отец остановился посреди поля и долго стоял неподвижно. Так прошла добрая четверть часа. Потом отец перешел на соседнее поле, там тоже постоял некоторое время. После этого он отправился на самый дальний свой участок. Мать терялась в догадках, не понимая, что означают эти ночные прогулки.

Позднее, когда она все-таки заговорила об этом с отцом, он, смеясь, ответил:

— Дурочка. Я просто люблю свою землю. Люблю, понимаешь? И тревожусь, как бы с ней чего не случилось.

И потом уже серьезно добавил:

— А ты если уж просыпаешься по ночам, так смотрила бы лучше, чтобы ребята не сбрасывали с себя одеяло, а то еще, неровен час, простудятся.

Но вот пришло время, когда эта земля — источник и смысл всей жизни, — перешла в руки помещика. Умирая, отец только об этом и говорил, только об этом и сокрушался. И Гэнкити, тогда еще ребенок, всей душой разделял его горе. Не зря он вцепился зубами в ногу помещика.

«Земля должна принадлежать крестьянину» — эта мысль, может быть, выраженная не в такой форме и не так четко, поселилась в сознании двенадцатилетнего мальчика, видевшего печальную участь отца. Сначала Гэнкити, так же, как и другие крестьяне, еще не отдавал себе ясного отчета в своих мыслях, но постепенно они начали принимать все более определенную форму, которую подсказывала Гэнкити сама жизнь, а разговоры с учителем, по-видимому, еще больше укрепили его решимость. Земля должна принадлежать не помещику, а крестьянам — к пониманию этой простой и очевидной истины многие крестьяне приходили только к концу своей жизни, да и то не все — немало было таких, которые так и умирали, ничего не поняв.

«Я знаю, что говорю. Надо отобрать землю у помещика!» — для Гэнкити это были не просто слова. Ему

казалось: эти слова подсказаны ему всей жизнью покойного отца. Возвращаясь с собрания, Гэнкити сердился на своих односельчан, которые не хотели понять его и боялись заходить так далеко. «Ну, и пусть делают, как хотят, я от своего не отступлюсь...» — думал он.

7

По дороге домой Гэнкити напился. Когда он, пьяный, вошел в дом, его ждало письмо от Кацу из Саппоро.

«В Саппоро тоже снег и тоже холодно, — писал Кацу. — Труднее всего нам приходится зимой. В шесть часов утра надо уходить на завод. Зимой в это время так холодно, что даже у нас, молодых, все кости ломит. Надеваешь засаленную шапку, съезживаешься, берешь коробочку с завтраком и выходишь. Впереди и позади спешат такие же унылые фигуры товарищей. На работе зевать не приходится. С шести часов утра до пяти часов вечера находишься в непрерывном напряжении, словно натянутая тетива. С тех пор как я поступил сюда, двух молодых рабочих уже затянуло в машину. Из валов вышло что-то похожее на лохмотья или на мясо, провернутое через мясорубку.

Мне рассказывали, что жена одного из погибших стала заниматься проституцией, чтобы прокормить детей.

На заводе стоит вечный грохот. В первое время у меня даже дома в ушах все время шумело, будто я все еще нахожусь в цехе. У меня не было сил даже газету прочитать. Я уже начинал бояться, что совсем отупею от такой жизни.

В пять часов вечера (сейчас в это время уже совсем темно) гудит гудок, и можно идти домой, прочь от машин, которые пожирают людей. Чувствуешь себя измотанным вконец. Хочется сесть прямо там, где стоишь, и не двигаться. Конечно, по сравнению с рабочими, крестьяне живут еще хуже, еще более тупой и жалкой жизнью, но зато, как ни тяжел крестьянский труд, когда работаешь в поле, дышишь чудесным, чистым, как прозрачная вода, воздухом. За работой можно петь. В полдень ляжешь в поле навзничь и смотришь в небо, ничего не делая, или спишь. А здесь об этом и мечтать нечего! Мне хочется, чтобы ты понял, каково на этом заводе, не знаю только, как лучше объяснить тебе. Похоже, что

работаешь на огромной свалке, какие бывают на окраине города. В помещении темно, вонь и такая пыль, что дышать буквально нечем, грохот... да всего не расскажешь. Когда рабочие идут домой после смены, лица у них совершенно черные, одни глаза блестят, люди шатаются, словно пьяные.

Рабочие бедствуют точно так же, как и крестьяне, лица у них бледные, вид болезненный, они постоянно кашляют. Становится тяжело на сердце, как подумаешь об этом. Теперь я все чаще — может быть, это глупо с моей стороны — начинаю жалеть о том времени, когда я жил в деревне. В самом деле, ведь там, пожалуй, было все-таки лучше... Я не то, что ты, в деревне я никак не мог найти свое место. Я постоянно думал о том, что есть другая жизнь, лучшая, настоящая. Какая она — этого я себе совершенно не представлял, я только верил, что она существует. Теперь я понял, что, куда бы мы ни поехали, всюду нас ждет одно и то же. Мне объяснили это здесь. Ты, наверное, смеешься, что я стал так рассуждать. Ничего не поделаешь, уж такой у меня характер. Приехав сюда, я впервые понял, кто я такой, кто такие все мы, какое место мы занимаем в обществе и как с нами обращаются. Крестьяне тоже должны знать все это. Здесь есть люди, которые тайно занимаются изучением этих вопросов. С тех пор как я стал заглядывать к ним, я начал, хотя еще и не совсем ясно, понимать кое-что. Я поражен, я впервые узнал, что весь мир построен на чудовищном обмане. Когда начинаешь разбираться в этом, только диву даешься.

Но об этом напишу тебе подробно в другой раз. Как вы все живете? Я буду очень рад, если напишешь.

Твоя сестра тоже жалеет, что приехала в Саппоро. Мне не хочется, чтобы она работала официанткой, и я постараюсь подыскать ей другое место...»

— Знаешь, Гэн, О-Ёси-сан вернулась домой, — сказал Ёси, входя с улицы и обращаясь к Гэнкити, который пил воду на кухне. При этих словах Гэнкити застыл, не донеся до рта ковш. «Что?» — переспросил он, оборачиваясь.

— Ты лучше узнай у матери.

— Правда? — все еще не выпуская из рук ковш, Гэнкити беспокойным взглядом озирался вокруг в поисках матери.

— Где мать? — спросил он.

Ёси вышел во двор. В открытую дверь ворвался снег. Гэнкити словно оцепенел, по-прежнему держа ковш у самых губ.

— Куда-то ушла. Нигде ее нет, — сказал вернувшийся со двора Ёси.

Гэнкити, будто вспомнив что-то, залпом выпил воду и вышел на улицу.

Но не прошло и двух минут, как он вернулся обратно и остановился в сенях, устремив в пространство неподвижный взгляд. Потом опять взглянул на улицу, подумал немного, но тут же с досадой щелкнул языком и вошел в комнату.

Он быстро достал из стенного шкафа залоснившееся от грязи стеганое ватное кимоно и лег, укрывшись с головой. Ёси, забившись в угол, испуганно наблюдал за братом.

Поздно вечером мать рассказала «необычную» историю О-Ёси. К этому времени Гэнкити уже вполне пришел в себя; он встал и, ужиная, молча слушал мать.

В Саппоро О-Ёси сошлась с богатым студентом. Когда она забеременела, студент постарался отделаться от нее. Он происходил из богатой помещичьей семьи, владевшей большими земельными угодьями на Хонсю.

О-Ёси всячески старалась удержать студента. Но в конце концов он сказал ей: «Почем я знаю, чей это ребенок?» Между тем О-Ёси уже не могла больше работать в кафе. Она вернулась домой с большим животом, беременная на девятом месяце. Приехала она потихоньку уже дней десять назад. Отец О-Ёси запретил ей входить в дом. Для бедной крестьянской семьи она была всего-навсего лишней обузой; больше того — вскоре по ее милости должен был прибавиться еще один лишний рот. Шутка ли сказать, в какие траты она вводит семью! Отец уперся на том, чтобы больше не впускать в дом эту «распутную девку». О-Ёси вытолкнули в сени. Она валялась на полу, со слезами умоляя отца позволить ей жить хотя бы в кладовке.

Отец О-Ёси, встретив матушку Сэки, принялся жаловаться:

— Крестьянскую работу выполнять не может, избаловалась там, руки стали белые, нежные... Села на шею, дармоедка. Сушее наказание для родителей.

Сэки сочувственно вздохнула:

— Не знаешь ли какого-нибудь верного средства? — спросил отец О-Ёси, а когда мать не поняла, пояснил:

— Вытравить этот плод.

— Что ты! — испугалась мать.

— Голова кругом идет... — охваченный беспокойством и тоской отец О-Ёси схватился руками за голову и, пошатываясь, побрел домой.

— Все-таки лучше бы не прибегать к таким мерам, — сказала мать, передавая этот разговор Гэнкити. — В таком состоянии это опасно.

Гэнкити не возражал и не поддакивал ей. Понизив голос, мать продолжала:

— Люди поговаривают, что О-Ёси вовсе не так уже хотела уезжать из дома в этот самый Саппоро...

— Не хотела? — Гэнкити взглянул на мать.

— Ну, видишь ли, без нее одним ртом в семье меньше, да и земли у них мало!.. Одно к одному, ну, и стало ей тяжело сидеть дома...

— Это правда?

— Она сама говорила об этом их соседу — этому, как его, Иси, что ли? — когда уезжала.

Гэнкити, с волнением слушавший мать, перевел дыхание, отвернулся и снова замолчал.

— Бедняжка! У нее нет денег, чтобы показаться акушерке, да и стыдно ей. Братишка О-Ёси говорит, что она каждый день пишет письма в Саппоро, а когда приходит почта, всегда ждет у двери, но ответа ни разу не получила.

Каждое слово матери больно отдавалось в сердце Гэнкити.

В первый момент, когда Гэнкити услышал, что О-Ёси вернулась, в нем вспыхнул гнев. «Дрянь!» — думал он, крепко сжимая кулаки. Сгоряча он даже хотел бежать к ней в дом.

Но теперь, слушая неторопливый рассказ матери, Гэнкити и сам уже не мог сказать, ненавидит он или жалеет О-Ёси. Он живо представлял себе, как похудевшая, с ввалившимися щеками О-Ёси стоит у дверей дома в ожидании почтальона. Слабенькая, с задумчивым взглядом, она неотступно стояла у него перед глазами. Он представлял себе ее изменившуюся фигуру... Но при этой мысли Гэнкити, словно отгоняя от себя этот образ, крепко зажмурил глаза. Сердце его болезненно сжималось, ему было невыносимо горько.

На следующий день до Гэнкити дошли толки о том, что О-Ёси, которая сначала упорно отказывалась от лекарства, в конце концов согласилась принять его. Говорили, что она решилась на это после того, как отчаялась получить ответ на свои письма. В самом деле, что ждало бы в будущем ее и ребенка? Гэнкити чувствовал такую растерянность, как будто все это касалось непосредственно его самого.

— Вранье все это, — сказал он.

— Нет, это правда, правда, — убеждала его мать так, точно она все видела своими глазами. — Бедняжка! Пьет лекарство, а у самой полные глаза слез. А потом, когда выпила, на нее было жалко смотреть — уткнулась в подушку и тихонько плачет...

— Ну и дура, — грубо сказал Гэнкити и, поднявшись, отошел от матери.

Вечером, когда сели ужинать, Гэнкити неожиданно спросил:

— Ну и что, выкинула она ребенка?

Мать молча уставилась на него.

— О чем это ты?

Гэнкити покраснел. Этот вопрос вырвался у него слишком неожиданно.

— Да Ёси-то? — запинаясь, пояснил он.

— Ёси? Ах, ты об О-Ёси? — сообразила, наконец, мать. — Нет, еще не выкинула. Хорошо, если все обойдется благополучно...

Несмотря на то, что крестьяне приняли на собрании определенное решение, теперь, когда нужно было иметь дело с помещиком и с его управляющим, все как-то заколебались. Сами того не замечая, они снова возвращались к старому, начиная сомневаться: может, все-таки лучше как-нибудь перетерпеть? За долгие годы жизни крестьяне привыкли находиться в безвыходной, как трясины, нищете, и совсем не удивительно, что многие из них все еще по-прежнему считали, что в этой жизни нужно терпеть и дальше. Гэнкити, еще более молчаливый, чем всегда, сидел у очага, скрестив ноги, и насмешливо думал про себя: «Видали таких? Когда у вас доходит до дела, вы всегда на попятную».

Наконец дня через два или три в деревню Кавабутино-сава, где из-за невзноса арендной платы крестьяне подлежали выселению, прибыл управляющий. Он распорядился, чтобы с наступлением весны арендаторы освободили дома, так как землю предполагалось использовать по-другому. Женщины и дети громко плакали — по всей деревне стоял вой, мужчины пришли рассказать о случившемся организаторам собрания. Крестьяне, составившие «актив», заволновались. Все снова собрались в школе и вновь принялись обсуждать создавшееся положение, как будто впервые столкнулись с этим вопросом.

— Во что бы то ни стало надо действовать, — настаивали старшие. В ответ на такие речи больше никто не возражал. Низко склонив головы, крестьяне крепко задумывались над словами стариков. Многие начали понимать, что ничего другого действительно не остается.

Крестьяне много раз возвращались к одному и тому же и, наконец, решили: «Надо попросить помещика понастойчивей».

После этого все разошлись.

Управляющий, приехав для сбора арендной платы, остановился у известного в деревне Маруяма, который скопил небольшой капитал. Узнав об этом, Исияма, самый молодой и энергичный из всего актива, отправился передать управляющему составленное учителем «заявление», в котором было так много иероглифов, что смысл написанного сам Исияма понимал лишь весьма смутно. Управляющий, ужиная, слушал, как красный от волнения Исияма, заикаясь, излагал суть дела, без конца повторяя одно и то же. Когда с ужином было покончено, управляющий вынул из длинного рукава очки, тщательно протер одно за другим оба стекла и сказал: «Ты зачем сюда пришел? Хочешь, чтоб я тебя в полицию отправил?»

Прочитав заявление, он закричал: «Скоты! Убирайся вон!» — и швырнул заявление Исияма.

— Когда это крестьяне успели так обнаглеть? — вмешался в разговор Маруяма, который, сидя рядом, выковыривал застрявшую в зубах пищу.

При этих словах к Исияма вдруг вернулась его обычная смелость.

— Успели, как видите, — резко отрезал он.

Маруяма спокойно начал говорить о том, что крестьянам не следует так поступать, что помещик их отец,

а все они — его дети, и поэтому нужно работать, терпеливо перенося все лишения, выпадающие на их долю. Пусть Исияма передаст его слова всем остальным, а он, со своей стороны, попросит господина управляющего простить их.

— Черта с два! — Исияма выбежал на улицу.

Пройдя немного, он заметил, что забыл у Маруяма шапку. Он с досадой остановился, но не пошел обратно, а побежал дальше, туда, где «актив» ждал результатов его переговоров.

Узнав о том, как управляющий принял их просьбу, крестьяне, наконец, ожесточились. Стихийное возмущение охватило все сердца. Определенную роль сыграл, разумеется, и «актив». Многие сами приходили к Исияма, чтобы узнать, как идут дела, хотя специально никого не приглашали. Крестьяне — молчаливый народ, но теперь и они заговорили, немногословно, но мрачно и раздраженно. Несмотря на то что снег уже лег и пора было идти в горы, Гэнкити и другие молодые крестьяне не могли покинуть деревни, пока не выяснилось, как обернется дело. Все были так возбуждены, что все равно не смогли бы спокойно работать. Собираясь в доме у Исияма и прислушиваясь к разговорам, которые там велись, крестьяне, особенно молодые, начинали постепенно понимать смысл той истины, что «власть помещика противоречит здравому смыслу». Сначала это их удивляло, но потом, забывшись, они уже сами стали называть помещика «скотиной». Когда собиралось много народа, директор школы, сопровождая свою речь усиленной жестикой, рассказывал о Сакура Сого¹, о «Распятом Мондзаэмон»² и других людях, пожертвовавших собой во имя справедливости. Несмотря на всю косность крестьян, его слова какими-то неведомыми путями западали им в душу. Потом учитель, словно шутя, добавлял, что было

¹ Сакура Сого (XVII в.) — вождь крестьянского движения. По поручению крестьян отправился в столицу просить правительство об уменьшении налогов. Был схвачен и распят вместе с женой и детьми.

² «Распятый Мондзаэмон» — историческая драма прогрессивного писателя Сэйкити Фудзимори (р. в 1891 г.). Герой пьесы — вождь крестьянского восстания, пожертвовал жизнью ради народа. Казнь на кресте была обычной карой для восставших крестьян в средневековой Японии.

бы неплохо, если бы у них на Хоккайдо тоже вдруг появился свой Сого. Крестьяне начинали серьезно задумываться над своей жизнью.

Поняв, что переговоры с управляющим ни к чему не приведут, крестьяне, разгневанные его высокомерием, собравшись с духом, решили обратиться прямо к помещику. Нашлось трое новоявленных «Сого», которые готовы были взять на себя выполнение этого важного дела.

К выборным присоединились еще два человека из актива. Впятером они должны были отправиться в город на дом к помещику. Остальные члены актива, по двое, по трое, стали обходить дома, объясняя, что теперь всем нужно еще теснее сплотиться и действовать заодно, так, чтобы не нашлось ни единого предателя, ставшего на сторону помещика.

Старухи убеждали «активистов» в неизбежности постоянных горестей в жизни, рассказывая в подтверждение своих слов о том, что пережили когда-то сами. Потом они начинали упрашивать, чтобы с «господином помещиком» не обошлись как-нибудь грубо. Были и такие, которые ничего не хотели слушать, крича: «Я своего сына не пушу, вели ему сейчас же вернуться!» Третьи повторяли: «Все равно из этого ничего не выйдет», и в ответ на все доводы упрямо твердили свое. Четвертые с сомнением спрашивали: «Нет ли какого-нибудь другого выхода?» Или предостерегали: «В случае неудачи все с голоду пропадем».

Бывало и так, что кто-нибудь из «активистов» заходил в дом к девушке, за которой ухаживал, и на него там неожиданно набрасывались: «У, непутевый!». Случалось, впрочем, и так, что, явившись под предлогом общественного дела в дом своей милой, парень усаживался на пороге и долго наслаждался беседой совсем на другие темы. Как бы то ни было, обход провели. Наконец, все, усталые, возвратились в дом Исияма.

Крестьян, которые поехали к помещику в город, выгнали из его дома, как приبلудных собак; их даже на порог не пустили.

— Экие мерзавцы, да я вас всех скопом отправлю в полицию — смотрите, не попадайтесь мне больше на глаза под сердитую руку! Приеду с чиновником и конфискую все ваше барахло!

Когда они выходили из дома помещика, их всячески ругали вслед. Они вернулись домой потрясенные, с полными слез глазами.

Члены актива и учитель договорились немедленно сообщить о том, что произошло в городе, всем крестьянам, с тем, чтобы использовать всеобщее негодование для окончательных и решительных действий.

Куй железо, пока горячо. Одновременно было решено, что учитель поедет в город и договорится там о продаже зерна, оставленного для уплаты аренды. С этим тоже нельзя было медлить.

— Единение! Единение! Объединимся все как один! — кричали крестьяне, употребляя услышанное от учителя новое для них слово «Единение».

8

В это утро крестьяне деревни Хигаси-мура (к ним присоединились и крестьяне из деревни за рекой) еще затемно нагрузили сани зерном. Дуя на заочевенвшие руки, Гэнкити выводил из конюшни взнузданную лошадь. Лошадь хлестала себя хвостом по бокам и звенела упряжью. Она упиралась и не хотела выходить из конюшни на мороз.

Гэнкити, покрикивая, тянул ее за повод. Лошадь, вытянув вперед длинную морду, не трогалась с места и била копытами о дощатый настил.

— Но-о... но-о... Вперед!.. — понукал Гэнкити. — Нноо...

Наконец, лошадь была запряжена, и Гэнкити вошел в дом подождать, пока подъедут остальные. Мать, вытирая тыльной стороной руки воспаленные красные глаза, прибирала остатки завтрака. Ёси, поставив ноги на очаг, смотрел на улицу в открытую дверь.

— Ох, лучше было бы оставить все это.

Мать твердила это ежедневно при каждом удобном случае с тех пор, как было решено ехать. Она без конца повторяла снова и снова одно и то же.

— Ведь это страшное дело — противиться господину помещику. Ох, неладно задумали!

За долгие годы суровой жизни старые люди привыкли мириться со всеми бедами.

Такой дерзкий поступок, как продажа зерна, предназначенного для уплаты аренды, просто не укладывался у них в голове.

Гэнкити слушал мать, не возражая ни словом, ни жестом. Он был всегда молчалив. Но его обычная молчаливость приобрела какой-то особый характер с тех пор, как крестьяне решили добиться снижения арендной платы. Мать видела это. Когда Гэнкити мрачнел, от него нельзя было ожидать ничего хорошего. Перед выполнением какого-нибудь трудного дела он становился молчалив и тверд, как железо. Зная сына, мать боялась беды. Вот почему у нее снова вырвалась привычная жалоба:

— Раньше такого не бывало, вот уж, действительно, затеяли неладное!

Гэнкити сел на порог и с досадой поскреб голову.

— Ох, наживете вы беду!

Ёси, протянув ноги к огню, переводил взгляд с брата на мать. Мальчик не понимал, о чем они говорят.

— Вот увидите, добром это не кончится, — со слезами в голосе продолжала мать. — Из-за вас придется нам всем и впрямь голодать. Ты очень-то не вылезай вперед, слышишь, Гэн? — несвязно и нудно бормотала она.

Гэнкити взглянул на нее. У нее были грязные, спутанные седые волосы, на шее обозначились старческие жилы. Сгорбленная, сутулая, она вместо obi была подпоясана шнурком. Вся она казалась маленькой, с кулачок. Казалось, он только сейчас заметил все это. «Да, постарела» — подумал он.

Гэнкити ехал в город без всякой охоты. «Ну, что ж, сами увидите, что выйдет из ваших полумер», — думал он.

Вскоре издалека послышался звон колокольчиков.

— Едут, Гэн, — сказал Ёси, прислушавшись.

Гэнкити энергично вскочил и вышел на улицу.

Мать, вздохнув, забормотала что-то себе под нос и, разогнув спину, посмотрела на улицу.

— Смотри, будь осторожен, — сказала она вслед Гэнкити.

Гэнкити, обернувшись, посмотрел на мать, но, ничего не сказав, вышел на улицу, прикрыв за собой дверь.

Было слышно, как отъезжавшие понукали лошадей и разбирали вожжи, перебрасываясь словами.

Разгоряченные лошади взмахивали гривой и ржали. Один за другим звякали колокольчики — было похоже, что подъезжало больше десятка саней. Ёси, выглядывая из окна, рассказывал матери, сколько лошадей он насчитал и кто из соседей приехал. Шум постепенно усиливался. Ржанье лошадей, звон колокольчиков, голоса крестьян, окликавших друг друга, звенели в воздухе. Ёси вплотную прижался лицом к стеклу и смотрел во все глаза. Мать сердито ворчала: «Вот наказание! Бесполезно все это». Она даже не вышла на улицу.

Вскоре сани тронулись. Звон колокольчиков отчетливо разносился в холодном, морозном воздухе. Голоса крестьян, понукавших лошадей, щелканье кнутов, лошадиное ржанье — все это, доносясь до слуха, словно предвещало, что должно произойти что-то большое, важное.

Сани за санями проезжали мимо. Кто-то, остановясь у дома Гэнкити, окликнул Сэки. Мать, наконец, открыла дверь и вышла. Почти все уже проехали.

— Ну, бабушка, до свидания! — крикнул ей Иси Судзуки.

Вскоре на расстилавшейся без конца и края равнине, покрытой сплошной пеленой снега, показалась цепочка саней, весело мчавшихся по петлявшей дороге. Мелодично позвякивали колокольчики. По временам над дорогой поднималась сверкающая снежная пыль. Передние сани то почти совсем исчезали из глаз едущих позади, то вдруг снова показывались на крутом повороте дороги и казались маленькими, точно игрушечными. Цепочка саней, растягиваясь, сжимаясь, извиваясь, казалась тонкой нитью. Она отчетливо выделялась на снежной равнине. Звон колокольчиков то доносился издалека, то вдруг, казалось, раздавался совсем рядом. Мать, словно оробев, стояла неподвижно, провожая глазами удаляющуюся вереницу саней. Потом, опомнившись, она несколько раз прошептала слова молитвы.

Было условлено, что крестьяне из актива выедут вперед и будут ждать остальных в городе.

Снежная дорога стала сужаться; впереди показалась полоска снегозащитной роши, вскоре за ней стали видны телеграфные столбы и столбы линии электропередачи, похожие на поставленные в ряд карандаши. Отсюда можно было различить медленно поднимающиеся

в небо дымки топящихся печей, тоненькие, как струйки папиросного дыма. До города было уже недалеко.

— Здорово, а? — сказал, обернувшись, Фусако, ехавший впереди Гэнкити. — Здорово едем, правда?

Гэнкити пробормотал в ответ что-то неразборчивое.

Морды лошадей и вся упряжь покрылась пеной. Лошади высовывали языки, тяжело дышали и с трудом переставляли худые, как палки, ноги. У Гэнкити, так же как и у других, отощавшая лошадь совершенно выбилась из сил. Когда она неожиданно увязала ногами в глубоком снегу, ему казалось, что она вот-вот упадет. Гэнкити думал о том, что с лошадей нужно что-то делать. Может быть, даже продать.

Более десятка саней, дружно и громко звеня колокольчиками, быстро неслись по снегу равнины, едущие сзади перекликались с передними. Даже у нерешительных крестьян настроение было твердым, боевым, все чувствовали, что им ничто не страшно. Обычно тихий Фусако, которому уже давно перевалило за сорок, сказал Гэнкити:

— Если эта скотина помещик вздумает гадить, здорово ему от нас достанется.

Это настроение без слов, без лишних фраз завладело всеми, сплотив их в один мощный кулак. Сейчас они могли бы смести любое препятствие на своем пути, как конница, которая, врываясь в ряды врага, рассеивает его и топчет копытами.*

За снегозащитной рощей был железнодорожный переезд.

Передние крестьяне, откидываясь назад всем телом и изо всей силы натягивая вожжи, остановили запаренных лошадей и спросили у сторожа про поезд.

Знакомый сторож вышел к ним с намотанным на палку белым флажком.

— Ишь, как вас много-то... Куда это вы собрались? Поезда еще нет. Проезжайте.

— Трогай!

Остановившиеся на минуту сани снова двинулись друг за другом. По дороге, идущей вдоль железнодорожной линии, от переезда до города оставалось меньше десяти тѐ¹.

¹ Тѐ — 109 метров.

Решительная минута приближалась. У въезда в город они заметили небольшую группу людей. Что это за люди, определить было трудно. Крестьянин, ехавший впереди, что-то громко кричал и, подавая какой-то сигнал, замахал шапкой. Люди у заставы стояли неподвижно и смотрели на подъезжавших. Наверное, они не поняли, что сигналы предназначаются им, потому что продолжали стоять все так же безмолвно и неподвижно.

Внезапно они все разом повернулись и побежали навстречу крестьянам.

Несколько человек, ехавших впереди, вскрикнули от неожиданности и быстро осадили лошадей. Задние лошади с разбегу ударились копытами в передние сани.

— В чем дело? — слышалось сзади.

— Давай, давай, — кричали другие, упав ничком в сани или вывалившись в глубокий снег.

— Беда! Полиция!

У всех захватило дух от страха, на несколько мгновений все остоленели.

— Полиция?!

Действительно, это были полицейские.

Полицейские! Крестьяне никогда раньше не имели с ними дела. От страха у них буквально подкашивались ноги. Без всякого труда их под охраной доставили в участок. Там уже находились приехавшие раньше члены актива. Помещик, сидя на стуле и наблюдая, как крестьяне входят один за другим, громко хохотал. До позднего вечера крестьяне дрожали в маленькой комнатухе позади полицейского участка, куда их втокнули. В камере дежурило трое полицейских, так что нельзя было обменяться ни словом. С улицы доносилось ржанье лошадей, и было слышно, как они бьют копытами о землю. Глубоко засунув руки за пазуху, повесив головы, крестьяне стояли, как цапли, на одной ноге, прижимая поднятую ногу к голени и ляжке другой, чтобы пальцы не онемели от холода.

Их по одному вызывали из комнаты и допрашивали. Из-за двери отчетливо доносились хлещущие звуки пощечин, странные тупые удары и звуки, похожие на грузное падение тяжелого предмета. Слышались тихие стоны и вскрикивания, похожие на писк раздавленной мыши. В такие мгновенья крестьяне невольно задерживали

дыхание. Однако они могли обмениваться только тревожными взглядами. Дверь рывком открывалась, и шатающегося человека вталкивали в камеру с такой силой, что он распластывался на полу.

У некоторых из носу шла кровь, заливающая все лицо, словно человека только что вытащили из-под поезда. У других лицо представляло собой сплошную лиловую опухоль. Зрачки закатились, губы судорожно подергивались. В каком-то странном оцепенении каждый напряженно ждал своей очереди.

Гэнкити резко ударили по лицу. Он весь съежился, точно проткнутый резиновый мяч.

— Это ты всех подбил!

Гэнкити инстинктивно закрыл руками лицо. Его снова ударили. Нос и лицо онемели, словно ему дали понюхать какое-то сильно действующее лекарство... Он повалился навзничь. Голова кружилась. Упираясь обеими руками в пол, он старался приподняться. Из носа на руки капала теплая кровь.

Стоявший рядом полицейский бил Гэнкити куда попало вложенной в ножны саблей, которую полицейские обычно носят у пояса.

— Мерзавцы, до чего упрямы! Грязное мужичье, а туда же — бунтовать!..

Подошли еще несколько полицейских и стали бить Гэнкити ногами. Гэнкити уже плохо понимал, что с ним происходит.

— Ну как, сладко?

Гэнкити уже ничего не сознавал. Веки стали такими тяжелыми, что он не мог открыть глаза. Все лицо было словно замазано глиной, и когда он попытался закрыть лицо рукой, то не ощутил даже прикосновения собственных пальцев.

— Это ты всех подбил! Признавайся!

Слова полицейского доносились до Гэнкити словно откуда-то издалека.

— Ишь какой здоровенный, мерзавец!

Гэнкити, пошатываясь, приподнялся. У всех вырвался возглас удивления. Его опять швырнули на пол. Гэнкити застонал. Ему показалось, будто легкие у него сжимаются. Острая боль пронзила тело. Потом почудилось,

будто он погружается в какую-то пучину... После этого Гэнкити уже ничего не помнил.

Вечером через три дня большинство крестьян выпустили. Члены актива остались в полиции — их должны были отправить в Саппоро.

Сгорбившись, все сели в привязанные около полицейского участка сани, теперь пустые, и пустились в обратный путь. Холодный ветер жег избитые лица и спины... Бушевала метель. За городом крутились снежные вихри. Все укрылись поверх пальто рогожами и циновками и съежились, как могли. Вереница саней, побрякивая колокольцами, уныло возвращалась домой в вечернем, все крепчавшем морозе. Крестьяне молчали. Никто не смотрел друг на друга. Да и не хотелось смотреть.

За железнодорожным переездом метель мела всюю — ничего не было видно, словно опустили огромный белый занавес. С востока постепенно надвигалась темнота. Дорогу на равнине совершенно замело. Снегозащитная роща, мимо которой проезжали крестьяне, жутко стонала под ударами снежной пыли и ветра. На фоне белого неба и белой земли, как на картине с размытыми контурами, темным пятном выделялась одна эта роща. Деревья качались и гнулись под порывами ветра. Когда крестьяне выехали на плоскую равнину, сани Гэнкити оказались в конце — он сильно отстал. Но Гэнкити даже не замечал этого.

Он изо всей силы стискивал зубы. Горечь переполняла его сердце. «Ненавижу!» Его душила злоба и ненависть. Гэнкити впервые по-настоящему понял, что значит быть «крестьянином».

«Умру, но отомщу этим сволочам», — думал он. Теперь Гэнкити хорошо знал своих врагов. Да, это были враги! Он их видел. «Растерзать их, отрубить им головы, искромсать им лица серпом». — Нет, и этого ему было бы недостаточно. Его врагами были не только полицейские, но и все остальные «прохвосты», все, кто заодно с ними. «Ненавижу! Подлец помещик! — Гэнкити изо всей силы стискивал зубы. — Помогите еще!»

Снег то бил прямо в лицо, то налетал сбоку, то сзади. Лошадь Гэнкити стала совершенно белой, она переставляла ноги, подкидывая тощим, как у старого крестьянина, задом. Изредка она ударяла себя хвостом по бокам. Ветер относил хвост в сторону. Побелевшая грива

развевалась по ветру. Впереди виднелось не больше двух-трех упряжек, остальные то неожиданно показывались среди метели, то вдруг исчезали. Звон колокольчиков, временами совершенно неслышный за вьюгой, вдруг чудился ближе, чем это было на самом деле. Ветер страшно завывал над равниной. Надвигались сумерки.

— Еще попомните!

Было невыносимо холодно. Стужа проникала сквозь накиннутую поверх куртки циновку, сквозь кимоно и рубашку, добиралась до самого тела. Мелкий, как мука, снег маленькими кристалликами сверкал на одежде. Руки и ноги ломило. Ноздри, губы, уши, нос одеревенели, при малейшем движении кожа на лице трескалась, причиняя нестерпимую боль. Сани доехали до просеки в смешанном лесу. Это был лес, росший вдоль берега реки Исикари. Только теперь все с облегчением убедились, что не сбились с дороги. Возвращаясь из города в метель, люди, случалось, теряли дорогу и только на следующее утро, едва живые, замечали, что едут совсем не в том направлении. Трудно было ориентироваться на равнине.

Лес качался с жалобным стоном, как будто кто-то тоненько скулил среди деревьев. Когда лес кончился, ветер с завываньем обрушил и понес вперед снежный вихрь так стремительно, словно хотел нанести удар в самое сердце равнины. Сейчас же вслед за этим сзади налетел новый, еще более сильный порыв ветра. Рядом с ехавшими впереди Гэнкити санями метель закрутила высокий страшный смерч. Подхваченный порывом ветра, смерч, словно мраморная колонна, прямо на глазах перенесся через сани. Циновку, которой накрылся возница, сорвало, и она заплясала высоко в воздухе. Ветер, вырвавшись на свободу, становился все сильнее и сильнее.

— Попомните еще, мерзавцы!

В душе у Гэнкити все бушевало так же, как эта снежная буря. Он взглянул на дорогу. Фигура крестьянина, сидевшего на передних санях, сгорбленная, жалкая, похожая на бесформенный узел, напомнила ему всю безотрадную жизнь. В воображении Гэнкити отчетливо встали эти люди, прозябающие в беспросветной, вечной нужде, люди, которые, как муравьи, живут и не знают, больше того, даже не пытаются узнать своих врагов, похожих на хищных насекомых. Теперь-то они, наверное, поняли, наконец, кто их враги и какие это мерзавцы.

Но смогут ли снова подняться эти незлобивые люди, с которыми обошлись так чудовищно несправедливо? Да, подняться снова и на этот раз по-настоящему, вооружившись мотыгами и серпами? Смогут ли они вонзить оружие в сердце врага?

«Бесполезно, бесполезно... может быть, все бесполезно... — думал Гэнкити. И все-таки он стискивал зубы от ненависти: — Попомните же!» — Он был вне себя, точно пьяный.

9

Вернувшись в деревню, Гэнкити двое суток не вставал с постели. Крестьянские домишки, словно мусорные ящики, разбросанные там и сям среди снега, выглядели безнадежно уныло. Все в деревне растерялись, как люди, у которых неожиданно отняли что-то самое дорогое. Гэнкити не мог уснуть, его возбуждение не проходило. Мать принесла ему еду к изголовью и, как всегда, принялась со слезами охать и причитать.

— О-Ёси приходила, — вдруг, точно вспомнив, сказала она.

— Ах, эта!.. Пропади она пропадом, — грубо ответил Гэнкити, не изменившись в лице.

— Что ты?! Она сказала, что хочет поговорить с тобой. Совсем исхудала. Стала такая бледная, едва на ногах держится...

— Позарилась на чистенького сынка богача.

— Разговаривала со мной, а сама все рукой за дверной косяк держится... Очень уж слаба...

Мать стала неторопливо рассказывать про О-Ёси.

О-Ёси все еще не потеряла надежду получить письмо от студента. Случалось, она видела во сне, что надежда ее сбылась; она вскрикивала от радости, но тут же просыпалась от звука собственного голоса. Однако чувства ее постепенно изменились. В первое время она все еще любила студента. Эта любовь была для нее важнее всего, именно потому она так ждала от него письма. Но письма все не было, а О-Ёси, несмотря на все лекарства и заклинания, не удавалось избавиться от ребенка. Тогда О-Ёси стала ждать письма уже не ради себя, а ради ребенка, которому предстояло родиться.

Несмотря на беременность, она все время работала.

Когда у нее начинались боли, она бежала в сарай и там стонала и корчилась в одиночестве. Как-то раз, когда у нее неожиданно начались боли и она, схватившись за живот, со стоном повалилась в комнате на пол, невестка в сердцах сказала: «Срам-то какой!..» С тех пор О-Ёси, почувствовав боли, убегала в сарай. Во время работы ей иногда становилось дурно. Стены вокруг начинали качаться, и все плыло, кружась, перед глазами. О-Ёси готовила еду для семьи. Сделав все, что нужно, и подав обед на стол, она забивалась в угол и сидела там молча, погруженная в свои мысли. Потом она убирала за всеми и тихонько ела сама, если ей что-нибудь оставляли.

Как-то раз в холодный зимний вечер О-Ёси на минуту прервала работу и о чем-то задумалась. В это время в дом вошла невестка с полным ведром воды. Ходить за водой в холодную пору не очень приятно. А тут еще невестка увидела, что О-Ёси стоит без дела.

— Ах ты распутница, ах ты дармоедка! — закричала невестка и выплеснула на О-Ёси ковш воды.

— Что ты делаешь! — разгневанно обернулась к ней О-Ёси.

— Потаскушка, какая теперь из тебя работница! Дармоедка!

...Гэнкити слушал рассказ матери, но не чувствовал жалости к О-Ёси. Напротив, он с ненавистью думал, что этого ей еще мало. Вся любовь, которую он когда-то испытывал к девушке, совершенно исчезла.

— А мне-то до нее какое дело? — сказал он матери.

— Она спрашивала, когда ты приедешь. Я ответила, что не знаю, и она ушла, ничего не сказав.

Прочь от О-Ёси! Гэнкити, распухшее лицо которого так болело, что казалось совсем чужим, думал только об одном: О-Ёси предательница, продавшая свое тело. И кому, подумать только, кому! Врагам! Подвесить бы эту распутницу вниз головой, скрутить, убить! Прочь от меня!

Через несколько дней по деревне пошел слух, что помещик собирается отнять землю у крестьян, замешанных в недавних событиях. По-видимому, эти слухи распространял управляющий. Крестьяне, растерянные, подавленные, жили в постоянном страхе. Земля была для них

вопросом жизни и смерти. Тут уж нужно было по-настоящему объединиться и всем вместе противостоять помещику. Но активисты были арестованы, другие жестоко избиты в полиции, и люди чувствовали, что они бессильны что-либо предпринять.

О-Ёси мыла посуду в полутемной кухне. Дома никого не было — брат с женой уехали в город, а отец отправился на похороны к соседям. «Из-за тебя стыдно людям на глаза показаться», — сказал он, уходя.

— Ох, больно! — О-Ёси вдруг задохнулась от боли, мышцы лица напряглись, рот исказился. «Опять», — подумала она. Ее охватило отчаяние. Бросив немытую посуду, О-Ёси схватилась рукой за перегородку кухни и, согнувшись, тихонько стонала, стараясь перетерпеть боль. Боль возобновлялась через ровные промежутки времени, и с каждым новым приступом все плыло перед ее глазами. О-Ёси уронила голову на руки и некоторое время не двигалась. Боль не утихала и с каждым новым приступом становилась все сильнее и сильнее.

— Оо... Ох, ох... — О-Ёси показалось, что вся нижняя половина тела онемела; не помня себя, она опустилась на пол и вдруг отчетливо ощутила, как в животе ее двинулся ребенок. В тот же миг страшная мысль мелькнула в ее голове. Теряя сознание, корчась, она выползла из кухни. От невыносимой боли зрачки у нее закатились, она не понимала, где она, что с ней.

— Больно... ох... больно... — она скрежетала зубами, дергаясь всем телом, словно в конвульсиях. Ползком она добралась до чуланчика, который находился за кухней.

В чулане было темно. Здесь стоял кисло-сладкий запах соломы, пахло картошкой и бобами, гниющей редькой, селедкой. От смеси всех этих запахов О-Ёси затошнило. Зашуршала солома, О-Ёси смутно поняла, что это бегают крысы. Сжавшись в комочек, как сброшенная на землю гусеница, О-Ёси ждала, когда утихнет боль. Она думала обо всем, что случилось с ней. Мысли беспорядочно путались.

Некоторое время спустя, светя себе фонарем на заснеженной дороге, из города возвратился брат с женой. Дверь дома была приоткрыта. Внутри никого не было. Оба знали, что отец ушел попрощаться с покойным соседом, но О-Ёси должна была остаться дома. Невестка

с досадой прищелкнула языком, словно окончательно махнула рукой на беспутную девушку. Часов в девять вечера вернулся отец.

— А где О-Ёси?

— Мы вернулись в семь, но ее дома не было.

— Не было дома?..

Все трое вдруг почувствовали беспокойство. Обыскивали дом. Потом зажгли фонарь и осмотрели уборную и конюшню. О-Ёси нигде не было. Невестка, у которой от холода и от смутного предчувствия чего-то недоброго стучали зубы, старалась ни на шаг не отходить от мужчин. У входа в чулан всем троем стало страшно — ведь больше искать было негде. Распахнули дверь и стали осматриваться, светя себе фонарем. Круг света прыгал по полу, освещая бочки с соленьями и наваленную солому. О-Ёси не было.

— Ну-ка, посвети немножко подальше, — отец вошел в чулан и вдруг задел головой о что-то тяжелое и мягкое.

— Ой!

Не в силах вымолвить ни слова, отец застыл на месте, как будто оглушенный внезапным ударом. Свет фонаря падал вниз, и верхняя половина чулана тонула во мраке. Все трое, прижавшись друг к другу, едва держась на ногах от страха, выскочили из чулана, как будто какая-то невидимая сила неудержимо влекла их наружу. Брат с женой, задыхаясь, кинулись к соседям. Те, в свою очередь, сообщили страшную новость другим. Спустя недолгое время собралось десятка полтора человек.

Пришел и Гэнкити. Переговариваясь между собой, все вошли с зажженными фонарями в чулан. О-Ёси висела немного поодаль от входа. Тяжелое тело, на которое только что наткнулся отец, все еще медленно раскачивалось от толчка то вправо то влево, описывая неуловимую для глаза кривую.

Крестьяне стояли молча, прикрыв руками рты, вытянув вперед фонари. Всем было жутко при виде слегка качавшегося трупа. Лицо О-Ёси посинело и застыло в странной гримасе. К одежде пристала солома.

Потом, когда обыскивали дом, обнаружили два письма; по-видимому, О-Ёси написала их недавно. Одно было адресовано Гэнкити, другое отцу. Дальнейшие тщательные поиски ничего не дали — как ни странно, О-Ёси не оставила письма студенту, которого любила. Услышав

об этом, Гэнкити почувствовал, что сердце у него больно сжалось.

«Я умираю с ненавистью, страшной ненавистью в сердце к этому богачу... Я иногда думала, что не должна умирать, пока не отомщу за все богачам. Так и следовало бы поступить. Но я женщина (хотя само по себе это еще не препятствие), больше того, я самая презренная из женщин — я предательница. Теперь бесполезно мечтать об этом, но как бы я была счастлива, если бы мы были вместе. Думая об этом, я проклиная себя за свой низкий, подлый характер. Теперь, перед смертью, мне хочется плюнуть в лицо этому студенту...»

Значит, О-Ёси была такая же, как все мы; ее обманули, обманули так же, как всегда и во всем обманывают всех нас! При этой мысли Гэнкити чувствовал, как в нем закипает ярость.

10

«Настало время, когда я должен сделать это», — думал Гэнкити.

Он еще больше утвердился в своем решении после расправы с крестьянами в полиции и самоубийства О-Ёси. Крестьяне понимали теперь, как несправедливо с ними обошлись. Если бы нашелся сейчас человек твердой воли, который мог бы увлечь за собой крестьян, в деревне возникла бы возможность нового, еще более сильного выступления, — ведь дело шло о земле, а это был для них вопрос жизни. Не удивительно, что люди были охвачены тревогой. Теперь, когда активисты сидели в тюрьме, Гэнкити впервые задумался над тем, чтобы самому взяться за это дело. Если бы ему удалось выполнить задуманное, было бы великолепно. Гэнкити говорил себе, что не стал бы действовать так неумело и нерешительно, как остальные. План действий созрел в его голове тогда, когда крестьяне только обсуждали, как им поступить. Надо поджечь дом помещика, а всех этих подлецов уничтожить, как давят вошь, да, вошь, разбухшую от чужой крови! Гэнкити чувствовал, что не в состоянии ждать, пока представится благоприятный момент для осуществления этого плана. Разумеется, он понимал, что есть более надежные средства, чем действия в одиночку, но в том возбужденном состоянии,

в котором он находился, он не мог заставить себя поступить иначе. По правде говоря, Гэнкити не думал о том, как он это сделает и что будет потом. Больше того, он решил привести в исполнение свой план, даже не зная, насколько этот план осуществим. Точно так же поступил он в свое время, тайно отправившись на рыбную ловлю. В деревне несколько месяцев никто не пробовал рыбы, все только смотрели на идущую по реке кету и облизывались. А Гэнкити, не считаясь ни с чем, решился на это дело и выполнил задуманное. Теперь он думал: «Я сделаю это в память отца и О-Ёси и ради себя самого».

Вместе с тем Гэнкити не считал задуманное им дело таким уж бесполезным. Напротив, он надеялся, что его поступок пробудит крестьян, которые топчутся на месте, точно вол в темном хлеву. Гэнкити думал, что его поступок послужит той искрой, которая зажжет все сердца, заставит крестьян сплотиться и подняться, взявшись за серпы и мотыги. А если так, то — кто знает? — в случае удачи им, может быть, удастся отнять у помещика землю! Вот о чем думал Гэнкити. И все-таки прежде всего им руководила ненависть! «Погоди, мерзавец!» — восклицал он про себя, потирая лицо и спину, с которых еще не опала опухоль.

И вот однажды вечером Гэнкити налил керосину в старую жестяную банку из-под леденцов, завернул ее в рваную циновку и вышел из дома. Матери он сказал, что идет к Исида договориться о том, чтобы вместе подрядиться на лесоразработки в Асари, а весной на лов сельди. Стояла беззвездная темная ночь. Снежная дорога замерзла. Несмотря на всю решимость, Гэнкити была мелкая дрожь — он не мог справиться с ней, как ни старался. Вдруг он поймал себя на том, что зубы у него стучат. Гэнкити быстро шагал по дороге. Его не покидало странное ощущение, похожее на щекотку под ложечкой, он был так возбужден, что не мог заставить себя идти спокойно. Все время убыстряя шаг, он в конце концов почти бежал. Застывший воздух расступался, снова смыкаясь за его спиной. Скоро деревня осталась далеко позади. Вокруг расстилалась безмолвная пустынная равнина. Постепенно он перешел на обычный шаг. Оглянувшись, Гэнкити увидел на темной равнине робкое мерцание еще светившихся огоньков. Словно вспомнив

о чем-то, он неожиданно снова побежал. Он дышал учащенно, морозный воздух обжигал легкие. Через некоторое время Гэнкити опять перешел на шаг.

Никто не повстречался Гэнкити на этой ночной дороге. Впереди, как светящиеся блески на черном занавесе темноты, засияли электрические огни. Гэнкити внезапно остановился. Он весь внутренне подобрался, как напрягается человек, вставший лицом к лицу с противником. Войдя в город, он не пошел по главной улице, а стал осторожно пробираться задворками. Улицы были пусты — прохожих уже не было.

Почти во всех домах свет был погашен. Настороженно всматриваясь в темноту, Гэнкити шел по узкой заснеженной улочке, покрытой впадинами и буграми. Иногда со скрипом открывалась какая-нибудь дверь. В затихшем городке, затерянном среди плоской равнины, этот скрип звучал неожиданно громко, и Гэнкити всякий раз вздрагивал.

Кто-то с взволнованным криком пробежал по улице городка. Со скрипом отворились двери в нескольких домах.

— В чем дело? — перекликались соседи, придерживая полы теплых халатов. Городок проснулся. Поднялся переполох. Несколько человек с криком: «Пожар! Пожар!» — пробежали по направлению к вокзалу.

Высочившие на улицу люди разом обернулись в ту сторону. Темное небо чуть-чуть посветлело. И вдруг тьму озарил огненный столб высотой в несколько метров. Послышался треск и свист разгоравшегося пламени. Дома, деревья — все в городке, облитое дрожащим сиянием, озарилось кровавыми отсветами. Резко обозначились тени. Искаженные ужасом лица людей, бегущих по улицам, казались забрызганными красными чернилами. Все жители выбежали из домов. Женщины и дети, стуча зубами, стояли, прижавшись друг к другу, и смотрели на пожар.

— Что это горит?

— Может быть, вокзал?

— Вокзал в другой стороне. Это немного правее.

— Где же это? — переговаривались люди через улицу.

— Не у помещика ли это горит?

— Да, похоже, что у него.

— Ну и ну!..

Спросили у бежавшего по улице человека, где горит.

— У помещика! У помещика! — не останавливаясь, на ходу крикнул бегущий.

— У помещика? Коли так, пусть горит... — тихо проговорил чей-то голос.

— Это возмездие.

— Должно быть.

— Не поджог ли это? — вдруг громко произнес кто-то.

Все ненадолго замолчали.

— Сильный пожар!

Неожиданно словно что-то раскололось у всех над головой — ударили в набат. Люди вздрогнули, услышав тревожный жуткий гул, разносившийся в воздухе.

Дом помещика стоял неподалеку от вокзала. От сильного жара все кругом так накалилось, что начало обугливаться. Дом горел, освещая все вокруг ослепительно ярким светом, и на лицах пожарных и столпившихся зрителей видна была каждая морщинка, каждый волосок.

Подъезжая к вокзалу, паровозы долго гудели. Эти гудки казались зловещими предсмертными воплями какого-то чудовища.

Роскошный особняк помещика был построен на некотором расстоянии от улицы. Помещик считал ниже своего достоинства поставить его в один ряд с простыми гнилыми домишками городка. Ночь была безветренная, и горожане могли, таким образом, не опасаться, что огонь перекинется на соседние постройки. По словам пожарных, огонь охватил дом так быстро, что помочь было уже невозможно, все, находившиеся в доме, вероятно, сгорели. Вряд ли кому-нибудь удалось спастись.

Когда обрушился горевший склад, доверху набитый зерном, собранным незадолго до того у арендаторов деревни Китахама, все невольно вскрикнули. Над рухнувшей со страшным треском крышей взметнулся сноп искр, крутящийся столб густого дыма поднялся в небо, как злой дух.

Вода, которую качали из проруби, не помогала. Пожарники и члены молодежной организации только кричали и бегали вокруг, размахивая фонарями.

— Мне говорили, что, когда сгорело уже больше половины дома и ничего уже нельзя было сделать, из дома вдруг послышался душераздирающий, страшный крик. Человек, который рассказывал это, до сих пор не может забыть эти вопли... Кричали так, будто все горло залито кровью... Такой страшный был крик... — тоскливым шепотом говорила какая-то женщина притихшим соседям, безмолвно стоявшим вокруг пожарища.

— Да, это возмездие. Не иначе, — еще тише проговорил собеседник.

Гэнкити, никем не замеченный, добежал до снегозащитной роши у железнодорожного полотна. Часть роши была озарена отсветом пожара. Оглянувшись, Гэнкити увидел, что все небо окрасилось в красный цвет. Дома, находившиеся неподалеку от места пожара, люди, стоявшие на крышах и зачем-то размахивавшие руками, столбы электросети — все это вырисовывалось отчетливыми черными силуэтами. Голоса людей слышались иногда так явственно, словно отсюда было рукой подать до кричавших. Неясно доносились гулкие звуки набата.

— Еще мало, — сказал самому себе Гэнкити и решительно зашагал по снежной дороге через темную равнину Исикари.

— Этого еще мало для вас, мерзавцы!



КРАБОЛОВ

1

— Ох, прямо в ад идем!

Облокотившись на поручни, два рыбака глядели на город Хакодате, изогнувшийся вдоль залива, как высунувшаяся из раковины улитка. Один из них сплюнул обсосанный до самых пальцев окурок. Отекающая и крутясь, окурок полетел вниз вдоль высокого борта судна. От рыбака несло водкой.

Пароходы, плавно покачивающие на волнах свое раздутое красное брюхо; суда, всем корпусом накренившиеся набок, точно их в разгаре погрузки за рукав потащили из моря; буи, похожие на большие колокольчики; катера, как клопы, хлопотливо снующие между пароходами; на волнах какая-то шуршащая ткань из саж, хлебных корок, гнилых фруктов... При порывах ветра дым стлался по волнам, и тогда доносился душный запах каменного угля. Иногда совсем близко раздавался грохот лебедки.

Прямо перед краболовом¹ «Хаккомару» стоял обшарпанный парусник; из его клюзов, похожих на ноздри быка, тянулись вниз якорные цепи. Видно было, как на палубе все ходят взад и вперед, как заводные куклы, два иностранца с трубками в зубах. Судно, по-видимому, было русское — наверно, сторожевик, наблюдающий за краболовами.

— А у меня ни гроша, вот черт!

С этими словами рыбак придвинулся ближе к другому, притянул его руку к своему боку и прижал ее к карману штанов под курткой. Там у него лежало что-то похожее на маленькую коробку. Товарищ молча посмотрел ему в лицо.

— Карты, — хихикнув, пояснил рыбак.

На шлюпочной палубе лениво курил важный, как генерал, капитан. Папиросный дым поднимался над его носом прямо вверх и клочками рассеивался в воздухе. Матросы, шлепая сандалиями на деревянных подошвах, носились с корзинами провизии для «парадных» кают. Все было готово. Пора было отваливать.

С палубы через люк, ведущий в помещение для черно-рабочих, видно было, как на нарах полутемного трюма копошатся мальчишки, галдевшие, точно птенцы, высунившие клювы из гнезда. Все это были подростки четырнадцати — пятнадцати лет.

— Ты откуда?

— Из квартала...

Все оттуда же. Все это были дети из бедняцких трущоб Хакодате. Из-за этого одного они держались вместе.

— А на тех нарах?

— Из Намбу.

¹ Плавающая крабоконсервная фабрика.

— А эти?

— Из Акита.

Земляки расположились вместе на одной полке.

— Из какой местности Акита?

Тот, у которого из носа текло, а веки были воспалены, точно вывороченные, ответил:

— С севера.

— Крестьянин?

— Да.

В спертом воздухе стоял кислый запах, точно от гнилых фруктов. Из соседней кладовой, где стояло несколько десятков бочек солений, несло мерзким зловонием.

В полутемном углу мать в мужской куртке, в штанах, с платком на голове, как полагается женщинам при выходе, чистила яблоки и кормила ими сына, забравшегося на нары. Глядя, как он ест, сама она ела свернувшуюся кольцом кожуру. При этом она что-то говорила, то развертывая, то опять завязывая маленький сверток, лежавший рядом. Таких женщин было несколько. Ребята, приехавшие издалека, которых некому было проводить, время от времени украдкой посматривали в их сторону.

Женщина, с головы до ног покрытая цементной пылью, раздавала карамель соседним мальчишкам.

— Вы уж не обижайте моего Кэнкити! — приговаривала она. У нее были шершавые руки, узловатые и безобразно большие, точно корни дерева.

Женщины утирали сыновьям нос, вытирали им платком лицо, оживленно переговаривались.

— У тебя дети как, не болеют?

Матери понимали друг друга с полуслова.

— Ага...

— А мой совсем хилый. Прямо не знаю, что с ним делать.

— Э, всюду так!

Отвернувшись от люка и глотнув свежего воздуха, оба рыбака перевели дух. Угрюмо, вдруг замолчав, они вернулись от норы для чернорабочих в свое лестницеобразное «гнездо» в носовой части корабля. Здесь каждый раз, когда подымали или опускали якорную цепь, все подскакивало и сталкивалось друг с другом, словно брошенное в бетономешалку.

Рыбаки лежали в полутьме вповалку, как свиньи. Да и запах здесь стоял тошнотворный, точно в хлеву.

— Ну и вонь! Ну и вонь!

— Да ведь мы здесь! Вот и несет тухлым.

Рыбак, у которого голова была похожа на красную ступку, опорожнил бутылку водки в чашку с отбитым краем и, с чавканьем жуя сушеную каракатицу, выпил. Рядом с ним другой, лежа на спине, ел яблоко, рассматривая журнал в истрепанной обложке.

В кружок из четырех рыбаков, занятых выпивкой, протискался пятый, еще не успевший напиться.

— Четыре месяца на море. Думал, хватит...

С этими словами крепкий и рослый рыбак сощурился, облизывая толстую нижнюю губу.

— А в кошельке-то вот что!

Он потряс перед глазами кошельком, плоским, как сушеная хурма.

— Та вдовушка хоть и мала ростом, но и сильна же...

— Брось ты!

— Ну, ну, валяй!

Собеседники расхохотались.

— О, гляди-ка, гляди! Что делается, а? — сказал один рыбак, уставившись осовелыми от водки глазами на нары напротив и показывая в ту сторону подбородком. Там рыбак передавал своей жене деньги.

— Глянь, глянь!

Разложив медяки и бумажки на крышке небольшого ящика, они вдвоем их пересчитывали. Мужчина, слюня карандаш, записывал что-то в записную книжку.

— Гляди!

— У меня тоже дома жена и дети, — вдруг, словно рассердившись, проговорил тот, который рассказывал о вдовушке.

Неподалеку на нарах молодой рыбак, с длинным, посиневшим и распухшим от перепоя лицом, громко рассказывал:

— Я-то думал, уж на этот раз не пойду больше в море, да вот... Остался без гроша, агент и сманил. Ну, долго же теперь придется мне мыкаться!

Рыбак, видимо из одних с ним мест, не оборачиваясь, что-то тихо ответил.

В отверстии люка появились кривые ноги, и по трапу спустился мужчина с большим старомодным дорожным мешком за плечами. Ступив на пол, он внимательно огляделся, нашел свободное место и забрался на нары.

— Здравствуйте, — сказал он и поклонился соседям. Лицо у него было замасленное и черное, как будто выкрашенное чем-то. — Примите к себе в товарищи.

Потом узнали, что до прихода на пароход этот человек семь лет проработал шахтером на коях Юбари; после того как он чуть не погиб при взрыве рудничного газа, — раньше такие взрывы были не редки, — на него напал страх, и он ушел с копей. В момент взрыва он был в том же штреке со своей вагонеткой. Нагрузив вагонетку углем, он как раз катил ее к подъемной шахте. Ему показалось, будто у него перед глазами мелькнула гигантская вспышка магния. И не прошло и пятисотой доли секунды, как его подхватило, точно клочок бумаги. Перед ним под ударом газовой волны легче пустых спичечных коробков пронесли несколько вагонеток. Вот все, что он помнил. Он не знал, сколько времени прошло, когда вдруг очнулся от собственного стога. Чтобы взрыв не распространился в другие галереи, инспектора и рабочие складывали поперек штрека стену. И вот он ясно слышал из-за этой стены молившие о помощи голоса шахтеров, которых еще можно было спасти, — голоса, которые, раз услышав, нельзя было забыть, которые остались у него в сердце навсегда... Он вскочил и, как безумный ринувшись туда, закричал: «Не надо! Не надо!» Раньше ему самому случалось возводить такие стены, тогда это для него ничего не значило. «Дурак! Если сюда попадет огонь — убытков не оберешься!» Но разве он не слышал, как постепенно замирают эти голоса? Вне себя бросился он бежать по галерее, размахивая руками, крича, не разбирая дороги. Он падал, ударялся головой о подпорки. Он весь измазался грязью и кровью. Потом споткнулся о шпалу, кубарем покатился по рельсам и опять потерял сознание.

Молодой рыбак, слушавший его рассказ, сказал:

— Ну, и здесь неамного лучше.

Тот уставился на рыбака своими характерными для шахтера тусклыми, желтоватыми, как будто ослепленными глазами и промолчал.

Некоторые из этих «крестьян-рыбаков» из Акита, Аомори, Иватэ¹ сидели, скрестив ноги и упершись руками в бока, другие, охватив колени, прислонившись

¹ Префектуры на севере Японии.

к столбу, беззаботно пили водку, третьи прислушивались к разговорам. Всех их пригнала сюда нужда: в деревне они не могли прокормиться, хотя бы до свету ходили в поле. Дома оставался один старший сын — да и он жил впроголодь — а дочерям приходилось поступать на фабрику, остальным сыновьям искать себе работу где-нибудь на стороне. Как выскакивают из сковородки бобы, когда их сушат на огне, так лишних людей выбрасывало с насиженных мест, и они устремлялись в город. Все они надеялись «сколотить деньгу» и вернуться домой. Но стоило им по окончании сезона сойти на берег, как они, точно мухи, попавшие в клей, не могли оторваться от притонов в Отару и Хакодате. Оттуда их выбрасывали просто в чем мать родила. Они уже не могли вернуться домой. Чтобы «перезимовать» на чужбине, на этом снежном Хоккайдо, им приходилось снова закабаляться, продавая себя за гроши. И сколько бы раз это ни случалось, они, точно озорные дети, на следующий год спокойно (впрочем, спокойно ли?) повторяли то же самое.

Вошла торговка сладостями с лотком, появились разносчики с лекарствами и разными мелочами. Они разложили свои товары посередине каюты. Со всех сторон, с верхних и нижних нар высунулись рыбаки, стали прицениваться и шутить.

— Сласти есть? Эй, сестренка!

— Ой, щекотно! — подпрыгнув, взвизгнула женщина. — Что ты хватаешься за чужой зад, парень!

Рыбак, набивший рот сладостями, смутившись под обращенными на него взглядами, громко засмеялся:

— Славная бабенка!

Пьяный, возвращавшийся из уборной, осторожно ступая и держась одной рукой за стенку, потрепал женщину по пухлой смуглой щеке.

— Ты чего?

— Ишь рассердилась! Завалиться бы с ней... — Он сделал забавный жест.

Все засмеялись.

— Лепешек, эй, лепешек! — крикнул кто-то из угла.

— Да-да! — отозвался тонкий женский голос, странно прозвучавший в таком месте. — Сколько вам?

— Сколько? Пары будет довольно, чтобы на всю жизнь калекой стать... Лепешек!

Опять раздался общий смех.

— Как-то раз один парень, Такэда, уволок эту торговку в укромное местечко. Чего бы лучше? А ведь вот ничего не вышло, — говорил пьяный молодой рыбак. — На ней штаны были. Такэда их силой сдернул, — а под ними другие. Три пары на ней было! — Он втянул шею и захохотал.

Зимой этот парень работал на фабрике резиновых изделий. Весной, оставшись без работы, он нанимался на Камчатку. Так как и то и другое было «сезонной работой», (как почти вся работа на Хоккайдо), то почти постоянно приходилось работать и ночью. «Хорошо, если хоть три года еще протяну», — говорил он. У него была мертвенная кожа, бледная и вялая, похожая на грубую резину.

Среди рыбаков были люди, которых «спруты» продавали конторам по разработке новых земель в глубине Хоккайдо и по прокладке железнодорожных путей; были «перелетные птицы», уже нигде не находившие себе куска хлеба; были горькие пьяницы, готовые на все за выпивку. Попадались и крестьяне из Аомори, неопытные, простодушные, направленные сюда по выбору «доброго деревенского старшины». Набирать людей вот так, со всех сторон поодиночке — это для нанимателей было исключительно выгодно. (Они отчаянно боролись с попытками профсоюзов Хакодате заслать к рыбакам, идущим на краболовах к берегам Камчатки, своих организаторов. Установление связи этих профсоюзов с организациями в Аомори и Акита — этого они боялись больше всего.)

Бой в накрахмаленной короткой белой куртке торопливо понес в салон на корме пиво, фрукты и рюмки для водки. В салоне находились «страшные люди» из Компании — капитан, инспектор, господа с миноносца, несущего охранную службу на Камчатке, господин начальник морской полиции, «портфели» из Союза моряков.

— Лакают, сволочи! Где это видано? — сердито сказал бой.

В «норе» у рыбаков зажглась тусклая электрическая лампочка. От табачного дыма и людского дыхания воздух стал мутным, вонючим: «нора» была точно нужник. Люди, валявшиеся на нарах, копошились, как черви.

В люк спустилось начальство во главе с инспектором рыбных промыслов: капитан, начальник цеха и начальник

чернорабочих. Капитан все время поглаживал платком верхнюю губу, осторожно, чтобы не задеть закрученных усов. На полу в проходе валялась кожура от яблок и бананов, грязные носки, соломенные сандалии, зерна вареного риса. Настоящая выгребная яма! Покосившись на все это, инспектор без стеснения плюнул. Лица у начальства были красные — видно, что они только что пили.

— Я скажу несколько слов.

Инспектор, коренастый, как староста носильщиков, поставил ногу на перекладину пар и, ковыряя во рту зубочисткой и время от времени сплевывая застрявшую в зубах пищу, начал говорить:

— В общем, и так известно, и нечего долго распространяться, что на краболов нельзя смотреть просто как на прибыльное дело одного предприятия. Это важный международный вопрос. Это борьба один на один. Кто лучше, — мы ли, народ Японской империи, или роскэ? ¹ И если — впрочем, я, конечно, и мысли такой не допускаю, — но если случится, что мы потерпим поражение, то японским парням, которые распустили сопли, остается только одно: вспороть себе животы и кинуться в Камчатское море. Хоть мы и малы ростом, но не потерпим, чтобы над нами взяли верх эти разини роскэ! Далее... наша камчатская рыбопромышленность, не только крабовые консервы, но и кета и горбуша, в международном отношении занимает не сравнимое с другими государствами блестящее положение. Кроме того, на нее возложена важнейшая внутригосударственная миссия в связи с вопросами перенаселения и питания. Ну, пожалуй, не стоит вам об этом говорить: вы не поймете... Но как бы там ни было, вы должны знать, что ради великой миссии Японской империи мы, не щадя жизни, отправляемся в путь по бурным волнам северного моря. И там, как и всюду, нас будут охранять военные суда нашей империи... А если найдется кто-нибудь, кто станет себя вести, как это можно у роскэ, и подстрекать других нелепыми разговорами — это будет просто значить, что он предает Японскую империю. Этого не должно быть, я прошу вас это хорошенько запомнить...

Инспектор, протрезвляясь, несколько раз чихнул.

¹ Слово «роскэ» образовано из корня «рѳ» — «русский» и японского суффикса «скэ», носит презрительный характер.

Возвращаясь в поджидавший их катер, пьяные господа с миноносца прыгающей походкой, как заводные куклы, спустились по трапу. Матросы, не зная, как управиться, подхватили командира миноносца, точно мешок с галькой. Он размахивал руками, брыкался, болтал что-то несурзное и брызгал слюной прямо в лицо матросам.

— При других важничают, а вот погляди! — тихо сказал один, отвязывая веревку с площадки трапа, и поглядел на командира, которого, наконец, усадили в катер.

— Когда же мы дадим им по шес?

На мгновение они испуганно сжались... но тут же расхохотались.

2

Далеко справа, в сером, как море, тумане, видно было, как сверкает маяк бухты Сюкуцу. В ту сторону, куда он поворачивался, на много миль протягивался таинственный далекий серебристый луч.

Начиная с Румоз, посыпал мелкий пронизывающий дождь. Руки рыбаков и чернорабочих окоченели, точно крабовые клешни, и они грели их, то засовывая за пазуху, то поднося трубочкой ко рту и согревая собственным дыханием. Струи дождя, похожие на серые волокна тушеных бобовых стручьев, безостановочно падали на такое же серое, тусклое море. Ближе к Вацуканай дождь полил ливнем, широкая поверхность моря волновалась, как полотнище флага на ветру. Потом волны стали мелкими и частыми. Ветер зловеще выл в мачтах. Все скрипело и стонало непрерывно, словно расшатались заклепки в обшивке и переборках. Когда вошли в пролив Лаперуза, это судно, водоизмещением почти в три тысячи тонн, судорожно вздрагивало, точно его одолевала икота. Как будто подхваченное какой-то чудовищной силой, оно взлетало вверх, на секунду повисало в воздухе и опять низвергалось. Тогда появлялось неприятное ощущение, как бывает, когда спускаешься в лифте. Рабочие пожелтели: они страдали морской болезнью; их все время рвало, они только тупо поводили глазами.

Через круглые, мутные от брызг иллюминаторы иногда показывался жесткий силуэт покрытых снегом гор Сахалина. Но сейчас же его скрывала волна,

вздымавшаяся за стеклом, точно ледяная альпийская гора. Открывалась глубокая жуткая пропасть. Накатываясь, волна ударялась об иллюминатор, рассыпалась, взметалась пеной и уходила назад, все дальше и дальше. Она скользила по стеклу и растекалась, как узор в калейдоскопе. Иногда пароход вздрагивал всем корпусом, словно засыпающий ребенок. С нар что-то падало, глухо трещало, волны с гулом били в борт... Из машинного отделения доносился стук машин, сопровождавшийся легким сотрясением: дот-дот-дот... Иногда, когда судно поднималось на гребень волны, винт вертелся вхолостую и шлепал лопастями по воде.

Ветер все крепчал. Обе мачты гнулись, точно удилища, и жалобно скрипели. Волны одним прыжком добирались до верхушек мачт, бросались, как дикая кошка, с одного борта на другой и разливались потоком. В такие минуты трапы превращались в водопады.

Иногда выраставшая на глазах у всех гора ставила пароход, словно игрушечный, прямо поперек чудовищного провала. Судно обрушивалось на самое дно ущелья. Вот-вот оно погрузится в пучину! Но навстречу ему сейчас же вспухала другая волна и выносила его наверх.

Когда вышли в Охотское море, вода заметно посерела. Сквозь одежду проникал пронизывающий холод. У рабочих посинели губы. Становилось все холоднее, ветер нес сухой, как соль, мелкий снег. Снег мело по палубе, и он, словно острые осколки стекла, колол лицо и руки работавших людей. Волны окатывали палубу, покрывали ее гладкой и скользкой ледяной коркой. Работать приходилось, цепляясь за канаты, протянутые через палубы. При этом людей кидало из стороны в сторону, как развешанное для просушки белье. Инспектор орал на всех, помахивая дубинкой, которой глушат рыбу.

Другой краболов, вышедший из Хакодате одновременно, скрылся из виду. Все же иногда, когда пароход взлетал на вершину водяного вала, вдали виднелись две содрогающиеся мачты, похожие на взмахивающие руки утопающего. Струйка дыма, не больше чем от папиросы, клочками рассеивалась по волнам. Сквозь грохот и рев волн доносился прерывистый свист, — вероятно, сирены другого парохода. Но в следующее же мгновение сам «Хаккомару», как будто захлебываясь, проваливался в пучину.

На краболове было восемь кавасаки¹. Чтобы их не сорвали и не унесли волны, скалившие через борт белые зубы, словно акулы, команде и рыбакам приходилось, рискуя жизнью, крепить их на палубе. «Если и смост одного или двоих из вас, мне наплевать. Но пусть пропадет хоть одна кавасаки, — я вам этого не спущу!» — отчетливо сказал инспектор.

Наконец, вошли в воды Камчатки. Волны набрасывались на судно, ощерившись, как голодные львы. Пароход казался слабее зайца. Буран затянул небо снежной пеленой, и при порывах ветра казалось, что кругом развертывается огромное белое полотнище. Надвигалась ночь. Шторм не унимался.

Когда работа кончалась, рыбаки один за другим забирались в свой «нужник». Руки и ноги у них коченели и с трудом двигались. Люди заползали на свои нары, как червяки в кокон, и потом уже никто не открывал рта. Падали, хватались за железные столбы. Пароход содрогался всем корпусом, как лошадь, отгоняющая впившегося в спину овода. Рыбаки тупо глядели на когда-то белый, закопченный до желтизны потолок, на иссиня-черные иллюминаторы, чуть не погружающиеся прямо в пучину... У некоторых рты были полуоткрыты, как у слабоумных. Никто ни о чем не думал. Смутная тревога погружала всех в угрюмое молчание.

Один, запрокинув голову, залпом пил виски. В мутном желто-красном свете электричества поблескивал край бутылки. Затем опорожненная бутылка, стуча и подпрыгивая, зигзагом покатила по проходу. Рыбаки только подняли голову и проводили ее глазами. В углу кто-то сердито заворчал. Сквозь шторм слышны были обрывки слов.

— Все дальше от Японии... — сказал кто-то и вытер локтем иллюминатор.

Печка «нужника» только чадила. Как будто по ошибке брошенные в холодильник вместо кеты и горбуши, здесь дрожали от холода «живые» люди. Над люком кубрика, прикрытым брезентом, грузно перекатывались волны. Каждый раз от железных стен «нужника», точно от барабана, исходил ужасный грохот. Иногда на стены,

¹ Кавасаки — род баркасов, употребляемых в рыболовстве на Дальнем Востоке. Слово «кавасаки» вошло в русский обиход.

за которыми спали рыбаки, обрушивались тяжелые толчки, словно кто-то сильный бил в них снаружи плечом.

Пароход был похож на кита при последнем издыхании, который судорожно мечется по бушующим волнам.

— Обедать! — крикнул, приложив ладони трубкой ко рту, повар, высунувшись из-за двери. — Из-за шторма супа не будет.

— А что будет?

— Тухлая соленая рыба, — скривились лица. Все поднялись. К еде они относились серьезно, как арестанты. Ели жадно.

Поставив миску с соленой рыбой на скрещенные ноги, дуя на пар, они запихивали в рот горячий рис и языком торопливо перекачивали его во рту. От горячего из носа текло и чуть не капало в миску.

Во время обеда вошел инспектор.

— Не набрасываться на еду! В такой день, когда нельзя работать, обжираться нечего.

Оглядев полки, он повел плечом и вышел.

— Какое он имеет право так говорить! — пробурчал рыбак из студентов, осунувшийся от морской болезни и непосильной работы.

— Да и что этот Асагава! Он для краболова, или краболов для него?

— Император высоко, так нам все равно, а вот Асагава — тут уж извините.

С другой стороны слышался резкий голос:

— Не жадничай из-за миски-другой! Вздуть его!

— Здорово! А если скажешь это при Асагава, совсем будет здорово.

Рыбаки волей-неволей, хоть и со злобой, засмеялись.

Ночью, довольно поздно, инспектор, в дождевике и с фонарем в руке, вошел в помещение чернорабочих. Судно качало, и он продвигался между спящими, хватаясь за перекладины нар. Он бесцеремонно поворачивал и освещал фонарем головы, перекачивавшиеся с боку на бок, как тыквы. Рыбаки не проснулись бы, даже если бы их стали топтать.

Окончив осмотр, инспектор остановился и щелкнул языком, точно спрашивая: что же теперь делать? Но сейчас же направился в кухню. В пляшущем веерообразном луче фонаря то появлялись, то снова исчезали во мраке пары, резиновые непромокаемые сапоги с длинными

голенищами, куртки, висящие на столбе, корзины. Потом свет, дрожь, на минуту застыл у его ног и в следующую минуту кружком, как от волшебного фонаря, упал на дверь кухни.

На другое утро узнали, что один из чернорабочих пропал без вести.

Люди вспоминали о вчерашней отчаянной работе и думали: «Так и есть, смыло волной!» Нехорошо стало на душе. Но их с самой зари выгоняли на работу, они не имели возможности потолковать.

— Рассказывайте! Кто по доброй воле бросится в такую холодную воду! Спрятался где-нибудь, скотина. Отыщу — избыю, как собаку!

Инспектор рыскал по всему пароходу и угрожающе размахивал дубинкой.

Шторм пошел на убыль. Все же, когда пароход натыкался на выставшую перед ним волну, она легко, точно шагая через порог, перекатывалась через верхнюю палубу. Истрепанный этой борьбой, длившейся целые сутки, пароход подвигался вперед, точно хромая. Тонкие, как дым, облака, до которых, казалось, рукой подать, цеплялись за верхушки мачт и рассеивались в воздухе. Мелкий ледяной дождь не прекращался. Когда со всех сторон вздымались волны, ясно видно было, как струи его вонзаются в море. Это было более жутко, чем попасть под дождь в непроходимой чаще.

Пеньковые веревки так обледенели, что стали походить на металлические тросы. Бывший студент, держась за веревку и стараясь не поскользнуться, переходил палубу и встретил боя, который подымался по трапу, перепрыгивая через ступеньку.

— На минутку! — бой потащил его в защищенный от ветра угол...

— У меня есть кое-что интересное.

И он стал рассказывать.

...Это было сегодня в два часа ночи. Волны обрушивались на шлюпочную палубу и, немного помедля, стекали по ней водопадом. Во мраке ночи иногда видно было, как волна очерчивает сверкающие белые зубы. Из-за шторма никто не спал. Вот тут-то оно и случилось.

В капитанскую будку взволнованно вбежал радист.

— Капитан, несчастье! SOS!

— SOS? С какого парохода?

— «Титибумару». Идет рядом с нами.

— Старая калоша! — Асагава в дождевике сидел на стуле в углу, широко расставив ноги. Он захохотал и, словно насмехаясь, покачал носком сапога. — Положим, все пароходы здесь старые калоши.

— Похоже, и минуты не протянет.

— Да, это ужасно!

Поспешно, даже не одевшись, капитан направился было к двери, чтобы пройти в рулевую рубку. Асагава крепко схватил его за плечо.

— Кто приказал делать крюк?

Как кто приказал? Разве он не капитан? В первую минуту капитан остолбенел. Однако сейчас же пришел в себя.

— Я — капитан.

— «Капитан»! Тоже мне... — с величайшим презрением проговорил инспектор, остановившись перед ним, расставив ноги. — Послушай, а чей это, собственно, пароход? Компания его зафрахтовала, Компания выложила деньги. Кто здесь имеет право разговаривать? Называешься капитаном, а не стоишь и бумажки для подтирки! Понял? Только ввяжись в это дело — неделю проваландаемся. Это не шутки! Попробуй хоть на день запоздать! К тому же у «Титибумару» страховка не по ней. Старая калоша! Пойдет ко дну — им же выгода.

«Ну, теперь будет стычка! — подумал бой. — Это не может так пройти...» Но... разве капитан не застыл на месте, как будто в горло ему напихали ваты? Бою ни разу еще не доводилось видеть капитана таким жалким. Приказание капитана не выполняется? Ерунда, не может этого быть! И, однако, это случилось. Бой никак не мог взять это в толк.

— Если миндальничать, где уж тут бороться с другим государством! — Инспектор скривил губы и сплюнул.

В радиорубке приемник работал непрерывно, иногда испуская голубые искры. Все пошли туда, чтобы по крайней мере следить за ходом событий.

— Как он выстукивает... Все быстрее и быстрее...

Радист давал объяснения капитану и инспектору, заглядывавшим через его плечо. Все стояли неподвижно, невольно стиснув зубы и напрягая плечи, и, точно замороженные, следили глазами за пальцами радиста, проворно скользящими по рычажкам и кнопкам прибора.

Каждый раз, когда пароход накренился, электрическая лампочка, торчащая на стене, словно прыщ, то вспыхивала, то тускнела. Тяжелые удары волн и неумолчный зловещий вой сирены то звучали прямо над головой, то доносились откуда-то издалека, как будто из-за железной двери.

Вылетела искра, оставив за собой длинный хвост, и стук приемника вдруг прекратился. У всех в груди что-то оборвалось. Радист взволнованно стал крутить стрелки, передвигать приемник. Но это был конец. Больше не раздалось ни звука.

Радист резко повернулся на вертящемся стуле.

— Пошли ко дну.

Снимая с головы наушники, он тихо добавил:

— Четыреста двадцать пять человек экипажа. Судно тонет. Надежды на спасение нет. SOS, SOS, — так дватри раза подряд и на этом конец...

Услышав это, капитан сунул руку за воротник, точно задыхался. Помотал головой и вытянул шею. Беспокойно обведя кругом бессмысленным взглядом, он повернулся к двери. Схватился за галстук. Тяжело было смотреть на него, вот такого.

— Так вот, значит, как...

Студент слушал, как замороженный. Помрачнев, он перевел взгляд на море. Там все еще волны катились за волнами. Горизонт нырял под ноги, а через минуту судно скользило вниз, и стиснутое краями ущелья небо оказывалось над головой.

— Неужели они действительно пошли ко дну? — вырвалось у него.

И ведь ничего не поделаешь. Ему пришло в голову, что и сами они находятся на такой же старой калоше.

Все краболовы были старые калоши. Директорам из Марубиру¹ совершенно безразлично, что на севере, в Охотском море, гибнут рабочие. Капитализм зашел в тупик, и когда денежный рынок оказывался насыщенным и проценты падали, капиталисты брались за что угодно и, как обезумевшие, где угодно прокладывали себе кровавый путь. И вот перед ними — краболов, пароход, который даст верные сотни тысяч иен... есть от чего потерять голову!

¹ Марубиру (или Маруноути) — деловой квартал Токио.

Краболов — плавучая фабрика, то есть «фабричное», а не «курсирующее» судно, поэтому он не подлежит обычным законам навигации. Расшатавшееся за двадцать лет судно, разбитое, как сифилитик, и годное только на слом, кое-как снаружи подкрашенное, беззастенчиво является в Хакодате. «Почетные калек» русско-японской войны, выброшенные, как рыбы кишки, госпитальные и транспортные суда кажутся тенями, бледными привидениями. Стоит развести пары посильней, как трубы лопаются. Когда пароход, зашедший в русские воды и преследуемый русским сторожевым судном (а это случается часто), дает быстрый ход, каждая часть его жалобно скрипит, и кажется, что он вот-вот рассыплется на куски. Он дрожит, словно разбитый параличом.

Но это никого не смущает. Потому что теперь такая пора, когда «ради Японской империи» надо пускаться на все. К тому же, хотя краболов и настоящая «фабрика», но и фабричные законы к нему не применяются. Поэтому другой такой же удобной обстановки нельзя найти.

Сообразительные директора прикрепили к этому делу ярлык: «Ради Японской империи». Шальные деньги текут к ним в карманы. Чтобы действовать наверняка, они, развалившись в автомобилях, обдумывают, как бы им пробраться в депутаты. А в эту же самую минуту за тысячи миль от них, в северном темном море, рабочие «Титибумару» ведут смертельную борьбу с ледяными волнами и режущим ветром!

Спускаясь по трапу к «нужнику», студент думал: «Нет, это и нас касается!»

Прямо против лестницы в «нужник» на стене висела прыщавая от рисовых зерен, использованных вместо клея, бумажка, на которой со множеством ошибок было написано:

Кто откроет местопребывание чернорабочего Мингути, получит две пачки «Батт»¹ и полотенце.

Инспектор Асагава

¹ «Б а т т» — распространенная марка дешевых папирос.

Дождь и туман не прекращались уже несколько дней. Затянутая пеленой береговая линия Камчатки казалась вытянутой, как минога.

«Хаккомару» бросил якорь в открытом море, в четырех морских милях от берега. На протяжении трех миль от берега была зона русских вод, и вход туда был запрещен.

Разобрав невода, стали готовиться к ловле крабов. На Камчатке светало в два часа ночи; поэтому рыбаки валились спать вповалку, как были, совершенно одетые, в высоких резиновых сапогах выше колен.

Студент из Токио, обманом завербованный на краболов, бурчал, что такие порядки никуда не годятся.

— «Каждый будет спать отдельно». Ишь как ловко говорил!

— Это верно. Спим-то отдельно, только вповалку.

Студентов было около двадцати человек. Из положенных шестидесяти иен аванса у них вычли стоимость проезда, оплату гостиницы, одеяла, тюфяка, да еще дорожные расходы, так что, когда они явились на пароход, у каждого было семь иен долгу. Когда они, наконец, это поняли, они опешили больше, чем если бы у них на глазах деньги превратились в сухие листья. Вначале они держались среди рыбаков отдельно тесной кучкой, словно падшие духи, ввергнутые в скопище каких-то дьяволов.

С тех пор как они отплыли из Хакодате, уже на четвертый день, от грубой однообразной пищи и вечно одинакового супа у всех студентов здоровье стало сдавать. Ложась спать, они поднимали колени и пальцем пожимали друг другу голень. Они проделывали это по несколько раз в день, и от того, поддавались мускулы или нет, их настроение мгновенно прояснялось или мрачнело¹. У двоих-троих голень уже немела, точно от слабого электрического тока. Свесив ноги с полки, они били ребром ладони по колену, пробуя, дергается ли нога. К тому же случалось, что по несколько дней у них не

¹ Онемение ног — один из симптомов бери-бери. Эта болезнь очень распространена на севере Японии, особенно при плохом питании.

было стула. Один из студентов пошел к доктору за слабительным. Вернулся он бледный от негодования.

— Такой, говорит, «роскоши» у них нет!

— Видно, этот пароходный врач — штука!.. — сказал старый рыбак. Горняк проговорил:

— Все они хороши! У нас на шахтах врач тоже был штука.

Когда рыбаки уже лежали вповалку, вошел инспектор.

— Что, уже спите? Слушайте: получено радио, что «Титибумару» затонул. Подробности неизвестны. — Скривив губы, он сплюнул. Это вошло у него в привычку.

Студент сейчас же вспомнил то, что слышал от боя. Негодяй! Хладнокровно говорит о жизни нескольких сот человек, которых он убил своей собственной рукой. «Утопить его мало!» — подумал он.

Все приподнялись. Начались шумные разговоры. Инспектор повел плечом и ушел, не прибавив ни слова.

Чернорабочий, пропавший без вести, был пойман два дня тому назад, когда выходил из-за котла. Он прятался двое суток, но проголодался и не вытерпел. Поймал его пожилой рыбак. Молодые рыбаки рассердились и грозили его избить.

— Вот пристали! Сами не курите, так и не понимаете, что значит табак. — Держа две пачки «Батт», он со смаком затягивался.

Чернорабочего инспектор раздел до рубашки, втокнул в одну из двух рядом расположенных уборных и навесил снаружи замок. Сначала рыбаки старались не ходить в уборную. Они не в силах были слышать жалобные стоны за стеной. На второй день голос стал хриплым, срывающимся, стоны — прерывистыми. В конце дня, закончив работу, рыбаки, встревоженные, сейчас же пошли к уборной, но уже не слышно было стука в дверь. Даже когда его окликали, ответа не было. Поздно вечером Мягути вытащили: он лежал ничком, уцепившись рукой за перегородку, засунув голову в ящик для бумаги. Губы у него посинели, он казался мертвым.

По утрам было холодно. К трем часам уже светало. Вставали, ежась, засовывали окоченевшие руки за пазуху. Инспектор обходил помещения рабочих, рыбаков, матросов, кочегаров и без стеснения стаскивал с постели простуженных и больных.

Ветра не было, но при работе на палубе концы пальцев на руках и ногах деревенели. Надсмотрщик, грязно ругаясь, загонял полтора десятка своих рабочих в цех. К концу его бамбуковой палки был прикреплен ремень. Это для того, чтобы ленивых можно было достать и через станок.

— Миягути выпустили только вчера, он не может языком пошевелить, а сказано — во что бы то ни стало сегодня заставить его работать. Давеча инспектор пнул его ногой, — сообщил, поглядывая на надсмотрщика, хилый рабочий, друживший со студентом, — а он и не двигается. Похоже, что его оставили в покое, а все же...

В эту минуту инспектор, грубо тыча в спину, вытолкнул на палубу дрожавшего всем телом парня, у которого от работы под ледяным дождем начинался плеврит. Даже в тепле его бил озноб. Лоб его прорезали старческие складки, бескровные тонкие губы судорожно дергались; его нашли в котельной, куда он забился, спасаясь от нестерпимого холода.

Рыбаки, спускавшие на лебедке кавасаки, чтобы отправиться на ловлю крабов, молча проводили обоих взглядом. Сорокалетний рыбак, не в силах смотреть на это, отвернулся и осуждающе покачал головой.

— Мы не для того платили большие деньги и везли вас сюда, чтобы вы простуживались и валялись в постели! Болваны! Нечего зря глаза таращить. — Инспектор постучал палкой по палубе.

— В тюрьме лучше, чем здесь!

— Домой вернешься, расскажешь, так не поверят!

— Куда там! Где ж такое видано?

Первая лебедка с грохотом задвигалась. Покачиваясь в воздухе, кавасаки начали спускаться. Матросы и кочегары, подгоняемые инспектором, забежали по палубе, стараясь не поскользнуться. Инспектор расхаживал среди них, нахохлившись, точно петух.

Воспользовавшись перерывом в работе, студент присел, укрывшись от ветра за грудой кадок. В эту минуту из-за угла появился рыбак из горняков. Приложив руки ко рту, он согревал их дыханием.

— Жизнью рискуем! (Этот из души вырвавшийся крик резанул студента по сердцу.) Не лучше, чем у нас

в копиях — каждую минуту нужно ждать смерти. На что уж газ страшен, а только море не лучше!

После полудня погода изменилась. Над морем повис легкий туман, такой тонкий, точно его и совсем нет. Заходили бесчисленные треугольные волны. Задул ветер, закрипели мачты. Полотнища брезента, покрывавшего грузы, трепыхались и бились о палубу.

— Зайцы. зайцы бегают! — громко крикнул кто-то, пробегая вдоль правого борта. Сильный ветер развеял голос, и на палубе слышали только нечленораздельное восклицание.

По всей поверхности моря верхушки треугольных волн расценивали белые брызги: казалось, по широкому полю бегут бесчисленные зайцы. Это было предвестником камчатской бури. Отлив вдруг усилился. Пароход накренился. Камчатка, до сих пор видневшаяся с правого борта, неожиданно очутилась слева. Рыбаки и матросы, оставшиеся работать на судне, заволновались.

Прямо над головой заревела сирена. Все застыли на месте и посмотрели на небо. От рева сирены труба, невероятно толстая, похожая на кадку для купанья, дрожала. Было что-то жуткое в этом реве, рвущемся сквозь беснующуюся бурю из клапана, похожего на шлем, прикрепленный к трубе. Неумолчный вой созывал далеко ушедшие кавасаки, и они, борясь со штормом, возвращались к пароходу.

У спуска в полутемное машинное отделение, сбившись в кучу, шумели рыбаки и матросы. Судно качало, и при каждом крене сумрак пронизывал слабый пучок света. Взволнованные лица рыбаков то выплывали из тьмы, то снова в нее погружались.

— Что такое? — протискался к ним горняк.

— Убить этого мерзавца Асагава! — крикнул кто-то голосом, полным смертельной ненависти.

Оказалось, рано утром инспектор получил с корабля, стоявшего на якоре в десяти милях от краболова, штормовое предупреждение, причем было сказано, что, если кавасаки уже в море, их надо немедленно вернуть. На это инспектор возразил:

— Что это за работа! Стоило ли добираться до Камчатки, чтобы дрожать перед каждым пустяком?

Об этом узнали от радиста.

Первый же рыбак, услышав это, набросился на радиста, словно перед ним был сам Асагава:

— Что ж он думает? Что такое, по его мнению, человеческая жизнь?

— Человеческая жизнь?

— Ну да.

— Да ведь Асагава вовсе не считает вас за людей.

Рыбак, хотевший что-то сказать, осекся. Он покраснел и побежал к остальным.

Рыбаки все стояли на том же месте, на их мрачных лицах отражалось волнение, поднимавшееся из самого нутра. Рабочие-подростки дрожали за отцов, которые вышли на кавасаки. Сирена ревела непрерывно, и сердца рыбаков сжимались от тревоги.

Под вечер с мостика раздался громкий крик. Все, кто был внизу, бросились наверх по трапу, перепрыгивая через две ступеньки.

Приближались две кавасаки. Их связывал друг с другом канат.

Они подошли совсем близко. Но сильные волны резко бросали кавасаки и пароход. Снова и снова между судами вздымались гигантские волны. Находясь у самого борта краболова, кавасаки все-таки не могли подойти. С палубы бросили канат. Не попали. Подняв брызги, он шлепнулся в воду. Его вытащили обратно, — он полз, извиваясь, как змея. Так повторилось несколько раз. С парохода все дружно и громко кричали, но ответа не было. Лица рыбаков окаменели, как маски. Взгляды уставились в одну точку. Картина эта врезалась в их сердца нестерпимым ужасом.

Снова бросили канат. Сначала он развернулся спиралью, потом вытянулся угрем, и вот уже конец его ударил по шее рыбака, протянувшего за ним обе руки. Все ахнули. Рыбак опрокинулся на спину, но все-таки поймал! Закрепленный канат, с которого стекала вода, натянулся ровной линией. Смотревшие с палубы рыбаки перевели дух. Сирена неумолчно ревела, от порывов ветра ее рев то звучал громче, то разносился дальше. До вечера успели вернуться все кавасаки, кроме двух. Рыбаки, едва ступив на палубу парохода, теряли сознание. Одна кавасаки дала течь и бросила якорь, а рыбаки перешли на соседнюю и с ней вернулись. Другая вместе с рыбаками пропала без вести.

Инспектор хмурился. Несколько раз он спускался к рыбакам. Каждый раз его молча провожали злобными, угрожающими взглядами.

Наутро пароход двинулся вслед за крабами и на поиски пропавшей кавасаки. Ведь «пять-шесть человеческих жизней ничего не значит, а кавасаки жалко».

С раннего утра в машинном отделении шла работа. Когда поднимали якорь, сотрясение якорного ящика передавалось в соседнее помещение для рыбаков, и людей подбрасывало, как горох на сковороде. Боковые железные листы расшатались и обрушились.

«Хаккомару» искал кавасаки номер один, бросившую якорь, до 51°5' северной широты. В ленивых волнах покачивались, как живые, мелкие льдинки. Иногда этот раскрошенный лед сбивался в сплошные ледяные поля и окружал пароход. От льда поднимался пар, точно от кипятка. словно нагнетаемые электрическим вентилятором, налетали волны холодного воздуха. Все на пароходе скрипело, мокрая палуба и поручни покрылись коркой льда. Борта парохода сверкали от кристаллов инея, будто окрашенные косметическими белилами. Матросы и рыбаки бегали по палубе, потирая обеими руками щеки. Пароход оставлял за собой длинный след, похожий на тропинку на открытой равнине.

Кавасаки все не находилась.

Только около девяти часов с мостика заметили качающуюся на волнах кавасаки. Узнав об этом, инспектор обрадованно забегал по палубе. «Скоты! Наконец-то нашли! Скоты!» Сейчас же спустили моторную лодку. Но это была не та кавасаки номер один, которую искали. Это была новая, чужая кавасаки номер тридцать шесть. К ней был прикреплен буй краболова «...мару». По-видимому, краболов оставил ее здесь, чтобы, уйдя куда-то в другое место, отметить свое прежнее местопребывание.

Асагава постучал пальцем по корпусу кавасаки.

— Знатная штучка! — засмеялся он. — Возьмем ее с собой.

И кавасаки номер тридцать шесть втащили лебедкой на палубу «Хаккомару». Покачиваясь в воздухе, она роняла на палубу потоки брызг. Глядя на подтягиваемую кавасаки, инспектор с довольным видом бормотал про себя:

— Превосходно, превосходно!

Рыбаки, разбирая невода, все это видели.

— Грабитель! Оборвалась бы цепь, да ему по голове!

Инспектор прохаживался мимо рыбаков, оглядывая каждого испытующим взглядом. Потом он нетерпеливо позвал плотника.

Плотник высунулся из люка с другой стороны.

— Что такое?

Инспектор, не ожидавший его оттуда, повернулся и раздраженно крикнул:

— «Что такое!» Дурак, состругай номер! Рубанок!

Плотник не понял.

— Болван! Иди сюда.

Щуплый плотник с рубанком в руках и пилой, заткнутой за пояс, пошел вслед за рослым инспектором по палубе осторожными шажками, волоча ноги, как хромой. Цифра «три» номера «тридцать шесть» была состругана рубанком, и кавасаки стала «номер шесть».

— Ладно, довольно. Ну, теперь полюбуйтесь-ка! — скривив рот треугольником, загоготал инспектор.

Искать пропавшую кавасаки дальше к северу было бесполезно. Задержавшись, чтобы поднять кавасаки номер тридцать шесть, краболов стал описывать плавную дугу, ложась на курс к прежней стоянке. Прояснилось, небо было чистое, точно вымытое. Вершины Камчатских гор сверкали, как горы Швейцарии на открытках.

Пропавшая кавасаки не возвращалась. Рыбаки разобрали вещи, оставшиеся на опустевших полках, отыскали адреса семей, привели все в порядок, чтобы в случае надобности сейчас же можно было принять меры. Это было невеселое занятие. Закончив его, они чувствовали такую боль, как будто касались собственной раны.

В вещах пропавших рыбаков оказались письма и посылки, адресованные на имя женщин с той же фамилией, очевидно предназначенные к отправке, как только придет транспортный пароход. В вещах одного нашлось письмо, неумело нацарапанное карандашом. Оно пошло по грубым рукам рыбаков. Они читали его по складам, медленно, точно подбирая горошины, но с жадностью.

Прочитав до конца, каждый встряхивал головой, точно отгоняя что-то неприятное, и передавал другому. Это было письмо от ребенка.

Один из рыбаков, рослый парень, много перевидавший в глубине Хоккайдо, всхлипнул, поднял голову от письма и хриплым голосом тихо сказал:

— Все из-за Асагава! Если узнаем, что они погибли, мы за них отомстим.

Другой рыбак, молодой, втянув голову в плечи, добавил еще тише:

— Можем же мы прикончить одного мерзавца!

— А письмо-то нехорошее... Тоска...

— Да, — сказал первый. — Не поостережемся — так пропадем. Дело-то не чужое.

Рыбак, лежавший в углу с поднятыми коленями, кусая ноготь большого пальца и глядя на потолок, прислушавшись, одобрительно кивнул головой:

— Предоставьте все мне! Я тогда сам с ним разделаюсь.

Все промолчали. Промолчали, но облегченно вздохнули.

Когда «Хаккомару» вернулся на прежнее место, на третий день неожиданно подплыла пропавшая без вести кавасаки.

Как только вернувшиеся рыбаки спустились из капитанской каюты в «нужник», их сейчас же обступили плотным кольцом.

Из-за шторма они потеряли управление и стали беспомощней ребенка, схваченного за шиворот. Они вышли в море дальше всех, к тому же ветер дул прямо навстречу. Все приготовились к смерти. Рыбаков «приучили» всегда быть готовым «с легкостью» умереть.

Но этого не случилось. Полузатопленную кавасаки на следующее утро выбросило на берег Камчатки. Рыбаков спасли русские, жившие поблизости.

Это была семья из четырех человек. Для рыбаков, изголодавшихся по семье с женщинами и детьми, в этой обстановке таилось непередаваемое очарование. Все были с ними ласковы, все о них заботились. И все же первое время им было как-то не по себе у этих чужеземцев, с непривычным цветом глаз и волос, говорящих на непонятном языке. Однако рыбаки скоро поняли, что это такие же люди, как и они сами.

Когда разнеслась весть о потерпевших крушение, к ним сбежалась вся деревня. Районы морского промысла, где работали японцы, были далеко.

Рыбаки пробыли там два дня, отдохнули и вернулись на краболов. «Не хотелось возвращаться...» Да и кому захочется в этот ад! Но на этом их рассказ не закончился. За ним скрывалось «кое-что интересное».

...Это было как раз в день расставания. Когда они, готовясь к отъезду, разговаривали у печки, вошло несколько русских. С ними один китаец. Русский, широколицый, красный, обросший густой короткой бородой, слегка сутуловатый, жестикулируя, начал о чем-то говорить. Сэндо¹ помахал перед глазами рукой, чтобы показать им, что они не понимают по-русски. Тогда русский стал говорить по одной фразе, а китаец, смотревший ему в рот, переводил ее на японский. Это был неправильный японский язык, от которого у слушателей голова шла кругом. Слова ковыляли, как пьяные.

— Ваша, наверно, денъга нет?

— Нет.

— Ваша бедняк?

— Да.

— Значит, ваша пролстарий. Понял?

— Гм!..

Русский, смеясь, начал ходить по комнате. Иногда он останавливался и смотрел на рыбаков.

— Богачи ваша так делают. (Сделал вид, что душит.) Богачи все стал толстый. (Развел руками, показывая, как растет живот.) Ваша плохо бедняк будет. Понял? Япония — страна нехорош. Который работай — так. (Сморщился, согнулся, как больной.) Который не работай — так. (Прошелся с высокомерным видом.)

Молодые рыбаки заинтересовались.

— Так, так, — смеялись они.

— Который работай — так. Который не работай — так. (Повторил прежнее.) Так нехорош. Который работай — так. (Теперь, наоборот, выпятил грудь, гордо выпрямился.) Который не работай — так. (Вид, как у старого нищего.) Так хорош. Понял? Россия страна — такой страна. Только который работай! Только который

¹ Сэндо — старшина рыбацкой артели. Это слово вошло на Камчатке и в русский обиход.

работай — так. (Гордо выпрямился.) Россия не работай — нету. Хитрый нету. Который душит нету. Понял? Россия совсем не страшный страна. Что другие говорил — неправда.

Рыбаки смутно подумали: не есть ли это та самая страшная «красная пропаганда»? Но, с другой стороны, им казалось, что пусть это и «красная пропаганда», а все это удивительно верно. Они были очень заинтересованы.

— Поняли! Поняли! Правильно говоришь!

Русские о чем-то оживленно заговорили. Китаец слушал. Потом он опять заговорил, запинаясь, по одному подыскивая слова.

— Есть который не работай, получай деньги. Пролетарий всегда — так. (Втянул шею.) Так не годится. Пролетарий наш один раз, два, три... сто, тысяча, пятьдесят тысяч, сто тысяч, все, все так. (Показал, как дети берутся за руки.) Будет сильный. Так надо. (Похлопал себя по руке.) Не слайся! Никому! Понял?

— Да, да.

— Который не работай — убежал. (Сделал вид, что со всех ног убегает.) Хорошо, правда? Который работай, пролетарий — гордый. (Прошелся с важным видом.) Пролетарий самый важный. Пролетария нету — все хлеба нету. Все умирай. Понял? Да, да! Япония еще не годится. Который работай — так. (Согнулся со страдальческим видом.) Который не работай — так. (С чванным видом показал, как будто бьет и валит другого.) Это не годится. Который работай — так. (Угрожающе выпрямился, сделал вид, что набрасывается, опрокидывает и топчет.) Который не работай — так. (Сделал вид, что убегает.) Япония только работай. Хороший страна! Пролетарский страна! Понял?

— Да, да, поняли!

Русский издал странный звук и затопал ногами, как будто приплясывая.

— Япония, который работай, сделал так. (Делает вид, что встает и сопротивляется.) Радоваться. Россия все радоваться! Бандзай! Ваша вернуться пароход. Ваша пароход, который не работай, — так. (Чванный вид.) Ваша пролетарий сделай так. (Сжал кулаки, потом сделал вид, что берется за руки и опять нападает.) Хорошо, победил! Понял?

— Понял! — Молодой рыбак, не замечая собственного волнения, крепко сжал китайцу руку. — Сделаем, непременно сделаем!

Сэндо думал, что это и есть «красная пропаганда». Их подстрекают на что-то ужасное. Вот этим — вот этими руками Россия обведет Японию вокруг пальца!

Когда русские кончили, они что-то кричали, крепко трясли рыбакам руки. Потом обняли их, прижимаясь щекой с жесткими волосами. Смущенные японцы отворачивались, у них деревенела шея, они растерялись...

Рыбаки возбужденно требовали рассказов еще и еще, хотя и поглядывали с опаской на дверь «нужника». Стали рассказывать о тех русских, которых им пришлось видеть. Все, что говорилось, проникало в самую душу, как будто впитанное пропускной бумагой.

— Ну, довольно!

Видя, что все возбуждены и увлечены рассказом, сэндо ткнул в плечо с жаром говорившего рыбака.

4

Радист перехватывал радиотелеграммы, которыми обменивались другие суда, и сообщал о них инспектору. Судя по этим сведениям, «Хаккомару», по-видимому, отставал. Инспектор выходил из себя. Его недовольство с двойной силой обрушивалось на рыбаков и рабочих. «Эти» были козлами отпущения всегда и везде. И вот инспектор и начальник рабочих устроили соревнование между паровой командой с одной стороны, и рыбаками и рабочими — с другой.

Когда в ловле крабов команда брала верх, рыбаки и рабочие готовы были плюнуть с досады, хотя они работали не на себя. Инспектор радостно потирал руки. Всех охватил азарт: «Сегодня выиграли!» — «Сегодня проиграли!» — «Как бы сегодня не проиграть!» Потянулись сумасшедшие, сочащиеся кровью дни. Производительность возросла на пятьдесят — шестьдесят процентов. Но на пятый, на шестой день напряжение стало спадать, как будто обе стороны упали духом. Во время работы головы бессильно опускались. Инспектор, не говоря ни слова, рассыпал удары. У застигнутых врасплох вырывались короткие стоны. Все работали молча, словно разучились

говорить. На такую роскошь, как разговор, не хватало времени.

Тогда инспектор стал раздавать победившим «премии», и зачавшее было полено опять разгорелось.

— Слизняки! — сказал инспектор, распивая с капитаном пиво. У капитана были пухлые руки с ямочками, как у толстых женщин. Постукивая мундштуком по столу, он глупо улыбнулся. Он не выносил инспектора, который постоянно торчал у него перед глазами и мешал ему. Он даже подумывал: «Ну, что бы рыбакам поднять бучу и сбросить этого мерзавца в море!»

Инспектор прибегнул не только к поощрениям. Он расклеил объявления, предупреждавшие о том, что лица, дающие наименьшую выработку, будут подвергаться «прижиганию». Железный прут раскаляли докрасна и прикладывали к телу. Рабочие работали, преследуемые вечным страхом прижигания, от которого никуда нельзя было убежать, как от собственной тени.

Где предел человеческим силам — это инспектор знал лучше, чем сами те, кого это касалось. Когда работа кончалась, люди, как бревна, валились на нары и стояли.

Студент вспоминал картину, изображающую ад, которую он видел в полутемном храме, куда его в детстве водила бабушка. Ему казалось тогда, что он видит там каких-то змееподобных чудищ, тяжело ворочавшихся в болоте. Тут было точь-в-точь так же. От переутомления люди не могли спать. Поздно ночью в полутемном «нужнике» внезапно раздавался жуткий скрежет зубов, точно царапали по стеклу, слышалось сонное бормотанье, пронзительные крики спящих, которых мучили кошмары. Иногда, лежа без сна, люди вдруг шептали, обращаясь к самим себе, к своему живому телу: «Жив-еще... жив?» К своему собственному телу! Студенты страдали больше других.

— Как поживешь тут, так увидишь, что «Мертвый дом» Достоевского — сущие пустяки!

У одного по несколько дней подряд был запор, и он не мог заснуть, не перевязав как можно туже голову полотенцем.

— Да, пожалуй. — Его товарищ лизал кончиком языка, точно лекарство, виски, купленное в Хакодате. — Что ж, дело-то большое! Разрабатываем богатства

на местах, где еще не бывал человек. Это не шутка! Вот взять наш краболов. Теперь еще хорошо. А вот вначале, когда ни ветров, ни течений здешних еще не знали, когда эти места были действительно неведомые, сколько тогда кораблей погибало, — и сказать нельзя! Рыбаков топили; брали в плен, убивали. А все-таки мы не сдавались! Опять подымались и боролись изо всех сил. Оттого-то эти огромные богатства и стали нашими. Ничего не поделаешь — иначе нельзя.

Студент ничего не ответил. Так всегда пишут в учебниках истории; может, оно действительно так и было. Но тоска, затаившаяся на дне души, от этого несколько не проходила. Студент молча провел рукой по животу, отвердевшему, как доска. Кончик большого пальца показывало, как от слабого электрического тока. Это было ужасно неприятно. Он поднял палец к глазам и стал растирать его другой рукой.

После ужина все теснились к потрескавшейся печке, установленной посредине «нужника». Когда прижавшиеся друг к другу тела немного согревались, подымался пар. В нос ударял спирающий дыхание запах крабов.

— Ну, не знаю я, в чем тут дело, только убитым быть не желаю.

— Еще бы!

В «нужнике» воцарилась гнетущая тоска. Их убивают! Все негодовали, хотя и не представляли себе отчетливо, на чем сосредоточить свой гнев.

— Хо-хоть нас и ни-ни во что не ставят, но неужели же терпеть, чтобы нас убивали! — вдруг громко крикнул рыбак-заика; стараясь говорить скорее, он весь покраснел от напряжения.

Некоторое время все молчали. Почувствовали, как что-то резко и неожиданно укололо их в самое сердце.

— Не хочу умирать на Камчатке!

— Транспортный пароход вышел из Хакодате, радист давеча говорил.

— Вот бы вернуться!

— Где уж тут...

— Случается, убегают на этом пароходе.

— Ну? Вот здорово!

— А то выйдут будто на рыбную ловлю и убегают на Камчатку... и вместе с роскэ ведут красную пропаганду.

— «Ради Японской империи»... Ишь какой хороший предлог выдумали! — Студент расстегнул пуговицу, обнажил худую грудь, на которой, точно ступени, темнели впадины между ребрами, и, зевая, стал чесаться. Присохшая грязь спадала тонкими слюдяными чешуйками.

— А на деле только богачи из Ко-компании жи-жи-реют.

Пожилой рыбак устремил на печку вялый, мутный взгляд из-под дряблых век, морщинистых, как раковины устрицы, и сплюнул. Попав на печку, плевок собрался в шарик, шипя и подскакивая, как горошина, уменьшился и, оставив белесый налет, исчез. Все тупо следили за ним глазами.

— Пожалуй, ты прав...

Но сэндо, повесив над печкой вывернутые наизнанку красные шерстяные носки, подшитые резиной, сказал:

— Ну, вы не очень-то возмущайтесь.

— Это наше дело, черт! — Заика вытянул губы, как осьминог.

Потянуло противным запахом жженой резины.

— Эй, дядя, резина!

— Эх, присмолило!

По-видимому, поднялась волна: началась легкая качка. Пароход покачивало, как колыбель. При свете тусклой лампочки в пять свечей тени теснившихся вокруг печки рыбаков переплетались и сливались. Ночь была тихая. Из дверцы печки падал красный отблеск, освещавший ноги рыбаков. Как-то сразу — именно сразу — в один миг вспомнилась им вся их горькая жизнь.

Была удивительно тихая ночь.

— Табаку нет?

— Нет.

— Нету?

— Да нет же!

— А, черт!

— Эй, давай-ка виски сюда!

Владелец виски перевернул бутылку горлышком вниз и потряс ею.

— Что ты делаешь?

— Ха-ха-ха!

— Да, попали мы в переделку. Вот и я...

Этот рыбак одно время служил на заводе Сибаура. Завязался разговор. Для рабочих на Хоккайдо завод был

замечательным местом, лучше которого и представить себе нельзя.

— Будь там хоть сотая доля того, что творится у нас, давно бы устроили забастовку, — сказал он.

Это послужило сигналом, и каждый начал рассказывать, где ему довелось побывать. Строительство дорог, мелиоративные работы, прокладка железнодорожных путей, постройка гавани, закладка новых шахт, обработка новых земель, погрузочные работы — каждому что-нибудь было знакомо.

Когда в самой Японии рабочие «обнаглели» и перестали поддаваться на различные уловки, когда рынки были исчерпаны, в делах начался застой, капиталисты протянули свои когти на Хоккайдо и Сахалин. Там так же, как и в колониях, Корее и Тайване, они могли осуществлять самую беззастенчивую эксплуатацию. Капиталисты прекрасно знали, что никто не посмеет сказать им ни слова. Сезонников, работающих на прокладке государственных дорог и железнодорожных путей, убивали с большей легкостью, чем вшей. Некоторые не выдерживали жестокого обращения и убегали. Когда такого беглеца ловили, его привязывали к бревну и клали под задние ноги лошади или бросали во двор на растерзание цепным псам. Это делалось напоказ, на глазах у всех. Когда слышался хруст ломающихся ребер, случалось, что даже сезонники, эти «нелюди», закрывали себе лицо. Если истязаемый терял сознание, его обливали водой, приводили в чувство и начинали сначала. Наконец, истерзанный собаками, похожий на мешок с костями, он умирал. Его бросали где-нибудь в углу на дворе, но даже после этого его тело еще вздрагивало. Прижигание спины раскаленными щипцами, избивание шестигранной палкой так, что отнимались ноги, было «делом обычным». Во время обеда со двора вдруг раздавался пронзительный вопль. Доносился тяжелый запах горелого человеческого мяса.

— Ну, все... все... Есть невозможно.

Люди бросали хаси¹. Мрачно переглядывались.

Многие умирали от бери-бери, так как людей заставляли работать сверх всякой меры. Трупы «за недостатком времени» долго не хоронили, и они валялись без

¹ Хаси — палочки для еды.

присмотра. Когда в сумерки рабочие выходили во двор, они видели, как из-под края небрежно наброшенной на труп рогожи торчат маленькие, как у ребенка, тусклые коричневые ноги.

— Все лицо покрыто мухами. Давеча, когда проходил мимо, так и взлетели тучей, — говорил кто-нибудь, возвращаясь в барак.

Утром, еще до света, всех выгоняли на работу. Работать заставляли так, что только острия кирок сверкали, рук не было видно... Арестантам, работавшим по соседству, в тюрьме, все завидовали. В особенности тяжело приходилось корейцам, которыми помыкали старшины и свои же товарищи-сезонники — японцы.

Иногда с записной книжкой приходил на ревизию полицейский из деревни, расположенной за четыре-пятьри от места работы. Он оставался до вечера, иногда ночевал. Но к сезонникам он никогда не заглядывал. Возвращался он всегда пьяный, с багрово-красным лицом, на ходу мочась посреди дороги, как из брандспойта, и бормоча что-то нечленораздельное.

На Хоккайдо буквально каждая шпала — это посипевший, вспухший труп рабочего, каждая свая — заживо зарытый больной бери-бери. На Хоккайдо рабочих-сезонников называют «осьминогами». Говорят, осьминог, чтобы не умереть, объедает собственные щупальцы, а ведь тут происходило то же самое! Тут без всякого стеснения производилась «примитивная» эксплуатация. Зато извлекалась прибыль. И всему этому ловко придавался законный вид «государственного дела», «разработки естественных богатств». Все было предусмотрено. Ради «родины» рабочие голодали, ради «родины» их забивали насмерть.

— Вернулся живым — это чудо. И за то спасибо. Ну, а теперь убьют на пароходе — все одно!

Рассказывавший хрипло захохотал. Затем нахмурился и отвернулся.

То же самое и в шахтах. Прорывали галерею в новом руднике. Для того чтобы установить, какие там скапливаются газы, какие могут встретиться неожиданно, по примеру «бога войны» генерала Ноги¹, не стесняясь, жертвовали рабочими. Рабочие были дешевле

¹ Генерал Ноги — самый популярный в монархических кругах Японии участник японо-русской войны. Известен в особенности как командующий осадой Порт-Артура.

сурков. Ими бросались, как бумажками для сморканья¹. Окровавленные тела рабочих, точно ломтики «сасими»², слоями укрепляли стены шахт. Здесь, вдали от городов, творились чудовищные вещи. В угле, нагруженном на вагонетку, попадались приставшие к глыбам пальцы. Но женщины и дети при виде этого даже бровью не поводили: они «привыкли» и равнодушно катили вагонетки к следующему пункту. А уголь приводил в движение гигантские машины ради прибыли капиталистов.

У всех горняков, как у людей, долго сидевших в тюрьме, были желтые, одутловатые, всегда вялые лица. От недостатка солнечного света, от угольной пыли, от воздуха, насыщенного вредными газами, от ненормальных температур и давлений здоровье горняков сдавало на глазах. Проработать семь-восемь лет в шахте — все равно что безвыходно сидеть пять-шесть лет в темной дыре и ни разу не видеть солнца. Но, что бы ни случилось, капиталистов это не тревожило. Они всегда могли взамен этих рабочих нанять сколько угодно новых. И с наступлением зимы рабочие, как всегда, стекались в шахты.

Были на краболове и переселенцы на Хоккайдо. С помощью фильмов, расписывающих «освоение новых земель Хоккайдо», «разрешение вопроса перенаселения и питания», «поощрение переселенцев» и т. п., из внутренней Японии сманивали крестьян-бедняков, у которых вот-вот отберут последнюю землю, и, «поощряя переселение», сажали их на участки, где под слоем почвы в 5—6 дюймов начиналась глина. На плодородные земли давно уже были сделаны заявки. Нередко целые семьи, погребенные под снегом, не имея даже картофеля, к весне умирали с голоду. Об этом узнавали только тогда, когда таял снег и другие переселенцы, жившие за несколько километров, приходили проведать соседа. Из рта умершего торчал непрожеванный кусок соломенной подошвы.

Если кому-нибудь и удавалось избежать голодной смерти и за десяток лет поднять эту суровую землю, то

¹ В Японии в ходу не носовые платки, а бумажки, которые, раз употребив, бросают.

² С а с и м и — ломтики сырой рыбы, распространенная закуска.

в тот момент, когда она становилась, наконец, нормальным полем, земля тотчас переходила в чужие руки. Капиталисты — ростовщики, банкиры, дворяне, богачи — щедро ссужали переселенцев деньгами, и, как только запустелая земля делалась жирной, как шерсть упитанной кошки, они брали участок себе. В погоне за такой наживой в эти места стекались люди с зорким взглядом, любители загребать жар чужими руками. Крестьян обирали со всех сторон. И в конце концов они снова, как и во внутренней Японии¹, превращались в арендаторов. И только тогда у них открывались глаза: «Нас одурили»!

Они переправлялись через пролив Цугару на занесенный снегом Хоккайдо с одной мыслью — «сколотить деньгу» и вернуться на родину. На краболове таких людей — крестьян, у которых отняли землю, — было очень много.

Участь грузчиков была похожа на участь рыбаков с краболовов. Они валялись в общежитии в Отару, и пароходы увозили их на Сахалин и в глубь Хоккайдо. Стоило грузчику «чутьочку» поскользнуться во время погрузки, и он оказывался под брусом, который с грохотом падал на него, сотрясая все кругом, и расплющивал его в лепешку. Иногда зазевавшегося грузчика ударяло скользкое от воды бревно, сорвавшееся с лебедки, и человек с разбитой головой летел в море.

В самой Японии рабочие, не желающие молча погибать, сплываются и оказывают капиталистам сопротивление. Но «колониальные» рабочие совершенно беззащитны. Им было тяжело, страшно тяжело. И с каждым днем становилось все тяжелее, как будто каждый из них нес на плечах грузную онежскую бабу.

— Что-то будет!

— Дело ясное — крышка нам всем.

Все замолчали, как будто хотели что-то сказать, но так и не сказали.

— Прежде чем нам бу-будет крышка, мы сами его уьем! — резко отрубил заика.

Волны слабо плескались о борта. На верхней палубе из трубы струился пар, слышался легкий свист, как будто кипел чайник.

¹ «Внутренней Японией» до 1945 г. называлась территория собственно Японии, без колоний, а часто и без острова Хоккайдо.

Перед сном рыбаки снимали заскорузлые от грязи вязанные и фланелевые фуфайки и развешивали их над печкой. Когда одежда согревалась, те, кто окружал печку, брались за горячие, как жаровня, края фуфаек и встряхивали их. Вши и клопы, падая на печку, шипели; подымался смрад, как от горящего человеческого тела. Не выдержав жары, вши выползали из швов, отчаянно шевеля тонкими лапками. Когда их подбирали, на пальцах появлялось ощущение чего-то жирного.

— Ну-ка, подержите за край!

Кто-то взял край фундоси¹. Растянув его, рыбак стал искать вшей. Рыбаки клали вшей в рот и с хрустом перекусывали их передними зубами, давили их ногтями, пока ногти не делались красными. Как дети, обтирающие руки о платье, они вытирали пальцы о полы куртки и опять принимались за дело. И все же они не могли заснуть. Всю ночь их мучили неведь откуда бравшиеся вши, клопы, блохи. Что бы и как бы они ни делали, извести насекомых не удавалось. Стоило в полутьме ступить на сырые нары, как по ногам сейчас же взбирались десятки блох. Рыбакам начинало казаться, что прогнило их собственное тело. Уж не трупы ли они, разложившиеся и кишашие червями и насекомыми?

Баню первое время устраивали через день. Иначе и нельзя было. Тела у всех были провонявшие, грязные. Но прошла неделя, и баню стали устраивать раз в три дня, а через месяц — раз в неделю. Наконец, дошло до двух раз в месяц. Это делалось, чтобы сократить расход воды. Однако капитан и инспектор принимали ванну ежедневно, и расходом воды это не считалось. Тело пачкалось от крабов, оно оставалось грязным целые дни подряд, — естественно, вшам и клопам было раздолье.

Когда рыбаки развязывали фундоси, блохи так и падали черными зернами. От фундоси на животе оставался красный рубец, который невыносимо чесался. Ночью отовсюду слышалось яростное царапание ногтями по телу. Казалось, по телу бегали маленькие твари, похожие на пружинки, и жалили, жалили... Каждый раз рыбак подергивался и опять засыпал. Но сейчас же повторялось то же самое. Так продолжалось до утра. Кожа у всех стала шершавой, как у чесоточных.

¹ Фундоси — набедренная повязка, тппа плавок.

— Подохнешь от этих вшей!

— В самый раз!

Все засмеялись, ничего больше не оставалось.

5

По палубе пробежало несколько взволнованных рыбаков.

У борта они остановились как вкопанные, отшатнулись и ухватились за поручни. Плотник, что-то чинивший на верхней палубе, выпрямился и посмотрел в их сторону. От холодного ветра у него на глазах выступили слезы, мешавшие ему видеть. Отвернувшись, он громко высморкался в руку. На корме по левому борту загрохотала лебедка. Странно, что она работала сейчас, когда все вышли на лов. На тросе лебедки дергался и качался какой-то предмет. Лебедка поворачивалась, и предмет этот раскачивался, описывая вокруг линии отвеса плавный круг.

— Что это? — Плотник вздрогнул.

В растерянности он отвернулся и высморкался в кулак еще раз.

— Опять!

Он вглядывался, непрерывно вытирая ладонью слезы.

На фоне пепельно-серого дождливого моря отчетливо выделялся черный силуэт подростка-чернорабочего, подвешенного под выдававшейся вперед гигантской стрелой лебедки. Несчастного подняли к небу до самой вершины стрелы. Минут двадцать он болтался там, точно тряпка. И опять спустился. Тело его извивалось, корчилось, ноги дергались, как у мухи, запутавшейся в паутине. Потом черный силуэт исчез из виду за выступом кают-компания. Только натянутый трос время от времени покачивался, точно качели.

У плотника все время текли сопли, словно слезы попадали ему в нос. Он еще раз высморкался, достал из кармана молоток и принялся за работу. Вдруг он прислушался. Стальной трос покачивался, как будто кто-то тряс его внизу. Откуда-то доносился неприятный глухой звук.

Лицо подвешенного чернорабочего было искажено. На плотно сжатых, как у трупа, губах выступила пена...

Когда плотник спустился вниз, начальник чернорабочих со связкой прутьев под мышкой, неловко подняв плечо, мочился с палубы в море.

Плотник покосился на прутья. «Этим он его бил».

Измученные каждодневной непосильной работой, рыбаки по утрам не в силах были подняться. Инспектор стучал пустой жестянкой из-под керосина над самым ухом спящих. Он стучал яростно, не переставая, пока они не открывали глаз и не вставали. Больные бери-бери приподнимали голову и что-то бормотали. Но инспектор не прекращал грохота, словно ничего не замечая. Слов не было слышно, только губы у них шевелились, как у золотых рыбок, когда они wypлывают в аквариум к поверхности воды и хватают ртом воздух.

Настучавшись вдоволь, инспектор орал:

— Ну что? Я вас подыму! Работа ради родины — это та же война. Надо быть готовым на смерть! Дурачье!

Он стаскивал с больных одеяла и выталкивал их на палубу. Больные бери-бери спотыкались на каждой ступеньке. Цепляясь одной рукой за перила, они сгибались в три погибели и, переставляя ноги другой рукой, поднимались по трапу. При каждом шаге сердца у них подскакивали, точно от пинка.

Инспектор и начальник чернорабочих всячески измывались над больными. Стоило им начать работать в консервном цехе, как их выгоняли скрести палубу. Не успевали они приняться за работу, как их направляли на наклейку этикеток. В холодном полутемном цехе приходилось все время следить за тем, чтобы не оступиться на скользком полу, ноги немели, как деревянные, колени подгибались, и рабочие в изнеможении опускались на корточки.

Студент слегка постучал себя по лбу тыльной стороной руки, запачканной в крабовой жиже. Через несколько минут он покачнулся и упал на пол. Пустые консервные банки, наваленные кучей, с грохотом посыпались на него. Судно накренилось, и они покатались под станки между ящиками и тюками. Взволнованные товарищи понесли было студента к люку, но по дороге наткнулись на инспектора, который, насвистывая, спускался в цех.

— Как вы смели бросить работу!

— Как же так... — один из рыбаков рванулся было вперед, но осекся, как будто налетев на что-то.

— Что-о?.. Болван! Скажи-ка это еще раз! — Инспектор вынул из кармана пистолет и повертел им, как бы играя. Потом вдруг громко захохотал, скривив губы треугольником и трясаясь всем телом. — Воды! — Схватив полное ведро, он выплеснул его на студента, брошенного на пол, как бревно. — Хватит с него! Смотреть здесь не на что. За работу!

Когда рабочие на другое утро спустились в цех, они увидели студента привязанным к железной станине станка. Голова его овесилась на грудь, как у курицы со свернутой шеей. На спине под затылком выдавался крупный позвонок. На груди у него, как детский слюнявчик, болтался лист картона, на котором рукой инспектора было написано: «Изменник и симулянт. Развязывать запрещается».

Пощупали лоб: он был холоднее ледяного железа. Перед тем как войти в цех, чернорабочие громко разговаривали. Теперь никто не промолвил ни слова. Услыхав голос спускавшегося за ними начальника, они отошли от станка, к которому был привязан студент, и двумя потоками направились к своим местам.

Когда ловля крабов пошла усиленным темпом, рабочим пришлось еще круче. Многие всю ночь плевали кровью, — передние зубы у них были выбиты, от непосильного труда они посреди работы лишались чувств, из глаз у них шла кровь, от вечных оплеух они глохли. Истомленные усталостью, они шатались, как пьяные. У них темнело в глазах, и они только и думали: «Вот закончим работу, вот можно будет вздохнуть!»

Но когда рабочий день подходил к концу, инспектор орал:

— Сегодня до девяти! Этакие мерзавцы, только перед концом они шевелятся проворней!

И все опять принимались за работу вяло и медленно, как в фильме ускоренной съемки. Энергии на большее у них не хватало.

— Мы не можем возвращаться сюда по двадцать раз. Да и крабы ловятся не всегда. Если бросать работу только из-за того, что, мол, проработали десять часов или там тринадцать, то все пойдет прахом. Здесь работа

совсем особая. Поняли? А вот зато, когда крабы перестанут ловиться, я вам дам побездельничать больше, чем вы того стоите. — Так сказал инспектор, спустившись в «нужник». — А вот у роскэ иначе — пусть рыба так и кишит у них перед глазами, им все равно: чуть придет положенный час, ни минуты не медлят и бросают работу. Вот как они относятся к делу! Оттого-то Россия стала такой, какая она теперь. Японским молодцам не следует брать с них пример!

«Ишь расписывает, жулик!» — думали некоторые и не слушали его. Но большинству казалось, что японцы и в самом деле молодцы. Им казалось, что в мучениях, которым их безжалостно подвергали изо дня в день, действительно есть что-то «героическое», и эта мысль служила им некоторым утешением.

Однажды во время работы на палубе они увидели, как к югу, пересекая горизонт, направляется миноносец. На корме его развевался японский флаг. Рыбаки, взволнованные, с глазами, полными слез, замахали шапками. «Только они! Только они за нас!» — думали рыбаки.

— Черт! Поглядишь на них — прослезисься.

Они провожали миноносец глазами до тех пор, пока он, все уменьшаясь, окутанный дымом, не исчез из виду.

Возвращаясь на свои места, размякшие, как тряпки, они, точно по уговору, ругались, ни к кому, собственно, не обращаясь: «Черт!» В темноте это было похоже на злобный рев быка. Они и сами не понимали, на кого обращен их гнев. Но ежедневное совместное пребывание в «нужнике», постоянные откровенные разговоры незаметно сделали то, что мысли, слова, действия этих двухсот человек с медлительностью слизня, ползущего по земле, все же принимали одно направление. В этом общем потоке были, конечно, и такие, которые топтались на месте, были и пожилые рыбаки, державшиеся обособленно. Но каждый из них, сам того не замечая, менялся, и незаметно среди рыбаков образовались отчетливые группы.

Было утро. С трудом подымаясь по трапу, бывший горняк сказал:

— Больше не могу!

Накануне работали почти до десяти, тело было ослаблено, как сломанная машина. Люди спали на ходу.

Сзади их окликали, и тогда они снова машинально переставляли ноги. Некоторые спотыкались, падали и дальше двигались на четвереньках.

Перед тем как приступить к работе, все спустились в цех и столпились в углу.

— Я буду саботировать. Не могу! — сказал горняк. Все молча переглянулись.

— «Прижгут...» — сказал кто-то немного погодя.

— Да ведь я не из лени! Просто нет сил.

Горняк завернул рукав до плеча и поднял руку к глазам, как будто глядя сквозь нее.

— Я ведь не из лени.

— Ну, гляди...

В этот день инспектор расхаживал по цеху, как драчливый петух.

— Это что такое? Это что такое? — орал он направо и налево.

Но вяло работали не отдельные рабочие, а почти все, так что инспектору только и оставалось что в ярости метаться по цеху. И рыбаки и команда впервые видели инспектора в таком состоянии. С палубы слышалось шуршание крабов, выбравшихся из сетей. Работа стала застывать, как вода в засорившейся водосточной трубе. И дубинка инспектора не помогала!

По окончании рабочего дня рыбаки, вытирая головы замызганным полотенцем, один за другим пошли в «нужник». Встречаясь глазами, они невольно фыркали. Они сами не понимали, почему им так ужасно весело.

Их настроение передалось и команде. Когда матросы поняли, что их заставляют работать, срамливая с рыбаками, и, таким образом, порядочно дурачат, они тоже принялись время от времени «саботировать».

Если кто-нибудь перед началом работы говорил: «Вчера здорово переработали, сегодня будем саботировать!» — то все так и делали. Но этот так называемый «саботаж» заключался только в том, что они работали несколько менее напряженно.

Все ослабели. «Придет момент, волей-неволей будем действовать. Раз нас убивают, то уж все равно», — думалось каждому. Им было уже невозможно.

— Транспорт! Транспорт! — крикнул кто-то на верхней палубе.

Крик этот слышали внизу. Все, кто в чем был, попрыгали с нар «нужника».

Транспорт занимал мысли экипажа и рыбаков еще больше, чем женщины. Этот пароход приносил с собой запах Хакодате, запах «твердой земли», на которую они уже давно не ступали. К тому же транспорт доставлял им письма, рубашки, белье, журналы и все прочее.

Они вцепились в посылки своими узловатыми пальцами, провонявшими запахом крабов, и взволнованно потащили их в «нужник». Усевшись на нары по-турецки, поставив свертки между ног, они стали развязывать посылки. Тут были разные разности. Письма от детей, нацарапанные неуверенным почерком под диктовку матери, полотенца, зубной порошок, зубные щетки, туалетная бумага, кимоно, из складок которого вдруг выпадало слежавшееся от придавившей его тяжести письмо жены. Рыбакам хотелось уловить притаившийся в вещах запах «родного дома». Они старались почувствовать молочный запах детей, теплый запах тела жены.

Матросы и рыбаки, которым ничего не прислали, расхаживали, засунув руки в карманы штанов.

— Пока тебя нет, ее уж кто-нибудь подцепил, — подтрунивали над ними.

Один из рыбаков в стороне от общего шума задумался, уставившись в полутемный угол, снова и снова загибая пальцы на руке: из письма, доставленного транспортом, он узнал о смерти своего ребенка. Ребенок умер два месяца тому назад, а он и не знал об этом. В письме говорилось, что на радиотелеграмму не хватило денег. Рыбак сидел мрачный, сам не свой.

У другого было как раз обратное. В письме была вложена фотография младенца, похожего на маленького скользкого осьминога.

— Ишь ты какой! — громко расхохотался рыбак. И, широко улыбаясь, он всем показывал фотографию, говоря: — Что скажешь? Вот у меня какой сын родился!

Были в посылках вещи, сами по себе ничего не значащие, о которых могла вспомнить только заботливая жена. При виде таких вещей у каждого сердце начинало тревожно биться; людей безудержно тянуло домой.

На транспортном пароходе прибыла посланная компанией кинопередвижка. Вечером, когда закончили перегрузку только что изготовленных консервов, на судне состоялся киносеанс.

Два-три молодых человека совершенно одинакового вида, в широких кепках набекрень, галстуках бабочкой и широких брюках, вошли с тяжелыми чемоданами на краболов.

— Ну и вонь! Ну и вонь!

С этими словами они сняли пиджаки и, посвистывая, начали натягивать экран, отмерять расстояние и устанавливать аппаратуру. Рыбаки почувствовали в этих людях что-то «не морское», что-то похожее на них самих, и это их страшно привлекало. И команда и рыбаки, повеселев, приняли участие в приготовлениях.

Пожилой, простоватый на вид мужчина в толстых золотых очках стоял немного поодаль и вытирал с шеи пот.

— Бэнси-сан¹, не стойте там: блох нахватаете!

Тот подскочил, точно наступив на раскаленное железо.

Смотревшие на него рыбаки расхохотались.

— Ну и места! — произнес бэнси хриловатым, скрипучим голосом. — Возможно, что вам и неизвестно... но все же, как вы думаете, сколько Компания зарабатывает на том, что забирается сюда? Не мало! За шесть месяцев — пять миллионов! За год — десять. Сказать «десять миллионов» — просто. А на самом деле какие это деньги! И акционерам выдают прямо чудовищный дивиденд — двадцать два с половиной процента! Другой такой Компании даже в Японии не сыщешь! А теперь председатель пройдет еще и в депутаты... Не гни он так жестоко, не наживались бы так.

Наступил вечер.

Всем роздали «поздравительные» сакэ², спирт, сушеную каракатицу, тушеные овощи, папиросы и карамель.

¹ Бэнси — рассказчик в кино, рассказывающий во время демонстрации фильма его содержание и вообще разъясняющий действие. Особенность японского кино до его озвучивания.

² Сакэ — рисовая водка, японский национальный алкогольный напиток.

Некоторое время стоял шум. Несколько человек из первого ряда вдруг захлопали. Остальные, не разбираясь в чем дело, присоединились к ним.

Перед экраном появился инспектор. Выпрямившись и заложив руки за спину, он заговорил, употребляя непривычные слова, вроде «господа», «осмелюсь» и так далее, пуская в то же время и свои всегдашние выражения: «сыны Японии», «благосостояние страны»... Большинство не слушало. Энергично двигая челюстями, рыбаки жевали сушеную каракатицу.

— Довольно, довольно! — крикнули сзади.

— Эй ты, убирайся! На то есть бэнси. Ну!

— Тебя бы да твоей палкой!

Все расхохотались. Раздался свист, аплодисменты. При посторонних инспектор не решался дать волю своему гневу; покраснев, он что-то произнес (из-за шума нельзя было разобрать — что) и отошел от экрана.

Сеанс начался.

Сначала шла видовая картина. На экране появлялись острова Мацусима, Эносима, Киото¹. Лента иногда обрывалась. Кадры вдруг раздвигались, путались, как от головокружения, на мгновение исчезали, оставляя после себя одно белое пятно экрана.

Потом пошли японские и зарубежные фильмы. Все ленты были попорчены, страшно мелькали. К тому же они, видно, кое-где были разорваны и подклеены, так что движения действующих лиц казались судорожными. На все это зрители не обращали внимания, так они были увлечены. Когда на экране появлялись элегантные иностранные женщины, рыбаки свистели, фыркали. Случалось, что бэнси, рассердившись, прерывал объяснения.

Первым шел американский фильм из истории колонизации Запада. Отбиваясь от туземцев, борясь с природой, люди падали, опять поднимались и шаг за шагом проводили железную дорогу. На их пути в одну ночь возникали города, один за другим, словно стыки рельс. Железная дорога продвигалась все вперед и вперед, и все дальше росли города. На экране показывали связанные с этим трудности, и попеременно, то выступая на первый план, то отступая на задний, разворачивался

¹ Местности, известные своей живописностью.

роман между рабочим и дочерью директора Компании. При последнем кадре бэнси возвысил голос:

— Протянувшаяся на сотни и сотни миль железная дорога, наконец завершенная благодаря самоотверженности многих, многих юношей, как гигантская змея, побежала по полям, пересекала горы, и вчера еще дикая земля стала достоянием страны.

Фильм закончился объятиями директорской дочки и рабочего, вдруг принявшего облик джентльмена.

За этой картиной последовал коротенький европейский комический фильм, вызвавший только бессмысленный смех.

Японская картина рассказывала о бедном японском юноше, который начал продавцом бобов, разнощиком газет, потом стал чистильщиком обуви, поступил на завод, сделался «образцовым рабочим», пошел в гору и стал богачом.

Бэнси воскликнул, хотя такого титра и не было:

— Поистине, если не усердие мать успеха, то что же?

Эта тирада вызвала искренние аплодисменты подростков-чернорабочих. Но из толпы рыбаков и матросов раздался громкий голос:

— Врешь! Кабы так, я давно б уже был директором.

И все громко расхохотались.

Потом бэнси рассказывал:

— Мне от дирекции было приказано: «На это место нажми хорошенько да еще и повтори несколько раз!»

Под конец были показаны различные заводы и конторы Компании. Показали и «усердно» работающих рабочих.

По окончании сеанса все перепились. Сакэ сильно подействовало, так как люди давно уже не брали в рот спиртного и были переутомлены. Под тусклой электрической лампой плавали облака табачного дыма. Воздух был спертый, затхлый; рыбаки раздевались, повязывали голову платком, сидели, скрестив ноги, лежали, выставив зад громко кричали и переругивались. Иногда поднималась драка.

Так продолжалось за полночь.

Рыбак из Хакодате, больной бери-бери и потому всегда спавший, попросил, чтобы ему приподняли подушку, и смотрел на веселье. Его приятель-земляк стоял

рядом, прислонившись к столбу, ковырял в зубах спичкой и цыкал.

Было уже довольно поздно. По лестнице «нужника» скатился, как куль, рыбак; одежда и правая рука у него были в крови.

— Ножи! Ножи! Берите ножи! — кричал он. — Мерзавец Асагава куда-то сбежал! Нет его! Я его убью!

Это был рыбак, которого уже не раз бил инспектор. Схватив кочергу, с налитыми кровью глазами, он опять выбежал; никто его не остановил.

— Эге! — Рыбак из Хакодате взглянул на товарища. — И рыбаки не всегда остаются дураками. Это становится занятием!

На другой день узнали, что на столе в каюте инспектора все было перебито. Сам инспектор уцелел только потому, что на свое счастье не оказался в каюте.

6

Небо было в легких дождевых облаках. До вчерашнего дня еще лил дождь. Теперь похоже было, что он вот-вот перестанет. На море, сером, как пасмурное небо, такой же серый дождь время от времени поднимал легкую волнистую рябь.

После полудня подошел миноносец. Столпившись у борта, свободные рыбаки, чернорабочие и судовая команда оживленно тараторили о миноносце. Он был в диковинку.

С миноносца спустили шлюпку, и группа офицеров направилась к краболову. На нижней площадке трапа, спущенного с борта, их ожидали капитан, начальник цеха, инспектор и начальник чернорабочих. Когда шлюпка причалила, офицеры и начальство краболова отдали друг другу честь и, предводительствуемые капитаном, стали подниматься по трапу. Инспектор взглянул вверх, нахмурил брови, скривил рот и махнул рукой:

— Нечего смотреть! Ступайте себе, ступайте!

— Ишь какой важный, сволочь!

Задние стали напирать на передних, и рыбаки всей толпой спустились в цех. На палубе остался тяжелый запах.

— Какая вонь! — поморщился молодой офицер с холерными усиками.

Шедший вслед за ним инспектор суетливо забежал вперед, что-то сказал и несколько раз поклонился.

Рыбаки издали смотрели, как при каждом шаге стучаются о зады и подскакивают разукрашенные кортики офицеров. Серьезно обсуждали, какой из офицеров самый важный, какой менее важный. Под конец даже чуть не поссорились.

— Тут, пожалуй, и на Асагава никто смотреть не станет, — сказал один из рыбаков и стал изображать чванные повадки инспектора.

Все расхохотались.

В этот день ни инспектор, ни начальник чернорабочих не показывались. Поэтому все работали с прохладцей. Пели, громко переговаривались за станками.

— Вот бы всегда так работать!

Когда работа кончилась, рыбаки вышли на верхнюю палубу. Проходя мимо салона; они слышали пьяные, разнузданные выкрики.

Вышел бой. В салоне было душно от табачного дыма. По возбужденному лицу боя градом катился пот. В руках у него были пустые бутылки из-под пива. Движением подбородка показал на карман штанов:

— Лицо, будьте любезны...

Один из рыбаков достал его платок и, вытирая ему лицо, спросил:

— Как там?

— Ох, ужасно! Так и хлещут. А о чем говорят! У той женщины, мол, так-то, а у этой так-то. Сбил с ног из-за них. Они так пьяны, что, явись сюда сейчас чиновник из министерства, они бы прямо так и скатились с трапа.

— А зачем они явились?

Бой изобразил на лице полное недоумение и торопливо побежал на камбуз.

Рыбаки поели китайского риса, такого рассыпчатого, что его трудно было зацепить палочками, и соленого супа из мисо, в котором, как клочки бумаги, плавали овощи.

— Европейская еда! Ни разу ее не то чтобы есть, даже видеть не приходилось. А сколько ее потащили в салон!

— А, черт побери!

Сбоку над столом висел плакат, на котором неуклюжим почерком было написано:

«Кто привередничает из-за еды, тот никогда не станет великим человеком».

«Цените каждое зернышко риса. Это плод пота и крови».

«Терпеливо выносите неудобства и трудности».

На полях внизу были непристойные надписи, как в общественной уборной.

После еды перед сном все ненадолго столпились вокруг печки. Разговор от миноносца перешел на военную службу. Среди рыбаков было много крестьян из провинций Акита, Аомори, Иватэ. Армией, сами не зная отчего, они просто бредили. Оказалось много таких, которые уже побывали на военной службе. Теперь они вспоминали о своем тогдашнем солдатском житье-бытье, полном жестоких притеснений, как о чем-то родном, милом.

Поздно вечером, когда все уже уснули, шум из салона все еще доносился вниз, проникая через доски палубы и обшивку бортов. Иногда кто-нибудь из рыбаков просыпался и шептал: «Еще не уgomонились? Ведь уже светает!» Слышался стук чьих-то каблуков, — вероятно, боя, бегавшего взад и вперед по палубе. В самом деле, кутеж продолжался до зари.

Наутро трап оказался спущенным: видимо, офицеры вернулись на миноносец. К ступенькам прилипли рисовые зерна, кусочки крабов, что-то вязкое, коричневое — густая рвота. В нос бил исходивший от нее острый запах спиртного перегара. От него спирало дыхание.

Миноносец еле покачивался на волнах, точно водяная птица, сложившая серые крылья. Казалось, он был погружен в сон. Из трубы в безветренном воздухе ниточкой подымался дым, тоньше, чем от папиросы.

Инспектор, начальник чернорабочих и прочее начальство не встали даже и в полдень.

— Прохлаждаются, скоты! — ворчали рыбаки за работой.

На камбузе в углу горой были свалены пустые жестянки от съеденных крабовых консервов и пустые пивные бутылки. Даже бой, который сам все это перетаскал, поражался утром, как они умудрились столько съесть и выпить.

Благодаря своим служебным обязанностям бой прекрасно знал действительный образ жизни капитана, инспектора и прочего начальства, то есть то, чего рыбаки и пароходная команда знать не могли. В то же время он имел возможность сопоставить с этим хорошо ему известное жалкое существование рыбаков (инспектор, напившись называл их — «свиньями»). Честно говоря, начальство держит себя важно, но на деле ради наживы «спокойно» пускается на страшные вещи, а рыбаки и команда на это попадают. Это было невыносимо видеть.

Бой всегда думал, что все спокойно только до тех пор, пока рабочие ничего не знают. Но он-то, бой, понимает, к чему приведут, не могут не привести такие порядки.

Было два часа. Капитан и инспектор в измятых костюмах в сопровождении двух человек команды, несших консервы, на моторной лодке отправились на миноносец. Рыбаки и чернорабочие, возившиеся на палубе с уловом, смотрели на них, точно на свадебный поезд.

— Что это они делают? Не понимаю!

— Ведь это консервы, что мы сработали! Швыряются хуже, чем бумажками из нужника.

— Ну, чего ты! — сказал пожилой рыбак, у которого на левой руке не хватало двух пальцев. — Ведь моряки пришли сюда ради нас, чтобы нас охранять.

Вечером из трубы миноносца повалили клубы дыма. По палубе взад и вперед забегали матросы, и минут через тридцать он двинулся. Слышно было, как полощется по ветру флаг на корме. На краболове по сигналу капитана прокричали «банзай».

После ужина в «нужник» спустился бой.

Рыбаки разговаривали, сидя у печки. Некоторые стояли под тусклой лампочкой и снимали с рубашки вшей. Каждый раз, когда кто-нибудь проходил через полосу света, на крашеную закоптевшую стену падала огромная тень.

— Мы тут толкуем об офицерах, капитане и инспекторе. А вот, говорят, что мы теперь ведем лов в русских водах. Потому-то, мол, миноносец и стоит все время поблизости настороже... Вероятно, здорово дали вот

этого... — Говоривший сложил большой и указательный палец в кружок¹.

— Как я слышал, выходит, что Камчатка и Сахалин, где деньги прямо на земле валяются, и вообще все эти места в конце концов будут принадлежать японцам. В Японии говорят, что важен не только Китай и Маньчжурия, но и эта область тоже. К тому же наша Компания вместе с Мицубиси², кажется, ловко орудует в правительстве. А если директор сделается депутатом, он двинет дело еще дальше.

— Говорят, что миноносцы здесь для того, чтобы охранять краболовные суда... Еще чего!.. У них вовсе не одна эта задача. Наоборот, их главная задача — подробно изучить море и климат здешних вод до Сахалина и Курильских островов, чтобы в случае чего быть наготове. Это, наверное, секрет, только говорят, что на самый крайний из Курильских островов потихоньку свозят пушки, горючее...

— Я даже удивился, когда первый раз услышал... А только все войны, которые Япония вела до сих пор, на самом деле, — если докопаться до самой — что ни на есть сути, — затевались по указке двух-трех богачей, только предлоги придумывали разные. Им, видно, хочется прибрать к рукам места повыгодней, вот они и действуют. Рискованное дело!

7

Загрохотала лебедка: спускали кавасаки. Внизу стояло четверо рыбаков. Стрела лебедки была коротка, поэтому они следили за спуском и подталкивали кавасаки, не давая ей стукаться о палубу. Это была опасная работа. Лебедка на изношенном судне шаталась, как колени больного бери-бери. Зубчатая передача барабана лебедки то и дело отказывала, и бывало, что трос вдруг начинал разматываться только с одной стороны. Тогда кавасаки, повиснув криво, точно копченая селедка, срывалась вниз, и зазевавшиеся рыбаки получали ушибы и рапения.

¹ Жест, обозначающий монету, деньги.

² Мицубиси — один из крупнейших японских концернов.

То же случилось и этим утром. Кто-то крикнул: «Берегись!» Голова рыбака, по которой удар пришелся прямо сверху, вдавилась в грудь, как свая в болотистую почву.

Рыбаки понесли раненого к врачу. Те из них, которые теперь называли про себя инспектора скотиной, решили попросить врача выдать свидетельство о болезни. Инспектор был змеей в человеческой коже, и ясно было, что он обязательно станет придирааться. А для того чтобы иметь возможность протестовать, нужно было получить свидетельство. К тому же врач относился к рыбакам и команде с некоторым сочувствием.

— На этом пароходе раненых и больных от работы гораздо меньше, чем раненых и больных от побоев, — ужасался он. Он говорил, что каждый случай надо заносить в дневник, чтобы иметь впоследствии доказательства, и довольно заботливо относился к больным и раненым.

— Мы бы хотели получить свидетельство... — начал один из рыбаков.

Сначала врач как будто удивился.

— Гм!.. Свидетельство?..

— Нам достаточно, если вы напишете все так, как оно случилось.

Рыбаки ностерпеливо переминались с ноги на ногу.

— На этом суде постановлено не выдавать таких свидетельств. Правда, это постановление — произвол, но все-таки... могут быть нежелательные последствия.

Заика с досадой шелкнул языком.

— Недавно был такой случай: пришел ко мне рыбак, который оглох от того, что его ударил Асагава-кун¹, и я, ничего не подозревая, выдал ему свидетельство. А кончилось скандалом. Ведь такое свидетельство всегда может стать доказательством... против Асагава-куна...

Выходя из каюты врача, рыбаки разочарованно думали о том, что врач тоже больше не на их стороне.

Пострадавшему, к общему удивлению, как-то удалось выжить. Но целые дни слышно было, как он стонет, забившись в непроглядно темный угол.

¹ В Японии в разговоре после имени всегда следует какая-нибудь приставка: сан — официальная, кун — более фамильярная, и др.

Когда он начал поправляться и его стоны перестали всех изводить, умер рыбак, больной бери-бери. Ему было двадцать семь лет. Родом он был из Токио, завербован посреднической конторой Ниппари; с ним было еще десяток товарищей оттуда же. Однако инспектор распорядился, чтобы при покойнике оставались только больные, которые не выходят на работу.

Когда его раздели, чтобы обмыть тело, в нос ударило зловоние. На груди копошились отвратительные белые плоские вши. Тело, покрытое чешуйками грязи, было похоже на ствол упавшей сосны. Ребра резко выдавались. После того как болезнь обострилась, ему было трудно двигаться, и он, по-видимому, ходил под себя. Запах от него был ужасен. И фундоси и рубашка почернели, а когда их сняли, они чуть не рассыпались, как будто сожженные кислотой.

Передавали, что он перед смертью говорил: «Не хочется умирать на Камчатке!» А теперь, когда он умирал, никого не было рядом. На этой Камчатке и не помрешь по-человечески! Рыбаки думали о том, каково ему было перед смертью. Некоторые громко плакали.

Когда пошли в кухню за горячей водой для обмывания, кок сказал:

— Жаль беднягу! Берите больше. Наверное, тело-то все в грязи.

Возвращаясь с водой, рыбаки натолкнулись на инспектора.

— Куда несете?

— Обмывать.

— Много воды не тратьте! — Он как будто хотел добавить еще что-то, но промолчал и ушел.

Когда они вернулись, один рыбак проговорил, трясясь от ярости:

— Никогда еще мне так не хотелось вылить ему весь этот кипяток на голову!

Опять с назойливым обходом явился инспектор и, оглядев всех, ушел. Но рыбаки решили продежурить возле покойника всю ночь, хотя бы на следующий день пришлось клевать носом, валиться с ног во время работы. Так и порешили.

В восемь часов все приготовления были сделаны. Рыбаки, чернорабочие и матросы установили свечи и курительные палочки и сели перед телом. Инспектор

совсем не появился. Капитан и судовой врач все же пришли и посидели около часа. Один из рыбаков, помнивший отрывочные фразы из сутры¹, заикаясь, как косноязычный, стал читать. Ему сказали:

— Ничего! Сойдет! Не слова — душа доходит.

Когда чтение прерывалось, воцарялась полная тишина. Кое-кто всхлипывал, шмыгая носом. К концу плакали уже многие.

Когда чтение сутры окончилось, все один за другим зажгли курительные свечи. Потом, нарушив порядок, разбились на кучки. От воспоминаний об умершем товарище разговор перешел к делам, касавшимся их самих — еще живых, но, если хорошенько подумать, тоже находящихся на краю смерти.

Когда капитан и врач ушли, рыбак-занка стал рядом с покойником перед столом, на котором горели свечи.

— Я не знаю сутры. Я не могу утешить душу Ямада-кун чтением молитвы. Но, обдумав все, я пришел к такой мысли. Как Ямада-кун не хотелось умирать! Вернее говоря, ему не хотелось быть убитым. А Ямада-кун вправду убит.

Слушатели молчали, как пришибленные.

— Ну, а кто его убил? Это понятно без слов. Я не могу утешить душу Ямада-кун священным писанием. Но мы можем утешить душу Ямада-кун тем, что мы схватим врага, который его убил. Я думаю, что в этом мы теперь и должны поклясться душе Ямада-кун.

Матросы паровой команды первые сказали:

— Правильно!

В «нужнике», провонявшем крабами и человеческими испарениями, аромат курительных свечей казался чудесным благоуханием.

В девять ушли чернорабочие. От усталости некоторые сидя дремали и никак не могли подняться, словно окаменели. Немного погодя один за другим уснули и рыбаки.

Поднялись волны. Судно качало, и огонь свечей мерк, точно потухая, и опять разгорался. Белый платок, которым было закрыто лицо покойника, двигался, сползал. Смотреть на это было так жутко, что пробирала дрожь. О борт краболова плескались волны.

¹ Сутра — священное писание буддийской религии.

На другое утро, проработав до восьми часов, четыре человека от команды и от рыбаков, назначенные инспектором, спустились в трюм. Вчерашний рыбак опять прочитал молитву. Потом эти четверо с помощью трех-четырех больных завернули тело в старый пеньковый мешок. Было много новых, но инспектор сказал, что это расточительность: пускать в ход новый мешок, чтобы сейчас же бросить его в море! Запаса курительных свечей на пароходе не имелось.

— Эх, жалко беднягу! Не хотелось ему умирать.

Складывая туго сгибавшиеся руки покойника, роняли слезы на мешок.

Нечего делать! Слезами не поможешь.

— А нельзя ли как-нибудь довести его до Хакодате? Глянь на его лицо... Ему так не хотелось, чтобы его бросали в холодную воду Камчатки...

— Хоть и то же море, а все же Камчатка. В сентябре здесь не останется ни одного парохода, все замерзнет. Самый крайний север.

— Да, да... — говоривший плакал. — И вот таких, которых зашивают в мешок, не шесть-семь человек, а триста — четыреста.

— Нашему брату и на том свете несладко.

Рыбаки просили разрешения прервать работу в середине дня, но накануне был большой улов крабов, и в просьбе было отказано.

— Не смешивайте частное дело с общественным, — сказал им инспектор.

Просунув голову в люк «пужника», инспектор сказал:

— Готовы?

Волей-неволей пришлось ответить: «Готовы».

— Так несите.

— Капитан сказал, что он раньше прочтает отходную.

— Капитан? Отходную? — инспектор издевательски поглядел на них. — Дурачье! Где тут возиться!

Возиться было некогда. Нагроможденные на палубе крабы царапали клешнями пол.

Тело вынесли и небрежно, как тук с кетой или горбушей, погрузили на катер, пришвартованный у кормы.

— Готово?

— Есть!

Мотор заработал. Вода у кормы забурлила, запенилась.

— Ну!..

— Ну!..

— Прощай!

— Жалко... Ну, пока потерпим, — сказал кто-то тихо.

— Ну, так вы уж, — пожалуйста... — просили севших в катер.

— Ладно, знаем!

Катер отошел в море.

— Ну вот...

— Ушли!

— Невесело уезжать в мешке... Он так и стоит передо мною, — какво-то ему там?..

Вернулись с ловли рыбаки. Услышав о новом издевательстве инспектора, они вздрогнули, как будто это их собственные безжизненные тела вышвырнули на дно мрачного Камчатского моря. Только потом их охватил гнев. Ни слова не говоря, они молча спустились по трапу и, бурча про себя: «Все понятно! Все понятно!», стали снимать заскорузлые от соли куртки.

8

Внешне все обстояло по-прежнему. Работали спустя рукава, но так, чтобы это не было заметно. Как инспектор ни ругался, ни кричал, ни дрался, рыбаки, не отвечая, держались смирно. Это повторялось через день (сначала они действовали со страхом, робко, но все же...), и саботаж таким образом продолжался. После похорон он пошел еще друней.

Выработка заметно падала.

Пожилые рыбаки делали вид, что недовольны саботажем, хотя больше всего понуканий приходилось на их долю. Но в то же время они искренне удивлялись, — в душе у них не возникало никакого беспокойства. И видя, что саботаж имеет успех, они начинали слушаться молодых.

Труднее всего приходилось сэндо с кавасаки. Они несли ответственность за всю работу кавасаки, стояли между инспектором и рыбаками и отвечали за улов непосредственно перед инспектором. Это было самое

неприятное. На одну треть они волей-неволей становились на сторону рыбаков, а на остальные две трети были приказчиками инспектора.

— Конечно, здесь не легко. Тут не приходится работать минута в минуту, как на заводе. Мы ведь имеем дело с живыми существами. Крабы — не люди, они не являются по часам, когда это удобно для нас. Ничего не поделаешь! — говорили они рыбакам..

Это были настоящие граммофонные пластинки, напестые инспектором.

Был такой случай. Перед сном в «нужнике» зашел разговор о разных вещах. И вот один из сэндо вздумал было поважничать. Собственно, поважничал он не слишком, но простых рыбаков это взорвало. К тому же рыбак, с которым говорил сэндо, был навеселе.

— Это еще что такое! — заорал он. — Ты чего тут? Ты лучше не заносись. Выйдем на лов, так впятером сбросить тебя в море — раз плюнуть. Вот тебе и весь сказ! Здесь ведь Камчатка. Кто узнает, как ты тут погиб!..

Он не говорил, а ревел. Никто не произнес ни слова. Разговор оборвался.

Однако такие слова не были просто пустым бахвальством рассерженного человека. Рыбаков, которые до сих пор не знали ничего, кроме повиновения, они неожиданно подтолкнули к решению. На первых порах рыбаки растерялись. Они еще не знали собственной силы.

«Неужели мы сможем это сделать? Да, конечно, сможем!»

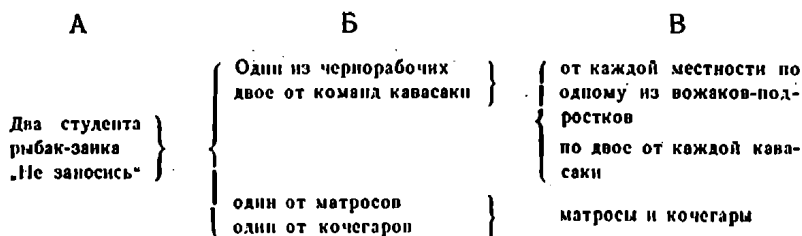
Когда они, наконец, это поняли, дух протеста проснулся в них с удивительной силой. Условия жесточайшей эксплуатации оказались как нельзя более благоприятной почвой. Теперь им было наплевать на инспектора. Все воспрянуло духом. А раз придя в такое настроение, они вдруг ясно, точно при электрическом свете, увидели свое существование таким, как оно есть, — существование червяков.

«Не заносись, мерзавец!» — это выражение быстро пошло в ход. Чуть что, они говорили: «Не заносись, мерзавец!» Они употребляли эти слова в самых разных случаях. Но из рыбаков никто не заносился.

Подобные случаи повторялись все чаще. И каждый раз рыбаки разбирались все больше. Постепенно из их

среды выделились несколько человек. Собственно говоря, их никто не назначал. Просто когда возникало какое-нибудь недовольство и необходимо было действовать, мнение этих людей оказывалось общим мнением, и все действовали по их указанию. Это было двое студентов, рыбак-заика, рыбак «Не заносись» и еще кое-кто.

Студент весь вечер лежал на животе и, слюня карандаш, что-то писал. Это был его «план».



$A \rightleftharpoons B \rightleftharpoons V \rightleftharpoons \text{— все}$

Студент очень гордился тем, что такая схема позволяла решить любой вопрос. Указания от группы «А» или группы «В» могли быть переданы в массы с быстротой электрической искры. В общем, все было решено. Но привести план в исполнение было не так просто.

«Кто не хочет быть убитым, все к нам!» — этот лозунг был гордостью студента. «Впятером сбросить в море одного сэндю — раз плюнуть! Выше головы!»

«Один на один — пропащее дело! Это опасно. Но тех всех, даже с капитаном, наберется не больше десятка. А нас почти четыреста. Если четыреста человек будут действовать заодно, мы выиграем дело. Четыреста против десяти!»

И под конец опять: «Кто не хочет быть убитым, все к нам».

Даже бездельники, даже пьяницы понимали, что их поставили в такие условия, которые их доведут до смерти. Все помнили, как их товарища убило у них на глазах. К тому же саботаж, затеянный в припадке отчаяния, сверх ожидания имел успех; к словам студента и рабочего-заики стали прислушиваться.

Во время бури, которая разыгралась неделю назад, у моторной лодки сломался винт, и начальник черно-

рабочих вместе с несколькими рыбаками отправился на берег для ремонта. Когда они вернулись, оказалось, что молодой рыбак потихоньку привез множество брошюр и листовок, напечатанных по-японски. «Там все японцы это читают», — заявил он. В брошюрах и листовках говорилось о заработной плате, о продолжительности рабочего дня, о громадных прибылях Компаний, о забастовках и так далее. Это было интересно всем, и рыбаки читали их и обсуждали друг с другом. Некоторые, однако, возмущались и не верили, чтобы японцы были способны на такие страшные вещи. Другие приходили с листовками к студенту:

— Я думаю, это правда.

— Конечно, правда! Может, только чуть преувеличено.

— Однако, если мы не будем делать так, Асагава не исправится. Нам еще хуже от него придется. Дело ясное.

Рыбаки говорили: «Ерунда!», но в то же время «красное движение» вызывало у них интерес.

При густом тумане, как и во время бури, на пароходе непрерывно гудела сирена, сзывающая кавасаки. Протяжный гудок, похожий на мычание быка, звучал в густом, как вода, тумане в течение нескольких часов. И все же случалось, что кавасаки не сразу могли вернуться. Были, однако, и такие, которые под видом потери ориентировки заходили на Камчатку. Это проделывалось не раз. С тех пор как краболов вошел в русские воды, добраться до берега было нетрудно, если заранее наметить курс. Многие из рыбаков интересовались «красной пропагандой».

Компания всегда тщательно следила за подбором и наймом рабочих. Просила деревенских старшин и полицейских начальников тех мест, где производилась вербовка, указывать «примерных». Отбирала рабочих, которые не имели никакого отношения к рабочим союзам, которых можно было всецело держать в руках, чтобы все складывалось вполне благоприятно для хозяев. Но работа на краболове как раз способствовала тому, что рабочие объединялись, организовывались. Как ни предусмотрительны были капиталисты, этого они предотвратить не могли. По иронии судьбы выходило, что они нарочно собирали еще не организованных рабочих и учили их объединяться.

Инспектор стал волноваться.

Сезон проходил, а улов был явно меньше, чем в прежние годы. А на других судах, как он слышал, результаты были выше прошлогодних. «Хаккомару» отставал на две тысячи ящиков. И инспектор решил, что если он будет «миндальничать», как до сих пор, то совсем пропалет.

Решили передвинуться на другое место. Инспектор перехватывал радиogramмы других судов и принялся без стеснения обворовывать чужие невода. Первый же невод, который подняли милях в двадцати к югу, был полон крабов, просовывавших клешни в петли невода.

— Все благодаря тебе! — Инспектор похлопал капитана по плечу.

Случалось, что, когда они подымали невод, их замечали, и катеру приходилось удирать. С тех пор как на краболов начали поступать чужие уловы, работа опять закипела.

У входа в цех вывесили плакат:

«В случае малейшей нерадивости виновные будут подвергаться «прижиганию».

Если будет замечено, что ленится целая группа, виновные будут подвергнуты «камчатской гимнастике».

Вводятся штрафные вычеты.

По возвращении в Хакодате виновные будут переданы полиции.

В случае малейшего сопротивления инспектору виновные будут расстреляны.

Инспектор Асагава»

Инспектор все время имел при себе заряженный револьвер. Ни с того ни с сего он «в порядке демонстрации» стрелял поверх голов работающих, как будто целясь в часек или выбирая мишень на пароходе. Видя, что рыбаки вздрагивают, он злобно смеялся. Это нагоняло на рыбаков жуть, точно их в самом деле вот-вот убьют.

И матросы и кочегары — все были мобилизованы. Их назначали на какую угодно работу. Капитан не мог возразить ни слова. Он был просто вывеской. Однажды произошел такой случай: инспектор потребовал, чтобы капитан ввел судно в русские воды. Капитан ответил, что по своему служебному положению, он никак не может пойти на такое нарушение закона.

— Дело твое! Просить не стану, — сказал инспектор и сам со своими присными направил краболов в русскую зону.

Но там его заметил и погнался за ним русский сторожевик. Когда дело дошло до запроса, инспектор заюлил и трусливо ретировался. «За все, конечно, отвечает капитан»... — назойливо повторял он... Вот для чего была нужна вывеска.

После этого случая капитан не раз подумывал о возвращении в Хакодате. Но он был связан силой, которая всех держала в руках, — силой капитала.

— Судно целиком со всеми потрохами принадлежит Компании. Понял? — Инспектор скривил рот треугольником и бесстыдно расхохотался.

Вернувшись в «нужник», рыбак-заика лег навзничь. Ему было горько, невыносимо горько. Рыбаки смотрели на него и на студента с сочувствием, но они были так подавлены, что не могли сказать ни слова. План организации, созданный студентом, теперь стоил не больше, чем клочок бумаги. Тем не менее студент еще сохранял присутствие духа.

— Лишь бы подвернулся случай — мы сразу же поднимемся. Все дело в том, чтобы поймать такой случай, — говорил он.

— Да сможем ли мы подняться? — спрашивал рыбак «Не заносись».

— Сможем ли? Дурак! Нас ведь много. Нам нечего бояться. К тому же чем больше эти мерзавцы безобразничают, тем больше горечи скапливается у нас в душе. И у всех у нас накапливается недовольство и возмущение, а это сильнее пороха. Я очень на это надеюсь.

— Обстановка-то хорошая!

«Не заносись» обвел взглядом «нужник» и жалобно сказал:

— Бывают же такие мерзавцы!

— Если мы начнем ныть, тогда нам конец.

— Все упали духом, один только ты держишься... Случись теперь что — ведь жизнью рискуем.

Студент помрачнел.

— Это так... — сказал он.

Инспектор с подручными три раза в ночь делал обход. Если он замечал кучку в три-четыре человека, то приказывал разойтись. Но и этого было мало, — инспектор втихомолку разместил в «нужнике» своих людей.

Цепи — их только не видно было глазом. Ноги у рыбаков так отяжелели, точно за ними на самом деле вилась толстая цепь.

— Меня, наверное, убьют.

— Не бойся. Когда дело дойдет до этого, мы им покажем!

— Дурак! — крикнул рыбак из Сibaура. — «Когда дело дойдет до этого». Дурак! А теперь нас разве не убивают? Понемногу. Это ловкие мерзавцы! У Асагава всегда при себе револьвер, как будто он вот-вот выстрелит. Но не такой он дурак: это только прием. Понял? Если бы эти мерзавцы нас убили, это бы им самим в убыток стало. Их цель, настоящая цель — это заставить нас побольше работать, положить под пресс, выжать все силы и на этом нажиться. Это они и проделывают над нами каждый день. Они нас убивают так же, как шелковичный червь съедает тутовый лист!

— Пожалуй...

— Ничего не «пожалуй»! — Он придавил широкой ладонью папиросу. — Погодите, теперь уже недолго осталось, сволочи!

Так как судно забралось слишком далеко к югу и в сеть стали попадаться только мелкие крабы-самки, решено было опять передвинуться к северу. Поэтому работы оставалось немного, и рыбаки могли (чего давно не бывало) кончать работу немного раньше.

Все спустились в «нужник».

— Сил нет!

— Посмотри на мои ноги. Не могу спускаться по ступенькам.

— Бедняга! А еще приходится работать изо всех сил.

— А кому не приходится? Ничего не поделаешь!

— Если так пойдет дальше, тебе осталось жить пять-шесть дней.

Тот скривил пожелтевшую припухшую щеку и веко. Потом молча сел на свою полку, свесил ноги и ребром ладони ударил по колену.

Внизу, размахивая руками, говорил рыбак из Сibaура. Заика, покачиваясь, то и дело вмешивался в разговор.

— Скажем, богачи дали деньги и построили пароход. Если бы не было матросов и кочегаров, сдвинулся бы он с места? Крабов на дне сотни тысяч. Скажем, сделано все, что нужно, и добрались сюда, потому что богачи дали денег. Ладно. А если бы мы не работали, получили бы богачи хоть одного краба? Вот мы проработали здесь лето, сколько денег мы получили? А вот богачи с одного краболова соберут четыреста — пятьсот тысяч чистой прибыли. А откуда эти деньги? Из ничего ничего и не выйдет. Поняли? Все это наша сила. Пусть они себе важничают. А по существу так это они нас боятся, они дрожат. Не будь матросов и кочегаров, пароход не сдвинулся бы с места. Если бы рабочие не работали, в карман богачам не попало бы ломаного гроша. А деньги, на которые они купили и оборудовали пароход, они тоже нажиты кровью рабочих. Эти деньги выжаты из нас же. А говорят: богачи нам отцы родные, а мы для них все равно что дети...

Вошел инспектор.

Рыбаки смущенно зашевелились.

10

В воздухе не было ни пылинки, он был холоден и прозрачен, как стекло. В два часа уже светало. Камчатские горы сверкали золотисто-лиловым цветом: выступая над морем, они тянулись по горизонту к югу. Поднялись небольшие волны. На заре они отсвечивали холодным блеском и переливались дробящимися блестками. Откуда-то доносились крики чаек. Было ясно и холодно. Засаленный брезент, покрывавший груз, по временам трепыхался. Незаметно поднялся ветер.

По трапу поднялся рыбак, напяливая куртку, растопырив, точно пугало, руки. Он высунул голову из люка и хрипло крикнул:

— Зайцы забегали! Ой, будет большая буря!

Поднялись треугольные волны. Рыбаки, привыкшие к Камчатскому морю, сразу поняли, что это значит.

— Дело опасное! Сегодня наверное не будем работать.

Прошло около часа.

Под лебедками, спускавшими кавасаки, небольшими группами толпились рыбаки. Все кавасаки были спущены наполовину и покачивались в воздухе. Пожимая плечами,

рыбаки смотрели на море и переговаривались. Потом кто-то крикнул:

— Довольно! Бросим!

— Черти бы их подрали!

Все как будто только и ждали этого. Подталкивая друг друга, закричали:

— Эй, подымай обратно!

— Ну!

Один, нахмурившись, посмотрел вверх на лебедку и заколебался:

— Как же так?

Рыбак, крикнувший первым, резко дернул плечом.

— Если хочешь помирать, ступай один!

Все выступили как один. Кто-то тихо сказал:

— А ведь хорошо!

Двое шли медленно, опасливо озираясь.

Под следующей лебедкой столпилась команда. Увидев, что рыбаки с кавасаки номер два идут к ним, они сразу поняли, в чем дело. Несколько человек закричали и замахали руками:

— Бросаем! Бросаем!

— Бросаем!

Обе группы объединились, и все воспрянули духом. Двое-трое отставших, не знавших, что им делать, остановились, озадаченно глядя на остальных. Группа у кавасаки номер пять присоединилась к толпе. Тогда отставшие поспешили вслед за ними. Заика обернулся и громко крикнул:

— Ну, теперь держись!

Толпа рыбаков росла, как снежный ком. Студент и заика все время бегали взад и вперед.

— Теперь уже отступать нельзя! Держись вместе — это главное.

Матросы, собравшиеся в кружок у трубы, занятые починкой канатов, привстав, крикнули:

— Эй, что такое, эй?

В ответ им замахали руками и громко закричали. Матросам, смотревшим сверху, эти руки казались похожими на качающийся лес.

— Мы бросаем работу!

Матросы стали быстро прибирать веревки.

— И мы тоже!

Рыбаки поняли. Они громко крикнули:

— Айда в «нужник»!

— Вот негодяи! Прекрасно знают, что будет буря, и заставляют спускать кавасаки. Убийцы!

— И допустить, чтобы эти мерзавцы нас убили!

— Теперь мы вам все припомним!

Почти все вернулись в «нужник». Были и такие, которые пошли за другими, потому что все равно «делать нечего».

Когда рыбаки толпой ввалились туда, больные, лежавшие в полутемных углах, испуганно приподнялись. Услышав, в чем дело, они со слезами на глазах радостно закивали. По трапу, похожему на веревочную лестницу, рыбака и студент спустились в машинное отделение. Они торопились, часто скользили с непривычки и опасливо хватались за поручни. От жара котлов в машинном отделении стоял туман, к тому же было темно. Рыбаки обливались потом. Они прошли по мостику над топками и стали спускаться по следующему трапу. Чей-то громкий разговор внизу отдавался здесь гулким эхом. Им стало жутко, точно они спустились на несколько сот ярдов под землю, в шахту, в самый ад.

— А тут тоже работа тяжелая!

— А если бы вы-вытащить их на палубу да дать им бить кра-крабов, не стерпели бы.

— Кочегары будут на нашей стороне!

— На нашей.

Они спустились по трапу вдоль котла.

— Жарко, ой, как жарко! Впору свариться.

— Тут не до шуток. Сейчас огонь не разведен, а что же, когда он разведен? Когда проходят Индийское море, они сменяются каждые полчаса и тодохнут. А стоит зазеваться — сейчас же попадет лопатой по голове, а иной раз, случается, и в котел падают.

Перед котлом столбом поднимался чад; по-видимому, оттуда вывалился уголь и его полили водой. Тут же рядом, обхватив колени, сидели полуголые кочегары, курили и разговаривали. В полутьме они походили на присевших на корточки горилл.

Дверь в угольный тендер была полуоткрыта, за ней чернела жуткая тьма.

— Эй! — окликнул заика.

— Кто там? — кочегары посмотрели вверх. Трижды прогудело эхо: «Кто там? Кто там? Кто там?»

Рыбак и студент спустились к ним. Увидев, что их двое, один из кочегаров громко крикнул:

— Заблудились, что ли?

— Мы бастуем!

— Вот как! А что, если бы развести огонь да вернуться в Хакодате? Недурно бы!

Заика подумал: «Дело сделано!»

— Да, мы все будем действовать дружно и покажем этим скотам!

— Валяйте, валяйте!

— Не валяйте — валяем! — вставил студент.

— Что верно, то верно. Валяем!

Кочегар бурой от пепла рукой почесал себе голову.

— Мы бы хотели, чтобы и вы присоединились к нам.

— Ладно, поняли! Не беспокойтесь. И у нас все только и думают, как бы их прикончить.

С кочегарами дело было слажено.

Чернорабочие перешли к рыбакам. Через час к ним присоединились и кочегары и матросы. Собрались на палубе. Заика, студент, Сибаура, «Не заносись» вырабатывали требования. Решено было сообща их обсудить.

Узнав, что среди рыбаков волнение, ни инспектор, ни его приспешники не показывались.

— Странно!

— Да, странно...

— Револьвер есть, а оказывается — ни к чему.

Рыбак-заика взобрался на возвышение. Все захолопали.

— Вот и пришло наше время. Мы долго, долго ждали. Полумертвые, мы все же ждали: мы вам покажем! И вот, наконец, дождалось! Первое дело — чтобы все были как один. Что бы ни случилось — не предавать товарищей! Если мы сплотимся, мы раздавим этих негодяев, как мошкарку. Ну, а что же второе? Второе — это тоже чтобы все как один! Никто не должен отставать! Ни одного предателя, ни одного изменника! Все должны знать, что один предатель может погубить триста человек. Один предатель...

— Поняли, поняли! Ладно, ладно! Не беспокойся.

— Сумеем ли мы свалить этих мерзавцев, сумеем ли мы выполнить нашу задачу — это зависит от нашей сплоченности.

После него выступил представитель от кочегаров, потом представитель от матросов. Представитель от

кочегаров употреблял такие выражения, которые ему до сих пор ни разу не случалось произносить, и сам смущался. Запинаясь, он каждый раз смущенно краснел, одергивал полы куртки и пытался засунуть руки в дыры. Слушатели топали ногами и смеялись.

— Я кончаю. Этих мерзавцев мы должны прикончить! — С этими словами он спустился с возвышения.

Все старательно захлопали.

— А это у него хорошо вышло! — пошутил кто-то сзади.

Все расхохотались.

Кочегар обливался потом больше, чем когда он орудовал лопатой в разгаре лета. Он не чувствовал под собой ног. Спустившись, он спросил товарищей:

— Что я там наговорил?

Студент похлопал его по плечу и засмеялся:

— Молодец, молодец!

— Это все ты виноват. Нет чтобы помочь мне...

— Мы все ждали сегодняшнего дня. — На возвышении стоял подросток лет пятнадцати — шестнадцати. — Вы не знаете, как мы страдали, как нас истязали до полусмерти. По ночам мы кутались в наши тонкие одеяла, вспоминали о доме и плакали. Спросите всех, кто здесь собрался, — нет ни одного, кто бы не плакал каждый вечер. Нет ни одного, у кого бы на теле не было свежих ран. У нас есть такие, которые бы наверняка умерли, протянись такая жизнь еще хоть три дня. В нашем возрасте в тех семьях, где есть хоть немного денег, ходят в школу, беззаботно играют, а мы здесь на краю света... — Голос у него стал хриплым. Он запнулся и, как прибитый, замолчал. — Но теперь все хорошо! Взрослые нам помогут, и мы сможем отомстить этим ненавистным негодьям...

Эта речь вызвала гром аплодисментов. Некоторые пожилые рыбаки хлопали изо всех сил и украдкой вытирали глаза.

Студент и заика записали всех по именам. Потом обошли всех, беря письменную клятву. Рыбаки прикладывали личные печатки.

Было решено, что двое студентов, заика, «Не заносись», Сибаура, трое кочегаров и трое матросов пойдут в капитанскую каюту с «требованиями» и «клятвой», а в это время остальные устроят на палубе демонстрацию.

Участники стачки не были разбросаны по разным местам, как на суше, и почва была достаточно подготовлена, поэтому все пошло очень гладко. Трудно даже поверить, как гладко.

— Странно, что этот дьявол не показывается!

— А я думал, что он пустит в ход свой револьвер.

По сигналу заики все триста человек три раза прокричали:

— Да здравствует стачка!

— Небось мерзавец инспектор, слушая нас, трясётся, — засмеялся студент.

Делегация отправилась в капитанскую каюту.

Инспектор встретил представителей с револьвером в руке.

По виду капитана, начальника чернорабочих и начальника цеха сразу можно было догадаться, что они о чем-то совещались. Инспектор был вполне спокоен. Когда рыбаки вошли, он засмеялся:

— Затеяли дело!

Снаружи триста человек, сгрудившись, кричали и топали ногами.

Инспектор тихо сказал:

— Надоели!

Выслушав взволнованных представителей, он только для проформы взглянул на «требования» и на «клятву» трехсот человек.

— Не пожалеете? — спросил он обескураживающе спокойно.

— Дурак! — крикнул заика с таким видом, точно готов был дать ему кулаком в нос.

— Вот как! Значит, не пожалеете? — повторил инспектор.

Потом, несколько другим тоном, прибавил:

— Ну, слушайте. Не позже завтрашнего дня я дам вам благоприятный ответ.

Не успел он это сказать, как Сибаура выбил у него из рук револьвер и ударил кулаком в лицо. Инспектор, ахнув, закрыл лицо рукой, а заика ударом круглого стула, похожего на гриб, сбил инспектора с ног. Тот зацепился за стол и рухнул на пол. Стол опрокинулся на него, перевернувшись кверху ножками.

— «Благоприятный ответ»... Не шути, негодяй! Ведь дело идет о жизни...

Сibaуpa угpожающе расправил широкие плечи. Матросы, кочегары и студент остановили обоих. Окно каюты со звоном разбилось. Снаружи ворвались крики:

— Убить его!

— Прикончить!

— Бей его!

Капитан, начальник чернорабочих и начальник цеха забились в угол и стояли там, оцепенев. На них лица не было.

Дверь треснула, и в каюту вломились рыбаки, матросы и кочегары.

«Избить инспектора! Разве это возможно?» — думали они раньше. А теперь они это сделали. Ведь даже револьвер, которым им угрожали, не выстрелил. Все возбужденно шумели. Представители обсуждали дальнейшие меры. «Если не последует благоприятного ответа, мы им все припомним», — думали они.

Смеркалось. Вдруг рыбак, стоявший на страже у люка в кубрик, увидел миноносец. Он взволнованно побежал в «нужник».

— Пропали!

Один из студентов подскочил, как пружина. Он мгновенно побледнел.

— Ошибаешься! — засмеялся заика. — Если мы хорошо объясним офицерам наше положение и наши требования, они поддержат нас и наша забастовка разрешится благополучно. Это ясно!

Остальные поддерживали.

— Разумеется, так и будет!

— Это же наш военный флот! Это наши друзья, друзья народа!

— Нет, нет... — Студент замахал рукой. Его губы дрожали, как будто его хватил удар. Он заикался. — Друзья народа? Нет!

— Не дури! Военный флот! Военный флот — не друзья народа? Что за ерунда!

— Миноносец! Миноносец!

Слова студента потонули в общем шуме. Все бросились из «нужника» на палубу и дружно крикнули:

— Да здравствует военный флот империи!

У площадки трапа заика, Сibaуpa, «Не заносись», студенты, кочегары и матросы лицом к лицу столкнулись с забинтованным инспектором и капитаном. По-видимому,

с миноносца спустили три катера, — в сумерках нельзя было ясно разобрать. Они приблизились. В первом сидело человек пятнадцать моряков. Они быстро поднялись по трапу. Но что это? С примкнутыми штыками? Ремни фуражек застегнуты под подбородком?

— Пропали! — воскликнул заика.

В следующем катере — тоже пятнадцать — шестнадцать человек. И в третьем — тоже моряки с примкнутыми штыками, с ремнями под подбородком. Они ринулись на борт краболова, как будто беря на abordаж пиратское судно, и окружили рыбаков, матросов и кочегаров.

— Пропали! Что делают, скоты! — кричали Сibaура и представители матросов и кочегаров.

— Получай поделом! — сказал инспектор.

Только теперь они поняли странное поведение инспектора с самого начала стачки. Но было поздно. Им не дали и пикнуть. Их осыпали ругательствами:

— Изменники! Предатели! Враги отечества! У роскэ научились?!

Девять вожakov под вооруженным конвоем перевели на миноносец.

Все произошло так быстро, что остальные только смотрели, еще не понимая, что случилось. Точно сгорел клочок газетной бумаги — и конец.

Их просто «убрали».

— На нашей стороне лишь мы сами, больше никто. Только теперь мы это поняли.

— Говорят: военный флот, а на деле это — подручные богачей. «Друзья народа»! Смешно! Черт бы их побрал...

На всякий случай военные моряки оставались на судне три дня. Все это время их командиры каждый вечер напивались в салоне с инспектором и капитаном. Теперь, наконец, рыбаки на собственной шкуре поняли, кто их враги, и как (неожиданно для них) эти враги помогают друг другу.

По примеру прошлых лет к концу рыболовного сезона приступили к изготовлению крабовых консервов «для подношений». Однако «бунтовщики» и не подумали

о совершении специального обряда «очищения», предписанного обычаем. Раньше рыбаки считали, что инспектор совершает ужасный грех, пренебрегая этой традицией. Но на этот раз они думали иначе.

— Для этих консервов выжимают наше собственное мясо и кровь. Вот, верно, вкусно! Пусть, как поедят, животы у них разболятся!

Вот с таким настроением делались эти консервы.

— Камней бы им туда накидать!

«На нашей стороне лишь мы сами, больше никто».

Эта мысль проникла им в самую душу.

— Мы им покажем!

Но сколько ни повторяй: «Мы им покажем!» — толку было мало. С тех пор как стачка провалилась самым жалким образом, работа стала еще более тяжелой. Мстительность инспектора не имела границ. Работать стало невыносимо.

— Мы ошиблись. Не следовало выделять девять человек. Нам нужно было действовать всем сообща. Тогда и инспектор, пожалуй, не дал бы радиogramмы. Ведь не мог же он отдать на миноносец нас всех. Некому было бы работать.

— Пожалуй, что и так...

— Конечно, так. При такой работе, как сейчас, мы наверняка все перемрем. Чтоб не было жертв, надо саботировать всем сообща. Разве заика не говорил, что самое главное — чтобы все были как один? А если все-таки вызовут миноносец, тут-то нам и надо быть всем как один! Если нас убьют, так уж всех вместе. Это для нас же будет лучше.

— Пожалуй. Тогда инспектор растеряется, вызвать помощь из Хакодате будет поздно, да и выработка будет до смешного мала... Что ж, если действовать умело, может сойдет удачно.

— Конечно, удачно! И ведь удивительно — никто не испугался. У всех одно на уме: «Сволочи!»

— А по правде говоря, будь что будет! Все равно помирать!

— Значит — начнем опять!

И они начали снова.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Несколько слов о последующих событиях.

1. Вторая забастовка увенчалась успехом. Инспектор, не предполагавший такой возможности, застигнутый врасплох, вне себя бросился в радиорубку, но она оказалась занятой забастовщиками, и он, не зная, что предпринять, сдался.

2. Когда сезон окончился и краболовы вернулись в Хакодате, оказалось, что саботаж и забастовка происходили не на одном «Хаккомару». На некоторых судах были привезены «красные» брошюры.

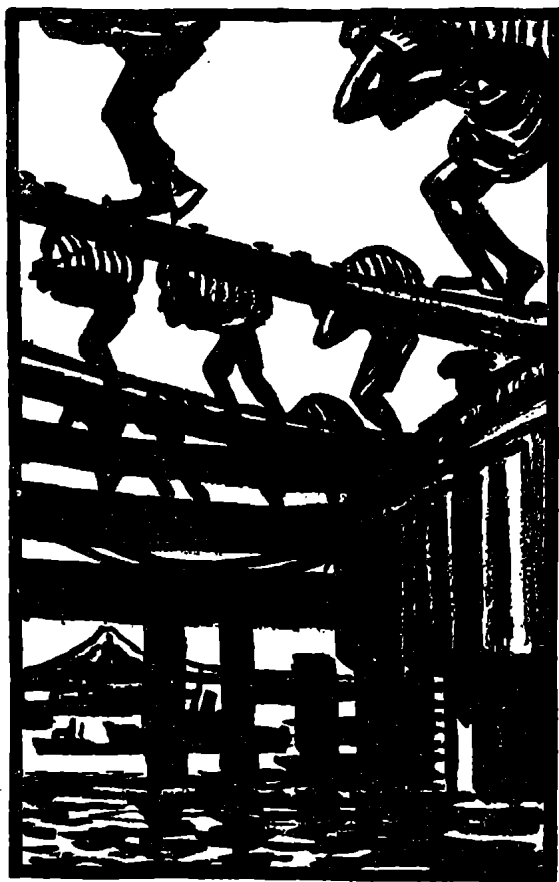
3. Поскольку забастовка, вызванная инспектором, начальником чернорабочих и прочими начальниками в самый разгар путины, резко сказалась на выработке, Компания «без снисхождения» уволила своих верных псов, ничего им не заплатив, обойдясь с ними еще более безжалостно; чем с рыбаками.

Забавно, что инспектор воскликнул:

— И подумать только, что я столько времени давал себя морочить этим скотам!

4. И рыбаки и молодые чернорабочие, впервые проделавшие великий опыт организации и борьбы, выйдя из полицейских участков, разошлись по разным местам, всюду распространяя этот опыт.

Этот рассказ — одна из страниц истории проникновения капитализма в колонии.



ФАБРИЧНАЯ ЯЧЕЙКА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Чьи-то руки ухватились снаружи за раму затянутого металлической сеткой окна. Напряглись кончики пальцев, и в ту же минуту в окне показалось лицо мужчины.

До обеденного перерыва оставалось уже немного.

На фабрике консервных банок «N. S.» расположенные пятью конвейерными рядами корпусообразующие, фланцеотгибочные, закаточные и испытательные станки сотрясали бетонный пол, и оглушительное эхо отдавалось под потолком, обтянутым листами жести.

Бесчисленные приводные ремни, соединяющие станки с главным трансмиссионным валом, проходящим под потолком, ритмично вращались, под различными углами пересекая пространство. В сыром полутемном цехе остро поблескивали только пустые консервные банки, ползущие по ленте конвейера от одного станка к другому. Работницы громко пели, стараясь перекрыть грохот машин. Никто не обращал внимания на окно.

— Ай!.. — вскрикнула вдруг «Кинуё Танака»¹. Настоящим именем эту девушку, похожую на Танака, на фабрике не звали. Она подбежала к окну. Стоявший у конвейера рабочий, проверявший готовые банки, взглянул ей вслед.

Снаружи за раму цеплялся какой-то парень, пытаясь пропихнуть сквозь сетку окна какие-то тонко скатанные бумажки. Заметив подбегающую девушку, он, казалось, обрадовался. Девушка взяла бумажки, просунутые в ячейки сетки, и приложила ухо к окну.

— Раздай всем, только смотри, чтоб надзиратель не отобрал! Ладно?..

Парень с шумом скатился вниз. Видно было, как он перелезал через ограду.

Прозвучал сигнал, грохот машин постепенно замер, и сразу стали слышны пронзительные голоса поющих работниц.

Танака Кинуё раздавала всем по листовке.

— Что это, Кину-тян? Любовная записочка, а?

— Любовная записочка? Ну и длинная же она!

— Эге, да тут любовного, оказывается, вовсе и нет ничего...

— Это профсоюзные листовки!

«Двинемся к зданию муниципалитета!

Дайте нам работу!

Пусть город обеспечит существование безработных!

Собрание безработных рабочих».

¹ Кинуё Танака — известная киноактриса.

По рельсам полутемного тоннеля, где ходили ваго-
нетки, из ремонтно-механического цеха пришли, крепко
вытирая полотенцами лица и шеи, Моримото с товари-
щами. Из карманов их брюк торчали такие же листовки.

Заметив вновь пришедших, рабочие баночного цеха
принялись отпускать свои обычные шуточки.

— А, явились «строгальщики металла».

Те не оставались в долгу.

— Не очень-то разоряйтесь, вы, банкоеды!

— Смотри-ка лучше, как бы тебя самого не настро-
гали, как сушеную макрель, а то ты только и знаешь что
возиться со своим железом...

Квалифицированные рабочие ремонтно-механического
цеха постоянно были на ножах с рабочими баночного,
способными только производить несложные операции
у машин. Обычно дело ограничивалось полушутливой
перебранкой, но малейшего повода было достаточно,
чтобы цехи как-то незаметно обособлялись друг от друга.
Например, кто-нибудь из ремонтно-механического не
знает, как писать иероглифы, составляющие слово «При-
ветствие», — и вот весь цех гудит, как будто действи-
тельно случилось что-то важное. Достаточно бывало даже
такого пустяка, чтобы началось волнение. Все в цехе
ломают себе голову, но ведь знания у всех одинаковы,
и в конце концов никто ничего не может придумать.
И тогда они готовы обратиться скорей к служащим
в пиджаках и галстуках, сидящих в конторе через
дорогу, чем зайти за советом в соседний баночный цех.

Придумывая шуточки позабористей, все с шумом под-
нялись по лестнице в столовую. Сверху вместе с запахом
жареной соленой трески доносились звуки передвигаемых
по полу стульев и тонкие, высокие голоса работниц.

В этот день на фабрике «N. S.» было распространено
около трехсот листовок У-ского союза «Годородо». Ли-
стовки оказались в каждом цехе, даже у мастеров. Од-
нако за едой ни один человек не сказал ни слова о слу-
чившемся. Когда, кончив обед, Моримото вслед за всеми
спускался по лестнице, он увидел, что повсюду на сту-
пеньках и в каждом углу валялись эти листовки, ском-
канные, употребленные вместо ханагами¹.

Моримото сердито нахмурился.

¹ Ханагами — бумажный носовой платок.

Фабрика консервных банок «N. S.» выходила фасадом на канал. Западная часть У-ского порта представляла собой искусственно устроенную насыпь, принадлежавшую министерству железных дорог. Ее пересекал канал. Вода в канале была всегда мутная от жира и копоти. Катера и плоские, как камбала, лодочки беспрестанно скользили под аркой шлюза, то заплывая в канал, то выходя из него. Серое, похожее на сверхдредноут здание фабрики «N. S.», высилось здесь же, на углу. Готовые банки прямо со склада попадали на пристань и там сразу же грузились на суда.

Жители У. называли фабрику «N. S.» то «Царство «N. S.», то «У-ский Форд».

Молодые рабочие этой фабрики, возвращаясь с работы, снимали спецовки и надевали вместо них студенческие куртки с золотыми пуговицами и низкими стоячими воротниками. Рабочие средних лет и мастера носили европейские рубашки и повязывали галстуки. В «Путеводителе по замечательным местам в окрестностях», продававшемся на станции, значилось: «Фабрика «N. S.» — около 18 тѣ».

У. был портовым городом, и подавляющая масса рабочих состояла из портовых грузчиков. Тридцать процентов из них были корейцы. Когда в У. произносилось слово «рабочий», имели в виду именно их. Почти никто из них не имел постоянной работы, и все они влачили поистине жалкое существование. Поэтому рабочие фабрики «N. S.» терпеть не могли, когда их тоже называли «рабочими». Иметь право сказать, что работаешь на фабрике «N. S.», — этим уже можно было гордиться в здешних местах.

Моримото стоял у своего рабочего места, но никак не мог приняться за работу.

Ему было заранее известно, что сегодня на фабрике разбросают листовки, и даже предстояло отчитаться на собрании о том, какое впечатление они произведут на рабочих. Но у кого хватило бы нахальства делать подобное сообщение, когда дела приняли такой оборот? Мало того, что ни один рабочий ни словом не обмолвился об этих листовках, ведь вообще никто, начиная с полицейской охраны и кончая директором, не обращает на

них ни малейшего внимания. Если бы вместо этих листовок на фабрику залетела пчела или шмель, и то, вероятно, произошел бы большой переполох... Шмель и листовки! О чем тут говорить? При таком положении дел пропадал всякий интерес к работе...

Установленный в углу цеха мотор в десять лошадиных сил, неумолчно уныло завывая, чуть заметно сотрясал пол. Рядом стоял аварийный дизель, на случай, если бы вдруг прекратилась подача тока. Здесь было «сердце» фабрики. Отсюда, подобно артериям, тянулись приводные ремни к трансмиссионному валу, проходящему под потолком. А от него, в свою очередь, расходились к станкам другие ремни различной ширины. Все вместе похоже было на систему кровеносных сосудов в человеческом организме. Токарные, сверлильные, фрезерные станки с пронзительным скрежетом резали жель, сверлили отверстия, разбрызгивали искры...

Со стороны казалось, будто рабочие мечутся у неумолимых станков в каком-то иступленном отчаянии. Когда, упершись ногами в пол, рабочий расправлял широкие плечи, вся сила сосредоточивалась в пальцах, нажимающих на резец. И рукам сразу передавалось отвратительное ощущение, как будто кто-то проводил напильником прямо по костям. Из-под лезвия, как брызги пены, разлетались стружки.

Из кузницы без умолку доносились звуки клепального станка. Вместо дробного ритмичного постукивания, как в цехах, где штампуют банки, здесь густой, тяжелый грохот переплетался с острым и тонким визгом; в тяжелое, сотрясающее пол грохотанье парового молота врезывался пронзительный скрежет железных листов, и все это вместе сливалось в сплошной гул. Грохотало все здание фабрики, от верхушки до основания.

Когда в кузнице, раздутое мехами, внезапно поднималось вверх ярко вспыхнувшее пламя, у рабочих в соседнем ремонтно-механическом цехе одна сторона лица на секунду озарялась красным светом.

По пересекающим потолок рельсам прямо над головой работающих с жутким грохотом пронесся кран, несущий стальную болванку, только что изготовленную в литейной, огромную, в три раза толще, чем паровозная ось, предназначенную для обработки на сверлильном станке...

— Эй, слушай, осторожнее! — отскакивая, крикнул один рабочий.

— Заткнись; там!.. Поменьше болтай... Тебя бы убрать, сразу бы чище стало! — Крановщик сделал вид, будто плюет вниз.

— Вот скотина, ну и скотина! — Стоявшие внизу разбежались по сторонам.

— Посмотреть на вас сверху — какие-то вы все грязные, пыльные...

— Подумаешь, забрался повыше, так уж и корчит из себя буржуя...

— А что ж, охота и мне разок вами покомандовать...

Несколько рабочих и мастер в соломенной шляпе, стоявшие у сверлильного станка, смотрели, как приближается кран, неся криво подцепленную деталь.

— Ол райт! — Мастер поднял руку.

Крановщик резко затормозил. Кран остановился, и деталь по инерции сильно закачалась. При каждом взмахе цепь пронзительно скрипела. Окружившие кран рабочие, улучив минуту, сдвинули деталь на место.

— Давай, давай! — Мастер помахал рукой, как бы приглашая к себе. Цепь, извиваясь, поползла вниз.

— Эн-я, эн-я, эн-я... — ритмично выкрикивали рабочие; деталь установили торцом на два вала, а крылья и стержень зажали в лапы сверлильного станка и укрепили. Кран с грохотом подобрал цепи.

Заложив за ухо кусочки мела, рабочие с довольным хозяйственным видом похаживали вокруг станка, поглаживая его и похлопывая руками по корпусу.

С того места, откуда смотрел Моримото, они походили на муравьев, которые подхватили и тащат непомерно большую добычу. Рядом с великолепной исполнительной машиной люди казались маленькими и грязными, как обрезки металла.

Моримото зажал в тиски сломанную деталь пасто-прокладочной машины и взялся за напильник. Малейшая ошибка, — и вся эта огромная махина бесшумно рухнет, подминая под себя людей; кости четырех человек расплющатся легче, чем рамы бумажных сѐдзи. Достаточно малейшей ошибки...

Ради заработка меньше чем в две иены в день рабочие ежеминутно рискуют жизнью. И в то же время эти

же рабочие сморкаются в листовки и выбрасывают их вон...

Моримото вытер руки, запачканные машинным маслом, о полу своей спецовки.

— Ну, кажется, готово! — проговорил он и громко высморкался.

3

Как только раздался сигнал, возвещающий окончание работы, все бросились из цехов в умывальную. В узеньком помещении с бетонными стенами было шумно, точно в женской бане. Перед маленьким кривым зеркалом, в котором можно было увидеть только кусочек лица, полуголые рабочие разбрызгивали мыльную пену и горячую воду. При каждом движении отчетливо обрисовывались мускулы крепких плеч, груди и спины.

— Болван, такую грязь никаким мылом не возьмешь... лучше напильником потрись!

— Хочет пофорсить перед Кинусе Танака.

— Ого, ого, черт этакий!..

Протискивающегося в умывальную парня толкали с двух сторон, не пропуская.

— Эй, ты, убери зад, убери, говорю, черт!

— Этакий зад и не обхватишь!

Слышался громкий смех.

Потом, обмотав полотенца вокруг шеи, все стояли и ждали, подбрасывая в руках белые куски легкого, не тоющего в воде мыла.

— Скот ты, право! Ему не отвечаешь, так он и рад. Я ведь тоже не деревянный.

— Вот как? Когда же это ты успел стать человеком? А я-то думал, что ты только «рабочий»... — натирая лицо мылом, отвечал парень, к которому относились эти слова.

Маленькая, только для виду поставленная перегородка отделяла мужскую умывалку от женской. Присев на корточки, можно было видеть ноги и юбки работниц. Рабочие привыкли различать женщин только по ногам. Делая вид, что моются, они все время поглядывали за перегородку.

— Вон эта, третья, это Ая-тян из «Моп аті»¹.

¹ «Моп аті» (фр. *Mop atі*) — название кафе.

На фабрике был обычай называть хорошеньких работниц именами подавальщиц в известных кафе и барах.

— Иди сюда, погляди на эти бока!

— Девчонка за последнее время удивительно повзрослела.

— Да, фигура стала хоть куда...

— А это кто?

— Вот, вот, двигается... переступила с ноги на ногу... Хорошенькая, дьявол.

— Ого!

Кто-то подкрался сзади и с силой толкнул наклонившихся головами.

— Бабники!..

В женской умывалке о чем-то говорили, потом хором громко засмеялись... Тогда и парни тоже нарочно заговорили громко.

Встречались у выхода из умывалки. Выходя с фабрики, женщины совершенно преображались.

— Ты кто же, собственно, будешь?..

Работавший на заклепке труб и котлов, тугой на ухо подслеповатый рабочий, которому было уже около шестидесяти лет, и в самом деле не узнавал их.

— Что, дедушка, не годишься уже в любовники, а?..

Женщина ткнула его в спину.

— Смотри, не спутай меня со своей старухой...

— Вот чертовка...

Компания не возражала против того, чтобы работницы, возвращаясь с фабрики, превращались в «барышень» или в «подавальщиц» из баров и кафе, а парни — в «студентов» или в «служащих». Раз рабочие в состоянии были это делать, значит к этому не могло быть никаких препятствий. Директор говорил, что во всем У. не найдешь второй фабрики, где так прекрасно обращаются с рабочими.

Выйдя из умывальной, рабочие, толкаясь в узком коридорчике, поднимались на второй этаж в раздевалку. По обеим сторонам этого коридорчика было устроено нечто вроде склада бракованных изделий, высоко, в несколько рядов, словно многоэтажное здание, громоздились ящики. Здесь было темно. Вдруг послышался женский визг. Проходя по этому коридору, парни часто приставали к работницам.

— Вот противный!

- Ну как, придешь сегодня?..
- Сегодня?.. Уже обещала...
- Серьезно?.. Что за обещание? Кому?
- Да уж кому бы там ни было, а обещала...
- Скотина!..

В этом коридорчике на скорую руку устраивался «сговор».

Часто во время работы, желая условиться о вечернем свидании с работающей рядом женщиной, рабочий писал на ползущей по ленте конвейера банке «на мосту, в шесть». Двигая пальцами, мужчина смотрел, как банка проходит мимо женщины, стоявшей по ту сторону машины. Заметив надпись, работница стирала ее и улыбалась писавшему. Это означало: «Хорошо, приду». Таких пар было много.

Моримото поморщился.

Много ли среди этих людей таких, которые вообще способны стать его товарищами по работе? При этой мысли его охватило какое-то странное беспокойство.

У входа в раздевалку висело объявление. «Вот оно!» — подумал Моримото. Пробежав руки в рукава, рабочие стояли перед дверью.

«ОБЪЯВЛЕНИЕ»

Как известно, кто-то распространил сегодня на нашей фабрике листовки «Собрания безработных». Без сомнения, депрессия последнего времени выбросила на улицу многих рабочих, и положение их сейчас действительно ужасно. Но, к счастью, наша фабрика благодаря стараниям и усердию всех работающих на ней ничуть не подвержена таким колебаниям. Достаточно сделать один шаг за ее пределы, чтобы убедиться, что в смысле продолжительности рабочего дня и в смысле размера заработной платы наша фабрика достойна названия «У-ского Форда». Поэтому предостерегаю рабочих, чтобы они ни под каким видом не поддавались на эту агитацию.

Директор»

Читая, Моримото почему-то заволновался и от нетерпения пропускал слова.

— Черт побери, однако они расторопны!

Он сам вдруг удивился тому, что в этих словах помимо его собственной воли выразилась слабость человека,

признавшего свое поражение. Он нахлобучил на голову замасленную, потерявшую форму кепку. По узкому проспекту перед фабрикой, заполнив его во всю ширину, в одном направлении лился поток рабочих и работниц. Моримото замешался в эту толпу. Но тоскливое чувство одиночества не проходило.

Сразу за мостом, переброшенным через канал, началась набережная, вдоль которой тянулись здания таможи, пристани, управления морской полиции, пароходных компаний и складов. Портовые грузчики, шагая по гнувшимся под ногами доскам, разгружали баржу. Другие грузчики, собравшись небольшими группами, молча смотрели на них, держа в руках или поставив на землю свои большие фаянсовые бэнто¹. Это были безработные. Они-то и собирались двинуться к муниципалитету.

Из-за летнего затишья в порту почти не было настоящей работы. Баржи, стоявшие у причала, напоминалидохлую камбалу. На краю дороги, неподалеку от мола, перед грудями яблок и персиммонов сидели продавцы, рассеянно глядя на ноги прохожим.

Безработные грузчики смотрели на идущих по мосту рабочих фабрики «N. S.». На их лицах явственно отражалась зависть.

Рабочие «N. S.» быстро проходили мимо них, всем своим видом как будто говоря: «Мы вам не товарищи». Впрочем, это все равно было бы так, даже без директорского предупреждения.

Портовые грузчики, эти кули, занятые погрузкой, подвергались свирепой феодальной эксплуатации; самыми различными способами их жестоко притесняли, и, естественно, они то и дело бастовали. У-ская секция союза «Годородо» состояла главным образом из них. А из рабочих фабрики «N. S.» в союзе почти никого не было.

Моримото заметил среди портовиков несколько знакомых лиц. Все это были люди, с которыми ему случалось встречаться в союзе. Но сейчас, находясь среди своих, фабричных, он не «решился» заговорить с ними.

¹ Бэнто — небольшая коробка стандартного образца для завтрака.

Отца еще не было дома. Шестидесятилетний старик, он утром уходил на час раньше, а возвращался двумя часами позже сына. Он работал грузчиком. Слух его ослабел, глаза как будто застилала какая-то пелена. Он уже не мог выслушивать распоряжения по телефону, не мог выполнять и половины положенного задания, и подрядчик каждый день неприязненно косился в его сторону.

Но как-никак он проработал здесь больше двадцати лет, и подрядчик сам, по-видимому, не знал, как поступить со стариком.

«Тяжело!.. — Каждое утро он колебался — идти ли? — Работа — это бы еще полбеда... А вот взглянешь на лицо хозяина, так прямо кошки на душе скребут... Эх!»

Отец вставал еще до света и, надевая рабочее платье, кряхтя, разминал спину. Каждый раз, слыша этот кашель, Моримото чувствовал невыразимую душевную боль. А потом ему приходила в голову мысль, что когда-нибудь по его вине на отца обрушится еще большее горе...

Из-за державшейся целыми днями жары в доме не проходил запах сырости и мочи. Гнилые циновки разбухли и прилипали к потным подошвам ног.

Присев в одних трусиках к столу, он нашел письмо. Оно было от Эйити Накано. Это была работница с фабрики. Моримото с большим трудом удалось завязать знакомство с этой женщиной. Через нее, пока еще единственную, нужно было устанавливать связь с остальными работницами. Такую инструкцию он получил от Кавада из союза.

Письмо коротко сообщало:

«Необходимо поговорить обстоятельно. Завтра в восемь часов жду у Исикирияма».

Как он и предупреждал ее — ни подписи, ни имени адресата не было.

Вместе с поздними летними сумерками откуда-то вдруг налетел ветерок, прохладный и свежий, как от взмахов веера. Обитатели нагая¹, сидевшие на улице

¹ Нагая — распространенный тип жилых домов в рабочих кварталах, пригородах и т. п. — длинный дом, состоящий из ряда отдельных квартир.

в одних летних кимоно из легкой светлой ткани, наконец разошлись по квартирам, душным, как раскаленные печи. Ребятишки с палками на плечах, подогнув подолы кимоно, носились взад и вперед, стуча ногами по дощатому настилу над канавой — они играли в солдат. Под прозрачным небом, долго хранившим отблеск вечерней зари, громко разносились их крики.

— Ишь прожорливые чертенята!

Вернулся отец. Слышно было, как он откашливается у входа в дом.

— Ну, как дела, отец?

— А что?

Моримото знал, что отец всегда возражал против таких затей, как «общее собрание рабочих», «профсоюзы» и тому подобное. Поэтому-то, может быть, ему и удалось проработать на одном месте больше двадцати лет... И теперь отец тоже считал, по-видимому, что даже если ему грозит опасность ни за что ни про что очутиться на улице, все равно он не «какой-нибудь поденщик», чтобы дать вовлечь себя в такого рода затей.

— Да что-то шумели там перед конторой. Собрались безработные... Верно, те самые — из союза.

Речь отца звучала равнодушно, как будто он пересказывал какую-нибудь статью из газеты.

— Это ведь и нас касается, отец! Что, если нас выгонят с работы?

Не отвечая, отец шуршал чем-то в полутемной прихожей. Как только спускались сумерки, больные глаза совершенно отказывались служить старику. Он прошел к черному ходу, там резко ударял в нос запах отхожего места. Возле самой уборной на грубой полочке стояло несколько горшков с цветами. Выходя куда-нибудь из дому, отец обязательно возвращался с каким-нибудь дешевым горшочком цветов, купленным в ночном киоске.

— Вот старый транжира! Это когда и риса-то досыта не поешь! — каждый раз кричала на него мать. Будь это из-за чего-нибудь другого, непременно началась бы отчаянная перебранка, но, странное дело, когда дело касалось цветов, отец только смущенно улыбался. Он до смешного дорожил своими цветами. Возвращаясь с работы, он, прежде чем войти в квартиру, непременно собственноручно поливал их. Если же ему изредка приходилось поручить это кому-нибудь, а тот забывал, отец не

на шутку сердился. «Бедняга, цветы его единственная утеха в этой рабской жизни...» — Моримото горько усмехнулся.

— Такая жара сегодня, что все повяли...

Слышно было, как отец разговаривает сам с собой на дворе.

...На фабрике «N. S.» многие пожилые рабочие пробовали разводить домашнюю птицу, сажали цветы и тщательно ухаживали за ними, а в свободные дни и в праздники мастерили что-нибудь для домашней обстановки. Как-то раз один из рабочих принес на фабрику горшок с цветами и поставил его у своего рабочего места. Недаром говорят: «Красивая, как цветочек»... Ну, а этот цветочек стоит иной красотки! Поглядишь на него, и сердце радуется! — Но принесенный на фабрику цветок стал хиреть среди металлических стружек, пыли, грохота и запаха машинного масла. Не прошло и недели, как он увял.

— Вот так штука! — удивленно покачивали все головой.

— А каково же тогда приходится здесь человеку? — шутливо бросил случившийся поблизости Моримото. И только уже сказав эти слова, понял, какой глубокий смысл в них таился.

— Обменяй его в магазине на другой. Ведь рабочие свободны в выборе! — насмешливо захохотал Такэбаяси, работавший на закатке банок. Это был рабочий-анархист, водивший компанию с типографскими наборщиками...

Стоя у двери на кухню, отец что-то говорил. Голоса не было слышно. Сквозь стекло видно было только, как двигались губы.

— Послушай, не найдется ли у тебя сэн пятнадцать? Мне больше не нужно... — попросил он смущенно.

«Опять!» — подумал Моримото. Когда он сказал «ладно», отец, как ребенок, просиял от радости.

— Есть подходящий цветочек, понимаешь... Заприметил его, когда шел по рынку...

5

Моримото ждал, пока стемнеет. Собрание должно было происходить конспиративно.

— Я иду в кино, — сказал он дома.

После ужина обитатели нагая, которые из-за жары не в состоянии были оставаться в квартире, вынесли скамейки на улицу и, настезь распахнув двери, сидели, наслаждаясь прохладой. В переулке несло вонью из сточных канав. И все-таки здесь было свежее, чем в квартире. Большинство сидело полуголыми. Соседи громко переговаривались друг с другом. Молодые женщины и парни сидели на корточках немного в отдалении, в полумраке. Видно было только, как колеблются белеющие в темноте веера.

Кланяясь и отвечая на приветствия, Моримото прошел мимо к проспекту.

В квартале Т. жили фабричные рабочие, портовые и поденные, и каждая группа была как-то неувовимо обособлена от другой. Этот район находился на самой окраине У. Пусть это была окраина, но все же это, бесспорно, был У. Однако жители квартала Т., когда им случалось по делу отправиться в центр города, говорили, что «едут в У.» — как будто выезжали из бог весть какой отдаленной провинции. И автобусы, и такси, и рикши брали до квартала Т. особую плату. Здесь было темно, мрачно, зловонно, дымно. Это был город рабочих. Полы в нагая, похожие на раздавленные лепешки, были настланы прямо на мокрую землю.

Моримото шел, стараясь держаться в тени. Он оставливался только, когда нужно было завернуть за угол. Для встречи нарочно был выбран дом, выходявший на оживленный, залитый светом проспект. Вход был со двора. Как было условлено заранее, он сперва прошелся раза два мимо дома и только после этого подошел к черному ходу. Открыв дверь, он очутился перед крутой лестничкой, начинавшейся прямо от порога, ошупью нашел стену и начал подниматься наверх. Хлипкие ступеньки скрипели под ногами, как колодезный журавель. Широкоплечему рослому Моримото пришлось согнуться. Головой он касался потолка.

— Кто там? — донесся сверху голос Кавада; блеснула полоска света.

— Это я, Мори.

— А, добро пожаловать!

Комната была полна табачного дыма. Обсосанные окурки и мундштуки дешевых папирос переполняли пепельницу и валялись на циновке. Похоже было, что

здесь только что закончилась какая-то особенно горячая дискуссия.

Кавада сам закрыл за Моримото дверь. У него была большая, похожая на ступку, наголо обритая голова. Громоздкий, крупный, он напоминал громилу. У него была манера говорить всегда резко и отрывисто, и некоторые, возможно, считали его из-за этого заносчивым. Члены союза, однако, утверждали, что это, напротив, придает ему какую-то особую твердость.

Исикава, лежавший на спине и мастеривший блюдечко из серебряной обертки из-под папирос, при виде Моримото поднял голову.

— Здрóво!

Исикава раньше работал в Р., на литейном заводе, и Моримото еще раньше был хорошо знаком с ним. Через Исикава он и познакомился с Кавада. С того времени как Исикава вступил в союз, он начал оказывать влияние на Моримото. А до тех пор Моримото был обыкновенным рабочим парнем и, как все, заигрывал с дешевыми проститутками, шлялся по кино и барам и затевал ссоры. Теперь же он совершенно забросил даже лекции в «Молодежном союзе»¹.

Еще одного присутствующего — Судзуки — он видел до сих пор только мельком. Это был человек с нервным, худым лицом. Говорил он мало, казался всегда не в духе, и Моримото еще не проникся к нему доверием. Он сидел, обхватив колени руками, и раскачивался всем телом из стороны в сторону, потом встал и распахнул окно, чтобы выпустить дым. В комнату внезапно ворвался шум, похожий на шум прибора. Внизу, шаркая ногами по асфальту, безостановочно двигались люди. По обеим сторонам улицы вытягивали лапы электрические фонари, а под ними расположились ночные ларьки. Цветочник, букинист, торговец вечными перьями, фрукты, китайская лавочка, торговец шапками... Толпа, как два широких приводных ремня,двигающихся в различных направлениях, текла по обеим сторонам тротуара. Этому потоку не было конца.

— Много же гуляк на свете!..

— Судзуки-кун, не высывайся, — опасно!

¹ «Молодежный союз» — реакционная молодежная организация, действующая по всей Японии.

Кавада, возившийся с шапирографом, на секунду поднял лицо.

— Высовываться опасно, говоришь? — Он засмеялся. — Прямо как в поезде!

— Ну ладно, начнем...

Все четверо уселись вокруг пепельницы.

— Мы встречались с Моримото-кун не больше двух раз, и я думаю, ему, наверное, еще многое непонятно в нашей позиции.

Кавада нахмурился и несколько раз торопливо затянулся папирсой.

— Говоря коротко, суть дела, по-моему, в следующем. Можно сказать, что до сих пор японское левое движение развивалось довольно интенсивно. Капитализм в Японии по всем линиям отставал. Ну, а теперь в результате мировой войны и в силу ряда других обстоятельств капитализм стремительно двинулся вперед, пройдя в пять лет ту дистанцию, на которую за границей потребовалось десять. И точно так же стремительно сформировался пролетариат. А тут вдруг — послевоенная депрессия! Ну вот, отсюда-то и начался подъем в японском левом движении! Но вопрос заключается именно в этом «подъеме». Почему наблюдался этот подъем? Вот в чем все дело. Мы это ясно поняли только после событий пятнадцатого марта. Коротко говоря, дело в том, что движение не имело корней на заводах. Можно сказать, что к большим предприятиям, к тяжелой индустрии оно совсем не имело отношения. Посмотрите хотя бы на У. Реальную силу профсоюза составляют портовые грузчики. А они все разделены на мелкие группы. И потом, что ни говори, ведь фактически они наполовину сезонники и далеки от производства. Да, действительно их каждый раз удается мобилизовать, и вот с виду все обстоит великолепно. Ну, а что касается организованности, тут мы нуль! Все порознь да по отдельности, а раз так, то стоит делу кончиться — и опять все идет порознь да по отдельности. А из статистики видно, что в это самое время на крупных предприятиях продолжали царить застой и спячка. Конечно, есть причины, в силу которых крупные заводы трудно раскачать. О маленьких, раздробленных предприятиях говорить не будем. А вот если взять большие высокоразвитые фабрики, где работают тысячи и десятки тысяч людей, все оказывается далеко

не так просто. Да, не просто. А ведь без этих больших предприятий наше движение абсолютно немислимо. Попробуйте вместо тысяч маленьких конфликтов организовать забастовку хотя бы только на рудниках в Юбари и Биута — и вся тяжелая индустрия Японии полетит к чертям! Это всё не громкие слова. Забастовки, по-моему, показывают, что нужно обязательно двигаться именно в таком направлении. Нужно прекратить эти стачки, похожие друг на друга, как две капли воды, которые практиковались до сих пор... Э, да я, кажется, превратился в заправского лектора...

Кавада провел рукой по голове.

— Ну ладно, еще успеем как-нибудь на досуге подробно потолковать об этом... А сейчас я скажу только, почему все-таки мы понесли столько напрасных жертв во время событий пятнадцатого марта. Это произошло потому, что те товарищи, которые руководили раньше вот этим самым «оживленным» движением, о котором я только что говорил, действовали в том же духе; несмотря на то что движение это было нелегальным, они, как золотые рыбки, все время плескались на поверхности, совершенно не занимаясь подпольной работой, тесно, всеми корнями связанной с предприятиями. В самом деле, наше движение должно было разворачиваться именно на заводах, на предприятиях, идти вглубь, в подполье, а они тащили его на трибуны, кричали: «Дорогие товарищи, если бы да кабы...», бегали по улицам, разбрасывая листовки, и в результате жестоко просчитались. Ну, до сих пор все понятно...

— Нет, правда это страшно! — перебил Исикава. Поставив стаканчик из серебряной бумаги на пустую папиросную коробку, он, улыбаясь своей обычной неопределенной улыбкой, дружелюбно повернулся к Мюримото. — Это как руль старой баржи, который еле-еле приходит в действие через час после того, как повернули рукоятку... До сих пор пережитки этого ошибочного движения еще существуют, и они, что ни говори, сильны. И потом ведь на заводе-то работа серая, незаметная, но только, по существу говоря, чем она незаметнее, тем лучше. Вот...

— Ты прав. Ну вот, так ты хочешь знать, почему стоит нам только открыть рот, как мы начинаем твердить

о «тайных заводских организациях»? Это потому, что если мы бы даже тысячу раз создавали такие легальные профсоюзы, как здесь в У., то, повторись репрессии, и мы все равно тысячу раз терпели бы полное поражение. Ни восстания, ни революции таким путем не осуществишь. Ты думаешь, я преувеличиваю? Нет, это так и есть. Последнее время, видимо в связи с приближением войны, на государственных военных заводах, несмотря на депрессию, исподволь нанимают новых рабочих. Вот на заводе «S», в городе М. вместо трех тысяч человек стало, говорят, пять. Возьмем этот пример. Предположим, нам удастся создать на этом заводе организацию. Это, разумеется, не будет с виду ни «оживленная», ни «цветущая» организация — какое там! Наоборот, работать нужно будет совершенно конспиративно. Но вот начнется война. И тогда эта организация приходит в движение. Организуется забастовка протеста против производства вооружения, и завод разом останавливается. Ну, а если это происходит, например, в таком городе, как Осака, и вдобавок не на одной фабрике, а на многих, то войну волей-неволей придется прекратить!.. Вот что я имею в виду. Но попробуй заикнуться об этом кому-нибудь из У-ского профсоюза, так ведь тебе ответят, что это мечты, блаженные сны! И все же, если мы не начнем действовать именно так, теперь же, то в нужный момент ни черта у нас не выйдет... Вот что мы намерены делать. А для этого...

— Я тоже ошибку сделал, — сказал Исикава. — Лучше бы я не уходил с завода. А, Кавада-кун?

— Да, но ведь в то время непременно нужно было ходить в профсоюз, печатать на шапирографе листовки и разбрасывать их, а иначе никто и не считал бы, что ты участвуешь в движении.

— Да, верно. Говоря по правде, в те времена прямо совесть не позволяла спокойно сидеть на заводе.

Моримото впервые вмешался в разговор:

— Но все-таки, мне кажется, фабрику сдвинуть трудно. Ведь на больших предприятиях не держатся «тюремной» системы...

Он начал подробно рассказывать обо всем, что было сегодня на фабрике. Все внимательно его слушали.

— Да... — сказал Кавада. — Вот из-за этого-то крупные предприятия всегда тянулись в хвосте.

По просьбе Кавада Моримото начертил схему фабрики «N. S.». У Кавада имелись также схемы и других предприятий. Развернув на коленях план города, он поставил красную точку в том месте, где находилась «N. S.».

— Как далеко от вас до водной полиции?

— Около четырех... да, около четырех тѐ.

— Так близко?..

— Н-да, неудачное место... — заметил Исикава. — Водная полиция тут свирепая.

Моримото дал общие пояснения к схеме фабрики. Цех А — банкоформовочный — делится на два конвейера: один производит корпуса банок, другой изготавливает крышки. На первом режут листы жести, закругляют корпус банки, пригоняют крышку и испытывают, не проникает ли внутрь воздух. Там имеются станки — корпусообразующие, закатные, дисковые ножницы. На втором конвейере имеются станки закруглительный и пастонакладочный, накладывающий полоску в углубление крышки. В первом этаже помещается лакировочный цех, там банки покрывают лаком. Производственный процесс держится в секрете. В верхнем этаже — столярный цех, изготавливающий ящики: здесь делают днища, крышки и внутренние перегородки ящиков. Готовые банки и пустые ящики попадают в упаковочную во втором этаже. Цех С — ремонтно-механический, здесь работает сам Моримото.

— А остальные пристройки? — спросил Кавада.

— Лаборатории. Там занимаются опытами по изучению резины (для резиновой накладки), а также исследуют лакокрасочные материалы. Один человек, который работает здесь, очень сочувствует нам. Говорят, его выгнали из какого-то университета...

— Вероятно, либерал какой-нибудь...

— Потом плановое бюро — там занимаются, как ее, рационализацией производства...

— Вот как, рационализацией производства? — настояжившись, переспросил Кавада.

— Говорят, фабрику «N. S.» впервые целиком перевели на конвейерную систему благодаря работе служащих этого отдела. В тот раз очень много народу сразу

стало лишним, так что в конце концов началась забастовка, рабочие ночью ворвались на фабрику, сбили охрану и искрошили на мелкие куски все приводные ремни этого конвейера. Теперь каждая операция сменяет другую так быстро, что вздохнуть не успеешь; рабочий должен выполнить свою работу за то время, пока банка проходит мимо него по конвейерной ленте. В общем, туго нам приходится. Закруглительные станки тоже раньше обслуживали рабочие, но теперь станки так механизированы, что работа производится совершенно автоматически.

— Гм.

— Для переноски листов жести пока еще пользуются вагонетками, но если и здесь оборудуют конвейер, то опять много народу очутится на улице...

— Да, уж наверное. Не иначе.

— Да, конечно. А работники лаборатории и планового отдела получают за это премии.

— Ловко!

— Они целыми днями читают выписанные из Америки журналы со снимками разных котлов и моторов.

— Теперь, при развертывании нашей деятельности помимо главной нашей цели — рабочих очень важно также принять во внимание и так называемую «высшую политику» Компании. Мне хотелось, чтобы ты подумал, как использовать в этом смысле служащих.

Моримото утвердительно кивнул головой.

— Конечно. Ведь все то, что мы знаем о фабричных делах, это только сотая доля того, что есть на самом деле.

— Да, я думаю, ты прав. Вот поэтому-то они нам и нужны.

Кавада взглянул на ручные часы.

— Правильно. — Исикава, видимо, усталый, подавил легкий зев.

— Теперь насчет антагонистических отношений на самой фабрике... Ведь они есть, наверное?

— Да, разделение по цехам есть. В ремонтно-механическом рабочие все квалифицированные, ну, а в баночном такая работа, что даже женщины справляются. Вот из-за этого...

Моримото поднес руку к голове. Кавада впервые видел его смущенным. Раньше лицо Моримото казалось ему квадратным и грубым, но когда на этом лице

появлялась улыбка, черты его смягчались и в уголках глаз светилась добродушная ласковость. Это было совсем неожиданно.

— Стоит только нам что-нибудь начать, сразу раздаются голоса — мы, мол, металлисты! И потом с поденными и грузчиками рабочие тоже не ладят. Ну, отношение к служащим из конторы — это, вероятно, всюду одинаково. Женщины-служащие в большинстве окончили среднюю школу, так что и одеваются они иначе. Когда им по делу случается проходить по фабрике, работницы здорово злятся, — Моримото громко засмеялся. — Да и мужчины тоже, как увидят служащих, одетых в чистенькие костюмы... В Компании существует правило продвигать наиболее усердных рабочих в служащие. И Компания действительно ловко играет на этом. Давным-давно, скрепя сердце, перевели одного или двух в контору. Но на этом все и кончилось, больше таких случаев ни одного не было, а все-таки и до сих пор эта приманка очень хорошо действует.

Кавада слушал внимательней всех. Судзуки же за все время не проронил ни слова. Он то рассеянно грыз ноготь большого пальца, то чесал голову и только изредка вскидывал глаза, прислушивался. Моримото опять получил от Кавада до следующей встречи очередное задание по наблюдению на фабрике: объекты наблюдения — пункт 1-й и 2-й.

Таким образом, Кавада мог в достаточной степени подробно следить за важнейшими предприятиями города. Это было нужно для создания организаций на заводах и фабриках, а затем единой объединяющей организации из представителей каждого предприятия. Такой организацией должна была явиться «Конференция заводских и фабричных представителей». Над выполнением этого большого плана и работал Кавада. Если бы на какой-нибудь фабрике возник конфликт, то с помощью этой организации удалось бы тотчас же привлечь к его разрешению все предприятия города.

Эту работу нужно было спустить в подполье, продвигая ее упорно, шаг за шагом. Тогда можно будет противостоять любому «натиску» сверху. На этой базе можно будет создать стойкий, непоколебимый профессиональный союз, объединяющий рабочих всех отраслей производства.

Кавада говорил об этом, сверкая глазами.

— Даже буржуазия и та уже делает то же самое. Владельцы фабрик устраивают разные «субботние клубы» и под маской подобных организаций устанавливают между собой отлично налаженную связь и спайку.

Когда Моримото, опираясь на перила по обеим сторонам темной лестницы, спустился вниз, Кавада тоже сошел вслед за ним.

— Ты человек очень ценный. Ведь в полиции тебя еще совсем не знают (Моримото чувствовал на своей щеке дыхание Кавада). Мне бы хотелось, чтобы у вас образовалась фабричная ячейка.

В густой темноте, царившей вокруг, Кавада крепко пожал ему руку.

Моримото вышел на улицу. Он был весь поглощен своими мыслями. Шагая по дощатому настилу над канавой, он то и дело спотыкался.

— Фабричная ячейка!

Он снова и снова повторял про себя эти слова. И, повторяя, он чувствовал волнение, нараставшее из самой глубины души.

7

Приходить на это собрание и уходить с него нужно было обязательно поодиночке. Моримото и Судзуки ушли порознь.

— Я пойду на все, а работу эту все-таки буду продолжать. Может быть, я ставлю на карту жизнь, но все равно...

Кавада, оставшийся еще на некоторое время, чтобы не выходить сразу вслед за только что ушедшим, шевельнул широкими плечами.

— В полиции, по-видимому, рассуждают так: я, или, скажем, ты, или Судзуки, в общем все, кто работает открыто, ни капли не опасны. Опасны те, о которых они пока еще ничего не знают. Ведь они говорят, что ухватили самую суть нашего движения. Ясно, что методы их теперь изменились. Они и сами уже, видно, не особенно надеются на служащих политической полиции и тому подобных людей, у которых будто на лбу написано, чем они занимаются.

— Да, в самом деле...

— Я не говорю уже о легальной работе, что шпики пролезают и тогда, когда движение уходит в подполье, это вещь обычная. Но страшно другое — страшно, когда кто-нибудь из товарищей оказывается шпионом. Или если полиция завербует его уже после того, как он начал участвовать в движении. Попросту говоря, подкупит...

— Ну, ну, продолжай, — произнес Исикава, немного хриплым голосом.

— Да вот, допустим, если бы ты бегал пересказывать, так ведь все, что здесь говорилось сегодня, пошло бы как по прямому проводу. Политическая полиция так же, как и эти «легальщики», которые только и знают что расхаживать и хвастать: «Я, мол, участвую в рабочем движении», страшны только до известной степени... Опасны не внешние враги, а внутренние...

— Ну, опять завел неприятный разговор!..

Но Кавада потер свою большую, похожую на ступку голову и весело рассмеялся.

— Я правильно говорю! — сказал он и взглянул на часы.

— Сегодня я пойду первый.

Выйдя на улицу, Кавада, с носовым платком в руке, зашагал по асфальту мимо здания универсального магазина Маруман. Часы в галантерейной лавке показывали восемь. Он прошелся раза два мимо этой лавочки. Ему предстояло встретиться здесь с человеком, который должен был пройти мимо, покуривая папиросу марки Сикисима. Сегодня был как раз десятый день со времени получения письма от этого человека. Это и было условленное время. Не переставая наблюдать за улицей, Кавада зашел купить трехсэновую марку. Марка нужна была в качестве условного знака при встрече. Выходя из лавки, Кавада вдруг заметил, что идущий ему навстречу мужчина в пиджаке курит папиросу марки Сикисима. Кавада оглядел его костюм. Секунду он был в нерешительности. Однако глаза идущего явно кого-то искали. Рука Кавада, державшая платок, невольно сжалась. Незнакомец поравнялся с Кавада. Тогда он, как ни в чем не бывало, пошел рядом с незнакомцем. Он заговорил первый.

— Я — Ямада.

— Кавамура, — тотчас же ответил человек в пиджаке. «Ямада» и «Кавамура» встретились. Они пошли по направлению к реке, где прохожих почти не было.

— Нет ли здесь местечка, где бы можно было посидеть? — спросил незнакомец немного спустя.

— Найдется.

Кавада приглядывался к домам по обеим сторонам улицы. Они зашли в маленький ресторанчик. Усевшись за стол, незнакомец достал из кармана трехкопеечную марку. Цифра три на ней была зачеркнута чернилами. Тогда Кавада также вытащил только что купленную марку и вычеркнул буквы «с» и «н» из слова «сэн». Теперь уже не было сомнений в том, что они «свои».

Незнакомец был партийным организатором, командированным из центра. И Кавада начал рассказывать о положении дел в районе У., о вербовке новых членов и о многом другом...

8

Долго находиться вместе с Кавада или с Моримото было для Судзуки мучительно.

Настроение у него было подавленное. Без преувеличения, ему казалось, будто его от всего отстраняют. И этому чувству он всегда поддавался. Конечно же, это не по-пролетарски! Для чего он работает — для дела или для людей? Как бы к нему ни относились Кавада или Моримото, разве это может изменить его отношение к работе? Нет, не может и не должно. Это ясно. Но что означает тогда эта тоска, которая сразу им овладевает?

Он уже сознавал, что вступил на неверный путь. При виде товарищей, которые быстро шли вперед, далеко оставляя позади его, совсем запутавшегося в вопросах и теоретического, и практического, и личного характера, он испытывал мучения похуже любой пытки. Он завидовал товарищам, которые, видимо, вовсе не переживали таких сомнений. Но он-то, казалось ему, понял теперь, что это пролетарское движение далеко не так прекрасно и возвышенно, как можно было бы подумать с первого взгляда. Это открытие его страшно разочаровало.

— Что касается работы, так ведь у тебя больший стаж, чем у Кавада и других...

Он хорошо понимал смысл этих слов. Они означали: «И, несмотря на это, ты все-таки миришься с таким положением?» Он услышал эти слова, когда получил двадцать девять дней тюрьмы за то, что разбрасывал листовки. Но он знал, что такие речи — один из излюбленных методов, которыми пользуется полиция.

— Ты, право, удивительно несообразителен! Неужели ты не понимаешь, что Кавада и Моримото умышленно не берут тебя в свою компанию?

Он молча отвернулся, но почувствовал, что бледнеет.

— Держу пари, ты думаешь, будто это уловка с моей стороны. — Чиновник политической полиции усмехнулся. — Видишь ли, говоря начистоту, мы действительно часто пускаем в ход этот метод. Но только в данном случае, мне кажется, тебе самому виднее, правда это или уловка. На днях вот я говорил с Исимото: «Бедняга, право, этот Судзуки; его все время оттирают от дела... А ведь он вполне мог бы работать наравне с ними... Я на его месте никак не смог бы примириться с этим».

— Ну, сказать тебе? — Полицейский вдруг слегка наклонил голову в сторону и сделал паузу. Судзуки затрепетал от страха.

— То, о чем я тебе собираюсь сейчас рассказать, говорится нечасто. Дело в том, что из различных источников нам удалось узнать — ведь не даром же мы гордимся нашей полицейской сетью, как лучшей в мире! — так вот, мы узнали и имеем теперь твердые доказательства, что Кавада и вся его компания состоят в компартии. Ты же в ней не состоишь, вот поэтому-то я и могу тебе рассказать об этом. Правда это или ложь — ты сам, я думаю, лучше знаешь.

— Смешно сказать, но, когда я впервые узнал об этом, я не знал хорошенько — радоваться мне или печалиться! Ты, вероятно, скажешь, что мы вольны радоваться при известии, что ты не состоишь в компартии... Что ж, пусть так. Все равно, ведь наша профессия такова, что радости другим людям она во всяком случае не доставляет. Но только мне кажется, что чувство, которое испытываешь к товарищам, это чувство такого глубокого доверия, в которое даже мы не можем проникнуть. А ведь как раз они и предают тебя! Когда я понял это,

я, как бы это сказать, почувствовал к тебе нечто вроде сожаления!

— Рассказывай басни!

Грудь сжалась, сдавило горло. Ему хотелось швырнуть эти слова в лицо полицейскому. Поэтому он и крикнул. Он с трудом сдерживал слезы.

Начальник полиции, играя карандашиком, пристально посмотрел ему в лицо. Немного помолчал.

— И это еще не все... Как они обманывают тебя в распределении средств, которые они получают на стачки и тому подобные расходы! У меня есть точные доказательства, что Кавада с друзьями кутят на эти деньги! Ну, так как же? Ты все еще продолжаешь гордиться своей честной бедностью?..

Ложь это или правда, но полицейский безошибочно называл те факты, которые внушали сомнения ему самому.

«Не думать об этом, не думать», — говорил он себе, но эти мысли, напротив, с новой силой мутили ему душу. Он не мог больше просто и дружелюбно говорить с Кавада и другими товарищами. Не мог видеть их лица и, смущаясь до того, что подчас сам себе дивился, избегал встречаться взглядом с Кавада. И в то же время каждое слово Кавада как ножом резало его по нервам.

А несколько дней назад случилось вот что. Шпик, постоянно ходивший к нему на дом, встретил его на улице и подошел к нему.

— Однако ты здорово задолжал за квартиру! — усмехаясь, обратился он к Судзуки.

— Так это ты?

Судзуки остановился как вкопанный. Сыщик громко захохотал. За неделю до этого в отсутствие Судзуки к нему домой явился какой-то человек и, назвавшись другом Судзуки, уплатил всю просроченную плату за квартиру.

— Ну, чего там! Взаимно! Не беспокойся, не такое уж это благодеяние...

Затем, сказав, что хочет его кой о чем расспросить, этот человек, с реденькими квадратными усиками рыжеватого цвета, огляделся по сторонам.

Они заметили кафе «Mop ami», одной стороной выходившее на эту улицу, и, толкнув дверь на пружине, поднялись во второй этаж. Сыщик, не спрашивая Судзуки, заказал для него бифштекс и пиво.

— Я хочу предупредить вас, что все это вы делаете по собственному желанию, а я... тут ни при чем...

Но тот не дал ему закончить.

— Понятно, понятно. Ешь, пока не остыло. Просто хочется ведь и мне разок спокойно потолковать!.. — И с этими словами шпик залился мелким рассыпчатым смехом.

«Пропадай все пропадом!» — подумал Судзуки. Он напился в тот вечер до бесчувствия.

Во время собрания в мезонине Кавада, по-видимому, очень торопился, но Судзуки ушел еще раньше. Ему невмоготу стало подавлять в себе накапливающее раздражение. Когда он вернулся к себе, ему сказали, что кто-то оставил для него пакет с книгами. Поднявшись к себе, он развернул сверток. Там оказалась незнакомая книга — сборник каких-то рассказов. Он схватил книгу за корешок и встряхнул ее. Две сложенные пополам бумажки, по десять иен каждая, упали на порыжевшую циновку.

Он вдруг изменился в лице. Не потому, что из книги выпали деньги, — нет, он содрогнулся, отдав себе отчет в тех мотивах, которые заставили его так безошибочно искать в книге эти деньги.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

9

— Кими-тян, Кими-тян! Кий-ко!..

Во втором этаже, в упаковочной, рабочие и работницы, стоя по обеим сторонам конвейерной ленты, укладывали в ящики готовые банки. Упакованные ящики отправлялись отсюда вниз по эскалатору и грузились прямо на баржи, пришвартованные к стенке канала. К полудню поток банок прекратился. Рабочие, страхи-вая с себя пыль полотенцами, один за другим стали спускаться по полутемной лестнице.

— Кими-тян!

Тихий голос осторожно звал из склада готовых изделий, зиявшего черным отверстием входа. Перевязывавшая передник О-Кими с коротким смешком быстро огляделась вокруг, но не отозвалась.

— Послушай, Кий-ко, лучше ты не серди меня...

О-Кими снова коротко рассмеялась и одним прыжком очутилась внутри склада.

— Ай, темно!.. — вскрикнула она нарочито тоненьким голосом и закрыла глаза обеими руками, точно играя в жмурки.

— Здесь, здесь. — Рука мужчины легла ей на плечо.

— Не трогай, — женщина отстранилась.

— Что за «не трогай»? Убери руки...

—

Чувствуя его грудь совсем близко от себя, О-Кими всячески избегала его прикосновений.

— Говорю тебе, убери руки... Ну, у-бе-ри же...

Все сильнее барахтаясь в его руках, женщина испытывала странное возбуждение, смешанное с любопытством. Мужчина насильно отвел ее руки, а своей рукой обхватил ее за талию, крепко прижав к себе. Женщина извивалась всем телом и, подняв лицо, нарочно, дразня, избегала его губ. Он прижался губами к ее щеке, ко лбу.

— А, черт! Идет кто-то! — пробормотал он вдруг хриплым, сдавленным голосом. О-Кими, не сдерживаясь, захохотала и, поднявшись на носки, положила руки ему на плечи.

— Эге, да ты, оказывается, мастерица... — сказал он.

— А ты думал, как?.. Но имей в виду: сегодня в последний раз, а то привыкнешь...

Ей было смешно: до чего легко можно вертеть мужчиной! Бросив эти слова, она круто повернулась и, вся покрасневшись, вприпрыжку сбежала с лестницы.

Однако после полудня оживление О-Кими быстро исчезло.

В столовой, как всегда, работницы, перебрасываясь словами, занимали места, стараясь устроиться каждая поближе к своей подружке. О-Кими тоже уселась рядом с приятельницей, окликнувшей ее, и принялась за свой обед.

— Послушай, — подруга, любившая почесать язык, понизила голос, — ну и удивилась же я, доложу тебе...

Вчера, прибирая после работы, она задержалась на фабрике дольше всех, и, когда спускалась по лестнице из раздевалки, в цехах было уже почти темно. Как раз там, где кончается лестница, находится небольшой склад резиновых изделий. Неторопливо спускавшаяся вниз работница в этом месте вдруг остановилась: ей показалось, что на складе кто-то есть. С того места, где она стояла, ей видно было внизу, немного в стороне, маленькое, высоко прорубленное окошечко. На стекле его двигались две неясные тени: мужская и женская.

— Понимаешь?.. — Прикрыв рот рукой, она заговорила еще тише. — Мужчина стоял ко мне спиной, а она стояла лицом к окну, опустив голову и поправляла волосы. Потом он положил ей руку на плечо, а другую сунул в карман брюк. Он как будто что-то искал в кармане. Деньги!.. Он засунул их ей за пояс. Каково?

—?

— И кто же, ты думаешь, была эта женщина? — Подруга пристально глядела на О-Кими, и в глазах у нее появился насмешливый огонек.

— А ты-то сама знаешь?..

— Да уж как не знать!.. Понятно, знаю.

— Ну?!

— Ёси-тян, вот кто!

— Дура ты!.. — невольно вырвалось у О-Кими.

— Ах, так? Ну, теперь ты от меня ни слова больше не услышишь... — Подруга обиженно пожала плечами.

О-Кими помолчала.

— А мужчина?

— Мужчина? Да кто бы он ни был — какая разница? За деньги ведь... Значит, каждый день, наверное, разный...

А ведь эта самая Ёси-тян, у которой губы были всегда синие, точно от холода, одна кормила семью из четырех человек. Подумав об этом, О-Кими невольно почувствовала досаду на подругу: в каком тоне она все это рассказала...

— А скажи-ка, сколько мы зарабатываем в день, как по-твоему? От пятидесяти до семидесяти — восьмидесяти сэн!.. Ну-ка, сколько это выходит в месяц, посчитай!.. — сердито крикнула О-Кими, поднимаясь из-за стола, и первая вышла из столовой.

— В самом деле, черт знает что такое.

Стало известно, что после полудня фабрику посетит экскурсия учениц женского колледжа, и рабочие заволновались.

— Однако!.. Наши спецовки — и барышни из колледжа... Хорошее сочетание, нечего сказать!..

Работницы не скрывали своего раздражения.

— Досадно вам, а? Уж как придут студентки, так у наших фабричных барышень сразу физиономии вытянутся...

— Неизвестно еще, у кого они вытянутся — у нас или у вас!

— Да вы не очень-то горюйте: может быть, и студенты как-нибудь придут к нам на экскурсию! — сказал один рабочий, который всегда посмеивался над всеми.

— Интересно, как это получится? Студент и работница... как раз сейчас модно...

— Ты, верно, ждешь, что к тебе Нехлюдов какой-нибудь на фабрику заявится? — вмешался другой, любитель литературы.

— Странное дело, как придет экскурсия — наши барышни так затихают, что прямо захочешь почаще этих экскурсий... — сказал пожилой рабочий, которому, по видимому, надоело слушать эту грызню...

— Да бросьте вы пререкаться! Вон даже Кий-ко и то приумолкла! Все равно ведь болтовня впустую...

Впустую?.. Все смущенно посмеивались.

«У-ский Форд» поощрял такие экскурсии, считая их бесплатной рекламой для своей фабрики, такой благоустроенной, что ее не стыдно показать кому угодно. Для компании «N. S.», в значительной степени монополизировавшей производство консервных банок, такое оборудование фабрики и обращение с рабочими нисколько не было обременительным, а эффект тем не менее получался блестящий. «Наша фабрика», «наша Компания» — только и слышно было от рабочих. Стоило кому-нибудь хоть немного задеть их фабрику, как они до смешного горячо принимались ее защищать. Служащие Мицуи¹ задирают нос перед служащими любой другой Компании. Уж, конечно, такие служащие не предадут интересов

¹ Мицуи — один из крупнейших концернов в Японии.

Мицуи. Управляющий фабрики «N. S.» прекрасно это знал.

Мальчуган-подручный прибежал с известием:

— Пришли, пришли! Есть хорошенькие...

— Кий-ко, слышишь?.. Он говорит: есть хорошенькие...

— А ну-ка, пойду и я на разведку...

Молчаливая девушка, работавшая в упаковочной рядом с О-Кими, нахмурилась.

— Знаешь, Кими-тян, мне ужасно неприятно. Ведь в этом колледже есть девушки, с которыми я вместе училась в начальной школе...

— Ну, и плевать тебе на это!.. — бросила О-Кими совсем по-мужски.

— Нет, когда они придут сюда, я хоть в уборную выйду на это время. Присмотришь пока за моей работой?.. В самом деле, чего это они приходят глазеть, как люди работают?

— Да чего ты стыдишься, я никак не пойму? Так бы и запустила им банкой в рожи, барышням этим самым!.. Здесь им не зверинец, черт побери!..

— Ого, здорово!

— Чего там «здорово»! Если бы они на свои заработанные деньги щеголяли, разве бы я сказала хоть слово?.. А так — что в самом деле!

— Ай-да Кий-ко!.. Каким молодцом стала!.. Так и быть уж, свожу тебя за это сегодня в кино. Пойдешь? «Чудесный меч», с участием Рюноске Цукигата... как бишь это он там... «Человек меня заденет — человека зарублю, а заденет меня лошадь — так и ей я не спущу. Выходи, кто не боится, я готов!» Ну, пойдешь?

— Не выйдет! Я тоже иногда по вечерам занята!

— Ну, и острый же язычок стал у нашей Кий-ко!..

О-Кими должна была вечером повидаться с Моримото по делам, касающимся работы.

Послышался топот ног, поднимающихся по лестнице.

— Пришли!

11

В тот же день в обеденный перерыв Моримото и Кавасара лежали, вытянувшись, на зеленой, аккуратно подстриженной лужайке, которая начиналась сразу возле здания фабрики. Моримото всегда старался использовать

такие случаи. Кавасара работал непосредственно под начальством директора. Он окончил коммерческое училище и был, по-видимому, немного знаком с произведениями Маркса.

С того места, где они лежали, видно было, как служащие, сняв пиджаки, играют в кэч-бол¹ перед зданием конторы. Каждый раз, когда с силой брошенный мяч ударялся о толстые перчатки, ленивый полуденный воздух рассекал веселый свист.

Стоявшие кругом женщины-служащие при каждом промахе хлопали в ладоши и подтрунивали над играющими.

А в тени фабричной стены сидели, обнажив грудь, работницы средних лет, держа на коленях грудных младенцев, которых на спинах притащили из дому старшие дети. Таких групп было несколько.

Лежа на спине, Моримото смотрел в голубое небо. Когда лежишь вот так и смотришь в небо, оно кажется еще синее. К горлу его вдруг подступила тошнота. Но Моримото подавил ее.

— Ты что это? — Лежащий рядом Кавасара приподнял голову и посмотрел на Моримото. — Рыгаешь?.. Вот ведь свинья! — Он криво усмехнулся.

Сведения о Компании Моримото получал через этого Кавасара. В последнее время дирекция особенно тщательно занималась вопросами рационализации производства. Впрочем, сами по себе меры, необходимые для проведения рационализации, вовсе не были так уж сложны; нет, затруднения заключались в самих методах осуществления этой рационализации, в том, как замаскировать ее от рабочих, как обойтись без волнений.

На фабрике «N. S.» существовал порядок, согласно которому вновь набираемые рабочие обязательно должны были быть родителями или родственниками уже работающих здесь людей. Управляющий хотел преобразовать по «принципу родственных отношений» всю фабрику. Но истинный смысл этой системы заключался в создании невидимой для глаз круговой поруки, которая должна была лишить рабочих свободы действий. И в то же время система эта не имела вида холодных, грубо материаль-

¹ Catch-ball (англ.) — один из видов игры в мяч.

ных отношений найма за плату, а казалась «благоденствием» Компании по отношению к целым семьям. А главное — это было прекрасное орудие против забастовок. И теперь, при осуществлении рационализации, эта система должна была сыграть свою роль.

Компания отнюдь не рассматривала наводняющих город безработных и портовых рабочих, которых эксплуатировали зверски, хуже, чем рабочий скот, как нечто изолированное.

В дирекции отлично понимали, что, если положение этих людей еще более ухудшится, это неизбежно в той или иной степени вызовет отклик и у рабочих фабрики «N. S.» «У-ского Форда». Следовало в известный момент и до известной степени тонко намекнуть рабочим на эти «худшие условия» и тем самым сделать невозможными какие бы то ни было протесты. Таким образом, в случае чего Компания «N. S.» располагала и этим козырем.

Одним из неминуемых последствий рационализации, например при попытке удлинить рабочий день, является резкое недовольство рабочих. Однако имелись и другие примеры: так, когда на льняной фабрике в С. и на веревочной фабрике в М. пошли разговоры, что это не просто коммерческие предприятия, что они выполняют священный долг перед родиной, удлинение рабочего дня прошло совершенно гладко. Всегда есть выход. Нужно только ловко сыграть на специфике производства, и все удастся легче, чем можно было бы ожидать. Так обстояло дело и с фабрикой «N. S.».

Это не хвастовство!
Работницы консервной фабрики
Под холодным небом русской Камчатки
Делают консервные банки, рискуя жизнью.
Делают необходимые стране консервы!
Эх-хе, даже зависть берет!
Работницы консервной фабрики
Покидают пристань, делают консервы,
Возвращаясь, обогащают страну и себя.
Делают необходимые консервы!
Это не хвастовство!
Разве будут они лениться, работая для Компании?
Разве будут мешкать, работая для родины?
— Работают, отдавая всю жизнь...

(Помещено в «Вестнике Консервной промышленности», издаваемом Компанией «N. S.»)

Компания охотно помещала на страницах «Вестника» такого рода стихи и песни. Случалось даже, что Компания сама тайком заказывала их кому-нибудь и потом печатала.

Фабрика «N. S.» поставляла пятьдесят миллионов банок на промыслы Камчатки, семь с половиной миллионов на краболовы и девять миллионов восемьсот тысяч на Хоккайдо, Сахалин и Курильские острова. В переводе на проценты подавляющее количество шло на Камчатку.

Кавасара по указанию директора приходилось читать такие книги, как «Система Тейлора», «Научное администрирование», составлять различные сводки и подбирать материалы. Он имел, таким образом, полную возможность ознакомиться с планами Компании. На миллиметровой бумаге в сводках и статистических таблицах приводился уровень зарплаты не только в Японии, но и по всему миру. Во всем мире номинальная зарплата понизилась, уровень реальной зарплаты тоже упал. Фабрика «N. S.» не могла вечно оставаться исключением из общего правила. А кроме того, спрашивалось: нельзя ли еще больше усилить разделение труда для того, чтобы повысить производительность? Нельзя ли заменить квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих женщинами и детьми? Нельзя ли еще где-нибудь оборудовать конвейер? Или, может быть, у рабочих остается лишнее время на болтовню, на то, чтобы перевести дух? А может быть, перевести фабрику на сдельную оплату? И в то время как рабочие медлили, с головой уйдя в мелкие неурядицы фабричной жизни, хозяева проводили свою политику, ориентируясь на «весь мир».

Статистический отчет по «N. S.» за последние пять лет показывал, что, хотя размеры производства увеличились, число рабочих за то же время уменьшилось. Это обстоятельство имело двойное значение. Во-первых, это означало, что оставшиеся на фабрике рабочие эксплуатируются еще беспощаднее, чем прежде. Во-вторых, та часть из них, которая очутилась на улице, пополнила собою ряды армии безработных. После введения конвейера особенно заметно сократилось число рабочих, занятых переноской изделий и вообще подсобной работой. Уменьшилась и разница в общем числе квалифицированных и неквалифицированных рабочих, так же как и разница в их заработной плате. Странное дело, как-то

незаметно на фабрике стало больше работниц, и с того времени, как это случилось, общий уровень зарплаты на фабрике потихоньку пополз вниз. Директор говорил, что работницы во всех отношениях выгоднее рабочих не только с точки зрения заработной платы, но также и потому, что они не вступают в такие организации, как профсоюзы, да и сила сопротивления у них слаба.

И тем не менее все эти факты можно было назвать просто «повышением производительности» или «реорганизацией управления фабрикой». Все это было только частью в пределах того целого, которое подразумевается под словами «рационализация производства». Конечная цель рационализации заключалась не в этом.

Она состояла в концентрации производства. Таким образом, конечной целью рационализации было влить в артерии крупных, богатеющих от огромных доходов предприятий живительный дух монополии. И той силой, которая за кулисами фактически приводила в действие нити «рационализации производства», были банки.

Предположим, банки предоставляют нескольким железяпромышленникам огромный кредит. В своих же интересах им нежелательно, чтобы между этими последними существовала конкуренция. Поэтому банки и хотят по возможности ограничить или прекратить конкуренцию между отдельными предприятиями, — это диктуют соображения их выгоды. И вот, исходя из такой необходимости, а также используя свою силу держателей акций, банки намечают соглашение между однородными предприятиями, сливают их и таким образом содействуют процессу перехода от состояния конкуренции к монополистической стадии экономического развития. Поэтому совершенно ясно, что рационализация производства проводится в интересах финансового капитала.

Кавасара, на обязанности которого лежало составление ежемесячного отчета для банка Мита, прекрасно знал, какими узами соединены банк и Компания. Право надзора, управления, распоряжений в отношении фабрики «N. S.» — все это держал в своих руках банк Мита. Он часто выражал свое недовольство в связи с недостаточной производительностью труда на фабрике. Управляющий почти ежедневно бывал в банке, и, если немного сгустить краски, можно было скорей назвать его агентом банка, прикомандированным к фабрике.

Все это говорил Кавасара. Моримото уже не любовался больше голубым небом.

Рационализация производства дает себя знать также и в вопросах купли и продажи. Капиталисты создают объединения по совместной купле и продаже и диктуют цены как на продукцию, так и на сырье. Таким образом, им удастся путем зверской эксплуатации рабочих сильно увеличивать прибавочную стоимость и тем самым гарантировать получение двойных прибылей. Ну, а кто же в конечном итоге страдает от невозможности купить дешевые товары из-за этого монополистического соглашения о ценах? Конечно, трудящиеся, составляющие большинство населения.

Фабрики, оборудование которых устарело, закрываются. Рабочих безжалостно выбрасывают на улицу. А тех, которым удастся удержаться, подвергают беспощадной, «научнообоснованной» эксплуатации. Капитализм идет к новой, монополистической стадии. Поэтому и рационализация, которая приводит капитализм к его последней фазе развития, создает в то же время предпосылки для революционного взрыва... И, однако, с какой бы стороны мы ее ни рассматривали, все это построено на жертвах, которые неминуемо приходится приносить рабочему классу.

— Вот и на «N. S.»... — Кавасара сощурил глаза и взглянул на Моримото, — сдается мне, что «У-ский Форд» тоже не сможет вечно оставаться Фордом!

12

Раздался сигнал, призывающий к работе, и оба вскочили на ноги. Кавасара, на ходу стряхивая пыль с брюк, побежал к конторе.

Тяжелые удары парового молота сотрясали пол и щекочущими тычками отдавались в ногах. Входя в полутемный цех, Моримото увидел в окно фигуру управляющего, видимо собравшегося играть в гольф. Позади него шел служитель и нес на спине мешок с клюшками. Заглядевшись, Моримото столкнулся с выходящим из дверей Саэки.

— Извини!

— А, чтоб тебя черт побрал!

«Саэки! Зачем это он притащился сюда? Подозрительный тип!» — промелькнуло в голове Моримото.

— У тебя что — глаза на затылке, а?

— Да брось ты. Погляди-ка лучше в окошко...

Саэки бросился в окно и скорчил гримасу.

— Ну, скажи сам, на кого он похож?.. Неужели в гольф этот самый обязательно нужно играть в таком виде?..

— Гм. Не знаю, право... — неопределенно отвечал Саэки: это было его больное место. — Слышал, на днях сюда приедет читать лекцию Исоо Абэ¹. Надо бы не пропустить случая и пригласить его на часок-другой к нам на фабрику, после того как он закончит лекции в городе... Управляющий согласен...

— А по чьей это инициативе? Вы, что ли, его зовете?

— Да нет же, я серьезно говорю — управляющий!

— Управляющий? — Моримото усмехнулся. — Ну и смел же он!

— Да, молодчина! — совершенно серьезно отвечал Саэки, видимо не понимая того смысла, который вложил в свои слова Моримото.

Как-то раз Моримото случайно услышал, что управляющий входит в муниципалитет от социал-демократической партии Сякай-минсю-то. Рассказал об этом все тот же Саэки. И тогда Моримото спросил его:

— А что, эта самая Сякай-минсю-то — это, что же, рабочая партия или как?

Лицо Саэки чуть заметно дрогнуло.

— Уж во всяком случае это тебе не компартия! — отрезал он.

Для того чтобы отвлечь рабочих от участия в левых профсоюзах, Компания тайком помогала Саэки и его группе и всячески старалась вовлечь в Родо-содомэй² тех рабочих, которых считала хоть немного опасными. Моримото знал об этом. И, однако, даже эти махинации дирекция ухитрялась проделывать под вывеской того, что мол, управляющий — человек действительно либеральный, идет навстречу запросам рабочих и сам, по своей инициативе, вовлекает их в профсоюзы. Поэтому

¹ Абэ Исоо — один из вождей японской социал-демократии.

² Родо-содомэй — всеяпонское объединение социал-демократических профсоюзов.

большинство рабочих даже не подозревало, что это значит. Компания отлично понимала, что если основная масса рабочих на фабрике будет находиться под влиянием Сякай-минсю-то, то какие бы жесткие и невыгодные для рабочих мероприятия ни намечались, все сойдет гладко. Моримото угадывал во всем этом какой-то скрытый замысел. Компания, очевидно, мало-помалу занимала активные позиции, переходила в наступление на рабочих. Не было ли все это подготовкой? Моримото чувствовал, что решительный момент приближался с каждым днем.

Он еще не знал, в чем заключаются конкретные задачи фабричной ячейки. Но он думал, что благодаря опыту, приобретенному им за долгие годы работы на фабрике, а также благодаря происшествиям, которые имели место за последнее время, он сумеет правильно угадать ту позицию, которую ему нужно будет занять.

— Хотят, понимаешь, создать у нас на фабрике базу Сякай-минсю-то. В ремонтно-механическом тоже говорили об этом... Так что приходи на лекцию, ладно?.. — с этими словами Саэки побежал вдоль вагонеточного пути. На ходу он хлопнул пониже спины какую-то работницу, толкавшую вагонетку. Женщина с визгом подскочила и угостила его в ответ тумаком. Вихляя задом, Саэки скрылся за углом.

Саэки организовал в рабочем городке Т. общество наподобие «Молодежного союза» под названием «Тюсинкай». Семьдесят процентов членов этого общества составляли рабочие фабрики «N. S.». Он хорошо знал дзиудзитсу, так что общество носило наполовину спортивный характер. Имелось и специальное помещение для тренировки. Компания, по-видимому, поддерживала их. Стоило где-нибудь вспыхнуть забастовке, как они уже были тут как тут и всячески старались сорвать ее якобы в интересах всего города. Под флагом «воспитания духа» и «закалки нервов» формировалась шайка настоящих бандитов и штрейкбрехеров. Если на фабрике устраивались «вечера военного искусства», члены этого общества были главными участниками.

Когда Моримото входил в цех, ему уже были ясны объекты и методы его работы.

В этот день, вернувшись домой, он положил на стол завернутую в газету брошюру, которую ему дал Кавада.

Это была книжечка страниц в сорок — пятьдесят, рисунок на обложке изображал шестерню.

«Фабрично-заводская газета».

«Задачи фабричной ячейки».

На обложке размашистым почерком Кавада было написано: «Прочесть немедленно».

13

«Если в движении замешаны женщины, держи ухо востро: нередки случаи, когда из-за них все дело летит кувырком», — часто говорил Кавада. И Моримото, встречаясь с О-Кими, всегда помнил об этом.

Она ждала его у Исикирияма, и дальше они пошли вместе.

Полногрудая, державшаяся очень прямо, О-Кими шагала рядом с ним совсем как мужчина. Напряженная долгая дневная работа на фабрике заставила работниц забыть «женственную» походку японских женщин. Анархист Такэбаяси говорил, что стоит только заставить их еще больше нажать на работу, как окажется, что в Японии европейское платье лучше всего к лицу именно работницам. Подобные остроты были как раз в его стиле.

На фабрике Моримото держал себя с работницами очень свободно: смеялся и шутил с ними; но теперь, очутившись наедине с О-Кими, он даже о работе и то не мог говорить толком и неуклюже запинался чуть ли не на каждом слове. Ведь здесь обращение должно было быть совсем другим, чем то, к которому он привык, имея дело с проститутками. Когда они дошли по переулку до ярко освещенной улицы, которую им нужно было пересечь, Моримото до смешного растерялся. О-Кими за его спиной не могла удержаться от смеха. Он быстро перебежал дорогу и остановился подождать ее на противоположном углу. О-Кими приближалась к нему спокойно, держась грудью вперед, отбрасывая при каждом шаге подол кимоно, как это делают люди, не привыкшие к японской одежде, и только глаза ее, устремленные на Моримото, смеялись.

— А Моримото-сан, оказывается, совсем тихоня... — сказала О-Кими, когда они снова пошли рядом.

— Уф... Даже вспотел!

— Неужели все мужчины такие?

Тонкое летнее кимоно отчетливо обрисовывало круглые линии ее тела. Иногда плечи их соприкасались, и Моримото тотчас же испуганно отстранялся...

— У меня в горле пересохло... Напиться бы чего-нибудь холодного... Зайдем куда-нибудь и там поговорим, ладно? — предложила О-Кими.

Сделав несколько шагов, они остановились у магазинчика, торговавшего прохладительными напитками. Над входом раскачивалась занавеска из тонких стеклянных палочек, издававшая легкий, прозрачный звон. На искусственной горке, устроенной посередине двора, маленький, как будто игрушечный фонтан сонно брызгал водой. Несколько золотых рыбок блестели красными спинками в небольшом пруде, грубо выложенном цементом.

— Хозяин, стакан лимонаду! А вам?

— Я буду воду со льдом...

— Тогда, хозяин, лимонад и воду со льдом!

Она казалась ему энергичной и решительной, и он подумал, что это очень хорошо. Он почувствовал неожиданный прилив энергии и интереса к предстоящей работе.

— Так вот... — Он залпом осушил свой стакан и открыл рот, собираясь заговорить, но она перебила его:

— Слушала я все, что вы мне говорили, пока мы шли сюда. Но только я думаю насчет этого по-другому! Это как раз то, что пропагандирует сама Компания. Они говорят, что работницы — это только работницы... А вы знаете, сколько они зарабатывают в день? Это одно уже все объясняет! — И, не называя имени Ёси-тян, О-Кими рассказала ему историю, услышанную от подруги.

— Подруга говорит, что она потаскушка. Но, по моему, это неверно. Разве она брала бы тогда деньги? Виновата тут не женщина, у которой на плечах семья из четырех человек, а Компания, которая платит всего шестьдесят сэн в день. Я думаю, вы знаете, что многие работницы бросают фабрику и идут служить в бары, а некоторые прямо на улицу. И ведь не то чтобы просто бросали работу, и потом уже так получилось... Нет, просто на заработанные деньги не прожить, вот они с этого начинают, а уж потом и с фабрики из-за этого уходят. Компания, конечно, говорит наоборот, будто их, мол, тянет на улицу, а оставайся они на фабрике, все было бы хорошо... Так ведь это вранье, чистое вранье!

Моримото удивленно смотрел на нее: женщина, которая так остро ставит вопрос и так правильно разрешает его! И это работница!

— Несчастные, право, наши работницы... Если и говорят о чем-нибудь, так разве о какой-нибудь кинозвезде, получающей тысячи иен в месяц, или о гейшах да о кельнершах из баров...

— Да-а...

— И потом из-за одного-двух сэн вечные жалобы, которые все равно ни к чему не приводят... Фабком... Он ни разу, по-моему, ни на что не пригодился... но даже и там не считаются с работницами...

— Да ведь туда, кажется, входят двое...

— Так ведь они только слушают... На самом деле они там как чучела в огороде — стоять стоят, а голоса не имеют.

— Хм...

— Будете еще пить?

— Пожалуй...

— У вас ведь в механическом зарабатывают побольше нашего, так вы, верно, угостите меня... — О-Кими звонко рассмеялась. Блеснули ее белые ровные зубы. Моримото чувствовал, что его смущение растворяется в непринужденном обращении О-Кими. Она часто прерывала собеседника словами: «только и всего», «такая штука», а в ответ говорила коротко: «ага», «хм». Одно это уже сильно отличалось от тех манер, которыми в представлении Моримото должны были обладать женщины. «Наверное, все это результат фабричной жизни, которая раньше и во сне не снилась японкам», — думал он.

— Когда выйдут с фабрики, куда-нибудь подальше от начальства, все отлично понимают друг друга. Все ворчат. Вы, я вижу, мало надеетесь на успех, потому что наша фабрика — «Форд». Ну, а мне кажется, что одного-двух товарищей завести удастся... Вообще женщины... — О-Кими рассмеялась. — Женщины — это странные существа. Уж если решат действовать в определенном направлении, так, пожалуй, и мужчин за пояс заткнут. Это у них своего рода болезнь...

— Это ты остроумно сказала, — усмехнулся Моримото.

Он начал подробно излагать О-Кими те методы и приемы, о которых он слышал от Кавада. И О-Кими

слушала его с таким серьезным, внимательным выражением лица, которого, казалось, даже нельзя было от нее ожидать.

— Пойдет дело! Общими усилиями пойдет! — сказала она, поднимая раскрасневшееся лицо.

Они вышли из лавочки и, пройдя немного, очутились перед железнодорожным полотном. Медленно опустившийся шлабгаум преградил им дорогу. Рассекая теплый спокойный воздух, сотрясая почву, мимо пронесся пассажирский поезд со сплошной линией светящихся окон. Некоторое время позади еще чувствовалось теплое дыхание паровоза. Свежевыкрашенный шлабгаум мелькнул в темноте и медленно поплыл вверх. Поравнялись идущие навстречу несколько человек. Каждый по очереди оглядел О-Кими и Моримото.

— Ха-ха, славная девочка!..

Моримото похолодел. Он багрово покраснел при мысли, что их могут принять за влюбленную парочку.

— Трепло! — огрызнулась О-Кими.

Она заговорила о фабрике. Рассказала о том, как одна пожилая работница, которая из-за уродливого лица никак не может выйти замуж, а из-за тяжелой работы стала похожа просто на существо среднего пола, теперь решила копить деньги и сторониться всех окружающих; как смазливый работницам быстро прибавляют жалование: как две работницы влюбились в одного мужчину, и одна очень страдала, но, впрочем, вскоре вышла за кого-то замуж и явилась на фабрику, соорудив шикарную «мару-магэ»¹ с красными шпильками, и обошла всю фабрику, хвастаясь своею прической; рассказала, что на фабрике есть и такие работницы, которые ходят с мастером в кино для того, чтобы им повысили жалование, а на обратном пути заходят в маленькие ресторанчики; что один служащий сошелся с работницей, а когда она забеременела, он придрался к тому, что какой-то рабочий заигрывал с ней, и заявил, что, верно, она и с тем тоже живет, и в конце концов бросил девушку...

Они прошли холм и спустились к пристани. Публика, пришедшая сюда подышать прохладой, прогуливалась вблизи освещенной огнями дамбы.

¹ Мару-магэ — прическа, которую носят замужние женщины.

— Яблоки, груши, мандарины!.. — хрипло выкрикивал продавец, сидевший у дороги.

— Хочу яблоко, — проговорила О-Кими и подошла к продавцу. Как и все работницы, О-Кими любила, выходя куда-нибудь, покупать в ларьках и кушать на улице. Она на ходу вытерла рукавом ярко-красное яблоко и, причмокивая, откусила кусок прямо с кожей. Моримото заметил блеснувшие в темноте белые зубы.

— Вкусно. Хотите?..

Эта женщина и яблоко удивительно хорошо гармонировали друг с другом.

— Пожалуй, одно съем...

— Одно? Да ведь я всего одно и купила!..

Она рассмеялась, как будто не в силах сдержаться.

— Нехорошая ты...

— Ну ладно, откусите здесь кусочек...

О-Кими еще раз вытерла рукавом яблоко и поднесла его к самым глазам Моримото. Он растерялся.

— Ну же! Откусите вот здесь! — словно поддразнивая его, она повернула к нему ту сторону, где только что укусила сама.

— Не хватает храбрости? Ну, все-таки откусите разок!

Делать было нечего. Он робко откусил.

С того места, где они стояли, видна была фабрика «N. S.». Темный силуэт, вырисовывавшийся в воздухе, напоминал притаившийся во мраке броненосец.

Эта первая встреча покорила Моримото. Он то и дело ловил себя на том, что думает об О-Кими. Он даже начал чувствовать особый интерес к работе. Когда он понял, что причина — в О-Кими, ему стало как-то не по себе. Уже не попал ли он в ту самую ловушку, от которой предостерегал его Кавада?

14

Фабрика «N. S.» называлась «Фордом», однако к рабочим отношение было такое же, как и повсюду. Просто кругом, куда ни кинься, свирепствовала такая депрессия, что податься было совершенно некуда, и потому худо ли, хорошо ли, но рабочие вынуждены были зубами

держаться за место. И, кроме того, само название «Форд» все еще немного дурманило их головы.

— Поговори с ними вне фабрики — все ворчат, — сказала как-то О-Кими. Это была правда. Но каждый выжидал: кто решится первым выступить открыто?

До сих пор о фабричных делах или на политические темы Моримото не случалось разговаривать даже с самыми близкими друзьями. Это началось только с тех пор, как его приятель Исикава вступил в союз. А до этого он был всего лишь обыкновенным металлистом, выбившимся из учеников рядовым рабочим парнем, который заигрывал с работницами, приставал к проституткам и умел вести беседу только о женщинах. Но когда теперь, полный новыми мыслями, он заговаривал с прежними товарищами, ответы получались такие, что он только диву давался — неужели это говорят те самые «хулиганы»?! Становилось понятно, что никто никогда еще не пытался пробудить сознательность в этих ребятах. У каждого из них имелся свой маленький бюджет. Из-за разницы в жаловании в один сэн в день, из-за того, что сушеная каракатица, которую продавали в потребительской лавке Компании, стоила на пять рин¹ дороже, чем в другом месте, они спорили так, что дело доходило подчас до крупной ссоры.

Ежемесячные взносы и холодное презрение страхового врача заставляли их возмущаться законом о страховании. Мало этого, с тех пор как на фабрике было проведено страхование здоровья, Компания ухитрилась ловко уклониться от выплаты рабочим двух третей зарплаты, полагавшихся в случае болезни, и всей суммы полностью, полагавшейся при ранении на производстве. «Всю сумму страховых премий должна выплачивать Компания!» — говорили рабочие, хотя никто не учил их этому.

На фабричный комитет также никто не смотрел иначе, как на чистейший обман. Никто не возлагал ни малейших надежд на этот комитет, собиравшийся только от случая к случаю и состоявший из самых смиренных и покорных рабочих, назначенных по указке Компании.

Рабочие дрожали от страха при мысли, что на закаточные машины, где до сих пор не работало ни одной

¹ Рин — самая мелкая денежная единица в Японии, равная 0,1 сэна.

женщины, теперь поставят работниц, которым можно будет платить дешевле.

И вот, видя все это, Моримото чувствовал, как в глубине его души растет и крепнет какая-то сила, способная воодушевить и других.

Как-то незаметно для себя самого он обнаружил перемену в тех настроениях, с которыми он раньше отправлялся на фабрику.

Когда холодным утром, сгорбившись, втянув голову в плечи, он выходил из дому и шагал по мокрому снегу, он чувствовал себя буквально жалким рабом. С наслаждением вытягиваясь по утрам в теплой постели, он мечтал о том, как хорошо было бы поспать еще часок-другой. Ранним утром при виде длинной, изогнутой цепи рабочих, похожих на грязные пятна на еще не растаявшем снегу, тянувшихся в одном направлении, с одинаково безжизненным выражением лиц, казалось, что для полной картины не хватает только оков. Они в точности напоминали мрачное шествие заключенных.

Поэтому-то он никогда не работал на фабрике с охотой. Раньше он старался изо всех сил, надеясь выбиться в служащие, но с девятнадцатилетнего возраста убедился в том, что, сколько ни работай, в служащие не переведут, и озлобился. И потом здесь не люди распоряжались машинами, а машины постоянно господствовали над людьми. Разве можно терпеть такое положение, при котором машина просто высасывает человека? И он считал, что правильней будет стоять безучастно рядом, заложив руки в карманы.

Он расхаживал по цеху и подшучивал над всеми, говоря, что как у старушки, которая держит много кошек, лицо постепенно делается похожим на кошачью мордочку, так и все они скоро станут смахивать на машины. Грохот и шум, стоявшие на фабрике, заставляли рабочих говорить голосом, похожим на звук точильного колеса, высекающего искры из металла. Все в их теле было пригнано прочно и крепко, как у обслуживаемых ими машин. Суставы их пальцев, казалось, имели крепость стального резца. И воля у них тоже была всеокрушающая, как паровой молот. Казалось, накинь этим рабочим на шею приводные ремни — и у них появится сила, не уступающая той, с которой токарные станки точат болванки,

сверлильные — сверлят отверстия, строгальные — строгают поверхность металла, а фрезерные — вытачивают шестеренки. Где кончается сжимающий рукоятку рабочий и где начинается машина, различить было трудно.

Движения человека определял не сам человек. В банкоформовочном цехе, который был полностью механизирован, рабочие не сами решали, сколько движений руки в минуту сделать, сколько раз в день и на каком расстоянии обойти вокруг машины. Все это безжалостно определялось скоростью станка и темпом движения конвейера. Сказать, что на фабрике работают рабочие, было бы слишком туманно, да и не соответствовало бы действительности. Работали там только машины. Пусть работницы, стоящие у конвейера, падали от головокружения, — все равно они составляли с машиной одно целое, часть механизма, — они не могли ни на шаг отойти от машины.

«Если такое положение вещей будет продолжаться, рабочие не только сделаются похожими на машины, но попросту превратятся в них», — думал Моримото. Вероятно, именно такие мысли привели к идее «людей-автоматов». Рабочие терпеть не могли разговоров об этих «роботах». Кому охота превращаться в машину? Они, напротив, все хотели бы снова стать людьми.

С тех пор как Моримото начал участвовать в движении, многое стало ему понятно, и фабрика приобрела для него удивительный интерес. Утром, по дороге на фабрику, он обдумывал уже, чем заняться сегодня. С чего начать, как лучше всего подойти к такому-то товарищу, учитывая особенности его характера, вкусы и работу... Или, может быть, лучше просто заглянуть к нему на дом?.. Когда он с такими мыслями выходил из дому, ему начинало казаться, что одетые в замасленные спецовки рабочие, торопливо шагавшие впереди и позади него, все когда-нибудь станут его товарищами. Эти мысли заставили его забывать о тех мрачных, унылых настроениях, которые владели им прежде.

Под руководством Кавада и Исикава Моримото разделил группу на две части: на мужскую и женскую. В мужской группе ответственным был он сам, у работниц — О-Кими. Только они двое, как представители,

держали связь с Кавада в «мезонине», где обсуждались все важнейшие дела, связанные с работой.

Для того чтобы приобрести основные, практически необходимые знания из области экономики и политики, решено было проводить маленькие собрания. Для начала Кавада прочел Моримото небольшую брошюрку одного из центральных руководителей. Брошюрка была написана в форме письма к товарищу, живущему в провинции.

«...Я слышал, что тебе удалось организовать в вашем районе рабочий кружок по самообразованию. Я страшно рад этому. Самое замечательное, что в твоём кружке принимают участие семь человек с Н-ского металлургического завода. Ведь это самый большой завод в ваших местах. Здорово! «Только семь человек!» — кто это смеет говорить таким пренебрежительным тоном? Ведь если нам удалось привлечь на свою сторону хотя бы одного готового к борьбе рабочего с завода, где работают тысячи и десятки тысяч людей и который капиталисты при помощи своей политики кнута и пряника хотят превратить в неприступную крепость, это даёт нам право сказать, что мы уже взяли в свои руки половину завода. Задача заключается в том, чтобы добиться этого. Если наша тактика правильна, то дело пойдёт быстрее...

Теперь относительно вашего кружка. Уж не собираешься ли ты сделать из этих рабочих буквоедов? Нельзя действовать, исходя из того, что, мол, прежде всего необходимо усвоить теоретические принципы рабочего и социального движения, марксистской экономики и т. п., а потом уже начинать организовываться и бороться. Это известный гнилой способ, который всегда вел только к огромным потерям и беспорядочной трате сил. Нет, теперь нужно проводить работу иначе. Нужно обсуждать: чем недовольны ваши рабочие, каковы условия труда на данном заводе, с какими требованиями нужно связывать это недовольство, и тогда ваш кружок совершенно перестанет быть оторванным от жизни, «научным». В нём будет живой интерес к конкретной действительности...»

— А мы уже чуть-чуть было не сделали такой ошибки!..

«...например, когда для развертывания борьбы придется проносить на завод агитационные листовки, ни в коем случае не следует делать упор на этих семерых

человек. Это значило бы позволить врагу срезать все побеги еще до того, как началась настоящая борьба. Самое лучшее, если такая работа будет поручена людям, не связанным с данным заводом. А рабочие этого завода сообщат вечером на собрании кружка, какое впечатление произвели листовки на рабочих, много ли было сочувствующих и т. п. Затем нужно будет обсудить, как проводить агитацию в будущем, учитывая все настроения, которые проявились на этот раз, как закрепить обнаружившихся на заводе сочувствующих, как расширить организацию и т. д. И ваш кружок станет действительно живым».

— Вот это правильно! — сказал Кавада. — А мы чуть было не допустили ошибки! Этой-то линии нам и нужно держаться.

15

Прежде всего нужно было наладить выпуск фабричной газеты, каких бы усилий это ни стоило. Ведь пролетарская газета является не только органом пропаганды, но и играет роль объединяющего массы организатора.

Фабричная газета должна была освещать повседневные события из жизни рабочих в конкретной и доступной форме, разоблачать проделки хозяев, марксистски объяснять их и, таким образом, постепенно пробуждать классовое сознание рабочих. Но главная, основная задача газеты состояла в том, чтобы таким путем внедрять глубоко в массы рабочих влияние пролетарской партии (компартии) и, с другой стороны, создавать, строить эту партию на базе фабрик и заводов. В этом и заключалась конечная цель усилий Кавада. Но об этом еще никто не знал.

Газету на фабрике «N. S.» решено было печатать на шапирографе и выпускать под заголовком «Эй-Эс ньюс»¹. На примере многих предшественников Кавада убедился в том, что люди, которые, так же как и он, сами не связаны непосредственно с фабрикой, часто не знают реальной обстановки данного предприятия и занимаются поэтому шаблонными, абстрактными разговорами, которые всем на фабрике надоедают. Но тут на помощь ему

¹ «Новости (фабрики) «N. S.».

должны были прийти его товарищи — О-Кими и Моримото. Кавада проводил такой же план на других предприяттиях — на резиновой фабрике, в типографии, на железоделательном заводе.

«Новости «N. S.» выйдут. Не беда, что мал формат. Это должна быть газета, которую рабочие читали бы с жадностью, которую бы любили, с которой бы свыклись. Шаржи и карикатуры, помещенные в ней, сделают ее интересной и занимательной. Что, если карикатура на директора будет похожа на него как две капли воды? Длинные, скучные рассуждения нужно совсем убрать. Рабочие таких вещей не читают...

Кавада способен был мечтать об этой газете с таким же нетерпением и радостью, с какой ждут появления на свет собственного ребенка.

Благодаря «Новостям «N. S.» связь Моримото с рабочими его цеха перестанет быть такой слабой и неуверенной, как это было до сих пор. Теперь можно будет создать из этих людей настоящую боевую фабричную ячейку.

Но помимо всего этого газета имела еще и другие не менее важные задачи. Компания «N. S.» регулярно издавала журнал «Вестник консервной промышленности». Как и повсюду, в редакцию, разумеется, не допускался ни один рабочий, и собранными рукописями всецело распоряжались служащие. Затем эти рукописи просматривал директор и удалял все, что сколько-нибудь не соответствовало интересам Компании. С лживыми статьями этого прислужнического журнала, с реакционной идеологией, которую он насаждал, «Новости «N. S.» должны были беспрестанно бороться, разоблачать их и, используя эту борьбу в своих интересах, припирать хозяев к стенке.

Рукописи для «Вестника» разрешалось посылать под псевдонимом. Пользуясь этим, рабочие писали то, о чем не осмеливались говорить открыто. «Некоторые рукописи настолько возмутительны, что невольно приходится поражаться — неужели среди рабочих есть люди с подобного рода мыслями?» — говорил один из служащих, исполнявший обязанности редактора. И Кавада знал, что он не лгал.

Как-то раз в У-ском порту находилась эскадра из двадцати военных судов. Флагманский корабль имел

свою корабельную газету. (Вот в каких различных целях используют печать!) Один из офицеров, редактор этой газеты, говорил: «Рукописей получается, можно сказать, даже слишком много, да хороших-то нет! Приходится здорово работать, чтобы кое-как сверстать газету... Матросы пишут черт знает что...»

Кавада рассказывал Исикава, что, когда он услышал об этом, глаза у него засверкали.

— Подумай, ведь это же корабль императорского флота! Ну и обрадовался же я... Значит, и там есть наши!

Как магнит притягивает к себе рассеянные в кучке песка железные опилки, так и «Новости «N. S.» должны были объединить вокруг себя людей, пишущих эти «дерзкие» и «нелепые» вещи.

Через три месяца в совещаниях начали принимать участие четыре работницы. Теперь их было всего одним человеком меньше, чем мужчин. Главными из них были О-Кими и О-Ёси. Из предосторожности «Новости «N. S.» печатались пока только в девяти экземплярах. На собраниях все радовались, глядя на Судзуки, который старался, чтобы работницы ни минуты не скучали.

— Судзуки в последнее время стал чертовски активен! — говорил Кавада. И со смехом добавлял: — Верно, влюбился...

Решено было увеличивать тираж газеты на один экземпляр по мере того, как будет расти количество членов ячейки. Газету распространяли, передавая из рук в руки наиболее надежным рабочим. Эта газета напоминала белых муравьев, которые, не показываясь на поверхности, грызут фундамент постройки, а хватишься — здание уже рушится.

В газете появилась карикатура, изображавшая Исоо Абэ и управляющего, которые, протягивая друг другу руки, свободной рукой в то же время душат за горло рабочего. Другая карикатура изображала собрание лисиц, сидящих вокруг большого стола. Представленные в виде лисиц директор, управляющий и другие служащие вручают рабочим фальшивые деньги. Это должно было означать фабричный комитет. Подробно было описано, где, куда и в чью пользу употребляются деньги, поступающие в кассу взаимопомощи и на страхование

здоровья. Высмеивались те «благодарственные письма», которые вынуждены были писать рабочие, когда получали от компании пособия на похороны или при рождении ребенка; эти письма вывешивались у входа в столовую.

Все это изумляло рабочих, искренно считавших, что их фабрика — «У-ский Форд».

16

— Прямо противно, ей-богу... Между О-Кими и Кавада определенно что-то есть... — хмуро сказал Судзуки, возвращаясь с собрания.

Моримото внезапно остановился. Он и раньше знал, что на фабрике есть один, двое, с которыми О-Кими целовалась, но это казалось ему как-то похожим на нее и — странное дело — несколько его не трогало. Но с Кавада!.. Ему показалось, что пропасть вдруг раскрылась у него под ногами.

— Кавада вообще в этом отношении распушенный...

На самом деле Судзуки сам был неравнодушен к О-Кими. Ему казалось, что О-Кими — это его последняя соломинка. Вот уже около двухсот иен, полученных от полиции, он истратил, и сам не заметил — как. Своё несчастье он должен был забыть, забыть во что бы то ни стало. Он мучился этим. Но все его отчаянные попытки освободиться приводили лишь к тому, что он опускался все глубже и глубже. Под ногами у него было болото, трясина. А теперь он терял и последнее — О-Кими.

И зачем только он так горячо принимал участие в этих собраниях? Он только сейчас ясно понял, куда ведет путь, на который он вступил. Он плохо спал теперь по ночам. Его мучили дурные сны, он просыпался, обливаясь холодным потом...

Прошло несколько дней.

— А Ёси-тян здорово втрескалась в кого-то, — О-Кими задорно рассмеялась. — И ведь как страдает... Уж я говорила ей: «Ну, что ты, говорю, в самом деле, барышня, что ли? На луну вздыхать да цветочками там разными любоваться — это дело барышень... Да скажи ты ему, говорю, все напрямик и покончи с этой возней в два счета!» Не так ли?

— Это на тебя похоже, такой совет, — печально улыбнулся Моримото.

— Если из-за этого у нее и работа разладится, так ведь это совсем не дело. Я ей сказала: «Ну, хочешь, я с ним поговорю?.. Хочешь с ним целоваться — целуйся на здоровье!.. А так, ясно, и к работе какое уж тут может быть настроение». А она мне: «Ужасно как-то стыдно все это...» Каково, а?

О-Кими говорила все это громко, ничуть не стесняясь. Моримото стало больно при мысли, что этому она, конечно, научилась от Кавада.

— Стыдно, неудобно, а все это потому, что вообще у Ёси-тян много мещанского...

«Если бы О-Кими была мужчиной, это, наверно, был бы точь-в-точь Кавада!» — подумал Моримото.

Все подшучивали над Кавада, говоря, что если он когда-нибудь полюбит, то эта любовь будет напоминать его работу. Это значило, что если бы он даже и полюбил, то ни в своих чувствах, ни тем более в своей работе он ни на минуту не поддался бы слепому увлечению или безразсудству.

Кто был человек, о котором мечтает О-Ёси, О-Кими не сказала.

17

Лето в этом году выдалось жаркое. Но с наступлением осени не переставая лил дождь, вперемежку с ледяной крупой, и жизнь на улицах портового города замерла. С наступлением зимы, правда, установилась удивительно хорошая погода. Но в хорошую погоду не было работы по уборке снега, и рабочие были обречены на голод. Из-за взятого правительством курса на свертывание работ положение портовых рабочих стало еще более бедственным.

Как водорослями, опутанные по рукам и ногам процентной системой, системой подрядов, рабочие, случилось, и получали временную работу в порту, но плату за нее так сильно урезывали, что на руки им доставалась едва половина. Система оплаты называлась процентной, но подрядчики не объявляли размера заработка открыто, а определяли его мошеннически, как им заблагорассудится, и уже из этого мошеннически вычисленного

заработка высчитывали проценты и давали рабочим только небольшую его часть.

С тех пор как «Канабиси» оборудовала конвейер к угольному складу, пятьдесят человек грузчиков, таскавших мешки с углем, разом остались без работы. Женам их стало невозможно оставаться спокойно в своих домах. Но, случайно присев к очагу, они могли просидеть так целый день, не двигаясь. У них как будто помутился рассудок. Они ни о чем не думали. Шли на кухню. А придя туда, забывали, зачем пришли. Они не могли оставаться на одном месте. Что-то накапливалось у них на душе.

Женщины вышли на портовый проспект, тянувшийся вдоль канала, где работали их мужья. Здесь они оставались до самых сумерек. Когда стемнело, они подошли к подрядчикам. Они хотели получить займы хоть сколько-нибудь денег.

— Шутите, что ли? — Из окошечка конторки высунилось лицо подрядчика. — Это когда кругом такая депрессия?.. Самому есть нечего...

Но женщины, облокотясь о перила конторки, молчали. Казалось, они забыли о том, что нужно идти домой.

Из окон фабрики «N. S.» хорошо видна была эта толпа на противоположном берегу канала.

— Ого, кажется, волнуются в порту!

Тем временем профсоюз У. активно развивал свою деятельность. Для начала забастовки достаточно было сигнала. Союз должен был обеспечить достаточную связь и организационную сеть.

Спешно созвали конференцию представителей фабрик. Теперь она приобретала двойное значение. Во-первых, было совершенно ясно, что если бы даже портовые рабочие и забастовали, то, как это неоднократно бывало повсюду, фабричные рабочие остались бы в стороне. Задача конференции поэтому заключалась в том, чтобы превратить забастовку в порту в общегородскую. Другим важным вопросом, стоявшим перед конференцией, были недавние волнения на фабрике «N. S.».

На конференцию собралось шесть человек от металлургических заводов, трое от типографий и четверо от двух резиновых фабрик. Каждый из представителей выражал мнение и волю десятков, избравших его. Среди участников конференции оказались двое рабочих-

металлистов, с которыми Моримото дружил еще в бытность свою учеником.

Полгода упорнейшей работы потребовалось Кавада и его соратникам для того, чтобы подготовить и открыть эту конференцию.

В Компании «N. S.» царила полная растерянность и тревога. И у рабочих и у служащих работа валилась из рук. Причина заключалась в том, что банк Мита слился с одним из самых мощных в Японии банков — Канабиси¹. Это слияние банков Мита и Канабиси тоже было шагом на пути к укреплению финансовой сети всего государства. Таким образом, контроль над фабрикой «N. S.» перешел от банка Мита в банк Канабиси.

Банк Канабиси, однако, и сам контролировал две акционерные компании: «Консервно-баночную компанию «N. S.» и «Консервно-баночную компанию «T. S.» Но вплоть до последнего времени Компания «N. S.» пользовалась наибольшим весом. Таким образом, объединение этих компаний обозначало полную монополизацию производства консервных банок.

Поэтому банк Канабиси от методов «чистого контроля», которых придерживался банк Мита, перешел к активному вмешательству в собственно производственный процесс. А это означало то, чего больше всего боялись рабочие, — немедленную и притом жестокую рационализацию производства. Вся фабрика, казалось, гудела от этих слухов.

Но вопрос был еще более сложен.

— Нынче, брат, и директор и управляющий белес, чем твоя бумага! — сказал как-то раз Кавасара, которому приходилось теперь ежедневно оставаться в конторе на сверхурочную работу; в связи с предстоящим слиянием нужно было оформлять документы для представления в новый банк. — Банк Канабиси, по-видимому, намерен назначить на пост директора и управляющего своих людей, а этих выставить. Ну, если это случится, то, выходит, слабы же они! Дело принимает интересный оборот! Директор, видно, из последних сил старается что-нибудь придумать!

¹ Название «Канабиси» является прозрачным псевдонимом для Мицубиси — одного из крупнейших концернов Японии.

Кавасара, который постоянно был под боком у директора, хорошо понимал, что это все означало. Директор и управляющий распространяли по фабрике слухи, что Канабиси снизит жизненный уровень их «дорогих» рабочих и превратит «У-ский Форд» в «У-скую тюрьму», и надеялись с помощью дружного возмущения рабочих спасти свое собственное пошатнувшееся положение.

— Видно, туго им приходится! — говорил Кавасара. — Но уж раз попались Канабиси в лапы, сколько ни барахтайся, не одолеешь, — куда уж им меряться силами! Теперь, брат, те капиталисты, которые не связаны с финансовым капиталом, неминуемо оказываются биты! Наша фабрика — всего лишь один из примеров, которые встречаются на каждом шагу.

Но дело было не только в этом. Большинство банок, производившихся на фабрике «N. S.», продавалось Компании «Нитиро» и шло на Камчатку. И вот успех советской пятилетки, с одной стороны, и бешеная конкуренция между баночными фабриками в самой Японии — с другой, постоянно держали прибыли Компании под угрозой. Колебания в количестве заарендованных рыболовных участков тотчас же отражались на размерах производства. Для того чтобы как-нибудь обезопасить себя, акционеры нажимали на правительство и всячески раздували шовинистические настроения и ненависть к Советской России.

В последнее время ходили упорные слухи о том, что советское правительство хочет понемногу взять в свои руки самые прибыльные рыболовные участки. Акции «Нитиро» и Компании «N. S.» стремительно катились вниз.

В связи с такой обстановкой на фабрике «N. S.» Кавада предложил такой курс: не прекращая, разумеется, активной работы ячейки, разоблачение деятельности Компании, вербовку новых членов, развернуть, воспользовавшись брожением в среде рабочих, борьбу за независимость фабричного комитета, то есть за превращение его в подлинный рабочий орган, который сможет защищать свои, рабочие, классовые интересы.

Для того чтобы иметь возможность противостоять любому натиску капиталистов, прежде всего нужно было, чтобы рабочие всей фабрики дружно шагали в ногу. Ведь нередко все шло прахом только потому, что цехи действовали вразброд, тянули каждый в свою сторону.

Все это объяснялось тем, что у рабочих не было организации, где они могли бы как следует, всей фабрикой обсудить различные вопросы. Такой организацией должен был стать независимый фабричный комитет.

— Надо требовать перестройки комитета, добиться, чтобы он стал аппаратом, защищающим интересы рабочих.

После того как решение по этому вопросу было принято, конференция долго и серьезно занималась обсуждением конкретных вопросов: о времени и способах осуществления этого плана. Затем были заслушаны информации членов о положении дел на местах. Забастовка в порту могла начаться каждую минуту, и поэтому необходимо было внести в требования пункты, которые могли бы привлечь симпатии также и заводских рабочих. Было решено, что ячейки должны не покладая рук работать над тем, чтобы связать стачку с конкретными вопросами каждого предприятия.

Когда собрание кончилось, Кавада откинулся на спину. Он не спал почти двое суток!

Полиция особенно внимательно следила за Кавада. Он постоянно менял местожительство, переезжая с одного места на другое, но каждый раз при переезде успевал связаться с друзьями и продолжал руководить союзом, Моримото и другими уполномоченными. Однако в небольшом городе, население которого не насчитывало и двухсот тысяч человек, это было чрезвычайно опасной задачей.

18

Когда собрание кончилось, все поодиночке разошлись. Моримото, свернув с оживленного проспекта, дошел до улицы Т., и тут кто-то, нагнав его, зашагал с ним рядом. Он вздрогнул от неожиданности. Это оказался Кавада.

— У меня как раз есть небольшое дело на улице Т.

Странное предположение промелькнуло в голове Моримото. Уж не идет ли Кавада к О-Кими?

Кавада, шагая рядом с Моримото, с жаром говорил о работе. У Кавада всегда был решительный тон и властные нотки в голосе. При первом знакомстве такая манера говорить вызывала подчас даже какую-то бес-

сознательную антипатию. Но у Моримото всякий раз, когда он слушал уверенную речь Кавада, появлялось удивительное спокойствие за все, что они делали.

В нем пробуждалась даже какая-то сила.

— Ты смог бы пойти на жертвы ради этой работы? — спросил его Кавада.

Моримото ответил, что смог бы.

— Идти на жертвы — это значит... — Кавада сделал паузу и на минуту задумался. На улице еще попадались прохожие. По временам свет автомобильных фар выхватывал из мрака половину лица Кавада и исчезал за углом. — Идти на жертвы — это значит быть готовым отдать всю жизнь, — закончил он.

Под ногами скрипел мелкий предвесенний снежок, похожий на сахарный песок.

— Ведь ясно, что играючи нашу работу делать нельзя. Выйти что-нибудь может только в том случае, если много таких, как мы, заступая место выбывающих из строя, соединят свои усилия...

Моримото никогда не думал, что Кавада может говорить так торжественно.

— То, что «Новости» за полгода добились такого успеха, объясняется, я думаю, безупречной организацией дела. Для всякого успеха нужна железная организация, нужны соединенные усилия товарищей, готовых на самопожертвование, готовых к борьбе не на жизнь, а на смерть... — Он оборвал речь, и это тоже было не похоже на Кавада.

— Понимаешь?

— Понимаю, конечно... Странно как-то ты говоришь сегодня. — Ему показалось, что, услышав эти слова, Кавада тихо засмеялся, не разжимая губ.

— Вот такой железной организацией и является партия, которая возглавляет борьбу рабочего класса, партия, которая через фабричные ячейки тесно с ним связана. Потому-то и не может быть другой истинно рабочей партии, кроме коммунистической.

Моримото уже сотни раз слышал об этом. Поэтому он коротко ответил:

— Да, это так.

— Поесть набэяки¹, что ли?

¹ Тип запеканки.

Кавада остановился и огляделся вокруг. Пройдя немного дальше, они заметили маленькую закусочную. Здесь им подали набэяки. Кавада расспрашивал Моримото о семье, о зарплате, о том, кто находится на его иждивении, и, в свою очередь, рассказывал о себе.

Он говорил о причинах, побудивших его встать на путь революционной работы, рассказал о том, как провел однажды трех шпииков, о том, что одна несчастная, опустившаяся женщина время от времени помогает ему деньгами и что она единственная, которую он любит; говорил, что мать, оставшаяся на родине, заболела от тревоги за него... Он декламировал стихотворение «Ты думаешь, отец и мать есть только у тебя?» Эти стихи, казалось, проникали в самую душу. Когда Кавада кончил читать, его всегда холодные спокойные глаза затуманились. Моримото впервые видел его в таком настроении. На работе Кавада никогда никому не выказывал этих сторон своего характера.

— Ну, как на фабрике? Все благополучно? Никто еще ничего не подозревает? — спросил Кавада. Он постоянно беспокоился о репутации Моримото.

— Немножко. Ведь уж сколько времени прошло...

— Гм. Немножко — это тоже скверно...

— По словам Кавасара-сан, который работает в конторе, в последнее время к директору очень часто ходят полицейские...

Кавада, переключивший язык на рту из стороны в сторону горячее набэяки, при этих словах вдруг сдвинул брови.

— Директор иногда водит по фабрике каких-то незнакомых людей... может быть, это и есть полицейские... И потом, по словам Кими-тян, среди рабочих есть мерзавцы, подкупленные Компанией, которые тотчас же сообщают обо всем...

— Ого?! Нужно держаться осторожно.

— О «Новостях» они тоже, очевидно, знают. Кажется, совершенно растерялись. Прямо из кожи вон лезут, чтобы узнать, кто печатает эту газету и каким образом она попадает на фабрику.

— Гм.

Сначала газету тайком передавали из рук в руки. Но, по мере того как росла и крепла ячейка, ее начали нарочно оставлять на видных местах и разбрасывать

по фабрике, правда пока еще в незначительном количестве экземпляров.

— Директор говорит, что это все проделывает союз. В шестнадцатом номере была помещена статья о годовом заработке управляющего, о его домашней жизни, о сумме, которую он тратит за год на гейш и любовниц, — этот номер пользовался особенным успехом. Он обошел всех. Говорят, многие даже плакали с досады, что до сих пор их обманывала скромная спецовка, которую носит господин управляющий... Похоже на выдумку, но.. — Оба громко рассмеялись.

— Что поделаешь, в газете так обстоятельно все описано, что им теперь некуда податься...

На улице то и дело попадались случайные прохожие. Оба шли, держась начеку, и внимательно ко всему приглядывались.

Когда они подошли к небольшому холму, находившемуся недалеко от дома Моримото, Кавада вытащил из внутреннего кармана сверток с газетами.

— Вот прочти это до завтра. Когда прочтешь, сразу сожги.

Моримото взял сверток.

— Так завтра я зайду к тебе около девяти часов. Будь дома.

Кавада свернул в переулок. Моримото стоял, прислушиваясь к звуку удаляющихся шагов.

19

Ячейка фабрики «N. S.» собиралась ежедневно. Во избежание какого-нибудь промаха обсуждались мельчайшие детали работы. Кавада также заглядывал на собрания.

Для того чтобы «Новости «N. S.», которые разбрасывались по фабрике, производили настоящий эффект, нужно было обязательно выбирать соответствующий момент. Для следующего раза выбрали день, намеченный «Канабиси» для проведения некоторых мероприятий и в то же время накануне открытия фабричного комитета. Обсудили дальнейшие меры, которые надо будет провести после того, как листовки будут разбросаны, вопрос о созыве общезаводского собрания и т. д.

На этот раз управляющий сам хотел использовать рабочих. Положение, создавшееся на фабрике, было несколько необычно, — это не была обыкновенная забастовка. Звезда управляющего клонилась к закату. Поэтому борьба, которую предстояло вести ячейке, не была направлена непосредственно против него или директора. Задача заключалась в том, чтобы, воспользовавшись моментом всеобщей растерянности, захватить в свои руки аппарат, объединяющий рабочих. Однако то, что замыслили управляющий и директор, на первый взгляд по форме напоминало то же самое, в том смысле, что и они также стремились опереться на силу рабочего коллектива. Две движущиеся в одном направлении взаимно враждебные силы — к чему приведет их столкновение?

Содержание листовок в основном сводилось к следующему:

«1. Что может получиться, если директор будет по собственному произволу, «с потолка» назначать людей в фабком? Мы требуем, чтобы состав фабричного комитета определялся на всеобщих выборах!

2. До сих пор все предлагаемые проекты директор просматривал и давал ход только самым выхолощенным. Терпимо ли такое безобразие? Необходимо смело поднимать в фабкоме вопросы, затрагивающие повседневные интересы рабочих!

3. Во главе фабричного комитета самовольно стал директор. Таким путем не могут быть разрешены вопросы, направленные в защиту интересов рабочих. Председатель должен быть избран на общефабричном собрании.

4. Даже постановления комитета остаются только на бумаге. Вопросы изменения фабричного устава не обсуждались ни разу. Их по своему усмотрению решают директор и управляющий. В конце концов в фабкоме обсуждаются только второстепенные дела. Выходит, что фабком просто пустой звук. Категорически протестуем против подобного надувательства!

5. Так как на фабрике работают и женщины, нужно в фабком выбирать представителей и от них.

6. Борьба с жестокой рационализацией, которую намерена осуществить «Канабиси», с беспощадной эксплуатацией и увольнением рабочих можно только при

условии, если фабричный комитет станет независим и когда все рабочие, объединившись, будут действовать дружно.

7. Управляющий и директор, вероятно, предпримут что-нибудь для спасения своего положения. Не попадаться на эту удочку!

8. Рабочие типографий, резиновых и металлических фабрик выступают под теми же лозунгами. Они хотят, чтобы товарищи с фабрики «N. S.» протянули им руку.

9. Бедственное положение, в котором находятся портовые рабочие, нельзя больше рассматривать как пожар на том берегу. Не сегодня-завтра та же участь ждет и нас. Мы должны объединиться и выступить вместе».

Усиленно циркулировавшие толки, слухи и предположения росли, как снежный ком. Эти слухи тревожили рабочих. Никто не мог больше оставаться спокойным. В перерывах собирались группами. Даже мастера частенько присоединялись к беседующим.

Рабочие ремонтно-механического цеха, которые постоянно тайком исполняли для директора мелкие работы, теперь открыто осыпали его руганью. Рабочие не только не имели права делать на фабрике частную работу, но за вынос даже какого-нибудь жалкого обрезка железа или стружки полагалось немедленное увольнение. Рабочие, подлизывавшиеся к мастерам и служащим и хваставшиеся их расположением, в мгновение ока потеряли свое положение.

Лишившись своей опорной базы, они в то же время оказались изолированными в среде товарищей. «Так им и надо!» — презрительно сплевывали в их сторону.

Мастера и все их присные совсем потеряли голову. Теперь они хотели как можно скорей устроить общее собрание, чтобы принять какие-нибудь контрмеры. Во главе всей этой банды стояла группа Сазки. Он расхаживал по фабрике, призывая все «преданные Компании сердца» выступить в этот критический момент, когда решается вопрос самого существования Компании. Эта группа намеревалась использовать рабочих в своих интересах.

В обеденный перерыв работницы растерянно бродили по цеху.

— Что-то теперь будет? — спросила одна из них.

— А будет то, что половину всех нас, мужчин и женщин, выбросят на улицу! — в отчаянии крикнул один рабочий.

20

Из предосторожности листовки на фабрику пронесли работницы. Когда они остались на фабрике для подготовки к ночной смене, листовки рассовали по карманам висевшей в раздевалке верхней одежды. Десяток женщин быстро и ловко справился с этой работой.

Утром, когда Моримото отмечал в проходной время своего прихода на фабрику, мастер из ремонтно-механического цеха в соломенной шляпе заговорил с ним:

— Плохи дела! Опять листовки. Это все оттуда же, откуда и «Новости»...

— Вот как?

— И сколько их разбросали! Откуда только они попадают на фабрику? И здесь тоже завелись омутьяны.

Этот мастер переехал сюда с какого-то завода в окрестностях Цуруми. Он постоянно насмехался над всеми, считая, что здешний народ — провинциалы и толком ничего не понимают. В ремонтно-механическом говорили, что, как только начнется забастовка, этого мастера вздуют даже раньше, чем управляющего. «Посмотрим теперь, как пойдут дела!» — засмеялся в душе Моримото, слушая мастера.

Разбросанные на фабрике листовки, а также новости относительно Компании Канабиси, которые наконец-то появились в утренних выпусках газет, взволновали всю фабрику. Войдя в цех, Моримото тотчас же почувствовал эту напряженную атмосферу. «Отлично!» — подумал он. В оставшиеся до работы несколько минут рабочие, разделившись на группы, говорили о листовках.

— Если дела принимают такой оборот, то это вопрос первостепенной важности! — донеслось до Моримото из одного кружка.

Он заглянул в банкоформовочный цех. Сидевшая у закатной машины О-Кими тотчас заметила его и подошла к нему.

— Все в порядке! Все согласны с тем, что фабричный комитет должен быть выборным. Один только

мастер ваш — этот упрямый, лысый черт! — ходит и вырывает у всех листовки из рук. — Бросив ему эти слова, она быстро отошла от него своей мужской походкой.

Анархист Такэбаяси смазывал фланцеотгибочную машину.

— Эй, ты! — окрикнул он Моримото, глядя на него снизу вверх. — Послушай-ка, почему это, когда все так волнуются, ты один только ходишь, точно аршин проглотил?.. Ни дать ни взять — директор.

Моримото на секунду растерялся, но сейчас же обрвал его:

— У меня другие взгляды на руководство массами.

— Вот как? Подтянуть потуже пояс да ходить не жравши — это твой метод? Здорово!

— Вот именно. Совершенно верно.

В банкоформовочном Моримото необходимо было проследить, как настроены рабочие, связанные между собою родственными отношениями. Об этом особо говорилось О-Кими и другим работавшим здесь членам ячейки. Впрочем, пока еще ничего не было заметно.

Внушало тревогу также и другое обстоятельство. Директор, поняв, что на фабрике творится что-то неладное, мог забежать вперед и устроить собрание, якобы в связи с тем, что дело касается интересов «всей Компании в целом». Нельзя было упускать из виду то, что так ясно давало себя знать в общем волнении, а именно — что волнение это происходит не только из кровных классовых интересов, но и из тревоги за судьбу «Компании в целом». Моримото чувствовал, что именно здесь кроется возможная ловушка.

В литейной около изложниц собралось пять-шесть человек. Среди них были и плотники.

— Если не найдется никого, кто бы смело встал во главе, — ни черта у вас не выйдет! — говорил Мацуно.

Еще в бытность свою учеником он как-то раз, неся полный ковш расплавленного железа для заливки форм, споткнулся о валявшуюся под ногами деревянную форму и сжег себе половину лица. Страшные шрамы оставались до сих пор.

— Из каждого цеха будет, очевидно, по одному или по двое...

Моримото намечал Мацуно в кандидаты ячейки.

Почти у всех работавших в литейной лица были покрыты рубцами, руки во многих местах перевязаны.

Когда расплавленное железо заливали в изложницы, искры и брызги летели во все стороны и обжигали рабочих.

Глуховатый мастер из кузницы, дед Китагава, заметил Моримото и обратился к нему:

— Ну что, так и будет, как пишут в листовках? Ведь иначе плохо наше дело, Морн, а?

— Верно. Ну, а будет по-нашему — так и ты, дед, можешь быть спокоен.

Тугой на ухо дед Китагава плохо расслышал ответ и потому, почесав затылок, только неуверенно засмеялся.

— Сделаем, дед! — отозвался работавший на заклепке Ямаками. Он входил в состав ячейки.

— А как обстоят дела в ремонтно-механическом?

Даже при самом легком движении руки у него на груди и на спине вздувались мускулы. Это был человек на редкость крепкого сложения.

— Что ни говори, а основная-то сила там!

— У нас все в порядке. Смотрите, сами не зевайте! — засмеялся Моримото.

— Кому же охота оставаться в дураках!

Ремонтно-механический цех, в котором работали сплошь квалифицированные рабочие, возможно и не выступил бы непосредственно из-за вопроса о «Канабиси», но здесь были крепкие элементы, не такие неустойчивые, как в банкоформовочном цехе, а главное — здесь находились главные члены ячейки, начиная с Моримото, и цех держался поэтому очень сплоченно.

Один из рабочих, с мелом в руках, взглянул на Моримото. Глаза его смеялись.

— Ну, что «бумажки»? — спросил он, вытирая о спецовку запачканные мелом руки.

— Сейчас же, с утра, нужно их опередить.

Рабочие, стоявшие у токарных, фрезерных, сверлильных станков, смотрели на него с улыбкой. Упершись ногами в станины станков, с жаром говорили о «политике Канабиси». У сверлильного станка валялась шестерня с поломанными зубьями. На свободном пространстве были в беспорядке свалены новая шестерня и листы жести. В нос ударял отдававший керосином запах свежей краски, которой были выкрашены машины.

Гулом прокатился под гофрированной крышей сигнал к работе.

В цехе осталось всего лишь двое мастеров. Остальные, по-видимому, были в конторе. Никому не хотелось начинать работу сразу после гудка, как обычно.

С шумом вертелись ремни, и голоса оживленно разговаривавших людей утонули в этом постепенно нарастающем грохоте. Приводные ремни надели на валы, и в ту же секунду, точно ожившие существа, задвигались зубья шестерен, завертелись, с силой рассекая воздух, валы и колеса, лента конвейера, неся стоящие на определенном расстоянии друг от друга банки, поползла от машины к машине, точь-в-точь как это показывают в кино. Каждый раз, когда машина подхватывала с вагонетки листы жести, нестерпимо яркий, ослепительный блеск скользил по потолку, по стенам, по машинам. Из соседнего цеха сквозь грохот и рев машин доносились голоса поющих работниц, подбиравших и считавших крышки. Стальные балки, проходившие под потолком, едва заметно дрожали, сотрясаемые работой машин.

— Что, газетка-то, «Новости» эти самые, она, выходит, коммунистическая?

Заложив руки за спину, мастер прохаживался между станками.

— Не знаю, — недружелюбно отрезал спрошенный. Ему стало не по себе. Этот рабочий был членом ячейки. Когда в «Новостях» бывало много карикатур, он часто приклеивал газету к станкам.

— Тут определенно видна рука компартии. Очень уж на это похоже.

— Ну, если это компартия, так выходит, что она, кроме правды, ничего не говорит!

— Вот поэтому-то они и опасны!

Он расхохотался.

— Поэтому правильней будет сказать, что ничего в этом особенного нет.

Прошло минут двадцать после начала работы. Склонившийся над станком рабочий почувствовал, что кто-то вдруг толкает его в спину.

— Вот, передал кто-то... — Сосед быстро засунул ему в карман обрывок бумаги. К счастью, на весь цех было только два мастера.

После работы все до одного соберемся в столовой для обсуждения вопроса о выборах в фабком. Опасность приближается. Защити себя силой объединения!

— Передавай дальше. Подозрительным не передавать!

— Ага, вот оно что!

В то же самое время точно такие же бумажки тем же способом передавались и в штаповочном, и в упаковочной, и в столярной, и в лакировочном цехе.

Из конторы, оживленно беседуя, пришли мастера. Оставшийся в цехе мастер, едва заметив их, испуганно бросился им навстречу. Стоя в углу, они начали о чем-то шушукаться. Рабочие, не отрываясь от работы, искоса бросали на них неприязненные взгляды.

Из стеклянной будки выскочил растерянный мастер. Сайто, затачивавший у точила резец, положил в карман какую-то бумажку, которую ему передал сосед, работавший на токарном станке в двух шагах от него, и мастер случайно заметил это.

«Что случилось?» — подумали все. Головы, как по команде, повернулись в его сторону.

— Эй! — Тяжелая рука опустилась на плечо Сайто. Но лицо оглянувшегося рабочего оставалось спокойным.

— В чем дело? — неторопливо произнес он. В то же время его правая рука поспешно комкала в кармане листовку. Он бросил ее на пол и наступил на нее ногой.

— А вот эта бумажка, эта самая! — вышел из себя мастер.

Посыпанный песком пол постоянно смачивался водой. Носком ботинка разминая бумажку, Сайто повторил:

— В чем дело?

— Ты еще спрашиваешь, мерзавец!

Но мастер ничего не мог сделать.

— Провел-таки меня, скот паршивый! — выдавил он, с досадой глядя на растоптанную бумагу.

«Так тебе, черту старому, и надо! — думали рабочие, на секунду оставившие свою работу и смотревшие на эту сценку. — Подожди, мы тебя подцепим на кран!»

Обескураженный неудачей мастер пошел назад, пожимая плечами. В глазах рабочих видна была нескрываемая насмешка.

— Ду-рак на-би-тый! — сложив руки трубкой, крикнул ему вслед один рабочий. Раздался общий хохот. Круто обернувшись, мастер оглядел цех. Рабочие, моментально соорудив серьезные лица, сделали вид, будто внимательно работают. В углу кто-то, не сдержав, приснул со смеху.

— А, чтоб вас, негодяи! — С силой распахнув застекленную дверь будки, мастер вошел внутрь.

— Лучше смотри, как бы самому не вылететь отсюда, болван!

В обеденный перерыв Моримото и четверо наиболее ответственных товарищей собрались вместе и еще раз вплоть до мельчайших деталей обсудили план действий.

— Ну, а как обстоят дела у женщин?

— Тактически, так сказать, ха-ха-ха...

— Верно.

Моримото видел, как в противоположном углу О-Кими о чем-то горячо говорит с подругами. Лицо ее было выразительно и живо; казалось, она захлебывается от переполнявших ее слов. Вся О-Кими была в этой сцене. Моримото вдруг с грустью подумал о том, что чувствует себя абсолютно не в состоянии когда-нибудь признаться этой женщине в своей любви.

Когда обед кончился, О-Кими с чашкой и палочками для еды в руках прошла мимо него.

— Ну, как дела?

— Около четверти рабочих. Никто особенно не протестует. Но все-таки — ведь женщины еще ни разу не выступали...

— Да...

— Но мы будем держаться!

— Непременно!

— Мори-сан, уж вы сегодня, пожалуйста, постарайтесь — не на жизнь, а на смерть! Если вас уволят, мы всем миром будем вас кормить! — И О-Кими, весело рассмеявшись, отошла.

— Ну, а что важные господа? — спросил Моримото у товарищей.

— В конторе, конечно, еще не догадываются об общем фабричном собрании, однако, кажется, уже

принимают меры. Швейцар говорит, что управляющий примчался на автомобиле. Очевидно, директор вызвал его по телефону, но только управляющий носится, как помешанный. Видно, ему сейчас не до рабочих. А нам это как раз на руку.

Раздевалка, находившаяся на втором этаже, примыкала к столовой, где должно было состояться собрание. Выход был только один. Таким образом, возвращаясь домой, рабочие должны были обязательно подниматься во второй этаж, пройти через столовую, переодеться и снова спуститься по лестнице. Это случайное обстоятельство оказалось чрезвычайно благоприятным для ячейки. Никто не мог уйти с фабрики, не побывав на собрании.

У входа на лестницу был поставлен пикет из наиболее авторитетных рабочих, которые останавливали тех, кто пытался уйти домой. Не сочувствовавшие этой затее рабочие и работницы некоторое время слонялись по цехам вниз, недовольно ворча по углам и в проходах между станками. Но при всем желании вернуться домой было невозможно. В большинстве своем это были пожилые семейные люди. Там и сям, сбившись в кучки, неподвижно стояли работницы. Они не были определенно против собрания. Просто они чувствовали себя не в своей тарелке и колебались, опасаясь, что это будет слишком смело с их стороны.

— Мы вовсе не собираемся говорить о забастовке. Дело идет о выборах в фабком, только и всего! — уговаривал их Моримото. Расхаживая по цехам, он убеждал всех, что, раз дело ограничивается только делами фабкома, все обойдется тихо.

— Разве видны какие-нибудь беспорядки? Мы вовсе не собираемся затевать ссору с Компанией, мы только просим.

Несколько рабочих, поддавшись на уговоры О-Кими и О-Ёси, тесной кучкой, подталкивая друг друга, поднимались по лестнице.

Мастера, заметив, что затевается что-то неладное, убежали в контору. Никто, таким образом, не мешал собравшимся.

Сверх ожидания в столовой собралось больше двух третей всех работающих на фабрике. Впрочем, большинство пришло сюда все же потому, что, по их мнению, здесь должен был решаться вопрос жизни и смерти Компании. Не учесть правильно это обстоятельство — значило бы допустить грубейшую ошибку. Если бы не мотивы такого характера, рабочих «У-ского Форда» вовсе не так легко было бы раскачать. Но сейчас нужно было не зевать, воспользоваться моментом и энергичной агитацией повернуть всю массу в нужном направлении.

В полутемном помещении мелькнула чья-то тень. Это был один из пикетчиков, расставленных в наиболее важных местах.

— Мори-кун, Саэки со своей бандой о чем-то сговариваются на складе! И все в костюмах для дзю-дзитсу!

— Саэки?! — Моримото изменился в лице. «Они собираются попросту силой разгромить наше собрание!» — мелькнуло у него в голове. Он еще не привык к подобным передерягам.

— Ладно. Пусть ребята из ремонтно-механического постоят здесь. И давайте начинать без проволоочки!

Моримото поднялся по лестнице.

Шум, стоявший в помещении, где набилось больше пятисот человек, смешанный со звуком шаркающих по полу ног и передвигаемых стульев, тяжело повис в воздухе. Воодушевленная речь оратора, заранее выдвинутого ячейкой, покрывала шум. Этой речью необходимо было привлечь на свою сторону рабочих, собравшихся сюда «ради Компании».

Издали слышно было похожее на морской прибор гудение толпы, как будто этим отзывавшейся на каждое слово оратора.

Моримото почувствовал, как кровь быстрее побежала по его жилам. Он весь задрожал от напряженного волнения при мысли о новых огромных задачах, за осуществление которых нужно будет теперь бороться. Он напряг мускулы, задыхаясь, сжал челюсти, но дрожь не проходила. В глубине души он ощущал даже какой-то смутный страх. Если бы сейчас с ним был Кавада! Одно лишь его присутствие придало бы ему силу и уверенность.

Чье-то знакомое лицо обернулось к нему с улыбкой. «Держись!» — казалось, говорила эта улыбка.

От парового отопления и испарений человеческих тел в столовой было душно. Рабочие в засаленных спецовках сидели и стояли, прижавшись друг к другу, одни со скрещенными на груди руками, другие подперев щеку, и не спускали глаз с оратора. Незаметно для себя самих почти все они разбились по цехам. Анархист Такэбаяси и его товарищи с угрюмым и в то же время вызывающим видом стояли позади всех, прислонившись к дощатой стене.

Несколько в стороне и налево, чувствуя, что на них оглядываются, стояли работницы, сбившись в тесную кучку. До сих пор на все собрания, которые устраивала дирекция, женщин не допускали. И теперь работницы были чрезвычайно взволнованы и оттого, что впервые попали на собрание, и от внимания, которое им уделяли.

На возвышении стоял Мацуно из литейной. Он рассказывал, почему у него «половина лица стала, как у дьявола». Говоря, он раскачивался всем телом, и при каждом слове его красное обожженное лицо кривилось. Сейчас он действительно напоминал злого духа.

Сначала со всех сторон по его адресу посыпались словечки и замечания: «Опять эта страшная рожа!» По временам раздавался легкий смешок. Но горячая речь Мацуно постепенно заставила всех умолкнуть.

— ...и такой опасности мы подвергаемся каждый день, при обычной работе! Вы вот смеетесь над моим лицом. Ну, а я, бедняга, считаю, что я еще счастливо отделался. За жалованье, которое не составляет и двух иен в день, нам на каждом шагу приходится рисковать жизнью! Сколько я знаю товарищей из баночного цеха с искалеченными руками. Люди без пальцев! А ведь говорят, что баночный цех на нашей фабрике — самый благоустроенный во всей Японии... Нам во всем приходится подчиняться дирекции... А почему? Потому что у нас нет организации, которая бы действительно защищала наши рабочие интересы... — Еще более воодушевившись, Мацуно продолжал: — Как будет действовать «Канабиси», что это там за рационализация — в таких умных вещах я немного смыслю. Одно только ясно: больше половины всех нас вышвырнут на улицу, а остальным снизят зарплату и работать заставят до потери сил! Господам, видно, нужно выручать все больше и больше прибыли.

Он сделал паузу и оглянулся вокруг, разыскивая стакан с водой.

— Ну, так вот...

Стакана с водой не было. От волнения он опять начал повторять то, о чем говорил только что. И тогда совсем уж забыл, на чем остановился. Перед ним качались, двигались, кривились бесчисленные лица. Ему что-то кричали. Он вконец растерялся. Уже сходя с возвышения, он выкрикнул напоследок:

— Так вот о фабкоме. Фабком, которым они заправляли по-своему, нужно сделать нашим! Первый шаг к этому — выборность членов! И пусть все объединяются в борьбе за достижение этой цели.

— Что это я наболтал... — пробормотал он тихонько, окончив свою речь. Но все услышали это, и раздался взрыв смеха.

— Всё поняли! — нарочно зааплодировал кто-то сзади.

О-Кими подошла и стала позади Моримото. Тихонько ударила его по плечу. Как это часто бывало с О-Кими, когда она волновалась, одна щека у нее покраснелась.

— Наклоните ухо... на минутку.

— Да?

— Знаете что — я хочу чтобы Ёт-тян выступила.

— Ёт-тян?

«Это бездомное дитя?» — подумал он. Кавада, любивший подшучивать над всеми, называл О-Ёси «бездомной».

Это была узкоплечая, всегда бледная женщина, с тусклым, прыщеватым лицом. Она была молчалива, но если говорила, то всегда со смыслом. Рядом с О-Кими она оставалась в тени и казалась жалкой и бледной.

— Да, серьезные люди иногда так решительны, что диву даешься! Конечно, я тоже могла бы выступить, но, может быть, найдутся такие, которые будут думать, что это, конечно, только я говорю так... Поэтому мне кажется, что это не произведет такого сильного впечатления... Но вот если выйдет Ёси-тян — все ахнут. Успех будет полный! Обязательно заставлю ее выступить!.. — О-Кими с хитрым видом рассмеялась. Красные, влажные губы ее были возле самого уха Моримото.

Все ждали, кто выступит следующим. И вдруг увидели нечто необычайное. Из угла вышла женщина. Все

затаили дыхание. Но, когда рассмотрели, что это — Ёси-тян, с трудом сохранявшееся молчание вдруг взорвалось. Поднялся невообразимый шум.

— Эта женщина!

О-Ёси неуверенной походкой взобралась на возвышение и стала, потупившись, опустив руки по швам, вполоборота к подругам-работницам. Лицо ее было очень бледно.

— Столько мужчин, а она и в ус не дует! Видно, тертая баба! — уловил Моримото слова, сказанные одним рабочим из лакировочного цеха, который стоял с ним рядом.

Не меняя позы, не поднимая лица, Ёси-тян заговорила. Было плохо слышно, и все замолчали. Прикладывая ладони к ушам, рабочие поднимались на носки.

— Какая нужна решимость, чтобы сюда подняться... это, может быть, с моей стороны дерзость... Но все равно, я решилась... ведь кто-нибудь должен начать, осмелиться... а иначе что же получится...

— И это наша смирная Ёси-ко?..

— Нет, каково, а? — спросила О-Кими Моримото.

— Молодчина!

— С тех пор как мы стали работать вместе с вами, мы так изменились, что даже самим заметно!

— ...И начальство и мужчины... до сих пор всегда относились к нам совсем по-особому... — Она то и дело запиналась. — Я думаю, что первый раз на нашей фабрике... что женщина выходит вот на такое место и говорит так... Мы тоже все до единой хотим быть вместе с вами, хотим помочь вам... И вы все тоже, уж пожалуйста... ста...

Когда О-Ёси спустилась вниз, раздались крики и аплодисменты. Они долго не утихали. Как и сказала О-Кими, речь О-Ёси произвела на мужчин даже большее впечатление, чем можно было ожидать.

— А все-таки она говорила немного слишком робко... — сказала О-Кими.

— Для Ёси-тян и это огромное достижение! Нет, она говорила хорошо. Прямо слезы просятся на глаза, когда слушаешь ее.

— Верно... — И О-Кими утерла свои собственные глаза. — Ну, ладно, пойди похвалить ее...

О-Кими убежала к работницам. Еси-тян стояла, со всех сторон окруженная подругами. И вдруг, не в силах больше сдерживаться, она громко зарыдала.

— Нельзя успокаиваться. Мы здесь потолковали кое о чем, и оказалось, что все-таки очень много таких, которые пришли ради вопроса о «жизни и смерти Компании», — сказал один из товарищей, обращаясь к Моримото.

— Да, но раз уж собрались — они будут увлечены общим порывом, и, может быть, выйдет что-нибудь серьезное.

— А что ни говори, все-таки здорово ловко удалось нам уловить момент. Теперь, чего бы это ни стоило, нужно перетянуть их на нашу сторону.

На трибуну один за другим начали подниматься представители от каждого цеха. Все они были членами ячейки. И каждый бросал в толпу пламенные слова. Замыслы хозяев, которые под предлогом критического момента в жизни Компании намеревались продать рабочих, были тут полностью и до конца разоблачены. Поднялся гул, похожий на шелест деревьев под налетевшим порывом ветра. Моримото замер. По мере того как продолжались эти беспощадные разоблачения, шум этот сменился волнением уже какого-то другого, особого рода.

Зажглось электричество. Из полумрака внезапно вынырнула серая масса — коллектив рабочих, их бесчисленные крепкие плечи...

— А свет зажегся! — произнес кто-то.

Эти без особого умысла сказанные слова неожиданно воодушевили собравшихся.

Пришла пора объединиться... —

запело вдруг несколько человек, притопывая ногами. Даже те из рабочих, кто шатался по кабакам, знали эту песню. И сейчас она вырвалась у них как-то сама собой. Все разом перегнулись в ту сторону, откуда послышалось пение, и певшие как будто немного растерялись. Следующая строка прозвучала несколько неуверенно. Но все же грубые, нестройные голоса продолжали:

Пусть трус уходит, нам трус не нужен...

Моримото поднялся на возвышение позже всех. Ему ничего не нужно было говорить. Он должен был только прочесть и разъяснить заранее заготовленную резолюцию и список требований и получить согласие рабочих. Во всех этих мелочах сказывалась предусмотрительность Кавада.

Моримото еще не кончил говорить, как вдруг снизу донеслась перебранка. Рабочие разом вскочили с мест. Воодушевляемые одним порывом, они всей массой ринулись к двери.

— Если это какие-нибудь мерзавцы, которые хотят помешать нам, — прогнать их!

В этот момент ругань внизу прекратилась, словно остановленная кем-то. Через минуту в столовую растерянно вбежал один из пикетчиков.

— Саэки и его банда хотят подняться сюда. В то время как мы спорили с ними, появился директор, управляющий и мастера. Что делать?

— Хорошо, — твердо произнес Моримото. — Пусть только директор и управляющий вдвоем войдут сюда. Саэки не пропускать ни в коем случае.

— Так, правильно!

Победа или поражение — это должно было решиться сейчас!

Вошел директор, за ним управляющий. У директора от волнения губы были плотно сжаты, и весь он держался подтянуто и строго. На лице управляющего, однако, играла всегдашняя приветливая улыбка. Он вежливо поклонился рабочим и группе представителей цехов. Это был все тот же приветливый и любезный управляющий. Часть рабочих и работниц заметно дрогнула.

Моримото, который отлично понимал план управляющего, почувствовал, что сейчас необходимо активно выступить. Толпа начала колебаться! Надо выступить первому! — это должно было определить исход... Дать управляющему произнести хоть одно слово — значило свести на нет все то, чего удалось достичь на этом собрании.

Моримото громко, отчетливо изложил перед собравшимися ход дела, сообщил о том, что решение сделать фабком выборным принято единогласно, и предложил резолюцию и список требований. В этот момент с той

стороны, где стояли члены ячейки, раздалась дружные аплодисменты. За ними, после секундного замешательства, последовали аплодисменты пятисот собравшихся. Моримото был очень взволнован. Аплодисменты гремели, сотрясая низкий потолок, крытую цинком крышу и переплеты оконных рам.

И этот грохот, казалось, сделал небольшую фигуру управляющего, который не имел здесь ни одного сторонника, беспомощной, как сорванный с дерева лист.

Управляющий явно растерялся. Держа в руке список требований, он стоял, не зная, на что решиться. Говоря по правде, до того, как войти сюда, он еще питал некоторую надежду. Та приветливость и мягкость, с какой он в качестве управляющего «У-ского Форда» до сих пор обращался с рабочими, не могут быть так скоро забыты, — в этом он был уверен. Пусть даже среди рабочих и имеется известная часть «неблагодарных» подстрекателей, но стоит только самому ему показаться, и сразу же основная масса лавиной хлынет к нему обратно. Это было ясно само собой. Неужели же правда, что он очутился в таком жалком положении?! И эти дружные аплодисменты! Управляющий растерялся из-за своих обманутых надежд. И хуже всего было то, что удары сыпались на него с двух сторон. Ведь опасность грозила его собственному положению! Это одно в достаточной степени его угнетало.

Но тут заговорил директор. Он понял, что положение становится угрожающим.

— Во всяком случае это дело важное, но управляющий хочет с вами со всеми кой о чем поговорить... а на счет этого пока...

— Погодите минутку! — Как удар молота, прозвучали слова одного рабочего из лакировочного цеха, стоявшего позади Моримото. — А как же наше собрание, которое мы сами... своими силами... — От волнения у него перехватило в горле. Поэтому Моримото продолжал:

— Дело в том, что... в данном случае... пожалуй, повашему не выйдет...

Он впервые обращался к управляющему и директору, да вдобавок еще стоя от них на расстоянии меньше трех шагов. Он покраснел и запинался.

Ведь это был тот самый Моримото, который, незаметный, как железные опилки, работал себе в уголке, откуда даже лица управляющего было не видать. И теперь, когда он очутился вот так, лицом к лицу с управляющим, тот неожиданно показался ему внушительным и важным. И, однако, директор ничего не мог ответить на слова этого похожего-на опилки рабочего.

— Пусть сперва дадут определенный ответ!

— Сперва пусть согласятся на требования, а потом говорят! — крикнул кто-то из толпы, заполнявшей столовую. Такой разговор с начальством для этой фабрики был поистине редкостью. Говоривший бессознательно опирался на общую силу всех собравшихся. Они совершенно хладнокровно произносили такие слова, что казалось, будто это совсем другие люди.

И директор и сам Моримото в одно и то же время широко раскрыли глаза. Кто и когда успел так воспитать рабочих?

— Это очень трудно так сразу... Для этого нужно время, — произнес, наконец, управляющий. Его манера выражаться, так же как и спецовка, была гордостью фабрики «N. S.»

— Время? Но ведь все эти требования так справедливы, что иначе и быть не может!

— Да, но здесь...

Моримото принужден был вмешаться:

— Сейчас, в такое трудное время, когда не знаешь, что будет завтра, мы очутились в таком положении, что хоть эту организацию вынуждены защищать не на живот, а на смерть. Вот сейчас, сколько рабочих ни выходило на эту трибуну, все говорили, что, если эти требования не пройдут, нужно добиться своего, хотя бы пришлось начать забастовку... Мы, конечно, вовсе этого не хотим, по...

—

Рабочие затаили дыхание.

Моримото должен был сделать еще один важный ход.

— Разумеется, относительно «Канабиси» управляющий сам, вероятно, захочет посоветоваться с нами.

При этих словах управляющий внезапно поднял голову. Моримото внутренне усмехнулся и, не смущаясь, продолжал:

— Но только мне кажется, что всякие разговоры об этом возможны лишь после того, как все требования будут приняты и в устав будут внесены соответствующие изменения. А иначе мы очутимся прямо в ужасном положении...

Управляющий до последнего момента еще надеялся использовать это собрание в своих интересах. Он хотел добиться того, чтобы рабочие поддержали его и выступили против намеченного Компанией Канабиси назначения новой администрации. Он надеялся, что все сделают небольшой взнос, рабочие и служащие выберут делегацию в Токио, обойдут соответствующие влиятельные места и проведут кампанию. Особенно благоприятным казалось то обстоятельство, что дело не носило личного характера. Разве не служило доказательством этому то, что дело дошло до стихийно возникшего рабочего собрания? Поэтому-то управляющий, в противоположность перепуганным мастерам, и усмехнулся с довольным видом, когда услышал от них о собрании. Если бы не эти соображения, управляющий сразу же позвонил бы в полицию. Но ведь он же не сделал этого! Однако теперь он ясно понял, как страшно просчитался в оценке тех чувств, которые питали к нему рабочие. Но разве ему могло прийти в голову, что все это выльется в такие формы? За всем этим безусловно кто-то стоит. Неужели же «У-ский Форд» так ненадежен? Странные существа эти рабочие! Итак, он проиграл дело. И теперь уже поздно!

— Хорошо, тогда в ближайшие два-три дня...

Управляющий сам заметил, как жалко прозвучали эти слова.

Моримото выложил последний, решающий козырь:

— Два-три дня? Но вряд ли «Канабиси» будет ждать столько времени...

—

Пятьсот рабочих ждали одного слова управляющего. Даже те рабочие, которые были раньше на его стороне, и те, которые считали, что попали на собрание бунтовщиков, все теперь были одного мнения. Пятьсот человек дышали одним дыханием.

—

Позади кто-то со стуком переступил каблуками по полу.

— Завтра, к окончанию работы...

Моримото показалось, что он услышал рев волны. И в следующий момент в столовой раздалось громовое: «Бандзай!»

Он стоял, прижав руки к груди, с глазами, полными слез. На мгновение ему показалось, что он встретился взглядом с глядевшей в его сторону О-Кими.

21

А Кавада, вероятно, ждет его там, в «мезонине», он, наверное, ждет не дождется! Но Моримото буквально не знал, как, с чего начать рассказ о великолепной удаче сегодняшнего дня. То же испытывала и О-Кими.

Они должны были сообщить Кавада обо всем, что произошло на фабрике, вместе с ним наметить меры, которые следовало принять в зависимости от ответа управляющего, а затем быстро вернуться назад, чтобы присутствовать на собрании ячейки, которое должно было состояться на квартире у одного товарища. Прежде чем подняться в «мезонин», обязательно следовало из предосторожности два раза пройти мимо дома. Входить можно было, только внимательно оглядевшись по сторонам. Моримото и О-Кими шли по противоположной, плохо освещенной стороне улицы. Поравнявшись с домом, они взглянули на окна мезонина. Там горел свет. Все выглядело, как обычно. Внизу, в маленьком магазинчике европейских товаров, знакомая им хозяйка сидела за конторкой и глядела на улицу. Она как будто узнала их, и в то же мгновение лицо ее дрогнуло. И вдруг женщина несколько раз помахала рукой, точно отгоняя дым от лица. Это было похоже на сигнал о каком-то несчастье.

— Странно! Что это с ней?

Так как останавливаться у дома было опасно, они прошли мимо. Потом снова вернулись. Нужно было быть начеку.

— Послушай, Кими-тян, сделай вид, что покупаешь что-нибудь, ну, хоть туалетную бумагу, и войди туда, ладно?

— Пожалуй. Как странно! Ведь совершенно невозможно, чтобы она догадывалась о чем-нибудь...

О-Кими быстрыми шагами вошла в ярко освещенный магазин. Моримото прошел немного вперед и ждал ее у ограды пустыря. Через несколько минут в дверях показалась фигура О-Кими.

— Ну что?

— Беда! — У О-Кими спирало дыхание. — Я как увидела, что хозяйка боится говорить громко, сразу поняла, что они, должно быть, в комнатах. А она дает мне сдачу, а сама все толкает меня рукой, как будто хочет сказать, чтобы я поскорей уходила...

Зловещее предчувствие холодом пробежало у него по спине. Будь сейчас светло, О-Кими, может быть, заметила бы, что лицо его приняло землисто-серый оттенок. Как это было не похоже на того Моримото, который несколько минут тому назад расправился с управляющим.

— С чего бы это они могли явиться?.. Из-за слухов о забастовке, что ли?.. — Он запынчился.

— Во всяком случае, оставаться здесь опасно.

Они свернули с оживленного проспекта. Заглянули на квартиру, где должно было состояться собрание. Но, решив, что, пожалуй, лучше будет не тревожить товарищей, они никому ничего не сказали. Собравшиеся были возбуждены, весело и оживленно разговаривали.

Моримото с тревогой вспомнил о своем доме. При этой мысли в горле у него пересохло. Он несколько раз выходил на кухню пить. Наконец, решив провести, как обстоят дела дома, и потом снова вернуться сюда, он вышел на улицу.

— Ты плохо выглядишь. Сейчас момент важный, будь осторожен... — говорили ему товарищи.

О-Кими пошла с ним. Он шагал молча, сам не свой.

— Станный человек этот Судзуки... — вдруг, точно вспомнив о чем-то, проговорила О-Кими. Видимо, ей невтерпех стало молчать. — Такое болтает... говорит: «Ты ведь с Кавада целовалась, так могла бы уж и мне позволить»... А напьется — так уставится на меня и глядит. Я его из-за этого прямо ненавижу стала. Он, видимо, меня не за ту принимает. Говорят, у меня и

в самом деле такой характер, что легко во мне ошибиться, но только... только с тех пор, как я начала участвовать в этой работе, я о прежних пустяках даже думать перестала... Во-первых, никакой охоты нет, даже странно! И потом ведь О-Ёси-то в Кавада как раз влюблена... Она, правда, еще как будто ничего ему не сказала, но...

Моримото буквально остолбенел, услышав эти слова. Он взволновался до смешного... Да, но правда ли это? А впрочем, ведь и сам Кавада говорил ему, что любит какую-то несчастную, опустившуюся женщину...

— И вообще-то все мужчины... не один только Судзуки... — О-Кими рассмеялась своим коротким лукавым смешком. — Вот вы только немножечко другой.

— Это потому, что... — Моримото сам удивился, как легко вырвались у него эти слова. Но ему почему-то казалось, что если он не скажет этого сейчас, то не скажет уже никогда. Голос его звучал необыкновенно серьезно и тихо. — Это потому, что я действительно по-настоящему люблю Кими-тян.

«Ах, какой смешной! Что он говорит, этот человек!» — скажет она, и ее громкий, смеющийся, беспечный голос бесследно разрушит очарование этих волнующих слов... Только произнеся последнее слово, Моримото подумал об этом и, спохватившись, багрово покраснел. Однако О-Кими молчала. Они шли, не говоря ни слова, смущенные и оробевшие.

Он опомнился, только когда дошли до моста. Пропустив О-Кими немного вперед, Моримото обшарил свои карманы. Из внутреннего кармана он вытащил сложенную вчетверо обтрепанную по краям брошюрку. Брошюрку эту он получил от Кавада. Он разорвал ее на мелкие кусочки и бросил в реку. Ключки бумаги отчетливо белели на грязной воде. Некоторое время они держались на поверхности, потом медленно, один за другим, потонули. Немного погодя он бросил еще и еще несколько раз. Это как будто немного успокоило его.

О-Кими ждала его, прислонившись к толстому стеклу витрины. Он поравнялся с ней, и они пошли дальше, по-прежнему не произнося ни слова. Дойдя до места, где им нужно было расставаться, они остановились, и здесь первый раз за все время их знакомства Моримото взял ее за руку.

— Ну, смелей! Еще немногo усилий, и «У-ский Форд» будет остановлен по нашей воле...

О-Кими, потупившись, не глядя на него, в ответ крепко сжимала его руку.

Отворив дверь своего дома, Моримото вздрогнул. Не потому, что он что-нибудь увидел, — нет, какой-то инстинкт подсказал ему, что в доме что-то неладно. Предчувствие не обмануло его.

Со стуком растворились сёдзи, и из комнаты выскочило двое незнакомых людей в пиджаках. «Кончено!» — молнией мелькнуло в мозгу. Это было первое испытание в его жизни. Но, удивительное дело, он не потерял самообладания.

— Что вам угодно?

— Гм... — Лицо одного из незнакомцев иронически искривилось. — Мы из полицейского управления.

Он молча вошел в комнату. Дома ли отец? Нет, к счастью, он еще не возвращался...

— Ты!..

Мать, мертвенно бледная, неподвижно сидела на полу. Пока полицейские ждали его, несчастная женщина, по-видимому, угощала их чаем, и поднос с дешевым печеньем и две чашки еще стояли тут же на полу. При виде этих чашек он почувствовал, как что-то больно ударило его в самое сердце.

— Пустяки, я сейчас же вернусь, — сказал он матери, которая была не в состоянии произнести ни слова.

Люди в пиджаках обшарили его карманы. В доме все было перевернуто вверх дном, — они производили обыск.

Уже в передней, завязывая шнурки ботинок, один из пришедших, чуть сутуловатый, произнес, обращаясь к другому:

— А я, признаться, не думал, что удастся выловить типа, замешанного в такие дела...

Моримото уловил в этих словах какой-то особый, необычайный смысл. Он сохранял в глубокой тайне все, о чем ему говорил Кавада. Ни разу до сих пор полиция не видала его. Или Кавада выдал его? Нет, это невозможно! А если?.. «Что-то тут все-таки есть», — подумал он.

Мать сидела все в той же позе. Он видел, что стоит ему сказать еще хоть одно слово, и она зарыдает...

— Ну, я пошел...

И его увели.

22

Впервые в своей жизни очутившись в грязной, вонючей тюремной камере, Моримото никак не мог уснуть. Он сидел на полу, прислонившись спиной к дощатой стене, со всех сторон окутанный тяжелым, зловонным воздухом. Но странное дело — страха не было. Только мозг работал с какой-то лихорадочной четкостью.

Близился рассвет. Но в камере было еще темно. На мгновение ему показалось, будто в полудремоте он видит О-Кими. Было холодно. Он спрятал подбородок в воротник и сгорбился.

Тук-тук... тук-тук... тук...

Его настороженный слух уловил доносившиеся откуда-то звуки. Он прислушался. Но стук прекратился. Он затаил дыхание. В ушах звенело. Кругом была мертвая тишина.

Тук-тук... тук-тук... тук...

Он приложил ухо к стене и понял, что стучали в соседней камере. Но что это был за стук, он не мог разобрать. Инстинктивно оглянувшись вокруг, он сжал кулаки и тихонько стукнул несколько раз в ответ. За стеной умолкли.

«Может быть, я поступаю неправильно?» — Эта мысль заставила его вздрогнуть.

Некоторое время и Моримото и неизвестный за стеной молчали.

Тук... тук... тук...

За стеной опять застучали. Но теперь звук явственно слышался в другом углу камеры. Он подошел туда. Сквозь дощатую стену в этом месте проникал тоненький пучок света. Как это всегда бывает в тюрьмах всех стран мира, кто-то из ранее заключенных здесь проковырял это отверстие. Доски слегка разошлись, образуя чуть заметную щелку. К счастью, она была в самой глубине камеры, далеко от двери. Он решительно постучал по этому месту. И вдруг из-за стены донесся чей-то едва

слышный голос. Он осторожно опустился на пол и приблизил ухо к дыре.

Голос был едва слышен. Моримото несколько раз менял положение уха.

— Кто это?..

Кто это?.. Но кто он сам, человек, задающий этот вопрос? Моримото приблизил губы к отверстию.

— А ты кто? — прошептал он. И тотчас же снова приложил ухо к щелке.

За стеной, по-видимому, молчали. Потом опять, но уже немного громче, донеслось:

— Кто это?..

А! Ведь это же голос Кавада! Он почувствовал, как кровь быстрее побежала по его жилам. Еще раз оглянувшись по сторонам, он наклонился к отверстию.

— Кавада, ты?!

Человек за стеной, по-видимому, сильно испугался.

— А ты кто?

— Мори!

— Мори! — Кавада узнал его. Моримото замер, весь превратившись в слух.

— Ты... здо...

— Что?

— Здоров ли ты?..

— А-а, здоров ли я? Да, да.

— — Кавада говорил что-то, но разобрать было невозможно...

— Не понимаю. Немножко громче.

— На фа-бри-ке...

— Так. На фабрике?

— Все ли в порядке?

— Да, все прошло отлично.

— А по-том...

— Потом?..

— Что... было... по-том...

— Все в порядке!

— Не робей!

— Как?

— Не ро-бей...

— Будь спокоен!

— До кон...

— До кон?

— Нет, до конца.

- До конца.
- Держись...
- Понял!

Даже в этих отрывистых, едва слышных словах он узнавал Кавада. Его вдруг бросило в жар. Он с усилием проглотил слюну.

- Кто-то...
- Да?
- Из наших...
- Как? — Он изо всех сил напрягал слух.
- Из наших товарищей.
- Ага, из товарищей.
- Вы-дал.

— Выдал? — слова Кавада были неразборчивы. Вдруг он вздрогнул. — Выдал!? — Забывшись от волнения, он почти крикнул:

- Это правда?
- Да.
- Правда...

Его руки, сами собой сжавшиеся в кулаки, покрылись липким потом.

- Все...
- Так. Все.
- Все, даже... самое... секретное...
- Как, как?
- Даже... самое... секретное...
- Самое секретное. Так. Дальше.
- Все стало известно.
-!

«Значит, всё известно!» — подумал он. Стало трудно дышать, как будто на грудь навалилась какая-то тяжесть.

- До последней ми-ну-ты...
- Как?
- До последней минуты...
- Да...
- Держись!
- Понял.
- А насчет...

Но в этот момент он, вздрогнув, вскочил на ноги. Ему показалось, будто кто-то идет по коридору. И действительно, это был звук шагов. В коридоре, по-видимому, происходило что-то тревожное и важное.

Это дежурные жандармы заметили, что Судзуки, арестованный только для видимости и находившийся в тюрьме на особых условиях, на рассвете повесился в своей камере...

На следующий день, как и следовало ожидать, рабочие фабрики «N. S.» окончательно захватили в свои руки фабричный комитет. Пусть управляющий замышляет новые махинации! Нужно было заложить крепкий фундамент, чтобы не проиграть борьбы, которая по-настоящему начиналась только теперь. Дело, оставленное Моримото, нужно было продолжать.

То рукопожатие, которым они впервые обменялись тогда, было, может быть, прощальным, думала О-Кими. Эта мысль заставляла больно сжиматься ее сердце. Но она знала, что им предстояло делать до возвращения Моримото.

Об этом она говорила с О-Ёси, идя домой с фабрики. О-Ёси украдкой вытирала слезы.

— Не плачь! Слезами не поможешь! — О-Кими положила руку на худенькое плечо подруги. О-Ёси плакала, думая о Кавада.

Приближалась весна. Под ногами таяли последние остатки рыхлого снега.

1930 г.



ОРГАНИЗАТОР

1

Стану женку выбирать,
Буду умную искать.
Личиком красивую-у,
Сердечком жалостливую-у...

— А, чтоб его! Вот ведь привязался, проклятый...

— «Личиком красивую, сердечком жалостливую...»
Эх, Қий-ко, личиком-то ты хороша, да вот...

— Да уж, жалости у меня к тебе нет!

Ох, как О-Кими хотелось стукнуть разок как следует по этой мерзкой роже, похожей на грязную картофелину.

Этот Нобу, первый бабник и шалопай во всем квартале Т., работал в упаковочной вместе с О-Кими и с того самого времени, как арестовали Моримото, буквально не давал ей проходу.

— Да уж раз коммунист, так дело плохо... хоть он и ловкач, твой Мори, а, пожалуй, на этот раз и он не вернется.

О-Кими резко повернулась и молча устремила глаза на говорившего.

— Ну, ну, не строй такую сердитую физиономию... а впрочем, тебе, пожалуй, даже идет, когда ты сердисься...

О-Кими было досадно до слез.

И так вел себя не один только Нобу. С тех пор как по указанию полиции Компания объявила на фабрике истинные причины исчезновения Моримото, настроение рабочих резко изменилось. Уж раз в дело ввязывается полиция... и к тому же, что ни говори, коммунист! Кто такие коммунисты — этого толком никто не знал. Видели, правда, как-то раз в газете фотографии каких-то людей не слишком привлекательной внешности, и только. Поэтому, узнав, что человек, который день изо дня работал бок о бок со всеми вместе, оказался на самом деле одним из этих страшных людоедов, все были ошеломлены.

Всех, кто был близок с Моримото, начали теперь сторониться, точно так же, как и членов фабричного комитета, того самого, организацию которого с бою отвоевало общее фабричное собрание. Вообще, теперь все уже раскаивались, что затеяли такое опасное дело.

Из женщин же больше всего доставалось О-Кими. Кроме Нобу, который уже хорошо знал о ее отношениях с Моримото, об этом, по-видимому, догадывалось еще несколько человек.

Так постепенно активисты оказались изолированными от рабочих. О-Кими места себе не находила. Всегда приветливая, веселая, любившая погулять, она за последние дни похудела, на лице обозначились скулы, речь стала отрывистой и сухой.

— Ну и пусть коммунист, пусть хоть пять лет в тюрьме просидит, хоть десять, — тебе-то что до этого? — по-мужски грубо огрызнулась О-Кими на слова Нобу.

Нобу построил испуганную рожу:

— Э, да она, оказывается, все еще в него влюблена...

Как только прозвучал гудок, возвещавший обеденный перерыв, О-Кими позвала О-Ёси и поднялась с ней на крышу склада. Здесь было тепло под лучами весеннего солнца, и рабочие охотно поднимались сюда по узенькой винтовой лестнице.

Разбившись на небольшие группки, рабочие и работницы из ремонтного и отделочного цехов и из лакировочной мастерской грелись на солнышке.

Время от времени то тут, то там раздавались громкие голоса.

Токарь Яма вытащил из кармана замасленный резиновый мячик и провел мелом черту по бетону.

— Я тоже буду играть, а, Яма?..

— Я и без ракетки так поддам, что только держись...

Разделившись на две партии по обеим сторонам черты, рабочие принялись играть в «ручной теннис». Шлеп-шлеп... Мячик ударялся о бетон. Раз, два...

О-Кими и О-Ёси сидели в стороне.

— Одна... две... три... четыре... Смотри-ка, у нашей конторы целых пять машин стоят...

Подойдя к карнизу, О-Ёси взглянула вниз на улицу; голова у нее закружилась, и она невольно закрыла глаза рукой. Низкое, словно приплюснутое здание конторы на другой стороне улицы виднелось отсюда прямо под ногами. Люди, входившие и выходившие из него, казались крошечными заводными куколками.

— Послушай, Кими-тян, мастер в нашем цехе говорил, будто... — О-Ёси обернулась к подруге. — Похоже, что с того дня — понимаешь? — полиция каждый день торчит в конторе. Вот хоть бы эти машины... — кивком подбородка она указала на них О-Кими. — Что-то странно, правда?

В течение нескольких последних дней, с того времени как «Консервная компания N. S.», слившись с «Канабиси», превратилась в «Консервную компанию Канабиси», автомобили самых разнообразных марок и окраски, точно

на параде, непрерывно сигнали, сновали взад и вперед перед глазами работниц. Ходили, однако, слухи, что после случая с Моримото эти ежедневные визиты полицейских, проходивших прямо в кабинет директора, вовсе не имеют отношения к слиянию двух акционерных обществ. И хотя это были только слухи, но и они в достаточной мере пугали рабочих. В самом деле, ведь на фабрику проникли коммунисты!

— Так что же, говорят, значит, что, кроме Моримото-сан, есть еще кто-то? — удивленно спросила О-Кими.

— Видишь ли... — хмуро, как будто про себя, проговорила О-Ёси и еще больше понизила голос, — боюсь, что вся эта история еще далеко не кончилась...

— Неужто не кончилась? — сказала О-Кими насмешливым тоном, как бы желая показать подруге, что унывать не годится.

— Да, мне так кажется... И ведь сколько сил положили, пока наладили дело, а теперь все полетело к чертям...

— Дура! — О-Кими с силой ткнула подругу в спину. — Даже в шутку мы не смеем так говорить. Это предательство, Ёси-тян! Разве мы с тобой не поклялись тогда, в тот вечер, когда забрали Кавада и Мори? Не смей, нельзя так говорить! — О-Кими просунула свою руку под руку подруги. — Ну, не вешать носа! Смотри!

— Да-а... я понимаю... конечно! — О-Ёси вскинула голову.

Раздался сигнал, призывающий к работе, и О-Кими вслед за подругой стала спускаться по узкой винтовой лестнице. Однако сама О-Кими, всего минуту тому назад всячески старавшаяся ободрить О-Ёси, в глубине души точно так же, как и её подруга, не в силах была справиться с какой-то смутной тревогой.

— Ты Ёсимото? Киитиро Ёсимото?

Прошло около часа после обеденного перерыва. Ёсимото грузил листы жести на вагонетку, когда кто-то неожиданно хлопнул его сзади по плечу. Обернувшись, он увидел прямо перед собой директора фабрики, мужчину весьма представительной внешности, и еще какого-то незнакомого, с крохотными усиками, в европейском

костюме. Ёсимото побледнел. Человек с усиками иронически усмехнулся уголками рта.

— Зайди-ка на минуточку в контору, — участливо произнес директор, и в этот момент человек с усиками неожиданно стиснул пальцами кисть руки Ёсимото. Тот инстинктивно выдернул руку.

— Сопротивляться?.. Болван!

— Нет, нет. Ёсимото-кун не из таких... — У директора был растерянный вид.

— Мерзавец!.. — Человек с усиками с силой закрутил Ёсимото руки за спину, и тот, потеряв равновесие, упал лицом на груженную жестью вагонетку. Так его и связали, лежащего.

Пораженные, все молча, в растерянности смотрели на эту сцену. Ёсимото потащили в контору. По его бледному как полотно лицу, от углов губ к подбородку, стекала из носа струйка крови.

Ёсимото был членом нового фабричного комитета и одним из тех, кого Моримото намечал в цеховую ячейку.

Минут через десять увели еще двоих квалифицированных рабочих из ремонтно-механического цеха, в котором раньше работал Моримото.

С конвейера, кроме Ёсимото, взяли еще одного. Из лакировочного цеха — одного... Странное дело: все они были членами фабричного комитета и все — друзьями Моримото. Их отвели в контору, а потом посадили в полицейский автомобиль, ожидавший у входа, и увезли.

Узнав об этом, О-Кими почувствовала, что вся кровь прихлынула к сердцу, и невольно схватилась рукой за стол. Неужели?..

— Что случилось? — робко, заискивающим тоном спросил у мастера один из рабочих.

— А я почему знаю? Говорят — коммунисты, что ли...

— Коммунисты? Выходит, еще были, а? — Рабочий старался попасть мастеру в тон. «Что ни говори, я не из таких мерзавцев», — как будто говорил он всем своим видом.

— А я-то думал, что коммунистами бывают только студенты, которые сидят у папаши на шее, да те вот, которые в профсоюзах...

— Черт знает что! И ведь такие все смирные были. Вот уж действительно нужно глядеть в оба.

Во всех цехах ругали коммунистов.

На следующий день посыльный из конторы пришел за О-Кими.

«Вот оно!» — подумала она. С нарочито спокойным видом, слегка поправив прическу, О-Кими отворила дверь директорского кабинета.

Двое людей в европейских костюмах — О-Кими с первого же взгляда поняла, что это переодетые полицейские, — сидели рядом с директором и внимательно оглядели входившую девушку. Затем один из них нагнулся к другому, и, обменявшись несколькими словами, оба без стеснения захохотали.

— Ну что, вспоминаешь небось своего дружка Моримото?

Глубокие складки в углах рта у одного из них искривились от смеха. Он захохотал так, что стул под ним заскрипел.

О-Кими молча кусала губы. Но откуда все это стало им известно?

— Я думаю, что тебе нет необходимости давать какие-нибудь особые объяснения. — Директор в замешательстве теребил край бумаги, лежавшей перед ним на столе. — Полиция идет тебе навстречу... но, принимая во внимание все, что произошло, Компания хотела бы все-таки, чтобы тебя на фабрике не было... Ну, что ты скажешь?

— Послушай-ка, ты, как там тебя, О-Кими-тян! Можешь считать, что тебе еще здорово повезло! Ты должна спасибо сказать за это. А не захочешь, тогда уж о тебе позаботимся...

Директор, немного смущенный, сунул О-Кими листок бумаги, который он только что теребил в руках.

Заявление об уходе!

Когда О-Кими с бумагой в руках вышла из кабинета, ей все было ясно: Моримото в тюрьме выболтал все! Ее Моримото!

О-Кими почувствовала, что колени у нее подгибаются, ей захотелось тут же, немедленно опуститься на пол.

Ее любимый, которого она не променяла бы ни на кого на свете, ее друг, которому она верила больше всех, предал своих товарищей. Что же теперь делать? Как смотреть людям в лицо?

Спрятавшись в полутемном коридорчике, ведущем в умывальную, между высоко наваленными ящиками, О-Кими долго плакала, дрожа всем телом.

Новые руководители Компании Канабиси ловко использовали инцидент с Моримото. Они хорошо обработали его там, в тюрьме, по ногам и по рукам связали рабочих, объявив, что все это — происки коммунистов, и передали в руки полиции людей, возглавлявших фабричный комитет. Таким образом, новые увольнения удалось провести гладко, не вызвав в рабочей массе ни малейших волнений.

2

Организатор района Кавада арестован. Моримото с баночной фабрики Канабиси в тюрьме. Сфабрикованный полицией инцидент с коммунистами послужил удобным поводом, чтобы одного за другим забрать молодых парней из «Группы революционного протеста», той самой группы, которая разоблачала все махинации Гентяна, стремившегося пролезть в члены муниципалитета и подчинившего для этого профсоюз группе Ояма¹. Все они были делегатами межзаводской конференции металлистов, резинщиков, печатников, на организацию и созыв которой Кавада потребовалось полгода. Группа еще только начала оформляться, но как-никак все-таки уже существовала и начинала действовать. У себя на заводах эти люди составляли ячейки, а все вместе они были той базой, тем фундаментом, на котором должен был быть создан единый всеяпонский рабочий союз. И вот их-то и забирали день за днем — по двое, по одному.

Только Исикава удалось скрыться в самый разгар этой бури.

В понедельник вечером О-Ёси, вернувшись домой, нашла у себя в комнате написанную карандашом записку от О-Кими: «Приходи сейчас же, нужно поговорить». Закусив на скорую руку, О-Ёси поспешно вышла из дому. Едва переступив порог, она чуть не налетела на какого-то мужчину, катившего велосипед, очень смахивающего на приказчика из мелочной лавки.

¹ Икуо Ояма — один из лидеров японской социал-демократической партии.

— Добрый вечер! — обратился он к О-Ёси.

Вздрыгнув от неожиданности, она не отвечала.

— Не знаете ли вы здесь поблизости... — «приказчик» говорил не торопясь и все время старался через плечо О-Ёси заглянуть во внутрь дома. — Не знаете ли вы, где здесь живет Ямада-сан?

«Уж не шпик ли это?» — мелькнуло в голове О-Ёси. В таком случае нельзя сейчас идти к О-Кими. С минуту она стояла, не зная, на что решиться.

— Вы Ёси-тян? — спросил вдруг «приказчик» голосом и тоном, совершенно непохожим на тот, которым он говорил минуту назад.

Не в силах произнести от изумления ни слова, О-Ёси молча попятилась от него.

— Я — Исикава, — сказал он приглушенным голосом и засмеялся, не разжимая губ.

Исикава! Ей пришлось видеть его, пожалуй, не больше одного раза, и тем не менее это несомненно был Исикава.

— В самом деле! Вот хорошо-то! Все благополучно? Мы так и знали, что вы скоро как-нибудь дадите о себе знать. Ждали все время.

Узнав, что О-Ёси как раз собиралась идти к О-Кими, Исикава на секунду задумался.

— С Кими-тян мне тоже хотелось бы повидаться, но не знаю, где безопаснее: у тебя или у нее? — сказал он.

— Кими-тян замешана в деле, полиция выгнала ее с фабрики. У меня безопасней. Я пойду и приведу ее сюда.

— Да, пожалуй, так будет лучше. Ну, так я подожду.

Они вернулись в дом и поднялись по темной лестнице. Не знаящий дороги Исикава шел за О-Ёси и обеими руками нащупывал ступеньки.

— Ну и ловкач же вы, Исикава-сан! — воскликнула О-Ёси, взглянув на совершенно неузнаваемого Исикава, когда они выбрались из темноты.

— Да уж, когда дело идет о собственной голове... — Исикава потер рукой шершавый подбородок и неожиданно рассмеялся.

— Смотри, будь осторожна дорогой, как бы не забрали тебя, — крикнул он вслед спускавшейся с лестницы О-Ёси.

Минут через двадцать отворилась дверь черного хода и заскрипели ступеньки. Пришли обе девушки.

— Наконец-то! — забывшись, крикнула О-Кими еще с порога, но сейчас же испуганно зажала рот рукой.

— В самом деле, давненько не виделись... Ну, как ты?

Исикава, сбросив куртку, читал какую-то тоненькую книжку.

— Все в порядке! Ты пришел очень кстати. Кавада прислал письмо.

О-Кими вытащила из свернутых узлом волос мелко сложенную бумажку.

— Письмо? — Взяв бумагу из рук О-Кими, Исикава подошел к лампочке.

Письмо принес О-Кими оборванный парень, попавший в тюрьму за то, что пообедал в столовой, не имея чем заплатить, и сидевший с Кавада в одной камере.

— Это в самом деле письмо от Кавада?

Даже Исикава, отлично знавший почерк Кавада, затруднился бы признать его руку в этом письме, написанном, по-видимому, огрызком карандаша на шероховатой и темной туалетной бумаге, какую обычно выдают в тюрьмах.

«18-го числа меня перевели из участка У. в участок А. Нажим был сильный, но я оказался сильнее. Не беспокойтесь, я не унываю. Меня взяли в Какурадзака. За пять минут до условленной встречи неожиданно окружили полицейские. Время и место встречи были известны только одному Судзуки. На допросе окончательно выяснилось, что Судзуки шпик. Когда фронт приходит в расстройство, нужно особенно зорко следить, чтобы в наши ряды не пробрались шпионы.

Нужно бороться с реакционными элементами в союзе Годородо, которые непременно поднимут теперь голову. Нужно снова немедленно наладить связь с каждым отдельным предприятием.

«N. S.» — поручить О-Еси, «Токио-целлулоид» — Имагава с улицы Т. Если его арестуют, то Нисидзава, та же улица, дом № 3. Текстильную фабрику Канэяма поручить Суда, улица Н., дом № 903. Его должна знать О-Кими. «Восточный каучук» — Цукудо, улица Т., дом № 51. Передавшему письмо можно доверять.

Ну, пока все. Вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что я здесь страдаю. Пролетарий, где бы ни находился, никогда не падает духом. Будущее за нами! Крепко, крепко жму ваши руки.

Лет десять, наверное, не придется увидеться. Главное — берегите себя».

Ветер, проникший сквозь щели сёдзи, раскачивал из стороны в сторону электрическую лампочку, и три тени, то вытягиваясь, то сжимаясь, ползли по циновкам на стены. О-Кими, неподвижно уставившись глазами на клочок бумаги, время от времени машинально поправляла прядь волос, спадавших ей на лицо. У О-Ёси глаза уже были полны слез. — «Наверное, лет десять не увидимся...» — шепотом повторила она последние слова письма. И вдруг, упав головой на стол, на котором лежало письмо, громко зарыдала.

О-Ёси любила Кавада.

И все-таки она сейчас же подняла заплаканное лицо.

— Да что это я!.. Плакать сейчас не время!

— Ну, кажется, запомнил... — Исикава, несколько раз повторив в уме указанные в письме адреса и фамилии, подошел к хибати и поднес бумажку к огню.

Некоторое время все трое молча смотрели, как быстро горело письмо, — только в середине, там, куда попали слезы О-Ёси, еще держался влажный кружочек.

Связь с фабриками была восстановлена. Тотчас же, вместе с Исикава, они перешли к обсуждению необходимых мер для восстановления и усиления работы секции металлистов Дзэнкё¹ на баночной фабрике Акционерной компании Канабиси.

3

Председатель исполнительного бюро союза Годородо усатый Гэн-тян, ни за что ни про что угодивший в тюрьму заодно с Кавада, вернулся домой.

Гэн-сан, родом крестьянин из префектуры Ниигата, работал углекопом на шахтах в Юбари, на острове Хоккайдо, чуть было не лишился головы за попытку

¹ Дзэнкё, полностью Дзэнкоку кёгикай — объединение революционных профсоюзов.

организовать профсоюз горняков, перебрался в У. и вот уже в течение пяти лет участвовал в профсоюзном движении. Образования он не имел никакого, но зато была у него какая-то чисто рабочая, непреодолимо притягательная сила, и всюду — в профсоюзах и среди портовых рабочих — он пользовался популярностью. Как человек, он нравился даже Кавада. Во время событий 15 марта¹ Гэн-сан тоже был арестован. При обычных, так называемых «временных арестах»², если забирали кого-нибудь из членов профсоюза, сидеть приходилось всегда двадцать девять дней. Но всякий раз, когда Гэн попадал в тюрьму, ему казалось, что взлелеянный им союз разрушается на кусочки. В конце концов Гэн, которому уже перевалило за сорок, стал утверждать, что во всем виновата молодежь. С таким трудом удалось добиться, чтобы союз начал приобретать популярность в массах, и вот из-за них все идет прахом!

Как только стало известно, что Гэн вернулся, многие члены союза пришли навестить его. Появилась водка, и Гэн, захмелев, принялся разглагольствовать:

— Сколько раз я говорил Кавада и его приятелям: смотрите, не пойдите по стопам тех молодчиков, которых позабирали пятнадцатого марта! Я ведь уже не первый день работаю, мне-то ясно, что Кавада сам оглянуться не успеет, как коммунисты подставят ему ножку!

— Массы боятся компартии! — громко, пьяным голосом крикнул один из постоянных работников союза, который при Кавада всегда оставался в тени, хотя и имел значительный стаж работы.

— По существу я не против компартии. В конце концов дело придет к этому. Но в настоящее-то время девяносто девять процентов японских рабочих еще не дошли до того, чтобы понять их лозунги.

— Верно!

— Совершенно правильно!

¹ События 15 марта — массовые аресты коммунистов по всей Японии, происшедшие 15 марта 1928 г. Подавляющее большинство арестованных было приговорено к длительным срокам тюремного заключения и каторжных работ.

² «Временными арестами» называются аресты деятелей рабочего движения с целью «изъятия» их в определенный момент, например в связи с 1-м Мая и т. п.

— А Кавада, что он на это говорит? Вот потому-то мы, мол, и должны шаг за шагом развивать сознание рабочих, изо всех сил работать, чтобы заставить их понять эти лозунги. Ошибается, говорит, тот, кто думает, что можно заставить рабочий класс оставаться все время на одном уровне. Это, мол, хвостизм, равнение на слабые места!

— Чепуха все это! Студенческий левый загиб! — Вмешавшийся в разговор Ониси до сих пор ни разу не бывал на собраниях союза. Он появился в союзе только с того дня, как забрали группу Кавада.

Дергая свои длинные усы, Гэн продолжал:

— А Кавада на меня же еще и нападает! Неужели ты, говорит, не понимаешь, что такими словами вбиваешь клин между авангардом и массой? Ты, говорит, изолируешь авангард, а это — то же предательство. Ну и ну!

Жена Гэна, ни на секунду не присаживаясь, металась из комнаты в кухню, подливая гостям водку с необычной для нее любезностью. Она была уверена, что мужа арестовывали всякий раз по милости Кавада и его друзей, которые управляют союзом, хотя сами ничего в этом не смыслят.

— Да куда ему понимать такие вещи, молокососу! — крикнула громко через открытую кухонную дверь эта женщина, в прошлом толкавшая вагонетки с углем на глубине ста метров под землей.

Когда стемнело, начали один за другим заходить рабочие, кончившие смену. Все это были люди, питавшие антипатию к Кавада и к «молодым». В маленькой комнатке в шесть циновок с трудом умещалось восемь человек. Воздух был густо пропитан табачным дымом и запахом водки. Пьяное, заросшее бородой лицо Гэна стало багрово-красным.

— Гэн-сан до сих пор был слишком доверчив к людям.

— На кого бы они могли положиться, все эти рабочие, если бы союз вынужден был вести свою работу, прячась по темным углам?

Один из гостей, с длинным лошадиным лицом, протянул Гэну стакан с водкой.

— Вот потому-то и получается, что в Японии процент охвата рабочими организациями самый низкий во всем мире. Правильно говорят, что союз должен быть нашим, рабочим, уютным клубом!

— Ну, Гэн-сан, теперь-то уж будем держаться дружно, рука об руку! Ни одному из этих паразитов не дадим пролезть к нам!

— Верно!

— Правильно!

— Эта осень, ребята, имеет особое значение.

— Ясное дело!

Этой осенью на выборах в муниципалитет от союза Готородо должна была быть выставлена кандидатура Гэна.

Молодой парень в лихо сдвинутой набекрень замасленной, потерявшей всякую форму кепке примостился на узеньком пространстве у самой двери и, покуривая дешевую папироску, забавлялся тем, что выпускал дым прямо в широченную спину сидевшего перед ним рабочего. За все время он не произнес ни одного слова, а только слушал, что говорилось кругом него. Этот маленький паренек, расклеивавший прокламации и исполнявший в союзе обязанности связиста, пользовался всеобщей симпатией. Когда не на шутку разбушевавшаяся компания начала, наконец, собираться по домам, паренек в кепке вышел третьим.

— Ну, Гэн-сан, будь здоров, — сказал он, уходя.

Выйдя на улицу, паренек спрятал лицо в воротник своего короткого пальто, похожего на те, что носят школьники, и быстро зашагал в темноту, в направлении, противоположном тому, куда направлялись остальные. Спустя полчаса он постучал условленным стуком в дверь маленького аккуратного домика в трех верстах от дома Гэна.

— Сейчас, — ответили изнутри, и дверь отворилась. — Китаяма, ты?

— Я.

— Заходи. — На пороге появился Исикава.

— Ну, что?

— Так и есть, — молодой рабочий быстро прошел внутрь, и дверь затворилась.

4

Связь с предприятиями, прерванная арестом Кавада, после получения его письма из тюрьмы быстро восстанавливалась. Как этого и следовало ожидать и как указы-

вал в своем письме Кавада, в союзе Годородо все больше активизировались реакционные элементы. Но теперь Исикава уже имел возможность принять нужные меры. Вот только связаться с «верхом» ему никак не удавалось.

Когда аресты следуют один за другим и в линии фронта образуются бреши, приходится опасаться не только «исправившихся» после заключения в тюрьме, но и самых настоящих шпииков. Поэтому и в смысле связи с «верхом» нужно было не один раз проверить и подумать, прежде чем что-либо предпринять. Ходили слухи, что партиец, бывший непосредственным руководителем Кавада, известный под именем Саяма, за два дня до ареста Кавада был выслежен шпииком и арестован в одном кафе, служившем обычно местом встречи. Окруженный чуть ли не двадцатью вооруженными полицейскими, Саяма отстреливался из револьвера, но его ранили в ногу и схватили. А находившийся вместе с Саяма товарищ по имени Хирота, как говорили, прорвал цепь полицейских и убежал. Этот партиец в студенческие годы был чемпионом по бегу, и его друг, некто С. из «Второй Мусанся-Симбун»¹, рассказывая о случившемся, смеялся: «Теперь уже придется им считаться с пролетарским спортом и пролетарским военным искусством!» Наладить связь с «верхом» взялся этот самый С.

На первый раз Исикава должен был ожидать встречи у входа в кино. Придя немного раньше условленного времени, Исикава принялся рассматривать рекламы, как вдруг в нескольких шагах от него началась потасовка.

Несколько человек, случившихся поблизости, окружили место происшествия. Раздались крики:

- Драка, драка!
- Что случилось?
- Вора, что ли, поймали?

Исикава тоже, ничего не подозревая, смотрел на дерущихся через головы передних зрителей. Однако, внимательно приглядевшись к дерущимся, он по платью и портфелю узнал в одном из них того товарища, с которым у него была назначена встреча.

«Дело плохо!» — подумал он. Круто повернувшись, Исикава вышел на другую улицу, взял такси и уехал.

¹ Название революционной газеты.

Поэтому на следующий раз Исикава решил быть особенно осторожным. Отправляясь на встречу, он колебался — ехать ли ему электричкой. Если электричкой — то нужно смотреть в оба и при посадке и при выходе из вагона. Лучше всего было такси. Однако, для того чтобы постоянно разъезжать в такси, у него не было достаточно денег. Он решил подождать электричку на некотором расстоянии от остановки, внимательно следя за всем окружающим, и сесть, когда поезд уже тронется. Совершенно другая одежда и очки без оправы придавали ему, немного уверенности.

Стоя на площадке, он заглянул внутрь вагона. Подозрительных типов как будто не было, но так как лишняя осторожность никогда не мешает, он все же не вошел в вагон. Сойдя с электрички, он решил использовать время, которое еще оставалось у него до условленного часа, чтобы закусить, и зашел в маленький ресторанчик по этой же улице. Окончив свой завтрак, он неторопливо закурил папиросу, и в это время в голову ему пришли вдруг слова, похожие на название какого-нибудь старого фильма или романа. Это были всего три слова: «В последний раз». Исикава не знал, почему они пришли ему в голову, обычно он был очень далек от таких выдумок.

Движение загнано в подполье. Обычный человек выходит на улицу спокойно, постукивая своими гэта, а когда Исикава выходит на «работу», то все, что он видит и слышит по дороге, ему, может быть, никогда больше не придется увидеть и услышать. Только что он с таким аппетитом поел риса и мяса, но это, быть может, в последний раз. Сейчас после еды он с наслаждением, так глубоко, как только мог, затянулся папиросой, но и это, быть может, в последний раз. Только что он смотрел из окна электрички на убегающую назад улицу. А на обратном пути он, может быть, будет глядеть на эту улицу через окошечко полицейского автомобиля. Какая разница между ним и группой Ояма, хотя все они как будто бы участвуют в одном и том же движении!

И все-таки даже в этих тяжелых условиях необходимо расширять движение, делать его массовым!

«В последний раз!»

Он взглянул на часы и встал.

Привокзальный проспект незаметно переходит в конце в Н-ское шоссе. Исикава ровно с семи часов должен был

в течение часа идти обычным своим шагом по этому шоссе от маленького храма Дзидзо¹. На нем было коричневое пальто, в левой руке он держал узелок с книгами. У того, с кем ему предстояло встретиться, должны были быть золотые очки, такое же коричневое пальто и такой же узелок. Об его лице и фигуре Исикава тоже был подробно осведомлен. Из предосторожности, а также на случай, если неудача, случившаяся несколько дней тому назад, постигнет его и на этот раз, он опустил в задний карман брюк револьвер.

Небо было обложено низко идущими тучами. Собирался дождь. «Это, пожалуй, даже кстати», — подумал он.

Там, где начиналось шоссе, по обеим сторонам которого тянулись пустыри, росла группа деревьев. В тени их был полумрак. Остановившись под деревьями, он оглянулся по сторонам. Так стоял он минут пять, но никто, по-видимому, не шел за ним. Он пошел дальше и, пройдя еще немного, увидел часовню Дзидзо. Н-ское шоссе было широкой магистралью, по которой на рассвете с зажженными фонарями съезжались в город окрестные крестьяне в грохочущих, груженных овощами телегах. Но сейчас прохожих здесь было мало. Минут тридцать он шагал, держа в левой руке сверток с книгами, и за все это время не встретил ни души. Он шел, прислушиваясь к стуку собственного сердца. Ветер, прилетевший с полей, дул ему прямо в лицо и свистел в ушах.

Он не прошел еще особенно далеко, как вдруг дорога разделилась надвое. Исикава не был предупрежден об этом и в недоумении остановился. Перед ним были две дороги, и которая из них вела в Н., он не знал. Ничего не поделаешь! Прикинув в уме приблизительную ширину обеих дорог, он, наконец, направился по той, которая была шире. Но спустя минут пятнадцать он, вместо того чтобы очутиться в Н., уперся в высокую темную ограду тюрьмы. «Это явно что-то не то. Вот это уж совсем скверно!» — подумал он и сейчас же пошел назад.

¹ Дзидзо — буддийское божество, покровитель путешественников, поэтому храмики, часовни и просто статуи Дзидзо часто ставят на дорогах.

К тому времени, как Исикава снова вернулся к развилке, как раз прошел условленный час. Некоторое время он колебался — попробовать ли пойти по второй дороге, или вернуться к вокзалу, но после некоторого размышления решил, что лучше будет вернуться, и снова зашагал, на этот раз уже в сторону вокзала.

Теперь ему начали попадаться прохожие.

Немного не доходя до вокзала, он вдруг, вздрогнув, остановился: чья-то рука сзади опустилась на его плечо. Оглянувшись, он увидел улыбающееся лицо...

Коричневое пальто, очки в золотой оправе, белое, продолговатое лицо, под мышкой — узелок с книгами... Исикава охватил все это одним взглядом.

— Вы шли по Н-скому шоссе? — Человек в коричневом пальто указал пальцем в сторону Н.

Исикава утвердительно кивнул головой.

— Вы — Муракоси-кун? — Исикава взял на этот раз фамилию Муракоси.

— Да.

— Я — К.

Они обменялись рукопожатием и пошли в обратном направлении. Шагая рядом с Исикава, товарищ К. слушал его подробный доклад о положении дел. Затем разговор пошел о том, как держать связь в дальнейшем, как писать донесения, об осторожности в передаче этих донесений, о дальнейшем направлении движения. Товарищ К. особенно подчеркивал следующие конкретные задачи момента:

1. Необходимо направить организаторов на баночную фабрику Канабиси и на другие крупные предприятия, стараться, по возможности, привлечь на свою сторону членов союза Дзэнкё и таким образом усиленно подготавливать базу для создания объединенного союза рабочих разных отраслей промышленности.

2. Направить в союз Годородо организаторов из портовых рабочих и развернуть революционное движение протеста внутри союза.

3. Как партиец, Исикава должен не только руководить всем движением района У. внутри союза Дзэнке, но и приложить все усилия для возрождения фабричной ячейки, которая в настоящее время практически не существует.

Обо всем этом Исикава держался совершенно такого же мнения.

Когда разговор о делах был закончен, спутник предложил расстаться у развилки дороги. Некоторое время они шагали молча.

— Сейчас основное ядро движения чрезвычайно слабо. Из центра осталось не больше трех-четырех человек. Мы сейчас работаем, в буквальном смысле слова рискуя жизнью... Но, видишь ли, неверно было бы мыслить себе наше дело как изолированное, ограниченное пределами нашей страны... Если в живых из нас останется один-единственный человек — все равно нечего падать духом.

Кто-то шел навстречу, и К. замолчал. Когда проходивший скрылся, он закончил речь:

— Так ведь, не правда ли?

Напряженное состояние, в котором находился Исикава, мало-помалу проходило.

— В Японии свирепствует реакция. Почти все видные работники арестованы. Но мы ни на секунду не должны забывать и о другой стороне дела: если при таком положении и слабеет основная организационная сила, зато в массах, среди рабочих и бедняков-крестьян, растет революционная энергия. Наиболее передовые рабочие, пусть еще только в душе, но уже сочувствуют нам, поддерживают Дзэнкё и непосредственно партию...

Но здесь Исикава прервал его: ему начало казаться, что собеседник видит все в слишком уж розовом свете.

— Это, конечно, все верно, но вот у нас, например, — начал он, слегка запнувшись, — на той фабрике, где работал Кавада, во время последних арестов забрали одного партийца. Ну, а Компания только этого и ждала: позвали на фабрику полицию и выгнали якобы за коммунистическую пропаганду семь-восемь человек, на которых еще раньше косились. Так вот, если бы это было по другой причине, все равно — по какой, среди рабочих обязательно начались бы волнения. Но при слове «коммунисты» они дрожат от страха...

Однако К. сейчас же возразил ему:

— Ты говоришь, очевидно, о фабрике, где работал Моримото, который за последнее время, видимо, скатился к пораженцам. Да, это все, вероятно, так и было, как ты говоришь... А до этого случая попробовали ли вы хоть раз побеседовать с рабочими о коммунистической

партии? Вы боролись за создание фабричного комитета, но разве вы попытались хоть раз связать этот вопрос с вопросом о компартии? Нет, друг, обвинять рабочих в том, что они не выступили, — это значит просто-напросто трусливо пытаться оправдать собственные ошибки, да и по отношению к рабочим это тяжелое оскорбление. Товарищ Кавада допустил большую ошибку в том смысле, что ограничивал интересы рабочих чтением фабричной газеты. А кроме этого чтения — ничего.

Сначала Исикава даже немного растерялся. Но затем, внимательно слушая, он понял, что требуется теперь от него самого, понял также, как необычайно трудны эти новые задачи. Ему показалось, будто какая-то тяжесть внезапно опустилась ему на плечи. И все же он сказал:

— Понимаю. Не знаю, до каких пор я смогу работать, но... — В тоне его чувствовалась решимость.

— Ну, скажем, до самой смерти, — смеясь, сказал К. И Исикава почувствовал, что эти слова проникли ему прямо в душу.

— Да, правильно, — сказал он задумчиво.

Они дошли до развилки дорог. К. на секунду остановился и протянул руку ладонью вверх.

— Дождь пошел.

Исикава поднял лицо. Теплые крупные капли дождя упали ему на щеки и быстро сползли вниз. К. приложил к уху ручные часы, затем поднес их к глазам.

— Ну, здесь распрощаемся.

Остановившись, они условились о месте будущей встречи и наметили основные вопросы, по которым Исикава должен будет дать информацию в следующий раз. Затем К. крепко пожал руку Исикава.

— Ну, смотри же!

— Ладно. И ты тоже!

К. быстрыми шагами скрылся в темноте.

5

— Кими-тян, помоги-ка немножко: хоть дома и нет ничего, хочу приготовить что-нибудь, угостить вас, — звала из кухни мать Моримото.

Эти слова показались О-Кими буквально спасительными. Она тотчас же встала и вышла из комнаты.

О-Кими думала, что Моримото прежде всего забросает ее вопросами о том, что произошло на фабрике в его отсутствие, но он даже не заикался об этом!

Сегодня она пришла сюда с твердым намерением: находиться в одной комнате с Моримото было ей мучительно тяжело.

— Сегодня, когда выпускали его, сам директор при этом был, он мне сказал: «Ну, а теперь ищите скорее невесту вашему сыну», — рассказывала мать, хлопоча на кухне. — В полиции тоже сказали: «Живится — так уж не будет водиться с таким опасным народом...» — Мать обращалась с О-Кими ласково, как с будущей невесткой. — Вот только боюсь, как бы опять не стали ходить к нему прежние его товарищи... Это меня больше всего беспокоит...

О-Кими, наконец, не выдержала:

— Об этом-то уж можете не беспокоиться. Больше никто не придет! — Сказав это, она почувствовала, что сердце ее готово разорваться от переполняющих его чувств. Мать, ничего не понимавшая в происходящем, обрадовалась:

— Ты в самом деле так думаешь? Хорошо бы!..

Из комнаты доносился голос Моримото:

— Что, отец, никак ты забросил свои цветы, а?

Ответ отца не был слышен.

— Волновался?.. Да, да, конечно...

Когда все уселись за стол, Моримото разговорился, принялся, жестикулируя, размахивая хаси, описывать разные происшествя и смешить всех своими рассказами.

О-Кими водила палочками по краю своей чашки с рисом. Есть ей не хотелось. В душе она желала только одного — чтобы ужин этот окончился поскорей. Собираясь уходить, она сказала Моримото:

— Я хотела бы поговорить с тобой... Не выйдешь ли на минутку?

Моримото тотчас же встал с просиявшим лицом:

— Конечно, конечно...

О-Кими, догадавшейся о его мыслях, сделалось противно.

Из узенького переулка, по обеим сторонам которого тянулись пыльные бараки, они выбрались на широкую улицу и минут двадцать шли молча.

— Кими-тян... — хрипло заговорил Моримото, как будто не выдержав такого долгого молчания, и осекся. О-Кими не поднимала головы.

— Кими-тян совсем переменилась... — произнес он, как будто не обращаясь к ней. Он ждал, что она скажет. Но О-Кими молчала. Так, молча, прошли они еще немного. Затем, глядя прямо перед собой и останавливаясь после каждого слова, он снова заговорил:

— Ты знаешь, о чем я думал, сидя там? О тебе, только об одной тебе... В тот вечер, помнишь, когда мы впервые признались друг другу... Вот из-за этого-то я только о тебе думал все время... Хоть бы на день поскорей выйти... лишь бы выйти. Для этого я на все был готов... Думал — простишь... Да ошибся, видно.

О-Кими подняла голову; в лице у нее не было ни кровинки.

— Так, значит, ты... ты... — она запинаясь от волнения. — Значит... ты сам прекрасно понимаешь, что ты сделал!

Моримото не ответил. В темноте она ясно увидела, как исказилось его лицо. Итак, это была правда!

С самого дня его ареста О-Кими почти каждый день забегала к его родителям и всячески ободряла стариков.

— Не надо волноваться... Ведь за спиной Моримото стоим мы, его товарищи... Моримото-сан — это наш Сакура Согоро, — так утешала стариков О-Кими.

А с фабрики, как будто на выбор, одного за другим забирали активистов. Вскоре уволили и ее, О-Кими. Но даже тогда в глубине души она все продолжала верить Моримото. «А если бы подозрения оправдались, тогда мне придется вернуть его своими собственными силами», — думала О-Кими. Поэтому-то она и ходила, несмотря на все, к его родным и не переставала носить передачи для того, чтобы ободрить его в тюрьме. Она знала, что О-Ёси, и Нисикуни, и все те, кто остался после Моримото продолжать его дело, ругают ее и говорят, что даже Кийко предает их. О-Кими вынесла и это. Ведь она любила Моримото!

И что же теперь?

Моримото несколько раз шевелил губами, как будто собираясь заговорить, но некоторое время не мог произнести ни слова.

— Пока не посидишь да не испытаешь на своей шкуре — не поймешь... — наконец, проговорил он. — Не будь тебя, я готов был бы хоть семь, хоть восемь лет отсидеть. Это я правду говорю.

— Мори-сан! — не выдержав, закричала О-Кими. Шедший впереди прохожий оглянулся. — Мори-сан, я все скажу, до конца... Я тебя до смерти любила... Но разве... разве нашу любовь можно отделить от нашего дела? Ты говоришь, что любишь меня, но из-за этого такое... такое предательство!.. Это фальшивая любовь! А если не фальшивая, так это любовь чиновника, канцелярского служащего! Вот и мать твоя говорила давеча... Женишься, заведешь уютный домик... Ты... ты... — Не в силах совладать с возрастающим волнением, О-Кими заплакала. Рыдания сжимали ей горло, она задыхалась... Всклипывая, она продолжала: — Ты-то отделался хорошо, вернулся цел и невредим, а Кавада, который и сейчас там... Не стыдно тебе перед ним?

Она не успела закончить. Сильный удар свалил ее на землю. Лежа ничком, она чувствовала, как больно отдаются в ее сердце резкие звуки шагов уходящего мужчины.

— Ушел!

Она встала, отряхнула пыль с кимоно. Когда она оглянулась, Моримото уже не было видно.

6

В двух милях от У., у водохранилища, в голубое высокое небо беспрерывно взлетали фейерверки, и эхо далеко вокруг разносило грохот и гул.

В самом центре водохранилища, до краев полного водой, стояла сторожка с остроконечной крышей, похожая на маяк, а от нее к берегу был переброшен красивый железный мост. Склоны горы на противоположной стороне были покрыты буйно разросшимся лесом, отбрасывавшим на поверхность воды густую тень. На этой стороне гора переходила в широкий отлогий склон, покрытый подстриженной ярко-зеленой травой, а дальше,

у небольшого холма, служащего продолжением склона, тянулись облицованные бетоном фильтры.

На склоне холма белеют четыре палатки; это оттуда вылетает ослепительное сияние фейерверков. На белых стенках палаток чернеют слова: «Акционерная», «Баночная», «Компания», «Канабиси»; расположенные в ряд, они составляют название Компании.

Во второй палатке расположились во главе с новым председателем Компании управляющий, директор фабрики и их семьи. Здесь же должны выдаваться призы. Перевязанные ленточками, они навалены грудой на левой стороне стола, покрытого красным ковром.

Молодой мастер лакировочного цеха с рупором в руках озабоченно расхаживает взад и вперед перед палаткой.

— Сугава-сан, Ёсида-сан, Камияма со склада-а-а!.. Откликайтесь!

— Хай! Ха-а-ай!.. — несутся от трех палаток ответные голоса.

— Ишь как усердствует, подлиза...

Когда провожают своих чемпионов, поднимается гул ободряющих голосов:

— Держись!

— Смотри, не дай маху!

— Эй, Ёсико, смотри, проиграешь — не возьму тебя замуж!

— Как же, очень нужно! — Бойкая девушка насмешливо показывает язык.

Вот одна, повязавшая голову полотенцем, держит в руках длинную ложку, в которой лежит мячик. Другая бежит мелкими шажками, видимо беспокоясь, как бы не растрясти свою высокую прическу. Третья нарочно подогнула подол так, чтобы можно было видеть нарядное длинное нижнее кимоно. (Она шила его накануне, целую ночь не смыкая глаз.)

— Гляди-ка, здорово! Вот это да!

Из толпы мужчины раздаются аплодисменты, и «длинное кимоно», до ушей залившись краской, пускается бежать, от смущения прикрывая лицо рукой.

Уже пробежав несколько шагов, «Кинуё Танака» из закаточного цеха вдруг вернулась обратно.

— Черт возьми! Чего ты дуришь?.. — громко заорал со старта рупор.

В чем дело? Что случилось с «Кинуё Танака»?

— Противно мне стало... Ну что в самом деле все вырядились...

Украдкой поглядывавшие на нее рабочие, собравшиеся было подбодрять ее, ошиблись в расчетах.

— Опять закапризничала, дура...

— Чего это ты?

Подошли подруги-работницы, набившие рот карамелью и леденцами.

— Смешно, честное слово... ловко же вас водят за нос...

Ее слова вызвали сочувственный отклик у работниц, которые не могли сшить себе для этого пикника, устроенного в честь слияния двух Компаний, ни нарядного платья, ни длинного нижнего кимоно. Девушки стали неприязненно коситься на суетившегося у старта распорядителя. Что в самом деле, — вон одно длинное нижнее кимоно, вон другое...

Однако «Кинуё Танака» договорила свою мысль до конца:

— Не понимают, что их просто задабривают перед новыми увольнениями!..

— Что такое?! — Ошарашенные ее словами подруги в изумлении уставились на нее.

— Трррах! — раздался револьверный выстрел. Это был сигнал. Сейчас же громко загрохотал духовой оркестр. Из палаток выбежали обсыпанные пудрой ряженные рабочие с красными тесемками на рукавах и работницы, украшенные только собственным румянцем.

— За веревку не выходить! Не выходить! — закричал, подбегая, «рупор».

— Китян!

— Еси-тян, держись!

— Назад не оглядывайся!

— Вот так, вот так! — наперебой закричали голоса.

«Болезьщики» бежали рядом, и одна из участниц состязания от волнения уронила мячик с ложки. Стараясь поймать быстро катящийся мяч, она опустилась на колени, но в этот момент на нее наскочила другая, со всех ног бежавшая позади, не спуская глаз со своей ложки с мячом, и обе повалились наземь.

— А-а-а!

— Ой, прости, пожалуйста!

Возле протянутой у финиша веревки ожидает рабочий с красной повязкой на левом рукаве: он исполняет обязанности распорядителя.

Высоко зачесанный узел волос трясется при каждом шаге. Подол отлетает, безжалостно открывая быстро мелькающие белые ноги...

— Прямо, прямо! Еще немножко!

«Длинное кимоно», бежавшее впереди всех, перед самым финишем вдруг споткнулось и упало. Выскочивший от толчка мячик отлетел в сторону и быстро покатился за черту, отмеченную веревкой. Перед нового платья и длинное нижнее кимоно все перепачкалось землей. И работница, повязанная полотенцем, бежавшая позади нее, очутилась теперь впереди.

— Первый приз!

«Длинное кимоно» закрыло лицо руками и зарыдало.

— Так ей и надо! — говорили работницы в толпе зрителей, не спускавшие завистливых взглядов с ее длинного нижнего кимоно.

Председатель Компании и управляющий, ковыряя в зубах зубочистками, шагали по мягкой траве в стороне от палаток. Председатель Компании был в превосходном расположении духа. И то сказать, нелегкая задача — развеселить триста человек.

— Если так пойдет и дальше, то, пожалуй, все обойдется.

— Я тоже держусь такого мнения...

— Еще человек двадцать, что ли?

— Да, по меньшей мере....

— А кто именно?

— Директор уже в основном наметил...

— Ага...

Председатель поднял голову и медленно выпустил в голубое небо прозрачный ароматный клуб дыма.

— Что бишь я хотел сказать? Да, забавно, ей-богу.

— Как вы сказали?..

— Взгляни-ка туда...

Управляющий посмотрел туда, куда движением подбородка указал председатель.

— Веселятся, а?

Теперь и управляющий понял, что имел в виду председатель.

— Все обойдется — шума не поднимут.

— Да, кого нужно, всех уже изъяли. И потом, что ни говорите, существует ведь все-таки эта традиция «образцовой» фабрики...

Председатель и управляющий дошли до места, откуда прямо внизу видны были все четыре палатки: «Акционерная», «Баночная», «Компания», «Канабиси». Они остановились и, глядя вниз, продолжали беседу.

И вдруг до ушей их донесся шум, крики. Они увидели, как из палаток один за другим высыпали рабочие. А над бегущими цветной метелью взвивались и разлетались какие-то бумажки.

— Что это? — Председатель старался разглядеть, что происходит внизу, но сверху было плохо видно.

— Что там происходит?

У управляющего вся кровь отхлынула от лица.

Цветные листовки разбрасывали возле первой и второй палаток. Рабочие гнались за ними, стараясь их подобрать — точь-в-точь как школьники, забывшие все на свете, когда получают бесплатные билеты в кино.

Уже у третьей палатки! Момент — и они уже у четвертой!

— А-а-а! — сам того не замечая, закричал управляющий и, схватив председателя за руку, бегом понесся вниз с холма.

— Что случилось? Что такое случилось?

Рабочие и работницы, теснясь и толкаясь, подбирали с земли листовки, а над их головами взлетали и рассыпались все новые и новые.

Застигнутые врасплох выскочили из второй палатки мастера.

— Не смей подбирать! Не смей!

Листовки разбрасывал на ходу молодой рабочий в куртке и кепке. С обеих сторон его охраняли здоровенные плечистые парни, по-видимому портовые рабочие.

— Держи!

— Держи его!

Подскочившие мастера в нерешительности остановились. Растерявшись, они не знали, что предпринять.

Работницы, пронзительно крича тоненькими голосами, все подбирали и подбирали листовки.

— Вот так история!

Пожилые рабочие, расположившиеся с бутылочкой, наблюдали за происходящим, не вставая с места. Они спокойно глядели вслед разбрасывавшим листовки парням, как будто это артисты, только что искусно разыгравшие сражение на сцене театра.

— Хотел бы я поглядеть сейчас на физиономию хозяина!

— Эй, Ки-тян, прихвати-ка и на мою долю! — крикнул один из них.

— Все говорят, что после слияния начнется сокращение. Где же мы тогда очутимся? Дело-то ведь свое, кровное!

Когда председатель и управляющий подбежали к месту происшествия, рабочие и работницы, столпившись в кучки, уже читали листовки. Разбрасывавшие листовки парни со всех ног убегали по У-скому шоссе.

— Что за безобразие! Что за безобразие! Где директор? — закричал управляющий.

О-Ёси, Нисикуни и другие рабочие из разных цехов смотрели на него из первой палатки. Скотина!

Эти листовки вчера всю ночь напролет печатали О-Кими и ее товарищи.

«Товарищи рабочие акционерной компании Канабиси! Товарищи! Неужели вам до сих пор все еще снятся сны?

Неужели вас можно поймать на такую удочку, как этот пикник, — уловку, годную только для малых ребят?

До каких же пор вы все еще будете верить, будто ваша фабрика — «У-ский Форд»?!

Вы, наверно, еще не забыли, как для того, чтобы уничтожить ваш фабричный комитет, который вы так блестяще отвоевали общими силами, Компания под именем коммунистов выдала полиции и выгнала с фабрики самых активных товарищей? Для чего это было сделано? Без сомнения, все это были подготовительные шаги к тому, чтобы гладко, без затруднений провести рационализацию и массовые увольнения рабочих, которые будут произведены в результате слияния.

День увольнения приближается! Товарищи, неужели вы согласны обречь на голод ваших любимых родителей, ваших жен и детей, сестер и братьев?

Кроме того, предстоит снижение зарплаты на двадцать процентов. Так неужели же, несмотря на все это, вы все еще будете называть вашу фабрику «У-ским Фордом»?

Наконец-то Компания показала свое искреннее лицо.

Товарищи! Ваше последнее общее собрание должно было показать вам, что значит сила объединения! Настало время выступить, опираясь на эту силу. Теснее ряды! Все до одного должны стать членами союза Дзэнкё, — только он один действительно до конца защищает наши интересы.

Без этой железной силы объединения борьба с гигантом финансового капитала — Канабиси — невозможна!

Категорически протестуем против новых увольнений!

Протестуем против снижения зарплаты!

Восстановим фабричный комитет!

Все — в ряды Дзэнкё!»

7

Исикава не мог находиться в одном и том же месте в течение хотя бы одной недели. В полицейском участке У. его прекрасно знали в лицо, но так как именно в этом районе он был связан с работой, то удаляться от него было нельзя.

Как бы ни свирепствовала буря, вырвать все с корнем она бессильна. Фронт постепенно восстанавливался.

Зато Исикава сильно похудел. Рабочих рук не хватало. Пять человек, арестованных на фабрике Канабиси, полиция за неимением никаких улик на десятый день выпустила, хорошенько им пригрозив. Исикава внимательно приглядывался к ним и одного за другим поручал их О-Кими, решив втянуть самых крепких в работу на других предприятиях, тоже имеющих большое значение.

На западной окраине У. высились толстые, похожие на тюремную ограду стены фабрик — текстильной фабрики Канаяма, металлургического завода, фабрики «Имперский лен», «Токио-целлулоид».

Из-за царившей в промышленности депрессии на фабрике «Имперский лен» проводили колоссальное сокращение производства, — почти на шестьдесят процентов. Но так как фабрика выполняла военные заказы, она

получала от правительства особое пособие для содержания в порядке бездействующих машин. В цехах длинными рядами тянулись сотни бездействующих станков, покрытых парусиновыми чехлами, и каждый день их аккуратно чистили и смазывали маслом. Для этого были выделены специальные люди. Очень важно было иметь среди них своего человека.

Даже самые крепкие рабочие, когда их захлестывает волна безработицы, нередко падают духом. Этого-то как раз и боялся Исикава и потому так хотел устроить О-Кими на текстильную фабрику Канаяма.

Но и эта славившаяся по всей Японии фабрика под влиянием падения курса китайского серебряного доллара, оградительных пошлин в Индии и наложения эмбарго на золото теперь уже свертывала производство на тридцать пять процентов, усиленно сокращая в то же время количество рабочих. Однако благодаря влиянию на фабрике «правых» увольнения до сих пор сходили гладко с помощью одного только выходного пособия, которое выдавала увольняемым администрация и дараканы¹. А вместе с тем на этой фабрике каждый день набирали новых работников.

Что это значило?

Это было не что иное, как искусно осуществляемая рационализация. Компания намеревалась в течение полугода заменить старых, опытных работниц «свежими», шестнадцати — семнадцатилетними девушками, согласными работать за одну треть прежнего жалованья. «Новеньких» помещали совершенно изолированно, в особом общежитии и не позволяли им общаться со старыми работницами.

О-Кими, одолжив у О-Ёси метрическое свидетельство, в течение двух дней училась у нее говору префектуры Фукуи, а затем в темном деревенского покроя платье, высоко подпоясанная красным поясом, изменив прическу, отправилась наниматься.

О-Ёси смеялась до слез, глядя на ее приготовления.

— Ничего не вышло! — еще с порога закричала О-Кими, вернувшись домой. — Их там не перехитришь!

¹ Д а р а к а н — очень распространенная среди рабочих бранная кличка по адресу профсоюзных бюрократов и оппортунистов (образована путем сокращения из двух слов: «д а р а к у к а м б у», что дословно значит «разложившееся руководство»).

О-Кими не спотыкалась, когда ей на фабрике дали городскую обувь, и никак не похоже было, чтобы до сих пор она видела вокруг себя одни лишь леса и поля, да и руки фабричной работницы без труда можно было отличить от рук, державших мотыгу и заступ. Одним словом, тут нечего было разговаривать. Пришлось О-Кими оставить мысль о фабрике.

Для начала Исикава поручил тамошним «организаторам» пронести на фабрику что-нибудь из революционной литературы, например «Сэнки»¹. Журнал имел успех. Но, к сожалению, в нем имелись большие недостатки: яркая, бросающаяся в глаза обложка, устрашающие карикатуры; стоило развернуть страницы, как сразу же пестрели слова «пролетариат», «Маркс»; к тому же журнал был очень толст, пронести его на фабрику было трудно, да и неудобно было иметь его всегда под рукой, чтобы использовать для чтения свободную минутку. Некоторые говорили, что хорошо было бы сделать журнал подешевле и потоньше и так, чтобы легко можно было вырвать наиболее интересные статьи. Исикава решил сообщить об этом через товарища С. из «Второй Мусанся-Симбун».

Во «Второй Мусанся-Симбун» передовицы были трудные, заметки о забастовках и других событиях недостаточно интересны. Слова и лозунги, напечатанные жирным шрифтом в самой середине газеты, тоже отпугивали многих. Поэтому количество читателей ее не увеличивалось.

В районе У. работа мало-помалу налаживалась. Правда, людей все еще не хватало, но все-таки уже можно было созвать районное совещание.

По мере того как работа входила в колею, Исикава все острее ощущал необходимость в безопасной квартире, которая избавляла бы его от ненужных хлопот и риска. В начале апреля он поселился вместе с О-Кими в маленьком домике в пригороде, поручив девушке обязанности своего секретаря. Конечно, это требовало расходов на дорогу до района У., но здесь было безопасней, и выбирать не приходилось.

¹ «Сэнки» («Боевое знамя») — революционный пропагандистский журнал, издававшийся японским Союзом левых писателей «Прорэтэриа сакка домей» в 1927—1931 гг.

На первых порах О-Кими никак не могла отделаться от чувства какой-то неловкости, которое вызывала в ней эта жизнь вдвоем. Такое настроение очень мучило ее.

Исикава же относился к этому чрезвычайно просто, возможно потому, что привык жить где и как придется. В прошлом рабочий-токарь, прямой, серьезный по натуре, он в то же время часто смешил О-Кими, рассказывая ей забавные вещи.

О-Кими по временам казалось, что Исикава ее родной брат. Вечерами, когда они возвращались домой, Исикава обычно укладывался спать первым; он сразу же засыпал — слышно было только его ровное дыхание. Впрочем, напряженная и спешная работа этих дней скоро заставила ее забыть о том смущении, которое она испытывала в первое время.

Однажды вечером, с наступлением темноты, вдруг полил проливной дождь. Поднявшийся ветер стучал ставнями. О-Кими почему-то особенно тревожилась за Исикава. Он вернулся около десяти часов, насквозь промокший. В этот вечер он простудился.

— Вот это уже совсем не подобает рабочему! — досадовал он.

Однако из-за его болезни работа не должна была прекращаться или откладываться ни на один день. Пришлось О-Кими взять на себя его обязанности. Его болезнь неожиданно заставила ее активно включиться в его работу. Она с жаром выполняла все, что он ей поручал. Исикава, беспомощный из-за своей болезни, только беспрестанно напоминал ей о том, чтобы она остерегалась и по неосторожности не привела бы за собой шпика. Ночами она, не смыкая глаз, резала бумагу для шапирографа, а днем без усталости бегала по разным местам, имея в кармане каких-нибудь жалких несколько сэн.

О-Кими встретила с О-Ёси по делу, и, закончив деловой разговор, девушки по старой привычке закусывать на скорую руку зашли в лавку, торговавшую сладким горохом. И тогда О-Ёси вдруг заговорила о Моримото.

— Он в последнее время совсем исхудал, бедный! Серьезно просит меня как-нибудь помочь ему. Он так ищет тебя повсюду!

«Зачем она говорит об этом? — подумала О-Кими. — Ведь с этим все равно уже покончено раз навсегда».

— По его словам, все так получилось потому, что он по-настоящему серьезно любил тебя. Даже теперь, когда ты его бросила, он нисколько к тебе не переменился.

«Да, это похоже на него. Он и должен быть таким», — подумала О-Кими. Слушая О-Ёси, она почувствовала, как в груди ее снова оживает забытая нежность. Но она подавила в себе это чувство.

— Ёси-тян, ведь в конце концов Мори-сан хуже даже, чем провокатор Судзуки!

Ёси-тян смущенно рассмеялась.

— Да, конечно. Я ведь говорю только про его чувство... а работа — особое дело...

— Ну, а я с этим не согласна. Пусть любовь, пусть страсть, — все равно ее нельзя отделять от нашего дела. У капиталистов вся любовь построена на деньгах, для них она только забава. Какие-нибудь там служащие и интеллигенты, наверное, представляют себе любовь не иначе, как в своем домике, пусть в тесном, узком, но зато своем! Ну, а наша рабочая любовь должна быть боевая, должна идти в ногу с нашим делом!

Говоря такие непривычные для нее фразы, О-Кими то и дело запиналась и под конец вся покраснелась от смущения.

Ёси-тян от души засмеялась.

— Ай-да молодец! Молодец наша Кийко! Когда это ты успела всему этому научиться?

О-Кими окончательно смутилась.

— Вот какая, Ёси-тян: человек серьезно говорит, а она насмехается...

И обе залились смехом.

— Ну, хочешь, я скажу тебе еще одну замечательную истину? Всякие там чувства буржуазии и интеллигенции — это личное дело, и ничего больше. А наша пролетарская любовь должна всегда, до конца быть классовой, должна быть не личным делом, а общественным. Вот как! Здорово?

Выпалив все это, О-Кими засмеялась так, что на глазах у нее выступили слезы. В эту минуту она снова напоминала прежнюю, веселую О-Кими. Неожиданно Еси сделалась серьезной.

— Знаешь, завидую я тебе. Исикава-сан ведь такой сознательный! Ты у него можешь многому научиться!

О-Кими вспыхнула.

— Что ты! Сказала тоже! Товарищ Исикава и пол-слова о таких вещах не говорит!

Как только температура немного спала, Исикава встал с постели.

— Ого, выходит, и я могу похудеть, а?

Он закатил рукав и рассматривал свою руку с таким видом, как будто видел на ней что-то очень любопытное.

Впервые после долгого перерыва он вышел на улицу.

После его ухода О-Кими присела к столу и неожиданно поймала себя на том, что думает об Исикава. Со времени его болезни, когда ей пришлось ухаживать за ним и оказывать ему разные мелкие услуги, она привязалась к нему так, что и сама стала замечать это. Даже разговаривать с ним она стала иначе.

«Что-то во мне, наверное, есть легкомысленное! Глупости! Ведь если бы я была легкомысленной, уж, конечно, я бы не порвала с Моримото. Наверно, так!» — Эта мысль успокоила ее.

Собравшись, наконец, постирать, она собрала трусы и ситцевые рубашки Исикава, захватила и свое грязное белье и вышла на задний двор.

Исикава, вернувшись около восьми часов, заявил, что из благоразумия закончил сегодня все свои дела пораньше. Работа спорилась, и он был в прекрасном настроении.

— Ну как, все в порядке? Смотри не забывай о знаке в окне. Ведь они могут слопать нас из-за самого маленького нашего промаха... вот такого... — И с этими словами Исикава вытянул вперед палец, показывая, какого маленького промаха достаточно, чтобы попасться. На их условном языке это означало, что в случае ареста им грозит десять лет заключения. Все это он говорил веселым, беззаботным тоном,

О-Кими почувствовала, как из самого ее сердца подымается глубокая нежность к этому человеку. Надо всегда быть вместе с ним, оберегать его, хотя бы это стоило жизни...

— Что с тобой?

Она стояла неподвижно, рассеянно уставившись глазами куда-то в пространство. Голос Исикава вернул ее к действительности.

— Ничего... Так что-то тревожно...

— Полно, да разве я им поддамся! — Но, по правде сказать, он узнал сегодня, что товарищ С. из «Второй Мусанся-Симбун», по-видимому, арестован. Требовалась осторожность. У текстильщиков, у химиков и у металлургов уже организовались группы, хотя и немногочисленные. Сейчас ни в коем случае нельзя было выбывать из строя, ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы полиция их выследила.

О-Кими некоторое время молчала.

— Да, не попадайтесь им, ни за что не попадайтесь, хорошо? — проговорила она после небольшой паузы.

Переодеваясь, Исикава рассказывал о том, что на фабрике Канабиси наконец-то провели собрание группы, что слухи об увольнении подтвердились и рабочие очень возбуждены. Хотя сначала все отзывались как будто бы очень пренебрежительно о листовках, которые разбросали на «празднике слияния акционерных компаний» мобилизованные для этого члены союза портовых рабочих, но, по-видимому, агитация все-таки подействовала.

— Они хотят увязать это с международными вопросами. Будет, я думаю, очень интересно. Точно еще не знаю, но...

Ему никак не удавалось развязать непривычный для него галстук. Но О-Кими понимала в галстуках еще меньше, чем он, и никак не могла помочь ему.

— Опять, наверное, будут говорить о Камчатке?

— Да, и о пятилетнем плане тоже. Столкновение между страной, строящей социализм, и империалистической Японией произойдет, вероятно, именно в тех местах. Что тогда будет?

— Может быть, все страны только и ждут этого, чтобы начать войну с Россией...

— Так, так, совершенно верно! — сказал он и весело засмеялся. — Занималась, видно?

— Вовсе нет!

Он опять засмеялся. — Ну, скоро и на Канабиси зашевелиятся... Работы будет хоть отбавляй.

8

— Ого, вот это ловкий ход, черт бы тебя побрал!

— Что, приходится признать, а?

Молодой шахматист усмехнулся, подбрасывая на ладони фигуру.

Как только обед был окончен, у стеклянного окна в столовой разложили шахматную доску.

— Эй, папаша, так ходить не годится! — вмешался шелопай Нобу, стоявший подле, засунув руки за пояс висевших мешком брюк.

— Но, но, не болтай лишнего! — недовольным голосом пробормотал мастер лакировочного цеха, не отрывая глаз от шахматной доски.

— Да все равно уж капут! — Нобу засмеялся и отошел.

— Послушай, папаша, это правда, ты... ходил к директору и носил ему... — Молодой шахматист понизил голос.

Мастер поднял голову и испуганно заморгал глазами, но тотчас же снова с унылым видом уставился на доску.

— У меня семья — восемь ртов... с внуками...

— Гм... Так-то так, да все же...

— Теперь ведь не зря болтают... ты сам, верно, видел эти листовки. А я еще раньше знал... Чуть что — так ведь меня в первую голову выгонят.

Парень немного подумал и со стуком передвинул фигуру на доске.

— Хожу ладьей... Да, может быть и так. Но ведь в таком положении не ты один, папаша, так что нехорошо так делать... Бегать к директору... Прежде всего...

— Да знаю я, знаю и сам...

— В таком деле все должны действовать сообща. Вот как раньше. Сейчас, папаша, как раз все обмозговывают, как быть дальше, только действовать нам надо дружно...

Старик почесал пешкой затылок.

— Да ведь носил-то не один я... Я, если что, всегда вместе с товарищами...

— Вот за это спасибо! Прошу! Ну, теперь как пойдешь?

Мастер, зажав ладью между указательным и средним пальцем, бегал глазами по доске, обдумывая ход.

— Да, но вот, выйдет ли из этого что-нибудь?

— Гляди сюда! — С этими словами парень с силой согнул руку в локте и показал мастеру вздувшийся бицепс.

— Эй, сходим-ка, прогуляемся до таможни... — окликнул Моримото рабочий из литейной.

Моримото, гревшийся на солнце, прислонившись к бетонной стене, поднял голову, но лицо его оставалось угрюмым.

«Оставили бы меня в покое», — подумал он.

— Вставай, вставай! — Парень схватил Моримото за руки и с криком: «Раз, два, три!» — заставил его встать на ноги.

Они зашагали рядом. Моримото время от времени встряхивал головой и прижимал пальцы к вискам.

— Пьешь?

— Нет. До того ли... С головой у меня в последнее время что-то неладно...

Приятель только взглянул на Моримото и ничего не сказал.

Через несколько минут они вышли к зданию таможни на пристани. У низкого причала были вплотную пришвартованы катера и шлюпки.

— Сходил бы ты разок к девицам да разогнал бы тоску! — Приятель, смеясь, хлопнул Моримото по плечу.

— Женщины? Ну нет, спасибо! — Он отвернулся. Как это было непохоже на прежнего Моримото!

— А что О-Кими?

— Не знаю.

Немного помолчали. Неожиданно Моримото, все так же сжимая виски пальцами, заговорил:

— Тогда... когда все это случилось... выходит, я был неправ...

Услышав эти слова, собеседник весь просиял.

— Ага, увидел листовки, так небось взяло за живое! Но Моримото ничего не ответил.

Тот подождал немного. Затем настойчиво спросил?

— Ну, что скажешь?

— Я хочу денька так через два-три уйти с фабрики совсем... С головой у меня пеладно, да и, главное, ничего здесь нет интересного... — Сказав это, он уставился глазами куда-то в пространство и задумался.

Оба молча пошли назад.

Расставшись с Моримото, его спутник направился во второй цех и подошел к молодому рабочему, читавшему в углу газету.

— Эй, закурить есть? — окликнул он его. Затем, понизив голос, добавил: — Моримото не поддается.

Читавший газету быстро взглянул ему в лицо.

— Так, понятно... — и кивнул головой.

Анархист Такэбаяси, облокотившись на станину, покурил дешевую папироску и говорил о женщинах, а его товарищ, ползая под станком на животе, проверял пусковой механизм. Кто не умеет цинично и грубо говорить о женщинах, тот не может стать анархистом, — такова была постоянная теория Такэбаяси. Но внезапно, как будто вспомнив что-то, Такэбаяси перевел разговор на другую тему.

— Кажется, на этот раз и мою милость погонят с фабрики!

Собеседник его, снова нырнув под машину, что-то завинчивал с побагровевшим лицом.

— Да уж это, как говорится, факт. Безусловно.

— Чего ты болтаешь? Я им до этого такой скандал устрою!

— Сомневаюсь я что-то: у тебя ведь только и есть на уме что за бабами бегать... Вы, «ультра», ни на что путное не годны... Как доходит до дела, так вы сразу: это, мол, массовые действия, а сами в кусты.

В это время, воспользовавшись обеденным перерывом, в цех вошел председатель Компании.

После инцидента с листовками он в сопровождении начальника охраны каждый день появлялся на фабрике. Дела у него здесь не было никакого, но все же он расхаживал между машинами, присматривался, заглядывал в темные уголки склада. Мастер, увидев издали фигуру председателя, поклонился ему так низко, что почти коснулся головой колен. Такэбаяси инстинктивно бросил

недокуренную папироску и затоптал ее ногой на бетонном полу.

— Эге-ге, храбриться-то ты храбришься, а папироску небось бросил? — Собеседник уловил движение Такэбаяси. — Ну, покажи-ка хоть разок свою храбрость на людях!

Такэбаяси, смутившись, вышел из цеха.

— А в Годородо говорят, что, когда начнутся увольнения, они нам помогут... — сказал стоявший по другую сторону машин рабочий по прозвищу «папаша из Гавани».

— Это «Усатый Гэн»-то поможет?

— Ага. Ведь еще немножко, и дело дойдет до забастовки!

— Факт, что дойдет. Только от «Усатого Гэна» толку немного.

На лице «папаши» выразилось удивление. Ведь в У. не было человека, который бы не знал знаменитого профсоюзного работника Гэна.

Собеседник осторожно переспросил:

— Так это правда, что они хотят помогать нам?

— Да, Иосида из лакировочного цеха, говорят, что-то слышал об этом...

— Гм... «Усатый Гэн» осенью будет выставлять свою кандидатуру на выборах в муниципалитет, так, верно, хочет обеспечить себе избирателей...

«Нельзя зевать, нужно немедленно сообщить об этом работникам группы», — подумал он.

— Разве можно терпеть, чтобы нас превращали в какое-то орудие для личных целей? Мы же в дураках и останемся. Я категорически против Гэна!

— Ты это взаправду? — удивился «папаша».

— Ясно! Забастовка — это наше дело, и проводить мы ее будем своими силами! — С этими словами он высунул из-под станка перепачканное машинным маслом лицо.

— Ну соси, соси как следует, уже пора!

На ровно подстриженной лужайке возле склада несколько работниц средних лет, обнажив груди, кормят детей. Девочки, на спинах пригашившие ребят из дому, играют поодаль в мяч. Солнце заливает лужайку ярким светом.

— Твой-то какой большой стал...

— Какое там! Он ведь и не ест порядком... да и от работы этой молока у меня мало...

— Еще бы!

— Покормлю его один раз, а потом до вечера молока больше нет. Прямо смотреть больно!

— Ну, пора!

Ребенок перестал сосать, но ни за что не хотел уходить с колен матери.

— Ну, не надо капризничать, не надо, Ёт-тян ведь у меня умница... ну, ну...

Ребенок барахтается и заливается плачем. Матери торопливо оправляют кимоно и повязывают белые рабочие фартуки. Затем поспешно целуют детей в обе щеки.

— Ну, умница, умница моя, не плачь!

— Мама тебе что-то купит...

— Говорят, когда будет рационализация, работников, у которых есть дети, выкинут в первую очередь...

— Ты тоже об этом слышала? Я слышала, да боялась говорить...

Прозвучал сигнал к работе, и матери побежали; вслед им неся пронзительный плач ребят.

— Они говорят, у кого дети, у тех, мол, низкая производительность... Негодяи!

— Хотят, наверно, набрать вместо нас шестнадцатилетних.

Бежавшая впереди всех работница, по фамилии Татино, работавшая вместе с мужем в складе материалов, услышав эти слова, вдруг круто обернулась.

— Ну, пока нечего волноваться. Будет забастовка, тогда мы им покажем!

— Да?.. Но все-таки, если меня уволят, что я буду делать? Прямо ума не приложу...

— Не ты одна — все так.

— Да ведь будь я одинокая... а то ведь у меня ребенок... Ну уж будь что будет, а на этот раз я прямо зубами готова грызть...

— В самом деле? Верно говоришь?

— Вот потому-то, если уж начнется забастовка, так нужно держаться крепко. Если провалим дело, плохо нам всем придется! — взмахнув руками, крикнула работница со склада.

В вечерних газетах в этот день появилась заметка следующего содержания:

«Пятьсот рабочих баночной фабрики Канабиси охвачены волнением.

Из-за захлестнувшей весь мир депрессии, а также из-за пагубного влияния советского пятилетнего плана даже на знаменитой фабрике Канабиси, славящейся как «У-ский Форд», в ближайшее время предвидится сокращение рабочих и понижение заработной платы. Рабочие охвачены тревогой и не в состоянии работать. Против деятельности ультралевых элементов союза Дзэнкё принимаются строжайшие меры».

9

Этой же ночью, спустя приблизительно час.

В рабочем районе ни души.

Чернеющие в темноте очертания складов, волнообразные контуры стеклянных фабричных крыш, выстроившиеся рядами шапки вентиляторов... Все это как будто стало ниже, приземистей и безмолвствует в глубоком мраке ночи.

На асфальтовой дороге раздались звуки осторожных шагов. Кто-то шел вдоль высокой бетонной стены, стараясь, видимо, держаться поближе к ней; тень от стены скрывала фигуру идущего. Но вот кто-то широкоплечий, высокий, в кепке, завернул за угол и вышел на проспект, залитый светом электрических фонарей. Здесь он остановился и внимательно оглядел улицу, затем, повернувшись назад, быстро поднял и опустил руку и неторопливо зашагал дальше.

Сейчас же позади появилась другая тень, держась на некотором расстоянии от первой. Остановившись, она мазнула чем-то бетонную стену. Затем и эта тень, подобно первой, зашагала по проспекту.

Появилась третья тень и быстрым, точным движением наклеила прокламацию на то место, которое чем-то смазал предыдущий. Затем, как ни в чем не бывало, двинулась дальше, внимательно приглядываясь к стенам, которые так же, как и раньше, мазал клеем идущий впереди.

Один покрывал стену клеем, другой наклеивал листовки, — все их движения были предельно быстры и

скупы. Казалось, совершенно случайно по одной и той же дороге в одном направлении идут трое не имеющих между собой ничего общего, совершенно посторонних друг другу людей.

Стараясь по возможности держаться у неосвещенных стен, соблюдая всё ту же дистанцию, прошли эти трое мимо фасада баночной фабрики Канабиси. А позади них белели в темноте ночи светлые пятна расклеенных листовок.

«Создадим собственными силами «Комитет борьбы с увольнением и снижением зарплаты!»

Перейдем в контратаку!!

Лапы капиталистов подбираются уже к нашему горлу.

Объединяйтесь и организуйте группу в каждом цехе!

Выберем в «Комитет борьбы» наиболее преданных и стойких представителей.

Не поддадимся на удочки профсоюзных бюрократов, продающих нас ради того, чтобы самим пролезть в парламент и сделаться господами депутатами.

За нас единственный в Японии подлинно революционный профсоюз Дзэнкё.

Вперед под знаменем революции!»

10

В полосатом шелковом кимоно, в твердом оби, в белых таби¹, — как ни приглядывайся, а узнать в этом человеке Исикава совершенно невозможно. «Это замечательно, что здесь никто еще не обратил на меня внимания», — думал Исикава. В таком костюме он вернулся домой раньше обычного.

— Ну и вид же у вас!

— Здорово я вырядился? — засмеялся он.

Исикава снял хаори² и повернулся спиной к О-Кими, показывая ей завязанный по всем правилам оби.

¹ Оби — очень широкий пояс, несколько раз обматывающийся вокруг талии, непременная принадлежность японского национального костюма. Таби — японские носки из плотной материи с отдельным большим пальцем.

² Короткое верхнее кимоно.

— Пришлось чертовски потрудиться, пока научился завязывать его как следует. А все же этот костюм лучше, чем студенческая форма: в этом кимоно я чувствую себя совсем в своей тарелке.

Когда Исикава шутил, в нем появлялось что-то детское, очень привлекательное.

— Мне сегодня рассказали, что в Н-ском парке, и в ресторане, и в закусочных, и в кино — всюду выставлены мои фотографии. Говорят, красавчиком изображен!

«Ю все-таки и сегодня он вернулся благополучно!» — Только сейчас О-Кими вздохнула с облегчением. И так повторялось каждый день!

В последнее время им почти никогда не случалось ужинать вместе. Поэтому сейчас они уселись за стол с особым, давно не испытанным удовольствием.

— Говорят, Мори-сан ушел с фабрики... — накладывая рис в чашки, вспомнила вдруг О-Кими. — Что-то у него с головой неладно... — Она услышала сегодня об этом от О-Ёси.

— Вот как? Ну, а тебя уж, поди, совесть мучит? — Исикава прыснул от смеха, и рис разлетелся у него из рта во все стороны.

— О-о, какой вы нехороший! Разве это по-товарищески — говорить такие вещи?

— Да я пошутил. Ты ведь сама, наверно, не понимаешь, как много делаешь сейчас для освобождения японского пролетариата, а потяни тебя тогда Моримото за собой, грош бы тебе была цена.

Исикава аккуратно подобрал со стола и с циновки вылетевшие у него из рта рисинки и снова отправил их в рот.

— И в твою чашку тоже, кажется, попало, — ты уж извини!

— Да ладно! — Только произнеся эти слова, О-Кими спохватилась и покраснела.

— Мы с тобой живем душа в душу, а? — Исикава громко захохотал. — Ничто так не опасно для дела, как эти романы. Не должно быть ничего личного... Вот на твоём примере это как раз хорошо видно!

До сих пор им ни разу не случалось затрагивать подобную тему. И сейчас О-Кими с каким-то странным волнением ждала следующих его слов. Но Исикава больше ничего не сказал.

«Это не человек, а прямо робот какой-то, — подумала О-Кими. Она совсем упала духом. — Но, может быть, революционер и должен быть роботом!» — мелькнуло у нее в голове.

Когда ужин был окончен, Исикава разложил на столе бумаги и принялся писать. Убирая со стола, О-Кими то и дело поглядывала на широкие крепкие плечи этого бесчувственного человека, сидевшего к ней спиной.

— Сегодня не нужно что-нибудь делать? Бумагу резать?

— Нет, не нужно.

Прошел час. Написав три письма, Исикава встал из-за стола.

— Ну, на сегодня хватит! — Он вытянул сжатые в кулак руки и потянулся.

Исикава давно уже заметил чувство, которое питала к нему О-Кими. Однако он считал, что если только сам сможет сдержаться, то лучше не заводить их отношения слишком далеко. В самом деле, ведь завтра ему, может быть, придется расстаться с О-Кими и, может быть, обстоятельства заставят его вести такую же жизнь с другой женщиной, товарищем по работе. Да и только ли это? А если его арестуют? Десять лет тюрьмы ему обеспечено.

Однако Исикава был далек от мысли, что люди, участвующие в движении, не должны любить. Он только считал, что для успеха дела нужно уметь держать себя в руках. И действительно, бывали ведь случаи, когда из-за женщины возникали раздоры между лучшими товарищами, и это вредило делу, или когда, влюбившись в женщину, специально подосланную полицией, попадались в ловушку и тем самым губили с невероятным трудом созданную организацию; бывало, что из-за половой распущенности люди, пользовавшиеся авторитетом, пропадали ни за грош, попадали в руки полиции; случалось даже, что иные заставляли женщину, товарища по работе, вступать в связь, а если женщины не соглашались — начинали всячески придирааться и бойкотировать их, хотя часто это были прекрасные работницы, и даже, хотя это может показаться невероятным, доносили на этих женщин полиции.

Однако случалось, что сам Исикава, вернувшись с работы, усталый, ворочаясь в постели, не мог заснуть и не

раз готов был хотя бы силой войти в комнату к О-Кими. Но все-таки с последний момент ему всегда удавалось справиться в собой. Зато на следующий день голова у него была как будто налита свинцом. Но эти его усилия вовсе не были обусловлены каким-либо добровольным аскетизмом.

О-Кими правилась Исикава. К тому же ее история с Моримото показала, что она решительная и твердая женщина. Однако вступить с ней в связь — это непременно значило бы примешать к тому серьезному делу, которое они выполняли, новые, запутанные отношения, которые не так-то легко будет отодвинуть на задний план, как личные, если в этом появится необходимость. И поэтому он считал, что если путем некоторого усилия над собой можно избежать этого, то безусловно следует и даже более того — необходимо сделать это усилие. А разве в революционной работе бывает хоть когда-нибудь так, чтобы человек мог обойтись без всякого усилия? Он думал, что как-нибудь на досуге обстоятельно потолкует об этом с О-Кими.

11

Стоявший на страже Нисикуні просунул лицо в дверь комнаты в мезонине.

— «Дядя» пришел! — сказал он.

Прикорнувший в углу Имагава с фабрики «Токио-целлулоид» сел и взглянул на часы.

— Семь часов, минута в минуту!

Как-то раз он пришел на место встречи минут на пять позже условленного времени, и «Дядя» ругал его тогда, говоря, что за такой поступок назвать его шпиком — и то много не будет!

— Да, уж он точен!

Болтавшие между собой Суда с текстильной фабрики Канаяма и Цукудо с фабрики «Имперский лен» тотчас же прекратили разговор, и лица их приняли напряженное выражение.

Заскрипели ступеньки лестницы, и показался Исикава, обутый в белые таби.

— Здравóво!

— Здравствуйте!

У порога он снял таби и засунул за пазуху. Затем уселся спиной к двери. Окинув взглядом собравшихся, он заметил, что недостает О-Ёси.

— А где Ёси-тян?

— Пошла вниз за чаем...

— Ага... Ну, ладно, довольно и тех, кто есть.

Нисикуни снова направляется вниз.

— Когда начнем, пусть Ёси-тян посторожит вместо тебя! — крикнул ему вслед Исикава.

Вскоре с чашками дешевого чая на подносе вошла О-Ёси и поздоровалась с Исикава. Он залпом выпил чай и снова протянул ей пустую чашку.

— Будь добра, налей еще чашечку горячего... Устал...

— Конечно, пожалуйста. — О-Ёси спустилась вниз.

— Ну, как настроение? Ничего? — Улыбаясь, «Дядя» приветливо смотрел на собравшихся.

За исключением О-Ёси, ни один из фабричных организаторов не знал настоящего имени Исикава. Все звали его просто «Дядя». Прозвали его так за приветливое отношение к людям и спокойную уверенность в себе, которая чувствовалась в нем. Впрочем, не один только Исикава имел кличку. За последнее время повсюду среди участников движения вошло в обыкновение давать друг другу прозвища. Товарищей называли: «Бонза», «Приказчик», «Пучеглазый» и тому подобными именами.

— Ну, начнем, — произнес Исикава, когда Нисикуни снова вошел в комнату, и зажмурил глаза, как это он делал всегда, собираясь начать речь.

Четыре пары глаз смотрели ему прямо в рот.

— Я думаю, что сегодня на нашем экстренном совещании района У. мы должны прежде всего заняться вопросом борьбы за проведение наступающего Первого мая...

— Правильно, — тихонько вставил Суда с текстильной фабрики.

— В этом году участие в демонстрации организаций, примыкающих к «Дзенкё», будет, по-видимому, запрещено.

— Несомненно!

— Официальная, то есть разрешенная властями и, значит, по существу обескровленная процессия должна пройти по заранее назначенному маршруту — по тем улицам, где находятся банки, кафе, магазины. Вопрос заклю-

чается в том, что предпримем мы в ответ на это, как мы будем бороться за Первое мая... — Исикава уселся поудобнее. — Для этого прежде всего нужно отчетливо представлять себе, что такое, собственно говоря, Первое мая...

Вошла О-Еси, неся горячий чай.

— А, чай! — Исикава шумно отхлебнул из чашки.

— Первое мая тоже разные бывают. Россия, конечно, особая статья, но даже в Англии или во Франции в праздновании Первого мая принимают участие революционные организации. Чем больше рабочих профсоюзов во главе с компартией участвует там в проведении Первого мая, тем отчетливее этот праздник принимает характер революционной демонстрации. Ну, а в Японии — что уж говорить о компартии, даже профсоюзам, входящим в Дзэнкё, и тем запрещено участвовать в демонстрации. Это будет не шествие, а прямо похоронная процессия. Правда, иногда пролетарская похоронная процессия тоже может быть настоящей революционной демонстрацией, вот как на похоронах Сэндзи Ямамото¹. Только на этот раз это будет, по-видимому, настоящая похоронная процессия, в полном смысле этого слова. Поэтому одно только участие в шествии несколько еще не будет значить, что мы действительно боролись за Первое мая.

Прежде всего мы должны как следует уяснить себе, что господствующие классы в Японии используют Первое мая в своих интересах. В последнее время на примере любой забастовки видно, что репрессии властей только усиливают все растущие революционные настроения пролетариата. Вот почему они и стараются использовать Первое мая как одно из орудий отвлечения этих революционных настроений на ложный путь. Они боятся вовсе не участия рабочих в процессии, которая заранее ими всячески подготовлена и обработана, — они боятся забастовок. Будь у них надежда, что такой демонстрацией можно предотвратить забастовку, они согласились бы не один, а несколько раз в году отмечать день Первого мая.

Что касается маршрута шествия, то тут тоже скрыта очень хитрая ловушка капиталистов. Громадная ошибка думать, будто маршрут демонстрации не имеет значения.

¹ Сэндзи Ямамото — первый депутат парламента от левой партии Роното, убитый фашистами в 1929 г.

Первомайская демонстрация нужна не для кафе, не для банков. Она должна пройти по заводским, фабричным районам, где сконцентрировано рабочее население — вот тогда это действительно будет настоящая демонстрация. Да только для господствующих классов это и есть самое страшное... — «Дядя» помолчал немного.

Затаив дыхание, не спуская с него глаз, все четверо слушали, не пропуская ни одного слова.

— Ну вот, я думаю, что из моих слов вы сами поймете, как нужно бороться за действительно революционное Первое мая в нашей стране. — С этими словами он вытащил из-за пазухи какую-то бумагу. — Итак, программа нашей борьбы за Первое мая будет следующей: ¹ во-первых, Первого мая остановить все машины на фабриках...

— Правильно.

— Без этого никакая борьба за Первое мая невозможна.

— Верно!

— Нужно, чтобы все это как следует поняли.

— Дальше. Нужно организовать особый рабочий отряд, который пройдет по рабочим районам и, слившись с остальными, направится и на другие предприятия.

Слушатели заволновались.

— В-третьих, чтобы привлечь на свою сторону широкие массы, особый отряд должен слиться с основной колонной у перекрестка С.; таким образом, с помощью особого отряда нам удастся революционизировать основную колонну шествия.

— Замечательно! — крикнул Суда.

— Но, уж решив провести такую революционную демонстрацию, мы должны организовать специальную боевую группу, «группу красной самообороны», которая будет готова к сопротивлению.

— Так, так.

— Вот в общих чертах наша установка. Теперь встает вопрос о том, как конкретно осуществить все это в районе У. Если у кого-нибудь есть другие мнения или вопросы, прошу высказаться.

¹ В оригинале по условиям японской цензуры во всей программе многочисленные пропуски слов и целых выражений, так что оставшийся доступный пониманию и переводу текст дает о ней только общее представление.

Исикава обвел глазами собравшихся и уселся поудобнее, скрестив ноги. Несогласных не было.

— Председатель! — Молчавший до сих пор Цукудо поднял руку. — Я полностью согласен с тем, что ты сейчас говорил. Но ведь организация только начала пускать корни на фабрике, и если нам не удастся выполнить эту программу, боюсь, как бы все это не свелось по существу к «левацким» затеям... В результате и организация погибнет и рабочие вылетят на улицу. Вот на это я хотел указать...

— Ты прав. Такая опасность, конечно, имеется. Поэтому организация особого отряда имеет только тактический смысл, как один из видов борьбы за Первое мая: например, для того чтобы проводить агитацию на колеблющихся фабриках, чтобы установить единый фронт с рабочими, мобилизованными в «похоронную процессию»... Ну, мне кажется, можно перейти к следующим вопросам.

— Согласны.

У Исикава уже имелся заранее разработанный план. Сейчас он хотел подвергнуть его обсуждению.

1. Он сам, так же как Цукудо, чувствовал опасность «левацкого загиба», вытекающую из переоценки собственных сил, а поэтому считал, что особый отряд должен быть составлен главным образом из членов союза портовых рабочих.

2. Чтобы ослабить силу возможного нападения полиции, выступать нужно не из одного, а из двух мест.

3. Главные силы демонстрации сосредоточить на баночной фабрике Канабиси, находящейся как раз в стадии колебаний.

4. Создать на каждом предприятии «Комитет подготовки к 1-му Мая» и вести в этот день энергичную агитацию.

5. Что касается баночной фабрики Канабиси, то, поскольку там организован «Комитет по борьбе с увольнениями и сокращением зарплаты», необходимо увязать эту борьбу с борьбой за проведение 1 Мая и выделить ответственную «тройку».

Этот проект был принят. Было еще решено, что Цукудо, Суда, Имагава и Нисикун, являющиеся уполномоченными на своих фабриках, конкретизируют этот план у себя на собраниях.

Исикава вытащил из-за пазухи белые таби, надел их и затем, усмехаясь, достал из рукава очки.

— Полный ассортимент, как видите! — сказал он и стал спускаться по лестнице.

12

Холодный предрассветный ветер гонит по еще пустынной, засохшей дороге вдоль трамвайного пути обрывки бумаги. Легкая рябь на стоячей воде канала тускло отражает блеск утренней зари, дробя его на мелкие части.

На барже девочка моет лицо. Жена лодочника, привязав ребенка к голым плечам, раздувает огонь, сидя на корточках перед печуркой, сделанной из керосиновой банки. Дым проходит под мостом и плывет по диагонали в холодном утреннем воздухе.

Через мост, держа под мышкой узелок с завтраком и засунув руки в рукава, проходит в черной рабочей одежде женщина лет сорока, похожая на уборщицу из конторы. Какой-то оборванец, облосотившись на перила моста, рассеянно наблюдает сверху за женой лодочника, приготовляющей пищу. Обрывки бумаги катятся по дороге совсем как живые, вот они уже возле моста.

Некоторое время на улице ни души. Но проходит полчаса, и трамваи один за другим начинают выплывать на пересохшую дорогу перепачканных в машинном масле рабочих. Глядишь, и вот уже грязный серый поток поплыл от трамвайного пути через мост в район фабрик и заводов, который начинается тут же. Наконец-то проглянуло солнце; холодный, неприятно белесый свет озарил сутулые спины.

— А-а-а-а!

Где-то впереди вдруг закричали, людской поток дрогнул и смешался.

— Что такое, что такое? — Шедшие позади вытягивались, заглядывая через плечи передних.

— Листовки!

Далеко впереди над уходящей волной голов целыми пачками взлетали и кружились в воздухе маленькие листовки. Кто-то со всех ног бежит прямо сюда!

В этот момент из толпы рабочих выскочил какой-то человек в европейском костюме.

— Это коммунист! Держи его!

— Коммунист?!

Парень в гетрах, разбрасывая листовки, летел со всех ног и, столкнувшись с «костюмом», остановился. Секунда — и лицо его резко изменилось.

— А-а, мешать вздумал?

В руке у него что-то сверкнуло.

«Костюм», храбро выскочивший было вперед, в замешательстве отступил. Смелый парень, продолжая разбрасывать листовки над головами пораженных рабочих, резко изменил направление и побежал в сторону пустыря, тянувшегося между текстильной фабрикой Канаяма и целлюлозным заводом. Теперь за ним гнались уже несколько человек в европейских костюмах. Им на подмогу кинулись десятка полтора рабочих. Бежавший время от времени оборачивался и швырял листовки прямо им в лицо.

Когда погоня, по-видимому, несколько устала, он снова изменил направление. Гнавшиеся остановились и, крича о чем-то друг другу, старались оцепить его.

— Настоящие полицейские ищейки, честное слово!

Рабочие смотрели издали на эту сцену, гадая, чем она кончится. Бегущий и его преследователи скрылись за углом здания текстильной фабрики Канаяма. Читая друг другу листовки, рабочие разошлись по цехам.

О-Ёси и Нисикуни хватали зараз по десять листовок и проворно раздавали их остальным.

«Приближается день нашей рабочей международной демонстрации — 1 Мая!

Хорошо ли мы подготовлены?

В нынешнем, богатом событиями году не отстанем от наших зарубежных братьев: боевыми демонстрациями и забастовками отметим 1 Мая!

Добьемся отдыха 1 Мая при полной выплате заработной платы за этот день!

Все до одного на демонстрацию!

Пусть первомайские колонны превратятся в мощные боевые отряды красной самообороны!

Категорически протестуем против подготовляемой капиталистами рационализации производства, направленной на подготовку империалистической войны!

Долой правительство помещиков и капиталистов!

Да здравствует Советская Россия!

Да здравствует правительство рабочих и крестьян!

Защищайте японскую коммунистическую партию!

Все под знамена Всеяпонского объединения революционных профсоюзов Дзэнкё!»

13

Утро 1 Мая.

Толпы народа, сплошной массой заполнившие всю дорогу от С-кого парка до перекрестка Н-ской улицы, сдавили Моримото со всех сторон.

Полицейские в гетрах, с ремешками под подбородком, стоящие через каждые несколько метров, теснят напиральную толпу. Проезжают отряды конной полиции, сдерживая подобранным поводом испуганных шумом лошадей. Цокают копыта. Из толпы по их адресу несутся грубые крики и насмешки. В толпе снуют полицейские, в глаза бросается блеск их коротко подвязанных сабель.

Через некоторое время со стороны парка раздались аплодисменты, шум голосов и звуки песни.

Стараясь рассмотреть, что там происходит, все теснились вперед, вытягивая шеи.

— Назад! Назад! — Между полицейскими, оцепившими толпу, и напиральными вперед зрителями завязалась борьба.

Послышались отчаянные вопли.

— А-а!

— Чего дерешься! У-у, сволочь!

— Сказано, за черту не выходить! — надрываясь, орет полицейский с пыльной усатой рожей, стиснутый среди бесчисленных плеч, голов, шляп.

— Идут, идут!

Слушай, рабочий народ...

В задних рядах другие голоса подхватывают эту же мелодию:

Слушай, рабочий наро-о-о-д...

Аплодисменты взволнованных зрителей громко прокатываются по улице. «Бандзай!» — кричит кто-то в толпе, и в рядах демонстрантов подхватывают: «Бандза-а-й!»

Ослепительно сверкают белые полотнища знамен с лозунгами. Мимо приближающихся отрядов демонстрантов проезжают конные полицейские. Проносится автомобиль

с установленным на нем киноаппаратом... Опять появляется конная полиция.

Плечо к плечу, твердо чеканя шаг, подтягиваются отставшие ряды демонстрантов. «Бандзай!» — кричит, обращаясь к толпе, какая-то работница, которую крепко держат под руки двое мускулистых парней, и толпа откликается: «Бандза-а-й!»

— Дружно, в ногу!

Пронзительно гудящий мотоциклет с коляской, в которой сидит высший полицейский чин с золотыми нашивками, обдает толпу перегаром газolina.

— У, скотина! — раздаются в толпе возмущенные голоса.

— Хоть бы постеснялся немного!

Медленно проезжает автомобиль полицейского управления; сидящие в нем полицейские внимательно приглядываются к лицам демонстрантов, как бы стараясь рассмотреть рассыпанных в рядах «левых». В толпе сейчас же раздается кашель и шиканье.

Слушай, рабочий народ!
...В грохочущий день Первомая...
В грохочущий день Первомая...
Грозную поступь колонн...
Грозную поступь колонн...

Красные знамена, черные знамена, знамена, знамена!

И с каждым новым знаменем звучат новые поющие голоса, и один за другим проходят отряды.

Вот показался и скрылся, сопровождаемый аплодисментами, отряд напудренных, принаряженных работниц Н-ской текстильной фабрики, предводительствуемый профсоюзными бюрократами.

К поющим мужским голосам присоединились высокие, тонкие женские:

— Долой дараканов!

— Не давайте обманывать себя!

— Бандзай!

Моримото вдруг насторожился. Он услышал насвистывание. Вначале насвистывал кто-то в толпе, но в следующий момент свист перенесся и в ряды демонстрантов. «Песня о красном знамени»¹.

¹ Запрещенная революционная песня.

чулки. Слышится стук бесчисленных легких быстрых женских каблучков, так не похожий на звук шагов других отрядов. Женщины размахивают белыми платочками от правого плеча к левому. Единый сплошной поток!

Моримото вдруг почудилось, что среди этих девушек находится и О-Кими, с того самого вечера исчезнувшая неизвестно куда. Ему казалось, будто сейчас она проходит мимо него; он словно видел ее круглое, улыбающееся личико с ямочками на щеках. Раздвигая толпу, не обращая внимания на давку, на толчки, он пошел за этим отрядом.

Демонстрация проходила по главной улице города, где не было ни фабрик, ни вообще каких-нибудь предприятий. Служащие торговых контор, магазинов и учреждений, столпившиеся у окон, у выхода на лестницы, на крышах, смотрели на проходящих демонстрантов с бледными, безучастными лицами, словно на какое-нибудь праздничное религиозное шествие.

На проспекте члены Потребительского союза предлагали всем воду. Здесь ряды демонстрантов рассыпались. Все побежали пить.

— Спасибо!

— Спасибо за угощение!

— Шагайте смелее! — произнес один из продавцов, подавая воду.

— Еще бы! — Пьющий с шумом отхлебнул воду и закричал:

— Да здравствует Потребительский союз! Банд-зай!

Воспользовавшись моментом, когда ряды пришли в расстройство, в толпу демонстрантов замешался какой-то молодой парень. Следом за ним подбежал полицейский.

— Кто присоединился сейчас? Вот этот, этот! — Полицейский хотел вытащить его из рядов.

— Не выдавать! Не выдавать! — Демонстранты, крепко держа друг друга под руки, плотной стеной человеческих тел окружили парня.

Подлетел полицейский автомобиль.

Моримото, сжав виски пальцами, спотыкаясь, пробирался через толпу. Лицо его искривилось, как будто он вот-вот заплачет.

В районе У., на проспекте, который начинался в конце улицы С., недалеко от канала, мальчишка-продавец, завязывавший пакет у входа в магазин, вдруг пронзительно завопил и вбежал в дом.

Было то же самое утро 1 Мая.

С грохотом распахнулись двери лавок вдоль всей улицы, и хозяева с приказчиками выскочили на улицу.

Из-за дощатой ограды, окружавшей строящееся на проспекте здание, стремительно вышел дружно шагавший отряд. Идущих было около сотни. Обмотки, грубая резиновая обувь, куртки, спецовки, на головах засаленные кепи... некоторые напоминают студентов... Лица у всех бледные и напряженные от волнения...

— Что это? Первомайская демонстрация, что ли?

— Да нет. Демонстрация ведь должна происходить в С-ком парке...

— Что же это такое?

Пешеходы испуганно сворачивали с дороги. Автомобили и велосипеды останавливались. Мало-помалу по обе стороны улицы образовалась стена зрителей.

Отряд пел «Первомайскую». Но не прошли и двадцати шагов, как «Первомайскую» сменила «Песня о красном знамени».

Над головами идущих развеваются, как длинные языки пламени, красные знамена.

«Охраняйте Всеяпонское объединение революционных профсоюзов Дзэнкё!»

«Долой империалистическую войну!»

И вдруг над удивленными, растерянными лицами, испуганно или с любопытством выглядывающими из-за плеч впереди стоящих, взлетели и рассыпались в воздухе листовки.

— Что это?

— Прокламации!

Зрители, не помня себя, протягивали руки и хватали листовки.

— Ах!

— Это коммунисты!

— Ну да?

— Ну да... конечно, коммунисты!

Сразу за мостом начинается фабричный район.

Когда особый первомайский отряд, более монолитный, чем стальной танк, подошел к мосту, толпа зрителей

вдруг с криком рассеялась. В самую гущу растерянных людей, отчаянно завывая, врезался грузовик. Один, второй, третий! И в каждом полицейские в шлемах.

Первый грузовик немного обогнал отряд и остановился. Полицейские один за другим в один момент соскочили на землю и загородили дорогу. Следующая машина остановилась прямо перед отрядом, последняя — позади.

Но песня не прекращалась. Окруженные полицейскими, похожими на стаю черных ворон, демонстранты продолжали двигаться вперед все так же сплоченно и неудержимо, как танк.

— Расходись, расходись! — закричал полицейский инспектор.

— А-а-а! — диким голосом вскрикнул вдруг полицейский, стоявший впереди. Взмахнув обеими руками в воздухе, он повалился на землю. Полицейские в замешательстве отступили, освободив путь.

Замелькали полотенца с завязанными в них камнями, палки...

— Сабли наголо! — раздался металлический голос.

Ряды демонстрантов дрогнули.

Но как раз в этот момент со двора фабрики Канаяма появился еще один отряд и присоединился к первому.

— На заводы!

— На баночную фабрику Канабиси!

Особый отряд вынужден был рассеяться под нажимом обнажившей сабли полиции раньше, чем успел добраться до фабрики.

Благодаря героическим усилиям О-Ёси, Нисикуни и других «комитет борьбы с увольнениями и сокращениями зарплаты» энергично проводил подготовку к 1 Мая и даже завербовал трех новых членов. Но как ни колебались широкие массы рабочих, они все же не решались выступить без конкретного повода со стороны Компании. Ведь как-никак баночная фабрика Канабиси долгое время славилась как «У-ский Форд». Сейчас, разумеется, фабрика уже ни в малейшей степени не оправдывала этого названия, но все же в критический момент Компания продолжала заигрывать с рабочими. Руководители Компании убеждали рабочих, что фабрика является образцовой, что

все работающие на ней очень довольны, а поэтому участвовать в первомайской демонстрации нечего. И многие рабочие думали, что, пожалуй, оно действительно так и есть...

Приказ об увольнении пятидесяти человек был объявлен утром 2-го мая. В этом-то и заключался искусный маневр Компании.

Но, когда на следующее утро семьи уволенных, ведя за руки или неся на спинах детей, столпились перед конторой, настроение рабочих резко изменилось.

И «комитет борьбы с увольнениями и сокращениями зарплаты» немедленно превратился в стачечный комитет!

14

Следят! — такое чувство охватило Исикава.

Здесь, в районе У., его нервы напрягались больше, чем в любом другом месте, при любой другой работе.

Шелковое полосатое кимоно, твердое оби, белые таби — как всегда, он не надевал европейского костюма. Провести шпика, идущего прямо навстречу, еще не так трудно. И очки, и наклеенные усы, и шляпа — тут все может пригодиться. Гораздо опаснее «тыл», который при всем желании бывает подчас невозможно замаскировать и который безошибочно выдает все особенности преследуемого. С этой точки зрения европейский костюм был еще опаснее японского.

И вот минут через двадцать после того, как он вышел от О-Ёси, Исикава, сам не понимая почему, не мог отделаться от ощущения, будто кто-то за ним идет следом. Такое предчувствие еще никогда его не обманывало.

У О-Ёси Исикава виделся с Нисикуни, с которым имел очень важную беседу относительно развертывания борьбы за забастовку на фабрике Канабиси, как непосредственного продолжения первомайской борьбы. Он шел не оглядываясь. Как бы искусно ни была изменена внешность, опасно встретить глазами чужой взгляд. К счастью, он имел с собой достаточно денег, чтобы нанять такси, а потому, выйдя на улицу, по которой проходил трамвай, и дойдя до хорошо знакомого ему переуллка, он оглянулся.

Так и есть! Агент полицейского управления, который должен был знать его в лицо, неуверенно шел за ним

следом. Но благодаря искусному маскараду сыщик, по-видимому, еще не сообразил, что перед ним Исикава.

«Неужели же я дам изловить себя этому мерзавцу!» — подумал Исикава и, неожиданно свернув в переулок, со всех ног пустился бежать.

Трамвайная остановка как будто тоже была оцеплена шпиками. Можно было заранее предполагать, что за первомайскими событиями последуют аресты, и потому следовало быть весьма осторожным. В довершение всего единственный знавший его адрес товарищ на днях был, по-видимому, схвачен, и, таким образом, оборвалась и установленная с ним связь.

Подвергая себя огромной опасности, Исикава в течение двух дней ждал его на условленном месте, но тот не явился. Существовал порядок, по которому не явившийся на место встречи должен был на следующий день сообщить об этом на квартиру. Но Исикава не получил от него никаких известий. Не оставалось сомнений, что товарищ арестован. Не сегодня-завтра необходимо было переменить квартиру.

Вернувшись домой, Исикава достал различные документы, которыми нужно было распорядиться, и прислал к хибати.

Когда жжешь бумагу на хибати, пепел разлетается по всей комнате, а потому делать это нужно умеючи. Нельзя жець письмо прямо в конвертах, — бумага только чернеет, но горит плохо. «Компартия», «японская компартия» — корчились в огне напечатанные иероглифы.

Покончив с этим, Исикава поставил обувь у двери рядом с уборной. Эта дверь, незаметная снаружи, выходила на задний двор соседнего дома, а оттуда, через ограды нескольких домов, можно было попасть на проспект.

Только покончив со всеми необходимыми приготовлениями, он заметил на столе наскоро набросанную записку О-Кими.

«Сегодня вернуться домой не смогу, так как иду далеко. Буду завтра в 7 часов утра. Если к этому времени еще будешь дома — подожди с завтраком.

Дорогому товарищу — Кими».

Слово «дорогому» было подчеркнуто. На этом маленьком клочке бумаги было выражено чувство, которое О-Кими не могла в себе подавить.

«Хорошо, что никого нет поблизости!» — подумал Исикава и на секунду поднес клочок бумаги к губам, но сразу же сильно покраснел.

— Вот это уж действительно на меня не похоже! — От смущения он заговорил вслух.

В эту ночь он лег спать не раздеваясь.

— Откройте, откройте!..

Исикава снился какой-то сон, но он мгновенно вскочил на ноги, а в следующую минуту уже стоял, весь напряженный, перед дверью рядом с уборной. «Пришли-таки, сволочи!» — подумал он.

— Эй, отворяй, слышишь, что ли! — Голос звучал уже совершенно иначе, и стало слышно, как кто-то всей тяжестью тела навалился на дверь. Кто-то быстро бежал к черному ходу.

Через боковую дверь Исикава выбрался на улицу. Он был одет и не привлекал ничьего внимания. Он шел не торопясь, стараясь по возможности держаться над навесами витрин магазинов. Утро только начиналось, и такси еще не было. Пришлось поневоле ехать в электричке. Но он решил, что сойдет через две-три остановки и возьмет такси. Стараясь не выдавать своего волнения, он спокойно опустил на сидение вагона. Глядя с беспечным видом через окошечко кондуктора в конце вагона, он наблюдал — преследуют ли его, или нет. Вдруг он весь вздрогнул. Лицо его резко побледнело, он чуть не вскрикнул.

О-Кими!

Что это, ведь он совершенно забыл про О-Кими!

Сейчас уже седьмой час. Еще немного, и О-Кими будет арестована. Он так быстро выбежал из дому, что не успел даже повесить на окошко платок, служивший сигналом.

Но он знал дорогу, по которой она должна прийти.

Есть еще время. Эта мысль уже не давала ему спокойно сидеть на месте, и на следующей остановке он вскочил из вагона. Еще ни разу не ощущал он с такой силой, до какой степени она ему дорога.

Он пошел в обратном направлении, к вокзалу.

Но что это? Вся улица начиная от вокзала была уже оцеплена. Заметив это, он невольно остановился. Ему

вспомнился один товарищ, арестованный при таких же обстоятельствах...

Да, но О-Кими, его О-Кими!

Не зная, на что решиться, он некоторое время неподвижно стоял на панели. Ничего опаснее этого представить себе нельзя.

Внезапно он пришел в себя.

Работа должна продолжаться!

Для этого он обязан беречь себя, для этого он должен теперь думать скорее об О-Еси, непосредственно связанной с О-Кими. Нельзя разрушать организацию на баночной фабрике Канабиси!

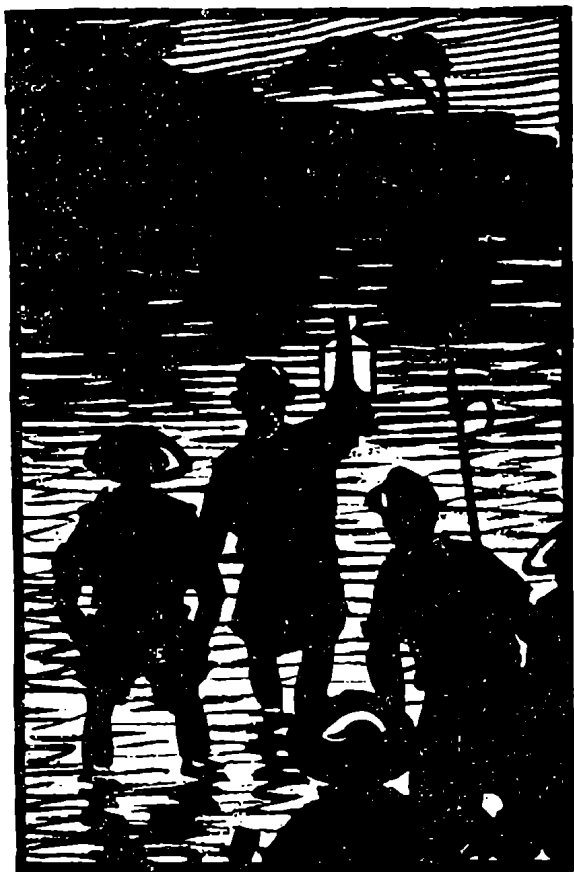
Он машинально поднял руку.

Такси со скрипом затормозило и остановилось перед ним.

— В У!

Он с усилием проглотил клубок в горле.

1931 г.



ДЕРЕВНЯ ПУМАДЗИРИ

1

Фуми присела на корточки в уборной, и в тот же момент ей показалось, что дощатая перегородка, исчерканная скабрзными надписями, валится прямо на нее. Голова ее закружилась, она уперлась в стену рукой.

Едва передвигая ноги, согнувшись, она вернулась к работе и опустилась на свое место. Ее соседка Ёсиэ, не прерывая работы, повернула к ней круглое лицо.

— Что случилось, Фуми-тян? На тебе лица нет...

Грохот машин заглушал слова, видно было только, как шевелятся тонкие губы девушки.

— На этот раз... не знаю, кажется что-то скверное...

— Тс! Надзиратель, гадина, сюда пялится. Больно?

— Режет внизу живота... Руки и ноги заоченели...

Фуми натянула большие засаленные перчатки с рваными пальцами и протянула руки к углу, двигавшемуся перед ней на конвейерной ленте.

— Это плохо.

— Что-то в этот раз долго у меня... По обычным срокам должно бы уже вчера кончиться, а вот все еще...

— Кто сюда попадет, со всякой такая история. Беда!

На верхнем этаже, где помещалась сортировочная, в пять рядов тянулись конвейерные ленты из железных листов. Работницы, сидя по трое по сторонам конвейера, выбирали из промытого водой угля камешки, куски шлака и попадающиеся иногда в угле остатки динамита. За динамитом следили особенно тщательно. Неочищенный уголь, попав в топки, взрывался и мог причинить много бед. Это затрагивало репутацию Компании. Поэтому сортировка угля была очень важным делом. За каждый найденный кусочек динамита выплачивалось двадцать сэн.

Уголь предварительно промывался водой, поэтому перчатки быстро намокали и не выдерживали даже и недели. А покупать их приходилось за свой счет. Руки краснели, напухали и трескались. Когда наступали холода, руки немели и коченели так, что пальцы одной руки приходилось сгибать другой.

Пока машины не останавливались, от конвейера нельзя было отлучиться ни на минуту. Обедали работницы по очереди, управляясь за десять — пятнадцать минут. Компания считала, что нет никакой необходимости устраивать перерыв для отдыха: ведь в сортировочной не работа, а одно удовольствие — только пальцами шевели; работницы сидели у конвейера не вставая, с семи часов утра до пяти вечера. Поэтому женщины задерживались в уборной лишнее время и отдыхали там, перечитывая надписи на стенах.

Однако, если они оставались там чересчур долго, надзиратель всячески ругал их. Он громко, так, чтобы слышали все, говорил:

— Ишь дрянь! Сидит в сортире, читает похабщину и млеет!

Вскоре начальство распорядилось, чтобы в уборную ходили только два раза в день — до обеда и после обеда. Когда наступили холода, работникам приходилось иногда по утрам бегать чаще. В таких случаях нужно было специально отпрашиваться. Надзиратель, когда к нему обращались за разрешением, недовольно выпячивал толстые губы. (Ёсиэ и ее товарки прозвали его за это спрутом.)

— Явилась!

Ёсиэ быстро отвернулась и стала перебирать пальцами уголь.

— Эй, ты! — надзиратель, подойдя сзади к Фуми, ткнул ее в плечо. — Часто бегаешь. Что это за работа? Гляди, вычу из заработка!

Он оттопырил губы, как будто отдувался. Фуми съежилась и втянула голову в плечи.

— Простите...

— «Простите!» Я тебе прошу!

— Я... Это... потому что... я больна... — еле слышно произнесла Фуми.

— Больна? При нынешнем кризисе держать больных на работе да еще жалованье им платить — не жирно ли будет?

Фуми молчала, упорно глядя на свои пальцы, перебирающие уголь. Надзиратель сказал еще что-то. Фуми, густо покраснев, с трудом выговорила:

— Это... это... месячные...

Тут неожиданно ей показалось, что собственные ее пальцы раздвоились, и все поплыло у нее перед глазами.

— Эх, Фуми-тян, нельзя быть такой безответной! — громко сказала Ёсиэ, когда надзиратель отошел, затем высунула ему вслед язык: — У, спрут, гадюка!

Мицу, одна из работниц, сидевших в соседнем ряду, спиной к Ёсиэ и Фуми, запела:

Если ты можешь убить врага
и не дрогнет твоя рука...

— «Мо» в слове «можешь» и «ра» в слове «врага» нужно петь слегка протяжно, — вмешалась Сидзуэ, сидевшая рядом, и, чтобы показать, как нужно, запела сама:

Почему, самурай,
ты не можешь убить
тоску, что грызет тебя...

Вот так, — сказала она.

Сидзуэ, Мицу и Ёсиэ — все были из одной деревни.

— Непонятно, Сидзуэ-тян, запиши-ка мне потом эти слова.

Надзиратель направился в другую сторону. Он подкрался к Юкико, девушке из деревни, соседней с той, где жила Ёсиэ. Юкико работала возле окна и, перебирая уголь, то и дело клевала носом. Надзиратель внезапно ударил ее по лицу. В первый момент Юкико ошалело осмотрелась кругом, потом молча опустила голову. Даже издали было видно, как побагровела ее щека от удара. Но Юкико не посмела притронуться к ней. Девушке было шестнадцать лет. Маленькая, бледная, она постоянно дрожала всем телом, точно от холода.

За последние два-три года продажа угля неоднократно сокращалась. Работы в сортировочной стало меньше, и не раз производились массовые увольнения. Но с недавнего времени количество угля почему-то увеличилось. А так как число работниц сократилось, то это увеличение тяжелым бременем легло на оставшихся.

— Уж раз война¹, значит, вероятно, положение улучшится. Каменный уголь нужнее всего для войны, — рассуждали на шахтах.

— Раз работы прибавилось, значит заработную плату должны повысить, — заговорили раньше всех бойкие девушки, в том числе и Ёсиэ. Но ее соседки в ответ только пугливо озирались по сторонам — не подслушал бы кто-нибудь. Между тем не прошло и недели, как тут же у конвейера свалились от непосильной работы две работницы. Их положили в комнате дежурного, тем дело и ограничилось, даже доктора не позвали.

— Опять дерется! Сволочь! У, спрут!.. — Оглянувшись на Юкико, Ёсиэ стукнула молотком с длинной

¹ Имеется в виду японская интервенция в Маньчжурии в 1931 г.

рукояткой по большому куску с такой силой, как будто это был не уголь, а башка ненавистного надзирателя.

Сидзуэ и Мицу оборвали песню о самурае и сосредоточились на работе. И сразу загудел в ушах шум машин, на который раньше не обращали внимания.

С того места, где сидела Ёсиэ, сквозь грязное, замазанное копотью и угольной пылью оконное стекло, похожее на испещренную штрихами и линиями географическую карту, видно было, что у кирпичного склада очередная смена шахтеров получала безопасные лампочки. Из окна грязные фигуры шахтеров с сумками для инструментов за спиной напоминали стаю ворон. Лица у них были отекавшие, серые, смотрели они как-то исподлобья прищуренными глазами.

Многие из них пришли сюда на заработки из той же деревни, что и Ёсиэ. В этот год урожай был настолько низок, что при всем желании дома нельзя было найти никакой работы. Даже на помещичьих полях, где не жалели денег на удобрения, где применялись разные средства агротехники, урожай составил примерно две трети обычного.

Ненастная погода установилась с момента посева риса, в период «доё», когда обычно бывали жаркие летние дни. Стояли такие холода, что приходилось надевать теплую одежду. Дождь лил целую неделю, посадки риса и бобов размокали, гнили на корню; а когда, наконец, небо прояснилось, на полях появилось множество насекомых, полевых вредителей. Арендаторы пользовались скверными дешевыми удобрениями, и их посевы не устояли. Хотя цены на рис, зерновые и на зеленый горох были невысоки, удобрения не становились дешевле. К хорошим удобрениям было не подступиться.

— Это Мицуи упрямится, держит цену, — говорили арендаторы. Вредители кишели на полях, но о покупке инсектицидов нечего было и думать. Арендаторам оставалось только смотреть сложа руки на то, как гибнет их урожай. Инсектициды были применены на помещичьих полях, и насекомые, спасаясь от яда, перебирались на поля арендаторов, где получилось не больше трети обычного урожая. Где же теперь внести арендную плату, тут и двух зимних месяцев не продержаться. «Уже лет тридцать такого не бывало», — говорили все. Присмотр

за полями поручили старикам — вся работоспособная молодежь ушла на заработки.

Но что проку? Депрессия усиливалась с каждым годом, и никто не мог рассчитывать на то, чтобы быстро найти работу. Более того, те, кто ушел на заработки раньше — в Токно и в Отару, в Санпоро или еще куда-нибудь, — теперь, что ни день, по одному, по двое возвращались обратно в деревню, прожившись до копейки.

Старший брат Ёсиэ тоже недавно вернулся без гроша в кармане. В последние годы о нем не было ни слуху, ни духу, но, когда ему стало нечего есть, он вернулся домой. В свое время он ушел из деревни именно потому, что там нечем было прокормиться. Теперь положение в деревне стало еще хуже. Но возвратиться пришлось, так как иного выхода не было.

Крестьянки, которые, поступив на работу, перешли в общежития при фабриках пенькочесального акционерного общества, при фабриках по сортировке бобов или по производству консервированного молока, тоже все чаще возвращались в деревни.

— Эх, если бы в деревне все могли прокормиться, вот хорошо было бы... Собрались бы опять все вместе, совсем как в старые времена... — говорила мать Ёсиэ, глядя на вернувшегося сына.

Однако теперь крестьяне уже не могли прожить без подсобных заработков. Они выезжали на грузовых подводах за два ри от деревни на станцию, где были лесопильный и черепичный заводы. Но крестьянские лошадки за день быстро изматывались: полуголодные, они не могли возить бревна в два обхвата толщиной.

От копей Икусюбэцу до деревни Нумадзири, где жили Ёсиэ, Фуми и другие девушки, было почти три ри; для всех окрестных деревень копи являлись самым подходящим местом для заработка.

Несколько лет назад в копиях Икусюбэцу вагонетки таскали лошади, и крестьяне-арендаторы из деревни Нумадзири в свободное от полевых работ время ездили туда со своими лошадьми на работу. Но затем в шахтах устроили подвесную дорогу, и этот приработок тоже исчез. Для крестьян теперь оставались только случайные мелкие работы да шахтерское дело. Но свободных мест на шахте не было, шахтеров (работавших по договору) хватало, производились даже увольнения. Однако дирек-

ция охотно брала на работу мелких арендаторов, их принимали в качестве поденных рабочих на низкую оплату.

Ёкити, старший брат Ёсиэ, после возвращения в деревню каждый день ходил наниматься в копи, но безрезультатно. На второй месяц он получил, наконец, работу, за одну иену десять сэн в день. В голодные дни жизни в Токио Ёкити работал землекопом на канализационных работах; он рассказывал, что копать землю приходилось в таких условиях, что коченела нижняя половина тела: но к работе под землей он никак не мог привыкнуть и теперь возвращался с почной смены совершенно измученный. И все же это еще было хорошо, во всяком случае лучше, чем ходить вместе с родителями на поле, где все равно нечего было делать, или шататься без толку по деревне, как его школьный товарищ Кэнъитиро, старший брат Фуми...

Глядя в окно, Ёсиэ искала в серой неприглядной толпе шахтеров, получавших лампочки, заметную, чуть сутуловатую фигуру брата. Пока она смотрела, ей стало казаться, что каждый из них похож на него.

Получив лампочки, шахтеры собирались группами, закуривали—с момента спуска в шахту и до выхода оттуда, в течение десяти часов, курить запрещалось. В наступивших сумерках виднелись только крохотные, вспыхивающие там и сям огненные точки папирос. В сортировочной работницы нетерпеливо поглядывали в окно на шахтеров: когда вся смена шахтеров соберется, в сортировочной дадут сигнал кончать работу. Часов в мастерской не было, — начальство говорило, что из-за часов падает производительность труда.

Прозвучал сигнал, постепенно стих шум машин, конвейерная лента остановилась. Работницы отошли от конвейера и вздохнули свободно. Спускаясь по лестнице, они хватались за стенки руками: распухшие колени подгибались, и женщины чуть не падали. Они с усилием разгибали ноги; коленные чашечки, затекшие в согнутом положении, неприятно хрустели, как будто ломались кости.

Ёсиэ вместе с другими прежде всего побежала в уборную. Многие, не в силах дожидаться, пока там освободится место, без стеснения устраивались снаружи, повернувшись спиной к уборной для мужчин.

Работницы поджидали своих односельчан, окликали

их и уходили, забрав оставленные в проходной коробочки для бэнто, платки и гэта.

В этот день у проходной стоял надзиратель с каким-то молодым парнем. Парень держал под мышкой увесистый сверток, из которого вынимал листовки и раздавал их выходящим работницам. Женщины, ничего не понимая, брали листовки, нерешительно поглядывая в сторону надзирателя.

Надзиратель расхаживал тут же, покуривая папироску.

— Вернетесь домой, почитайте-ка хорошенько, — угрюмо говорил он, выпячивая по обыкновению губы.

Работницы с листовками в руках вереницей шли друг за другом. Маленький паровозик тянул вагонетки. Чернорабочие, стоявшие на вагонетках, стучали лопатами и подтрунивали над проходящими мимо женщинами.

Отсортированный уголь подавали по конвейеру в башню с аркой, под которой проходили рельсы. Когда вагонетки подходили под арку, в башне открывалась воронка и уголь сыпался прямо в них. После этого груженные вагонетки отправлялись на пристани в Муроран и Отару. Раньше, до постройки башни, загрузка вагонеток производилась вручную, и на этом деле было занято много рабочих.

— Что это за листовки?

Некоторые работницы уже просмотрели их, большинство ничего не поняло.

— Кто его знает...

Уже смеркалось, и Фуми на ходу поднесла листовку к самым глазам.

— «Когда... госу... дар... ство... переживает... трудные дни...» — Знаете, Ёси-тян, тут написано про войну...

— А! — Ёсиэ обеими руками смяла свою листовку и вытерла ею нос. На щеках и возле носа остались черные пятна.

— Еще недавно наш «Спрут» гонялся за теми, кто распространял листовки, и отправлял их в полицию. Странно что-то... — как бы про себя пробормотала Фуми.

— «В настоящее время наша нация, не поддаваясь легкомысленным веяниям...» — кричал кто-то сзади с интонациями школьника.

Не понять, мудрено что-то!

В самом конце листовки было написано «Молодежный союз Икусюбэцу».

С крутого спуска открывался вид на сверкающий электрическими огнями городок Икусюбэцу, расположенный в котловине, со всех сторон окруженной горами; казалось, что Икусюбэцу лежит на дне огромной воронки. Отсюда до дома оставалось еще около двух рю пути по холоду. Вспомнив об этом, Ёсиэ еще острее ощутила усталость и голод.

2

От города, где была станция, на которой останавливался скорый поезд, до деревни Нумадзири ходил автобус.

Эта изношенная, с пыльным верхом машина уже вконец расшаталась: стоило только немножко прибавить ходу, как вся она начинала жалобно дребезжать, и казалось, вот-вот развалится. На радиаторе был укреплен красный трехугольный флажок с надписью: «До Нумадзири». На городских улицах и в деревушках около аптек, мелочных лавок и других подобных мест полагались остановки. Подъезжая, автобус давал сигнальный гудок. Если были пассажиры, то на лавке вывешивался красный флажок. Автобус курсировал от города до Нумадзири шесть раз в день. Деревенские жители, у которых не было часов, и крестьяне, работающие в поле, всегда определяли время по автобусу.

— Э, сейчас три часа, — говорили они, заведя понимающиеся по шоссе клубы пыли.

Шоферами работали сорокалетний Касида, три-четыре года назад переехавший сюда из Токио, большой любитель выпить (крестьяне называли его просто «Дядя»), и молодой парень Ито, допризывник, по прозвищу «Братишка», из ближайшей к Нумадзири деревни. Не бывало на дороге встречного, которого они бы не знали. Когда по вечерам навстречу автобусу попадался кто-нибудь из деревенских на велосипеде, то фары гасились и из машины громким голосом окликали проезжавшего. Если в деревне появлялся новый человек, шоферы всегда первые замечали его.

О возвращении в деревню Ёкити и Кэнъитиро они тоже узнали раньше всех. Слегка подвыпивший «Дядя», держась за руль, обратился к Кэнъитиро:

— Эге, и ты вернулся? Экие странные времена

настали! Возвращаются люди, а куда, спрашивается? Делать-то здесь ровным счетом нечего.

Автобус, гудя, подъехал к остановке. Вокруг растилалась равнина Исикари. Только справа виднелся невысокий костистый горный хребет, по виду напоминающий горные рудники. Этот пейзаж, которого Кэнъитиро не видел уже три года, казался ему родным и близким. Но с еще большим вниманием смотрел он сквозь желтую, местами потрескавшуюся целлулоидную пластинку, вставленную в окно автобуса, на знакомые поля, то и дело попадавшие вдоль пути.

Однако чем больше он смотрел, тем чаще удивленно протира́л глаза.

— Да что же это такое! Поля-то пустые! — невольно восклицал Кэнъитиро, обращаясь к шоферу. — Да ведь это же беда!

— Ага, заметил? Да, плохи дела!

— ...И везде так?

— Да, если не считать Токуяма-сан, Иноуэ-сан и Хамада-сан.

Иноуэ и Хамада были окрестные помещики.

— Ты, поди, удивишься, когда я тебе скажу, что сколько этот автобус ни ездит из деревни в деревню, а деревенских среди пассажиров ни одного нет! Пешком ходят. Теперь все пешком ходят. Ездят только приезжие, вот такие, как ты.

— Вот оно как!

Старый шофер помолчал немного, потом спросил:

— А ты сам-то как, с деньгами, что ли, вернулся?

— А разве похоже? — Кэнъитиро рассмеялся. — Хорошо если бы так!

— Тоже, значит... — Шофер понимающе закивал головой. — Вот и Ёкити без гроша вернулся...

— Да?! Ёкити-кун тоже вернулся? Да ну? Изменился, верно?

— Да-а, изменился. Вернулся, у самого пара медяков в кошельке, а что-то слишком нос задирает. Совсем не тот стал. А это уж никуда не годится.

— Ну а я? Так переменялся? — спросил Кэнъитиро.

— Ты?.. — Шофер запнулся и в замешательстве почесал голову. — Ты... — хотя вопрос был задан в шутку, но шофер отвечал серьезно, — ты мальчишкой хорошо в школе учился, поэтому-то и беспокоились за тебя...

Кэнъитиро недоуменно посмотрел на лицо шофера, отражавшееся в автомобильном зеркальце, но не увидел там ничего, кроме съехавшей на затылок фуражки да добродушной красной физиономии.

От большой дороги до дома Кэнъитиро были два-три тѣ¹. Проходя мимо своего поля, Кэнъитиро размял в пальцах рисовый колос. Колос был высушенный, легкий. Он попробовал его на зуб, пожевал и покачал головой, — ни одного зерна.

Он вошел в дом. В сенях было темно. Он постоял, протирая глаза. Курица с кудяхтаньем клевала что-то у его ног... Сени вели прямо к черному ходу, направо — кухня, налево — комната. Дома никого не было, по-видимому все ушли на поле.

Постепенно глаза Кэнъитиро привыкли к темноте. В доме ничего не изменилось. Только балки на потолке и крюк, тускло поблескивавший над очагом, еще больше закоптили от сажи. Курица забралась в кухню и клевала рисовые зерна в сыром углу.

В это время в глубине устланной рогожей комнаты послышался какой-то шорох. Кэнъитиро оглянулся.

— А-а, бабушка, это ты?

—?

Бабушка сидела, сгорбившись, похожая на грудку грязных лохмотьев, глаза ее плохо видели; прислушиваясь к незнакомому голосу, она повернулась совсем в другую сторону.

— Это я, Кэн... Я вернулся...

— Кэн? Как, Кэн вернулся?

Отвислые губы беззубого рта быстро зашевелились. Разглядев Кэнъитиро, она заплакала.

— Вернулся? Вот хорошо! Вот радость-то... — говорила она, ерзая на рогожной циновке. — Только вот... поле наше ты видел?.. — старуха помолчала. — Отцу-то горе какое... право!

Отощавшая беременная кошка с грязной, свалявшейся шерстью поднялась у очага, не спеша потянулась и легко выпрыгнула в сырые сени.

— Отец в поле?

— Ох, в поле-то в поле, да что с того толку? Чем больше работаешь, тем больше убытков!.. Он, знаешь,

¹ Тѣ — здесь: около 100 метров.

каждый день в город ходит, работу ищет. Фуми-то, наконец, в Икусюбэцу устроилась. Да и Фуми тоже жалко.

Когда стемнело, полуслепая бабушка поднялась и неуверенно заковыляла в кухню. Потом принесла из кладовки полную корзинку картошки и принялась чистить ее возле очага. Несмотря на плохое зрение, она чистила картофель быстро и уверенно.

— Вечером картофельные лепешки сделаем. Риса нет... — бормотала она, шамкая беззубым ртом.

— Давай-ка, бабушка, я тоже буду чистить, — сказал Кэнъитиро.

— Что ж, чисти.

— Ладно. — Кэнъитиро запустил руку в корзинку.

Когда он снова после долгой разлуки сел рядом со старухой, то сразу ощутил знакомый, давно забытый запах. От бабушки пахло молоком. Но в последнее время бабушка мылась в бане не чаще одного раза в год. С тех пор, как она уже не могла больше работать на поле, она целые дни сидела в углу и чинила старое тряпье. За эти годы на рогожной циновке под нею образовался круглый грязный след. Бывало, что она и мочилась тут же, не сходя с места.

Крестьяне деревни Нумадзире зимой в баню не ходили. Они мылись только летом, да и то ходили на реку и там, в холодной воде, яростно скребли тело. Крестьяне были того мнения, что часто моются только гуляющие женщины.

Почистив картофель, бабушка поднялась, но Кэнъитиро опередил ее.

— Ничего, бабушка, я сделаю! — Он поставил корзинку на кадку, достал терку и начал одну за другой протирать очищенные картофелины.

— Смотри, руки обрежешь.

— Да разве я не крестьянин? У меня на ладонях кожа крепче картофельной шелухи! — засмеялся Кэнъитиро. Но круглые очищенные картофелины скользили, и он несколько раз ободрал себе руки.

Бабушка сидела и прислушивалась, как трет картофель ее внук, так долго пропадавший неизвестно где.

— В Токио был? — спросила старуха немного погодя.

— Да.

— Везде, поди, одно и то же?

— Да, немало пришлось испытать...

— Да уж наверно. — Она покачала головой. — А у бабки твоей глаза совсем плохи стали, даже не разгляжу, какой ты стал...

— Ничего, я ведь даже не похудел, здоровый. — Тут он взглянул на её тощую шею, и сердце у него защемило от жалости.

— А, черт! — он зазевался и ободрал себе руку о терку, — порезался. Ну, ерунда... — Он облизал палец.

— Давай-ка, бабушка лучше сделает.

— Да нет, ничего.

Кэнъитиро внезапно заметил, что в кухне совсем темно.

— Электричества нет еще?

— Электричества? — Бабушка помахала перед глазами рукой, как будто отгоняя дым. — Выключили, — ответила она. — Лампой пользуемся, да ведь светло еще. Ты, верно, отвык, пока в городе жил, вот тебе и темно... А у нас, в Нумадзири, пожалуй, всего только пять-шесть домов, где есть электричество.

— Вот как!

— До возвращения отца света не зажигаем!

Кэнъитиро невольно глубоко вздохнул и замолчал. В темноте слышен был только скрип картофеля о терку. Когда вся картошка была протерта, они стали месить ее руками. На дне подставленной внизу кадки осел крахмал.

— Бабушка, а я, пока с картошкой возился, вспомнил детство! — говорил Кэнъитиро, положив протертый картофель в тряпку и отжимая воду.

— А, вспомнил?

— Готово! Чего подложить?

— Бобов положи, там их осталось немножко. — Старуха опять приподнялась.

— Погоди, бабушка, я сам!

Он положил отжатый картофель в глиняную миску, смешал с оставшимися от обеда холодными бобами и размял все это деревянным пестиком. Бабушка тем временем, подвесив к крюку над очагом чугунок, готовила похлебку. Замесив картофель, Кэнъитиро непри-

вычными руками стал лепить клецки и бросать их в котелок.

— Скоро уж и отец и Фуми вернутся. А знаешь, Кэн, вот уже три дня, как мы риса не ели...

— Три дня?

— Эх, Кэн, беднякам не следует заживаться на свете. Вот я ни на что уже не годна, приходится зря меня кормить... А отцу это как тяжело...

При ярком свете очага Кэнъитиро увидел, как на щеках старухи заблестели слезы.

Он молча вынимал из глиняной миски протертый картофель, клал его на ладонь и одну за другой скатывал клецки.

— И сказать не могу, как я рада, что ты опять здесь...

Некоторое время она молчала и только жевала беззубым ртом, потом пробормотала, прислушиваясь:

— Собака залаяла, никак отец вернулся...

3

Кэнъитиро и Ёкити, старший брат Ёсиэ, были товарищами со школьной скамьи. Однако особенно тесной дружбы между ними не было; семейство Ёкити владело пятью тёбу¹ земли, у них каждый год нанимали по несколько человек батраков и батрачек. Ходил слух, что они каждый год кладут в городской банк по двести иен наличными. А Кэнъитиро был из семьи арендатора-бедняка, имевшего неполных два тё земли (на Хоккайдо арендаторы, имеющие около двух тё, это уж совсем бедняки).

Даже в школе чувствовалось это различие: в разговоре к именам детей зажиточных собственников и полуарендаторов, имевших поля в два-три тёбу, прибавляли приставку «тян», а таких, как Кэнъитиро, называли либо «Кэнко», либо «Кэнскэ»;² так их называли дома, так их называли и в школе. Было между ними и еще одно различие: у всех за поясом были заткнуты аккуратно сложенные вчетверо полотенца, но одни сморкались в них, другие

¹ Тёбу — около одного гектара.

² «Тян» — приставка ласкательная; «ко» и «скэ» — фамильярная, слегка презрительная (соответствует русскому «Ванечка» и «Ванька»).

нет. Такие дети, как Кэнъитиро, утирались прямо пальцами, а на уроках шмыгали носом. К тому же дети бедняков все были «гамэвараси» — так называли детей с прыщами или лишаями на лице или на голове.

Где-то тут упал паршивец,
встать помог бы,
да боюсь, —
что паршою заражусь! —

дразнили их всякий раз по дороге в школу.

Как-то в дождливые вечерние сумерки Кэнъитиро и его товарищи играли под навесом.

— Что ты будешь делать, когда станешь большим? — спросили у Кэнъитиро ребята.

— Я?.. Я перезаражу всех богачей, всех помещиков! — ответил он. — И у всех их детей сделается парша!

Эта сцена до сих пор сохранилась в памяти Кэнъитиро.

Но к тому времени, когда он и его сверстники подросли, земельный участок семьи Ёкити уже был заложен в Колониальном банке; в течение десяти лет они должны были дважды в год выплачивать взятую под залог сумму и, сверх того, проценты. В конце концов от трех тёбу пришлось отказаться. В одной только деревне Нумадзири в нескольких семьях произошла такая же история. Банк устраивал торги, земли, которые он отбирал, переходили в ведение «Земельного общества», непосредственно подчиненного банку. Затем это Общество сдавало землю в аренду, и в конце концов прежние владельцы опять обрабатывали свои поля, но теперь уже на правах всего-навсего арендаторов.

Земельным собственникам деревни Нумадзири удалось своими силами сколотить капитал в двадцать тысяч иен, но куда им было тягаться с Колониальным банком, выпустившим облигаций на сто миллионов!

Крупный помещик Токуяма, владелец сотни тёбу земли, взамен денег, которые он ссужал, отнимал у своих должников землю, обдирал их до нити, как шелковичный червь обглаживает листья шелковицы. Особенно беспощаден был он к тем, чьи земли находились по соседству с его собственными владениями. Осенью, когда нужно было продавать урожай, крестьянам приходилось туго из-за низких цен, и тогда он щедрой рукой давал деньги в долг; но наступал срок уплаты, и тут он не соглашался

ни на какие отсрочки и, если долг не могли погасить вовремя, назначал торги.

Поэтому в Нумадзири было несколько необычное положение: здесь арендаторы сочувствовали собственникам: «Э-э, — говорили они, — вот этот не продержится и двух лет!» — И действительно, года через два собственник тоже превращался в арендатора.

Разоренные крестьяне, превратившись в полуарендаторов или в арендаторов, не ходили ни на какие собрания: они лебезили перед Токуяма и другими помещиками и не желали иметь ничего общего с бедняками арендаторами. «Ну что ж, право, это не так уж и глупо!» — говорили бедняки арендаторы, хорошо понимая соображения бывших собственников.

Как-то раз член отделения Всеяпонского крестьянского союза в Нумадзири пришел в дом к Ёкити и предложил вступить в союз; отец Ёкити, молча слушавший его, сидя у очага, вдруг вскочил, держа в руках щипцы для углей, и закричал:

— Как я ни обнищал, а до такой низости не дойду! Убирайся вон отсюда, сволочь!

Представителю союза оставалось только уйти.

Однако за последние годы в Нумадзири произошли большие перемены.

Кэнъитиро пошел к Ёкити; ему хотелось посмотреть, как он изменился после жизни в Токио. Семья Ёкити была вся в сборе; вернувшись с поля, они ужинали рисом с соленой редькой. Вместе с ними за ужином сидела их родственница, учительница Таки Ёсин, которая снимала у них комнату. Ёкити работал в ночной смене и как раз собирался в Икусюбэцу. Расставив ноги, он наворачивал на них обмотки.

— А у нас в деревне тоже живей стало! Все, видишь ли, возвращаются, набравшись ума-разума, — смеясь, сказал Ёкити.

У отца Ёкити уже пробивалась седина. Прислушиваясь к непривычным ему выражениям в разговоре молодых людей, он шурился и покачивал головой.

У Ёкити было бледное одутловатое лицо, но плечи у него были широкие и вид бодрый.

— Я много чего повидал и думаю, что у нас в деревне пора браться за большое дело, пора раскрыть глаза людям. Хотелось бы и с тобой поговорить.

— О чем это? — спросил Кэнъитиро.

Ёкити в ответ расхохотался, запрокидывая голову:

— Ну, пока еще рано!

Он вдруг нахмурился. Учительница Ёсии, сидевшая напротив, быстро взглянула на него.

— Ты, поди, перепугаешься, если я тебе скажу, что мне случалось работать и в Дзэнкё, случалось примыкать и к Минсэйто...¹ Где только не побывал, прямо как Фауст у Гете.

Он особенно подчеркнул слово «Дзэнкё». И опять, закинув голову, засмеялся. Потом вышел в сени и выкатил из темного угла велосипед.

— Тебе не приходилось встречаться с Ямадатэ из Крестьянского союза?

— Нет, а что?

— Даракан он!

— Вот как?

— Революционные силы крестьянства, изнемогающего под гнетом крупного финансового капитала, отмечают таких подлецов!

Раньше Ёкити таких разговоров не вел. Кэнъитиро вдруг вспомнил, что ему говорил «Дядя» в автобусе. Он сказал:

— Послушай-ка, Ё, ты что, никак социалистом стал, а?

Отец Ёкити посмотрел на сына широко раскрытыми глазами.

— Социалистом? Это я-то? Ну уж нет, я не собираюсь подражать коммунистам, которые на словах храбрятся, а как до дела дойдет — хвост подожмут и в кусты!

Злобные слова Ёкити звучали язвительно.

— Все равно, держись поосторожнее, в деревне ведь все друг друга знают. А то речи у тебя сильно смахивают на выражения социалистов.

— Ничего, потом поймут. Ни коммунисты, ни Дзэнкё совершенно не способны разрешить проблемы, которые сейчас волнуют общество!..

С этими словами Ёкити прикрепил к седлу велосипеда бэнто и включил фонарь.

— Ладно, потом как-нибудь потолкуем поподробней! — крикнул он и вышел за дверь, в темноту.

¹ Минсэйто — крупная буржуазно-помещичья политическая партия.

— Боюсь я за него... — пробормотал отец, когда Ёкити ушел. — Блажь у него на уме, а все отчего? От нашей постыдной бедности...

Учительница Ёсии, до сих пор молча прислушивавшаяся к разговору, обратилась к Кэнъитиро:

— Стоит Ёкити только приняться за какое-нибудь дело, как у него сразу руки опускаются... Он и в письмах писал: «Я утратил веру в лучшее будущее...» Вот он какой, наш Ё-сан...

Кэнъитиро, мало знакомый с Ёсии, ничего не ответил.

— Вот, взгляните на это сочинение. Написано сегодня учеником шестого класса. Посмотрите, о чем он пишет. — Ёсии выбрала несколько листов из общей пачки и показала Кэнъитиро.

«...Дома у нас нечего есть, кроме картошки да тыквы. Вчера в первый раз ел рис. Мама варила рис, а я стоял и глотал слюнки... А когда я ел, мне было жалко глотать сразу, и я держал рис во рту, сколько мог...»

На сочинении красной тушью была сделана пометка Ёсии: «Очень хорошо написано, учительница плакала, когда читала».

«Отец сказал, что хоть кушать у нас нечего, но плату за учење он внесет. Только у нас дома нет ни одного сэн. Я об этой плате отцу не напоминаю. Если мне придется бросить учиться из-за того, что отец не сможет внести плату за учење, я буду очень горевать. Вот было бы хорошо, если бы плату за учење вносило за нас сельское правление!»

В таком же роде были написаны еще несколько сочинений. Учительница всюду исправляла ошибки и ставила свои замечания: «Считаю, что это правильно», «Учительница тоже так думает» и т. п.

«...Хоть и стыдно признаться, но дома мы одним одну тыкву, а поэтому для меня труднее всего уроки гимнастики. Учительница, пожалуйста, отмените уроки гимнастики. У меня кружится голова, я весь обливаюсь потом, а бегать совсем нет сил...»

Об уроках гимнастики писали двое.

— Раньше я думала, что они увливаются от гимнастики просто потому, что им скучно. Пробовала затевать с ними всякие игры, но из этого тоже ничего не вышло. Я не могла понять, в чем дело, — ведь в этом возрасте дети любят играть, бегать...

Есин вдруг замолчала и тихонько откашлялась.

— В последнее время многие стали пропускать уроки. Каждый месяц, в первую пятницу, полагается вносить плату за ученье, и в этот день половина учеников отсутствует.

— Да, в детстве и со мной так бывало, — вспомнил Кэнъитиро.

— В последнее время творится что-то ужасное! Каждый раз, когда внесено мало денег, директора вызывают для объяснений в сельское управление, поэтому на уроках морали¹ и во время утренних сборов непрерывно долбят ученикам о плате за ученье. Я и учитель Ханадзак-сан бываем у наших ребят на дому и видим, что дети не просто уваливают от уплаты, таких нет. Ума не приложу, как быть. Вот почитайте это сочинение, я за него поставила пять с плюсом.

Она вытащила из-под пачки последний листок.

«...Когда все аккуратно вносят плату за ученье, то хорошо и школе и всему государству, — так говорила нам учительница. Учительница, не сердитесь, пожалуйста, но отец сказал, что это вранье. В прошлом году отец и мать и старшая сестра за целый год заработали по пяти мешков риса с тана². Отец, прихлебывая сакэ, сказал мне: «А ну-ка, Ю, посчитай, сколько там?» Я начал вслух считать: один, два... Когда я сосчитал, отец засмеялся и воскликнул: «Молодец, молодец!» Немного погодя отец опять велел мне пересчитать, сколько там мешков, а когда я на следующее утро зашел в кладовую, там от горы мешков осталась только половина. Тогда я спросил отца — где же рис? Отец раньше был такой веселый, а тут смутился. Оказалось, что поле не наше и мы его только арендуем, поэтому рис отнесли к Токуяма-сан. День спустя, когда я утром опять зашел посмотреть, там уже осталось всего пять-шесть мешков. Это оттого, что отдали деньги начальству да половину заплатили за удобрения, — так мне сказали. А Токуяма-сан, хоть сам совсем не работал, забрал у нас пятьдесят мешков. А начальство тоже отбирает у нас деньги. Если б не было такого притеснения, то отец внес бы плату за ученье, —

¹ Главный предмет в начальной и средней школе, излагающий идеологию японского монархизма и национализма.

² Та н — немного меньше гектара.

так он говорит. И еще отец сердился и говорил, что пусть начальство берет у Токуяма-сан побольше денег. А потом пусть начальство из этих денег вносит плату за наше ученье; бедняков заставляют вносить плату за ученье, а Токуяма-сан и прочих не трогают. Учительница, вы поэтому говорите нам неправду, вероятно бонтесть Токуяма...»

— Сочинение написано дома? — спросил Кэнъитиро, дочитывая.

— Нет, на уроке.

— Кавычки не на месте...

— Ну! Где? — серьезно спросила Ёсин.

— Чего доброго, она тоже красной стала! То-то я смотрю, она дружит с этими непутевыми из Крестьянского союза... — не глядя на Ёсин, сказал отец Ёкити, обращаясь к Кэнъитиро.

— Ах, что вы такое говорите! Учительница — и вдруг красная! Да разве это возможно? — Ёсин громко рассмеялась.

4

Стояла ранняя осень, но начались такие холода, что волей-неволей приходилось надевать зимнюю одежду.

Мягкие, шелестящие стебли риса уже кое-где почернели и ломались. При ветре по полю не ходили волны пригибающихся к земле колосьев, — их верхушки торчали прямо и издавали сухой, жесткий шелест.

Отец Кэнъитиро в раздумье сидел у очага.

— Э-эх, да тут голова кругом пойдет! — вздохнул он.

Когда отец начинал жаловаться на жизнь, ютившейся в своем углу бабушке от беспокойства не сиделось на месте.

— Ох, Кэн! И за какие же это грехи я живу так долго!

Бабушка робела перед отцом и Фуми, двумя работниками в семье. Она жаловалась на судьбу одному только Кэнъитиро.

— Да разве это твоя вина?.. Живи на здоровье!

— Ох, нет, нет... — Беззвучно шевеля пустым ртом, бабушка потихоньку глубже забивалась в свой угол.

— Что за времена такие? Знаешь, Кэн, ведь я с шестнадцати до семидесяти лет работала не покладая рук...

Вот оттого-то теперь, когда старость пришла, я такая развалина.

— Да-а, времена! Подумать только: сколько ни работай, всё равно больше половины помещик себе заберет! — Кэнъитиро говорил громко, чтобы услышал отец, понуро сидевший у очага. — Ручаюсь, что, несмотря на неурожай, Токуяма не снизит арендной платы ни на один го¹. А ведь сам он ни единого ростка своими руками не посадил. Как тут может улучшиться крестьянская жизнь!

Бабушка плохо слышала и все переспрашивала: «А? Что? А?» — И Кэнъитиро каждый раз повышал голос.

— Чего орешь? — внезапно закричал на него отец и, неуклюже поднявшись, вышел из комнаты. Слышно было, как он сморкается в сених.

Бабушка, сгорбившись и опустив голову, тихо всхлипывала:

— Ох, бедный твой отец, ох, бедный... — повторяла она сквозь слезы.

У Кэнъитиро сердце разрывалось от этого плача.

До жатвы оставалось свободное время, и отец, желая подыскать себе работу, изо дня в день ходил в город, но работы не было. Семья кое-как перебивалась на заработок одной Фуми (она получала сорок — пятьдесят сэн в день). Работу надо было найти именно сейчас, потому что ближе к зиме на Хоккайдо уже нечего было надеяться где-нибудь подработать. К тому же с началом жатвы времени для работы на стороне не осталось бы, да и как ни оценивай урожай, было ясно, что он составит всего треть обычного. Отец очень тревожился. Фуми совсем ослабела от непривычного непосильного труда и от угольной пыли, в которой приходилось работать. В последнее время она ходила на работу через силу. Пройдя поздним вечером два ри, Фуми возвращалась с работы домой в таком состоянии, что некоторое время сидела неподвижно, прислонившись спиной к окну, прорубленному в глиняной стене, и старалась отдышаться. Бабушка, видя все это, забиралась в свой угол и сидела там, притаившись, боясь пошевелиться. А иногда она зарывала в горячую золу картошку или приносила из храма завернутый в бумагу «окова» — вареный рис с красными бобами, и, когда

¹ Го — около 180 литров. Арендная плата обычно вносится натурой, то есть рисом.

Фуми возвращалась, вынимала из золы картошку и, приговаривая: «Что ты так поздно, Фуми? Поди, замерзла? А бабка-то для тебя картошки напекла. На-ка, поешь!» — дула на горячую картошку и давая ее девушке. «Знаешь, Фуми, бабка нарочно для тебя и окова из храма принесла, даже от Кэна спрятала!» — говорила она, ухаживая за Фуми и угодливо хихикая после каждого слова.

Иногда вечером после ужина, с бумажным фонарем в руке, заходила Ёсиэ, чтобы позвать Фуми на собрание женской секции союза. Но Фуми, еле живая от усталости, отказывалась.

— Никак не могу, Ёси-тян! Если я пойду на собрание, так завтра не встану...

— Ну, ладно, — говорила Ёсиэ, поглядев на бледное лицо Фуми. — Только теперь, знаешь, уж совсем никто не ходит на наши собрания. В женской секции что-то непонятное творится. Жена Ямадатэ забрала все в свои руки, — как хочет, так и заправляет, для мужа своего старается! И все потому, что нас там нет...

Она зажигала фонарь и заканчивала задорно:

— Коли так, я и одна пойду.

Когда отделение Крестьянского союза в Нумадзири уже существовало, женская секция еще только организовывалась. Она была создана усилиями жены Ямадатэ, председателя отделения в Нумадзири.

Ямадатэ имел около трёх сотен собственной земли; пока был жив его отец, он учился в школе в Саппоро и потому считался «авторитетной личностью», «выдающейся фигурой» на деревенском горизонте. Организацию женской секции взяла на себя жена Ямадатэ. Когда отцы семейств вступали в союз, их жены шли в женскую секцию. Жена Ямадатэ считала, что хлопочет над организацией женской секции для мужа, для укрепления его авторитета «выдающейся личности». Мало того, она вообще полагала, что союз существует только для ее мужа.

У Ямадатэ были свои соображения, когда он брался за организацию отделения Крестьянского союза и встал во главе его. В отличие от крестьян-арендаторов, предоставивших разрешение всех вопросов на усмотрение помещика, крестьяне-собственники, каким был сам Ямадатэ, имеющие по одному-два трёх соты своей земли, подвергались всевозможным притеснениям со стороны крупных землевладельцев и попадали в весьма затруднительное

положение, ибо, не желая расставаться со своими тѣбу, по уши влезали в самые немыслимые долги. Ямадатэ решил как-нибудь помочь делу. Организовав союз, он рассчитывал привлечь на свою сторону большинство арендаторов, чтобы в нужный момент найти в них поддержку против помещиков. Вот почему в деревне Нумадзири из трехсот дворов в отделение союза входило восемьдесят, причем процент крестьян-собственников был довольно велик. До сих пор в Нумадзири еще не было настоящих крупных конфликтов. Мелкие вопросы разрешались удачно благодаря изворотливости Ямадатэ и его личному авторитету. Но однажды землевладелец Ёсидая, державший на станции мелочную лавку, отобрал у бедняка Ямамура землю, которую тот у него арендовал. Этот участок хотели непременно взять в аренду родственники самого Ёсидая. Ямамура не посмел и пикнуть: он сам опоздал внести арендную плату и к тому же задолжал лавочнику за мясо и сою. В Нумадзири многие брали все товары в долг, поэтому в деревне одинаково дрожали и перед помещиком и перед Ёсидая.

Теперь, когда у него отобрали землю, Ямамура остался без всяких средств к существованию. Он не был членом союза, но, попав в безвыходное положение, волею-неволей обратился в союз за поддержкой.

Ямадатэ в это время уехал в Асахигава на конференцию северных отделений союза, и переговоры с Ёсидая вел оставшийся вместо Ямадатэ секретарь. Но Ёсидая наотрез отказался идти на уступки. Узнав об этом, жена Ямамура в ту же ночь взяла на руки свою младшую четырехлетнюю дочку и с горя утопилась вместе с ней в реке Тёнайгава, в реке, из которой снабжались водой оросительные канавы на полях. Об этом случае узнали только поздно ночью из предсмертной записки, оставленной бедной женщиной.

Среди деревенских бедняков арендаторов это известие вызвало такое смятение, как будто самоубийством покончила жена у каждого из них. С фонарями в руках крестьяне выбежали на улицу. Под темным звездным небом, вспыхивая и покачиваясь, двигались вниз к реке огоньки круглых фонарей.

— Какое несчастье! Это его рук дело, это он, Ёсидая, убил их обоих!

— Конечно, это убийство!

Крестьяне были очень взволнованы. Время от времени видно было, как фонари спускались к самой реке. Перепуганная рыба с плеском выскакивала из воды. При каждом всплеске люди вздрагивали. Ночь была холодная. От холода и волнения крестьян пробирала дрожь.

Тело жены Ямамура заметил первым отец Кэнъитиро. Труп плыл лицом вверх под мостом Сакабаси, на расстоянии около ри от Нумадзири. Когда при тусклом свете фонаря отец Кэнъитиро неожиданно увидел труп, он ахнул и, не помня себя, бросился вверх по крутому берегу. Потом стал громко звать людей, размахивая фонарем.

В темноте ярко вычерчивались большие огненные круги.

— Сюда! Сюда-а-а!..

Все сбежались на крик. Теснясь и толкаясь, спустились к реке. В воде отразились и спутались огни качающихся фонарей.

— О-ох, горе какое!

— А что ребенок? — промолвил кто-то сзади, и все сразу зашумели.

— Да вот — на спине у нее!

Несколько стариков, подвернув штаны, вытащили труп на берег. На реке поднялась рябь, на берег набегали маленькие волны. При виде мертвого тела крестьяне умолкли.

— Господи помилуй, господи помилуй... — проговорил кто-то, и сейчас же за ним повторили все. Женщины отворачивались и всхлипывали.

— Вот ведь горе-то какое! — сказал кто-то из толпы, поднося фонарь к лицу ребенка, привязанного за спиной утопленницы. — Господи, господи!.. Безвинный младенец... — добавил он и сейчас же отвел фонарь, потом громко высморкался и утер рукавом глаза.

— Да уж прямо можно сказать, что Ёсидая их убил!

— А ну, вытряхнем-ка Ёсидая из постели, пусть посмотрит, гадина!

— Верно, правильно! Пошли обратно!

Скорбь и горе сменились яростью против Ёсидая. Положив тело утопленницы на доску и размахивая фонарями, арендаторы толпой вышли на шоссе.

Ёсидая скрылся в полицейском участке. Отец Кэнъитиро и молодежь из Крестьянского союза подрались

с полицейскими и в результате просидели сутки в участке. Однако это только подлило масла в огонь — почти все арендаторы стали на сторону Ямамура; союз начал борьбу с Ёсидая. Арендаторы целым отрядом отправлялись в город, происходили столкновения с полицией, которая охраняла лавку Ёсидая, и каждый раз арендаторов забирали в участок.

Ямадатэ, спешно вернувшийся из Асахигава, пришел в ужас. Он заявил, что дело можно уладить путем переговоров, без всяких насильственных действий, и считал необходимым распустить конфликтную организацию. Таким образом, с возвращением Ямадатэ положение еще больше обострилось. Люди заволновались. Впервые против Ямадатэ зазвучали недовольные голоса. Не считаясь с ним, арендаторы под руководством одного из членов союза, молодого энергичного Каварада, повели упорную борьбу и добились победы.

После этого инцидента Ямадатэ и его секретарь потребовали исключить Каварада из союза под тем предлогом, что он якобы мешает руководству. Каварада был вдвое моложе, чем Ямадатэ, но во время последних событий сразу завоевал большое доверие крестьян. Жена Ямадатэ в душе считала Каварада серьезным, толковым парнем, но, конечно, тоже не поддержала его, не желая идти против собственного мужа.

Однако арендаторы не согласились на исключение Каварада.

— Хотя и уважаем мы Ямадатэ-сан; а только это уж слишком, — говорили они. — Конечно, спорить не приходится, Каварада-кун по сравнению с Ямадатэ-сан почти что нищий, но ведь сколько он для всей деревни сделал!

После этих событий отделение Крестьянского союза, в котором до сих пор была тишь да гладь, раскололось на две группировки — группу Ямадатэ и группу Каварада, и дела в союзе разладились. В группе Ямадатэ было много пожилых арендаторов и мелких собственников, которым грозило разорение и превращение в арендаторов; на стороне Каварада группировалась главным образом арендаторская молодежь да те из крестьян, которые хотя и жили в Нумадзири, но сами не работали на арендованных клочках земли, а уезжали на заработки в соседние города, в горы, на Камчатку или еще куда-нибудь или во время уборки риса батрачили на поденной работе.

Но группа Каварада пока еще не сорганизовалась в молодежную секцию Крестьянского союза.

С тех пор как завязалась борьба между этими двумя группировками, работа женской секции сразу же замерла. В ней осталось меньше десятка женщин, которые поддерживали жену Ямадатэ и примкнули к группе ее мужа. Распаду женской секции способствовало и то, что многие крестьянки ушли на заработки в Отару, Саппоро или на шахты и хотя возвращались почевать домой, как Ёсиэ и Фуми, но у них уже не оставалось ни свободного времени, ни сил, чтобы участвовать в работе секции.

Однако Ёсиэ не могла молча смотреть, как в женской секции хозяйничает группа Ямадатэ. В особенности же волновали дела Крестьянского союза учительницу Ёсин, которая жила в семье Ёсиэ. Она не раз удивляла Ёсиэ своей горячностью: «Таких, как Ямадатэ, называют дараканами», — часто говорила учительница. Энергичная Ёсиэ решила, что ни в коем случае нельзя отдавать женскую секцию в руки таким вот дараканам.

А сам Ямадатэ никак не мог понять, почему после инцидента большая часть арендаторов стала от него отворачиваться, хотя он заботится только о их благе, ведет всю работу союза, помышляя лишь о том, как бы не поставить людей в невыгодные условия, не вовлечь их в беду. Исключить Каварада из союза он хотел не для укрепления собственной власти; просто Ямадатэ был убежден, что такой слишком радикальный метод руководства приведет к напрасным жертвам. Он искренне болел душой за будущее союза и поэтому был страшно поражен, когда случайно услышал, что кто-то назвал его дараканом.

Каварада, который имел уже небольшой опыт работы в отделении Крестьянского союза в префектуре Яманаси, говорил, что такой даракан, как Ямадатэ, самая опасная из всех разновидностей дараканов. Если бы он был явным дараканом, то дело обстояло бы проще. И все же Ямадатэ, что ни говори, мыслит, как крестьянин, имеющий один-два тёбу собственной земли, и никак не может стать на точку зрения бедняков арендаторов, которые дрожат уже не за землю, а за самое право работать на земле; в решительный момент у Ямадатэ сразу же шевелятся мысли о компромиссе. По словам Каварада, случалось, конечно, что и такой человек

становился на сторону бедняков крестьян, но всегда нужно опасаться, что в решительный момент, когда должна развернуться подлинно революционная борьба, он или перейдет вдруг на сторону помещика, или пойдет на компромисс, или же совсем отойдет в сторону от борьбы. А так как он пользуется авторитетом среди арендаторов, то из этого может получиться черт знает что.

И действительно, когда возникали конфликты, мнение Каварада поддерживали немногие, да и то только потому, что были признательны ему за помощь при инциденте с Ямамура; таких, которые разбирались бы по существу, кто такой Ямадатэ, кто такой Каварада, и на этом основании действовали бы совместно с Каварада, было всего четверо.

Ямадатэ был сорокалетний, слегка сутуловатый человек, с понуренной головой. Когда ему случалось зайти к кому-нибудь из членов союза, для него выколачивали лучшую праздничную подушку и усаживали его на почетное место. Если Ямадатэ переходил из этого дома в соседний, то хозяин во что бы то ни стало поручал нести его портфель своей жене и детям. Так обстояли дела в деревне...

Когда Ёсиэ с зажженным фонарем вышла после разговора с Фуми на улицу, за нею вышел и Кэнъитиро.

— Передай, — сказал он тихо, — чтобы завтра вечером приходили к Каварада-кун.

В ту минуту, как он приблизил губы к ее уху, ноздри его невольно ощутили запах тела молодой женщины. Сердце у него замерло, и хотя было совсем темно, он почувствовал, что совсем смутился.

В Токио Кэнъитиро работал в союзе металлистов Дзэнкё. Он втянулся в эту работу на третий год своей жизни в столице. В Дзэнкё Кэнъитиро выполнял довольно ответственные поручения. Однако работа в Токио, в отличие от работы в провинции, требовала расходов на передвижение по городу. Он же еле зарабатывал на еду. Ему приходилось довольствоваться самой простой пищей, а иногда случалось и голодать. Здоровье его окончательно расшаталось, и, наконец, он слег. Тогда Кэнъитиро решил вернуться в свою деревню на Хоккайдо. Работа найдется повсюду.

В Нумадзири, как и в большинстве районов Хоккайдо, молодежная секция Крестьянского союза еще не была организована. Крестьянский союз находился почти всецело под влиянием партии Ротайто¹, молодежные секции, которые должны были представлять собой центр сил революционной оппозиции, организованы не были, и, разумеется, связь с центром революционной профсоюзной оппозиции тоже не поддерживалась.

На Хоккайдо было много крупных помещиков, имевших сотни и тысячи тёбу земли. Но эти господа не жили в своих владениях, их постоянные резиденции были в Отару, Саппоро или в Токио. Те, которые находились в Токио, имели титулы маркизов или графов, звание членов верхней палаты и т. п., почти все они были крупными капиталистами, владельцами банков или больших заводов. Естественно, что борьба крестьян против этих помещиков без установления связи с городскими рабочими была обречена на неудачу. Между тем крестьянское движение на Хоккайдо очень сильно отставало от движения во внутренних районах Японии. И вот эта-то нетронутая целина крестьянского движения еще сильнее тянула Кэнъитиро на родину.

Но в то же время мысли его занимали и огромные хоккайдоские копи. Добыча угля на острове Кюсю шла на убыль, и поэтому особо важное значение приобретали шахты Хоккайдо. Уголь — это своего рода кровь, питающая работу всей промышленности. Если бы все три громадные шахты на Хоккайдо внезапно прекратили работу, фабрики и заводы по всей Японии остановились бы.

В свое время, когда Кэнъитиро работал среди металлистов, один товарищ, бежавший в Токио с Хоккайдо, скрываясь от последствий «инцидента 1 декабря»², рассказал ему, что из числа читателей газеты «Мусанся-Симбун», с такими трудностями созданной на руднике Икусюбэцу, одном из трех крупнейших на острове, только троим удалось избежать ареста.

Копи Икусюбэцу находились недалеко от Нумадзири, и многие жители деревни ходили туда на поденную

¹ Ротайто — сокращенно: Ронотайсюто — социал-демократическая рабоче-крестьянская партия, существовала до 1931 г.

² Массовые аресты коммунистов на острове Хоккайдо.

работу. Все это создавало для Кэнъитиро исключительно благоприятную обстановку.

Итак, он вернулся домой. Сохранив связь с прежними товарищами, он в то же время, к счастью, еще не попал в черные списки полиции.

Когда Кэнъитиро вспоминал о том, что вернулся домой без единого сэна, он приходил в уныние. Однако большая задача, стоявшая перед ним, поддерживала в нем бодрость и энергию.

После возвращения он держался очень осторожно и насколько мог тщательно и всесторонне изучал положение в деревне. Он знал. Каварада по отделению Крестьянского союза как крепкого и выдержанного работника, но, бывая в союзе, всегда избегал встреч с ним. Затем, сделав вид, что он, как и Ёкити, ищет поденной работы, ознакомился с положением на коях в Икусюбэцу. Из трех оставшихся на свободе читателей газеты «Второй Мусанся симбун» один был лабораторный техник, окончивший горное училище в Акита, второй — молодой шахтер и третий — молодой начинающий литератор, живший в самом городе Икусюбэцу.

Кэнъитиро узнал, что с началом войны на коях стал проявлять большую активность Молодежный союз, что за последнее время, связавшись с резервистами союз этот развил бурную деятельность и что около шестидесяти процентов членов союза составляют шахтеры, и поэтому влияние его на шахтах довольно прочно. Шахтовладельцы рассматривали эту организацию как правительственную и всемерно помогали ей, пользуясь ею, как прикрытием. Казалось, что профсоюзная работа очень затруднена. Однако Кэнъитиро выяснил, что вопреки ожиданиям в действительности это совсем не так.

Выбрав день, Кэнъитиро на велосипеде поехал в Икусюбэцу. Он намеренно прошел в личный стол конторы, справился, производится ли прием на поденную работу, и только потом повидался с товарищами. И тут он узнал, что Ёкити, по-видимому, имеет какое-то отношение к работе городского Молодежного союза. Теперь Кэнъитиро ясно понял, что значили слова, которые он слышал недавно от него.

— Что такое делается с твоим братом в последнее время? — спросил он у Ёсиэ, когда та, возвращаясь

с работы, зашла, как обычно, к ним в дом отдохнуть с дороги.

— С братом? Какие-то мудреные вещи разводит.

— Откуда ж это он набрался этих мудреных вещей? — улыбаясь, спросил Кэнъитиро.

— Не знаю. Он, кажется, все это время водится с важными людьми, с директором школы, с Хирага-сан из инспекции... Похоже, что с реакционерами заодно... — ответила Ёсиэ.

«Да, реакция, кажется, переходит в наступление», — подумал Кэнъитиро.

По дороге в Икусюбэцу Ёкити не раз делился с Кэнъитиро своими мыслями.

— Та крайняя степень нищеты, — говорил он, — до которой дошло современное крестьянство, объясняется тем, что из-за разрыва между сельским хозяйством, применяющим главным образом ручной способ производства, и городской промышленностью, основанной на машинном производстве, крестьянство терпит гнет со стороны города. Причем повинны в этом один-два крупных финансовых магната.

Ёкити подтверждал свою мысль, в частности, примером с азотными удобрениями.

— Нам, крестьянам, нужно упорно, до конца бороться против крупных капиталистов. Но крестьяне не таковы, какими их считают Дзэнкё и тому подобные организации, — крестьяне цепляются за свой клочок земли, только о нем и думают и вряд ли способны преодолеть предрассудки, сохранившиеся со времени старой, феодальной Японии.

Ёкити, по его словам, на своем жизненном опыте убедился, что в Японии нужно бороться за то, чтобы все предприятия крупных капиталистов, тиранически пользующихся своей властью, передать в руки государства. Но при этом не нужно никакого союза рабочих и крестьян. Ведь всякому ясно, что рабочие и крестьяне не имеют между собой ничего общего!

Слушая Ёкити, Кэнъитиро думал о том, какая пропасть разделяет теперь двух товарищей, когда-то вместе учившихся в школе, вместе работавших в поле и вместе ездивших на заработки в Токио. Вероятно, это объяснялось тем, что семья Ёкити все еще владела двумя тёбу земли. А Кэнъитиро, не имевший ни пяди собственной

земли, уехав в город, примкнул к рабочему движению. Там он ясно понял, что вопреки утверждениям Ёкити крестьяне ничем не отличаются от рабочих. Те и другие в равной мере подвергаются ужасающей эксплуатации. В самом деле, крестьяне ведут с помещиками отчаянную борьбу, в которой кровь льется ручьем. Но борются они всего-навсего во имя того, чтобы вернуть себе право работать на земле. Такой борьбы, конечно, недостаточно.

Кэнъитиро думал о том, как важно разъяснить крестьянам, что надо установить связь с рабочими, превратить эту борьбу в борьбу политическую, за то, чтобы вся земля перешла в руки крестьян. А такая борьба невозможна без союза с рабочими.

Однако из осторожности Кэнъитиро не высказывал своих мыслей Ёкити. Если Ёкити на самом деле действовал в контакте с Молодежным союзом и Обществом резервистов, то лучше было держать свои мысли при себе. Особенно теперь, когда японская армия двинулась в Маньчжурию, надо было опасаться, что при дальнейшем обострении обстановки председатель отделения Ямадатэ непременно перейдет на сторону Ёкити и ему подобных.

Этой осенью был такой недород, какого не случалось уже лет двадцать. Арендаторские поля дали около трети обычного урожая, а в некоторых местах не уродилось ничего. Было ясно, что из-за арендной платы подымется борьба. Поэтому Кэнъитиро считал, что нужно использовать этот момент для организации молодежной секции. Установив связь с Каварада, он заставил товарищей в свободное от работы время обойти всех крестьян.

— Послушай-ка, Каварада-сан. В самом деле, как же теперь быть? Ведь я и трети не собрал!..

Крестьяне, которые раньше и слушать не хотели о союзе, теперь, застигнутые неурожаем, со вздохами потянулись к руководителям узнать, что же им делать. Посещения Каварада и его товарищей стали внушать им кое-какие надежды.

— Что-то Ямадатэ-сан в последнее время совсем не видать... — недовольно ворчали арендаторы.

Каварада и его группа прислушивались к мнениям крестьян и, учитывая их высказывания, составляли листовки, а потом разносили эти листовки по домам.

Отец Кэнъитиро надевал очки и очень медленно, вслух читал листовку.

— Верно, верно, истинная правда написана!.. — одобрительно кивал он. — Дельный парень этот Каварада!

Вернувшись в деревню, Кэнъитиро стал думать о том, чтобы устроить здесь клуб: снять у кого-нибудь комнату, раздобыть шахматы, го¹, книги. Вход в клуб должен быть свободный для всех. Таким путем можно было бы постепенно вовлечь в союз новых членов.

— Как же мы об этом раньше не подумали! — воскликнул Каварада, когда Кэнъитиро поделился с ним своими планами. — Прекрасно, прекрасно! — одобрительно говорил он. Решено было выписать «Литературную газету»² и «Токио Асахи»³.

Такая работа в условиях деревни имела особенно большое значение. Раньше, когда урожай бывал сносный и у деревенских парней водилось хоть немного денег, они отправлялись в город в дешевые кафе или в публичные дома. Но теперь никто уже не мог позволить себе подобную роскошь. С тех пор как наступила депрессия, нравственный уровень деревенских девушек сильно понизился. «Теперь на девчонку не нужно ни гроша!» — говорили деревенские кавалеры с густо напояженными волосами и приставали к женщинам, поздно возвращавшимся из города. Однако все это делалось потому, что жить стало слишком уж тяжело и безрадостно, все искали какой-нибудь способ забыться. И клуб, конечно, привлечет молодежь.

Кроме того, газеты в Нумадзири выписывало всего несколько семейств, по большей части — собственников. Понятно, что у них газету не одолжишь. О том, что делается на свете, в Нумадзири знали только по слухам. Когда в деревне узнавали, что в какой-нибудь дом пришла газета, вечером, после ужина, все собирались туда.

¹ Го — игра типа шахмат.

² «Литературная газета» («Бунгаку симбун») — издавалась японским союзом левых писателей «Прорэтария сакка домэй» в 1930—1932 гг. специально для руководства рабочими и крестьянскими литературными кружками и для агитационно-пропагандистских целей.

³ Одна из крупнейших японских газет.

И стоило только объявить, что в клубе имеются газеты, народ наверняка стал бы там собираться. Явились бы даже такие, которые в союз ни за что не стали бы ходить. Каварада и его товарищи предполагали все время поочередно дежурить в клубе, беседовать с людьми на разные темы и постепенно привлекать их на свою сторону.

Некоторое время спустя Каварада сказал:

— Благодаря тебе я теперь выучился играть в шахматы, до сих пор ведь не умел! — он засмеялся, и белые зубы его сверкнули на темном лице.

— А «Литературную газету» читают?

— Да, читают, но с каким-то озадаченным видом, а кончат читать — и потихоньку отложат в сторону.

— Вот как!

— Но некоторые все же купили газету, говорят — она легкая, интересная, да и стоит дешево — всего три сэн.

— Отлично! — засмеялся Кэнъитиро.

Установив связь с Каварада и его группой, Кэнъитиро принялся за работу.

5

Кэнъитиро вышел с отцом в поле. Они жали рис; Кэнъитиро все время отставал — ведь он уже несколько лет не занимался крестьянской работой. Он надел рукавицы, но стебли то и дело резали ему руки. Это причиняло нестерпимую боль. Конец серпа путался в стеблях, иногда чуть не ранил ему колени, и Кэнъитиро, боясь порезаться, не решался жать быстро. Не прошло и часа, как у него стало невыносимо ломить спину.

— Отец, что делать, — с тана и шести то¹ не наберется!

— Э-эх... — отец разогнул спину. — Если бы Токуямасан видел, каков нынче урожай, уж наверно скинул бы с нас долг... — не выпуская из рук серпа, он утер лицо рукавом.

— Как же, так он тебе и сбавит! Ну, а если бы даже и сбавил, разве ты сможешь заплатить?

Отец ничего не ответил.

— Смотри-ка, здесь и четырех то не наберется.

¹ То — мера сыпучих и жидких тел, равна 18 литрам.

Отец молча высморкался. Немного подумав, Кэнъитиро спросил:

— О чем там толковал Ёсиока-сан из сельского управления?

— Ёсиока-сан? Он рассказывал, что по случаю неурожая правительство отпустило ссуду, кажется, в шесть с чем-то миллионов, и на эти деньги будут производиться не то строительные работы, не то работы по землеустройству, так что, мол, волноваться особенно нечего... — Отец замялся, видимо сам слабо веря в то, о чем говорил.

— А что нам с того проку? Вот зато и норовят cobrar с нас арендную плату. Ловко придумано!

— Да, Нобу-сан, что работает на Токуяма, так и говорил.

— Видно, у них уже все заранее рассчитано!

Кэнъитиро сплюнул. Он задышался, во рту у него пересохло.

— Помещики все вопят: «Неурожай, неурожай», а сами на этом наживаются! Зато крестьянам, если они уплатят налоги да рассчитаются за удобрения, только и останется что с голоду помирать. Видно, для этого они и выращивали рис!

— Да уж это верно!

— Ничего, союз что-нибудь предпримет! — многозначительно сказал Кэнъитиро, взглянув на отца.

— Посмотрим...

— Созовем собрание союза. Если не снимут арендной платы и не спишут долги, то при таком недороде крестьянам одна смерть.

Но при этих словах отец, вдруг спохватившись, крикнул: «Дурак!» — и, нагнувшись, снова принялся жать привычной рукой.

После полудня Кэнъитиро взялся забивать колья для рисовой сушилки. В это время на поле показался Каварада, он ехал на велосипеде и как бы мимоходом обратился к Кэнъитиро:

— Знаешь, сегодня корреспондент одной газетки рассказывал, будто правительство решило выдать пособие, потому что боится, как бы крестьяне не взбунтовались — ведь неурожай небывалый!

— Конечно! Вот и хотят им глаза замазать... К завтрашнему собранию все готово?

— Готово.

— Я приду.

— Придешь? — спросил Каварада, понизив голос. — Хорошо бы, да только не опасно ли?.. Да еще от него же я слышал: Екити со своими дружками собирается, кажется, организовать отделение Нихон сэйсан-то¹.

— Я тоже слышал об этом от Ёси-тян. Сейчас все зависит от того, кто из нас успеет опередить друг друга — мы или он!

— Верно... — произнес Каварада, нахмурив густые брови.

Когда разговор о деле был закончен, Каварада громко крикнул отцу Кэнъитиро, продолжавшему жать поодаль:

— Папаша! Завтра вечером соберемся у Ямадатэ, приходите!

Вечером Кэнъитиро, возвращаясь домой, заглянул по дороге в клуб. В последнее время все были заняты уборкой урожая, но сюда заходили, чтобы узнать, что пишут в газетах о войне, и каждый вечер несколько арендаторов, засунув серпы за пояс, не снимая варадзи, растягивались у порога и слушали кого-нибудь, кто читал им вслух. Обычно читали, как пожилые люди в старину, с расстановкой и иногда со свистом втягивая воздух.

— Без Маньчжурии наша маленькая Япония не может существовать, — заявил кто-то.

— Вот сосед Ямамото-кун, как пойдет в город, обязательно заходит в китайскую харчевню — поест китайской лапши. Говорят, эту харчевню теперь закроют...

— Китайскую харчевню? — переспросил арендатор, покуривавший в противоположном углу. — Ну, разумеется... — добавил он с глубокомысленным видом.

— В Маньчжурии очень холодно, — как бы невзначай вмешался в разговор Кэнъитиро, — поэтому говорят, что солдат туда будут посылать привычных к холоду, уроженцев таких районов, как Тохоку или Хоккайдо...

Все уставились на Кэнъитиро. Внезапно наступила тишина.

— Это правда, Кэн-тян? — спросил молодой арендатор Имамура, который до сих пор толковал о войне,

¹ Одна из фашистских организаций Японии.

словно это было что-то очень интересное и забавное. И тихо добавил: — Чего доброго, меня первого призовут!

В последнее время, когда крестьяне работали в поле, связывая в снопы сжатые колосья риса, по шоссе несколько раз в день пробегали продавцы экстренных выпусков газет, звеня колокольчиками¹. За ними с серьезным видом бежали ребяташки. И каждый раз арендаторы, работавшие в поле, разгибали спины и провожали их взглядом, пока они не скрывались из вида.

Кэнъитиро узнал о том, что между директором школы и учительницей Ёсии произошел крупный разговор из-за денежных пожертвований на армию. Директор предложил учительнице раздать ученикам мешочки для пожертвований, маленькие, квадратные, в два суна величиной, присланные из сельского управления, и провести денежный сбор. «Жертвуйте по одному, по два сэн в пользу наших солдат, воюющих в морозной Маньчжурии!» — было написано на этих мешочках.

Учительница Ёсии ответила директору, что при нынешнем неурожае собирать пожертвования по меньшей мере неуместно. Как она может просить деньги у ребят, которые приходят в школу голодные, без завтрака и просят освободить их от уроков гимнастики, потому что они совсем ослабели от недоедания!

— Что вы говорите! — воскликнул директор, переменившись в лице. — Ведь сейчас такое время, когда каждый истинный японец, все до единого должны пожертвовать хотя бы по одному, по два сэна и этим доказать свою готовность помочь государству!

«Делай как знаешь!» — подумала учительница.

Директор созвал учеников и рассказал им о войне. Школьники любят рассказы о войне, поэтому они слушали его речь с захватывающим интересом. Однако, когда в конце зашел разговор о пожертвованиях, лица у ребят сразу вытянулись, все недовольно зашумели.

На следующий день оказалось, что мешочки с пожертвованиями принесли всего-навсего десять человек. Учительница отнесла эти мешочки директору.

— Что? Только десять? — Некоторое время директор озадаченно смотрел то на мешочки, то на учительницу.

¹ В Японии продавцы экстренных выпусков снабжаются колокольчиками.

— Да разве я могу явиться с этим в сельское управление! — воскликнул он наконец.

Тем не менее крестьяне считали, что война к лучшему. С войной дела пойдут в гору, цены на рис и на бобы поднимутся, думали они. К тому же эта самая Маньчжурия — обширная страна, там тысячи тёбу земли пропадают зря, а в маленькой Японии все ютятся в тесноте — оттого-то все они такие нищие, — а если эти земли отойдут к Японии, многие смогут туда переехать, и жить станет куда легче. Вот тогда крестьяне смогут получить столько земли, что даже теперешним арендаторам будет житься привольно. Так им казалось. Они уже забыли, что когда-то сами с такими же точно надеждами переселялись из внутренней Японии на Хоккайдо.

Группа Каварада распространяла листовки, где подробно разъяснялось, что войны ведутся ради выгод помещиков и капиталистов, а рабочим и крестьянам приносят только вред, но эти доводы никому не были понятны.

Двое жителей Нумадзири, шахтер Канда и рабочий городской рисообдирочной фабрики Исияма, уже получили из сельского управления «асидомэ»¹.

Оба они — и Канда и Исияма — кое-как перебивались на заработок поденщиков.

Когда рассыльный из сельского управления принес это извещение отцу Канда (самого Канда дома не оказалось — он еще не приходил с работы из Икусюбэцу), старик так и застыл на месте с открытым ртом, уставившись на повестку. Рассыльный мучительно думал, как утешить старика.

— Да, папаша, трудновато, пожалуй, придется, когда заберут сына... Зато это большая честь для всей нашей деревни, так что нужно смириться! — наконец, сказал он. — Твоей семье нелегко, а Исияма и того хуже — у него жена да мальчишка! — и соболезнующе покачал головой.

Когда стало известно, что двоим прислали «асидомэ», в деревне сразу заволновались. Ёкити теперь начал действовать открыто.

¹ «А с и д о м э» — запрещение выезда; присылается, в частности, перед призывом.

— Война необходима, чтобы вывести страну из кризиса, чтобы создать новую прочную основу для государства, — разглагольствовал он... — Все мы должны теперь объединиться во имя этого...

Ёкити посещал собрания Молодежного союза, беседовал с резервистами, организовал сбор денег в пользу семей Канда и Исияма. Но, несмотря на это, все, кто имел хоть малейшее отношение к воинской повинности, дрожали от страха. Особенно тревожились те, на чей заработок перебивалась целая семья: ведь если их теперь заберут на войну, то буквально на второй же день их родным будет нечего есть.

Трое крестьян из деревни Нумадзири уже служили в армии, в дивизии, расположенной в Асахигава. Когда они уезжали, в честь призывников устроили пир, проводжали их на станцию с флагами; но семьи их, лишенные на два года кормильцев, владели поистине жалкое существование. А теперь люди и вовсе позабыли об этих семьях. Больше того, их начали сторониться, потому что родные призывников, измученные нуждой, при встрече с односельчанами всякий раз говорили «недозволенные» речи. Пока, мол, сыновья были дома, они только и знали что работать на помещиков, а теперь, когда парни наконец-то встали на ноги, их забрали в солдаты... Говорят, будто так нужно для родины, но что пользы от такой родины, когда приходится бедствовать солдатским семьям!.. Всякий раз, когда начинался весенний сев или приближалась уборка урожая, эти семьи ходили в сельское управление и просили отпустить сыновей на несколько дней домой...

И все-таки положение этих семей можно было считать еще не столь бедственным: ведь у них была уверенность, что через два года кормильцы вернутся домой. А на войне их могут убить.

Чем больше шумели члены Молодежного союза во главе с Ёкити, тем молчаливей и угрюмей становились крестьяне. Люди боялись проявлять свои чувства открыто, но мрачная, тяжелая тревога проникала во все сердца. Маленький братишка Канда в слезах прибежал к учительнице Ёсии, к которой мальчуган давно привязался. — Отец болен ревматизмом, и если теперь старшего брата возьмут в солдаты, некому будет зарабатывать деньги... Вы говорили нам, что все люди должны

жить в мире! Зачем же затевать войну? Не надо войны, пусть войну кончат! — со слезами твердил мальчик.

Спустя несколько дней после вручения «асидомэ» прислали, наконец, «красный листок»¹. Это случилось как раз в тот день, на который Каварада и его товарищи назначили общее собрание союза для обсуждения мер в связи с недородом.

Дом Ямадатэ находился на северном краю Нумадзири. Ямадатэ был зажиточным крестьянином, в доме у него было довольно уютно. Обычно крестьяне собирались туговато, но теперь, когда перед глазами стояла угроза голода, почти все, состоявшие в союзе, отправились на собрание. В темноте по шоссе, покачиваясь, двигались фонари. Когда проходили мимо реки Тёнайгава, с берега доносился плеск воды — там мыли лошадей.

Время от времени на дороге встречались крестьяне, возвращавшиеся из города.

— Добрый вечер!.. Куда?

— На сходку в союз. Урожай-то, сам знаешь, какой...

— Ох, верно, верно! И что только с нами будет? Вы уж как-нибудь постарайтесь там, — говорил встречный, и, перекинувшись несколькими словами об урожае, они расходились каждый в свою сторону. Но некоторые из встречных говорили:

— Ведь и я о том же тревожусь, возьмите-ка меня с собой!

Учитывая, что речь идет о деле, в котором заинтересована вся деревня, Каварада, посоветовавшись с Кэнъитиро, пригласил на собрание не только членов союза, но и всех желающих. Между членами союза и арендаторами, не входившими в союз, иногда возникали несколько напряженные отношения. Кроме того, количество организованных арендаторов в деревне было не такое уж большое. Поэтому нужно было приложить все силы к тому, чтобы как можно скорее ликвидировать этот разрыв и завоевать среди крестьян большинство (Кэнъитиро неустанно твердил об этом с тех пор, как вернулся в деревню). Если созвать всех крестьян на так

¹ Призывная повестка.

называемую «конференцию» и образовать совместно с неорганизованными арендаторами комитет борьбы за снятие арендной платы или за отмену задолженности, то можно будет таким путем вовлечь в борьбу всю деревню. Предстоящее собрание непременно должно решить этот вопрос, для этого есть все возможности.

Кэнъитиро считал, что в нынешнее время, когда рабочим и крестьянам-беднякам с каждым днем живется все хуже, необходимо привлечь как можно больше новых товарищей, иначе никак нельзя добиться победы в предстоящей борьбе. Он был убежден, что работу нельзя вести силами маленькой замкнутой организации и постоянно стремился завоевать сочувствие неорганизованных арендаторов, используя для этого все средства — и общие собрания крестьян и сельский клуб.

Комната Ямадатэ с большим очагом, в полу и прилегающие к ней соседние помещения были заполнены арендаторами. Члены союза стояли в сенях или теснились по углам. Тут же присутствовал местный полицейский и, кроме него, несколько других полицейских, прибывших из города. Каждый час они поочередно сменяли друг друга. Ямадатэ куда-то уехал и еще не вернулся, собрание поэтому не начиналось. Полицейский, побрякивая шашкой, прохаживался среди арендаторов. Некоторые крестьяне, до сих пор никогда не бывавшие на сходках в союзе, всякий раз испуганно оглядывались.

— Ну, как у тебя, поди, тоже дела плохи?

— Э, да я и одной трети урожая не собрал...

— Да уж и то сказать! Даже неохота выходить в поле!..

Пожилой арендатор, сидевший у очага, очевидно пришел сюда прямо с поля, — он весь пропитан запахом свежесрезанных стеблей риса.

— Это верно. Если б не такой недород, разве б мы стали терять время на сходки в самую страдную для крестьянина пору!

У окна молодой парень, аккуратно подстриженный ежиком, загорелый до черноты, то и дело поглядывал на Ёсиэ, сидевшую наискось от него.

— Что у нее, нелады с братом, что ли?

— Говорят, будто она, как придет домой, так и ссорится с Ёкити из-за союза, да только не знаю — правда ли это...

— Ну да? Посмотри-ка, а все же она самая красивая девушка на деревне!

Тут Ёсиэ заметила этих двух парней, которые упорно глядели на нее, о чем-то переговариваясь.

Каварада и его товарищи внимательно прислушивались к разговорам крестьян и запросто беседовали с ними о неурожае. Это были парни, работавшие на шахте в Икусюбэцу; закончив работу, они, хоть и с опозданием, пришли на сходку. От них пахло машинным маслом, а их бледные отекавшие лица резко выделялись среди загорелых лиц крестьян.

— Что, собрание еще не началось?

— Что это с Ямадатэ-сан? Поутру уехал куда-то и все еще не вернулся.

— Мужики всегда спозаранку за дело берутся, так уж заведено.

Кругом засмеялись.

— У меня даже тыква и та не уродилась! Если возьмут арендную плату, не знаю, как проживем эту зиму...

— И картофель плохой. Где хочешь посмотри — хоть на полях Хирага-сан или Токуяма-сан. Тоже, поди, меньше половины урожая собрали. А у них, надо полагать, и семена хорошие и удобрения — первый сорт.

— Нынче даже машины не применяли, денежки экономили. Совсем как в старину стали жить, — рис мелют в ручных ступках...

— И у нас также — все тело болит от этой работы!

— Эй, начинайте, начинайте! Чего тянете? — громко крикнул кто-то сзади.

В сенях было полно народу. На дворе уже заходило, но в комнатах из-за тесноты стало душно, поэтому входную дверь оставили открытой. За рекой, на крестьянском дворе, замычала корова. И сейчас же, откуда-то издали послышалось ответное мычанье.

— Ну, коли нет Ямадатэ-сан, так пусть Каварада-сан открывает собрание.

В это время, утирая пот, вошел Ямадатэ. При виде его крестьяне зашумели.

— Простите, пожалуйста, задержался!

Он говорил так вежливо потому, что это было собрание не только членов союза. Когда он вошел в комнату, полицейский чин, одетый в европейский костюм, отозвал

его и что-то ему сказал. «Слушаюсь! Слушаюсь!» — отвечал Ямадатэ, вытирая полотенцем шею.

— Итак, объявляем собрание отделения Крестьянского союза в деревне Нумадзири открытым!

Крестьяне откашливались и уселись поудобней.

Когда на обсуждение был вынесен вопрос о мерах в связи с недородом, все сразу насторожились.

Обрисовав в общих чертах обстановку, сложившуюся в Нумадзири, Ямадатэ предложил собравшимся высказаться. Никто из присутствующих не выступил, некоторое время длилось молчание. Наконец, поднялся один из молодежной секции.

— Как нам сейчас сообщили, собрано в среднем шесть-семь то с тана. Так вот, если нам даже уменьшат арендную плату и вместо одного коку¹ мы должны будем отдать всего три то, сможем ли мы просуществовать зиму на остальные три? До сих пор с нас взымали два коку, и если вспомнить, как тяжело нам приходилось тогда, хотя у нас после оплаты аренды оставался один коку, то ясно, что теперь нас должны совсем освободить от арендной платы...

Он еще не договорил, как собравшиеся загудели:

— Ого, совсем!.. Совсем?..

— Иные пугаются, как скажешь «совсем». Но даже если снимут с нас арендную плату, сможем ли мы прожить на пять-шесть то? А ведь, кроме того, надо еще уплатить за удобрения и за мисо!

Арендаторы, притихнув, взволнованно поглядывали друг на друга. Пожилой арендатор с трубкой в зубах сердито буркнул:

— Сами понимаем! Мы здесь все мужики. — Это был отец Кэнъитиро. — Я не собрал нынче и трети обычного урожая, дочь у меня работает в Икусюбэцу, из сил выбивается, а в последнее время кашлять начала, да к тому же еще сын вернулся домой без гроша. И теперь, как ни раскидывай, не то что арендную плату, — у нас к осени и на еду ни гроша не останется. И хотел бы заплатить — да нечем!

После этих слов, сказанных пожилым человеком, молчавшие до сих пор люди перестали сдерживаться — общее волнение прорвалось наружу.

¹ К о к у — мера емкости; 1 коку равно 180,4 литра.

— Верно! Это все долги!

— Пусть отсрочат на год или совсем снимут!

— Ну, совсем снять — это уж слишком...

— Как это слишком? Ёсидая небось знает, что у нас ни гроша за душой, а подсовывает дорогие удобрения...

— Верно, верно!

— Нам все обещают, — подождите, мол, вот скоро будет денежная реформа, вот начнется война, тогда дела пойдут в гору и цены поднимутся. Да ведь на что цены поднимутся? На удобрения, на сельскохозяйственные орудия, на мисо, на сою! Рис тоже вздорожает, да только после того, как уйдет из наших рук. Так что нам-то по высоким ценам только покупать придется. До сих пор так оно и было. Вот потому-то мы и влезли в долги, разве не так? Отменить долги — это справедливо!

Так говорили товарищи Каварада.

— А Ёсидая теперь под шумок повысил на тридцать процентов цены на удобрения, оставшиеся с весны, и мы же, дураки, будем у него их покупать!

«Да, это правда», — думали арендаторы, слушая эти речи.

— Ну, а раз уж началась война, то ведь и налоги тоже повысятся!

Кэнъитиро огляделся: те, кто имел хоть немного собственной земли, и арендаторы позажиточней молчали. Жаловались только те, кто занимался поденщиной, бедняки, арендовавшие от силы один-два тёбу, на которых работали их жены и дети (на Хоккайдо и во внутренних районах Японии размеры арендуемых участков различны¹).

Сначала при бряцании полицейских шашек люди испуганно обрывали речь, но потом, поняв, что завтра им грозит голод, если собрание не примет какое-нибудь решение, перестали обращать внимание на полицию. Атмосфера быстро накалялась.

Поднялся Каварада.

— Итак, поскольку в основном все уже высказались... — начал он. — Как видите, на сегодняшнее собрание пришло больше крестьян, не состоящих в союзе, чем членов союза, так что это собрание можно считать

¹ То есть во внутренней Японии эти размеры значительно меньше.

конференцией арендаторов всей деревни Нумадзири. Уже из этого видно, что вопрос о неурожае является делом не только союза. Отмена долгов и снятие арендной платы тоже касаются не только союза. Если все арендаторы деревни не поднимутся на борьбу, то никакая победа невозможна. Итак, воспользуемся этим случаем, выберем несколько представителей от членов союза, что само собой разумеется, и также от всех остальных арендаторов, начнем борьбу, которая для нас является вопросом жизни и смерти. Это будет самое правильное. Что вы на это скажете?

Есиэ, с горящим от волнения лицом, оглядела лица собравшихся.

Арендаторы, несколько озадаченные, принялись обсуждать, хорошо ли это будет, или плохо. Кэнъитиро прищурился.

— А ты как думаешь? — спросил арендатор, нечлен союза, сидевший на корточках напротив Кэнъитиро, разминая в потрескавшихся ладонях зернышки вареного риса.

— Да ведь это... ведь другого-то выхода нет! — резко ответил Кэнъитиро, не в силах больше сдерживать свое возбуждение.

— Если мы теперь будем глазами хлопать, то с нас и арендную плату полностью сдерут и рис за долги отберут, не посмотрят, что неурожай, — плохо нам тогда придется! — добавил Каварада.

Не состоявшие в союзе крестьяне сначала немного трусили, но... как ни прикидывай, а делать было нечего. И все уже склонны были принять предложение.

В это время Ямадатэ, до сих пор не проронивший ни слова и только поглядывавший вверх прищуренными глазами, произнес:

— Я полагаю, было бы желательно, чтобы все обошлось мирно, а это похоже на бунт...

Кэнъитиро и Каварада побледнели.

Когда заговорил Ямадатэ, все затихли, выжидая, что он скажет. Все-таки это был Ямадатэ!

— Теперь время особое. Я думаю, что сейчас, когда японская армия ведет тяжелую войну в морозной Маньчжурии, не время устраивать беспорядки здесь, внутри страны. Разумеется, если бы я больше ничего не сказал вам, могло бы показаться, что я пренебрегаю интересами

арендаторов, стоящих на грани голодной смерти. — Тут Ямадатэ поднял лицо и полузакрыв глаза. — Однако, может быть, некоторые из вас уже слышали, что правительство в виде помощи по случаю неурожая для одного только Хоккайдо отпустило сумму в шесть с чем-то миллионов иен, затем будут развернуты строительные работы, а кроме того, в Токио и других городах, как пишут газеты, устраивают сборы добровольных пожертвований. Но и это не все, — огромные суммы жалует нам и императорский дом... Мое мнение — удовлетвориться этим и уладить все по возможности мирным путем. И помещики со своей стороны тоже на этот раз внимательно подумают, и, я полагаю, все разрешится, таким образом, благоприятно, путем переговоров. Итак, я прошу вас доверить все дела союзу. Как вы на это смотрите?

«Продался, скотина! — подумал Каварада. — Полиция, сельское управление да Ёкити с компанией запугали его, обвели вокруг пальца!»

— Все, что говорил здесь председатель, звучит как будто убедительно, но я считаю, что это совершенно неверно! — быстро и громко сказал Каварада.

— А что именно неверно? — повернулся в его сторону Ямадатэ.

— Прежде всего здесь говорилось насчет различных денежных пособий, но мы по прежним примерам хорошо знаем, много ли достанется на нашу долю, на долю каждого крестьянина-бедняка! Ни единого раза не получали мы действительной помощи. Далее, вполне ясно, что на этих строительных работах, предпринимаемых правительством, под прикрытием властей будет твориться черт знает что! Все это одна видимость, все это не продлится и недели или десяти дней. Глупо думать, будто с помощью таких мер можно будет просуществовать зиму. Но и это еще не все! — он запнулся, задыхаясь от прилива негодования. — Но и это еще не все. Господа помещики под предлогом того, что выдано пособие, разумеется сдерут с нас черт знает какую арендную плату, они будут производить конфискации, договорятся с сельским управлением и за наши долги перехватят у нас все пособие, — это совершенно ясно! В центральных районах было много таких случаев. Но и это еще не все... — У него задрожали губы. — И это еще не все. Помещики вместе с Молодежным союзом и с резервистами бьют

в барабан и кричат: «Война, война!», они хотят этой войной отвлечь нас от наших забот, оставить в дураках. А разве благодаря войне наша жизнь стала лучше? Какое там! Все дорожает. Сегодня Канда-кун и Исияма-кун получили повестки о мобилизации. Если их семьи лишатся кормильцев, то этой же зимой...

— Арестовать! — крикнул полицейский чин в европейском костюме, и в тот же момент полицейские внезапно со всех сторон налетели на Каварада. Один из них обхватил его сзади, сильно сдавил ему шею. Другой подставил ему ногу, и Каварада упал на бок. Он закричал. Его стали топтать сапогами, подбитыми железными гвоздями.

Все повскакали с мест.

В это время в дверь ворвалось полтора десятка парней из городского Молодежного союза. В руках они сжимали дубинки и трости.

Кэнъитиро сразу понял, что это нападение подготовлено заранее. «Сорвалось наше дело!» — подумал он. Ёсиэ с побледневшим, искаженным лицом, судорожно прижавшись к Кэнъитиро, вместе с ним выбежала через черный ход. И вдруг, вскрикнув, замерла на месте.

— Что такое?

— Ведь там был мой брат!

В этот момент со звоном разлетелась электрическая лампочка.

Захмелев, все по очереди стали демонстрировать свои таланты. Директор школы, служивший когда-то в армии, поглаживая усы, запел «Песню о родной стране». В конце каждого куплета он обязательно повторял, словно ни к кому не обращаясь: «Да, радостное, радостное событие...», и мотал головой. Потом запевал следующий куплет.

Вечер подготовил председатель общества резервистов.

Канда и Исияма, одетые в праздничные кимоно с чужого плеча, сидели в неудобных позах, неловко поджав ноги, и упорно глядели в пол. Собрались члены Молодежного союза, деревенский староста, крестьяне. Сначала они с прочувствованным видом беседовали с призывниками, но потом, охмелев, попросту забыли об их

существовании. Усевшись группами по несколько человек, они пустились толковать о своих делах да пили сакэ. Женщины суетливо сновали из комнаты в кухню и обратно.

Только директор школы, покачивая головой, как будто припоминая, напевал:

И лишь часы
твердят — тик-так, тик-так...

и прибавлял свое: «Да, радостное событие...» Приглаживая ладонью растрепавшиеся усы, он раскрыл свои узкие, уже совсем пьяные глаза, огляделся по сторонам и увидел рядом с собой отца Канда, который молча подносил чарку ко рту.

— Послушай-ка, Канда-сан! Это ведь большая честь! Ты же самый счастливый человек в деревне. Послужить отечеству — это не так-то просто, слышишь, Канда-сан! — Тут он потряс бутылкой из-под сакэ около уха и заорал: — Эй, а где сакэ? Канда-кун и Исияма-кун, слушайте! Не беспокойтесь о семьях. Мы что-нибудь уж предпримем. И резервисты, и Молодежный союз, и землевладельцы — мы все поможем!

Громко разглагольствовал только директор школы. Канда и Исияма, оба почти не бравшие в рот сакэ, склонили головы.

— Да уж, пожалуйста, покорнейше просим.

Молодая жена Исияма сидела позади всех, положив грудного ребенка на колени, и утирала глаза тыльной стороной руки. «Пока идет веселье, еще хорошо, а вот когда все это кончится, то-то наступит тоска!» — думала она. Взглянув на своего мужа, одетого в нарядное кимоно, какого он никогда в жизни еще не надевал, да вдобавок чужое, она поняла, что ему еще тяжелее, чем ей. Он будет тосковать по ребенку, его будет тянуть к жене, но больше всего измучит его тревога, на что им придется жить...

— Ну, ну, веселее! — крикнул жене Исияма старик Фукумото. — Слезы — это не к добру, не к добру!

Жена Исияма поспешно вытерла глаза.

В это время пришел Ёкити со своей компанией, и сборище сразу оживилось. Новые гости, по-видимому, уже где-то выпили.

— Ну и задали же мы этим бандитам! — кричали они в один голос.

Хотя они учинили дебош в доме Ямадатэ, никого из них не арестовали...

Отцу Исияма и отцу Канда со всех сторон протягивали чарки с сакэ. Очень скоро старый Канда совсем захмелел. До сих пор унылый, он вдруг развеселился, как будто его подменили.

— Как я рад! Как я рад! Как хорошо! — восклицал он.

Директор школы, похлопав себя по коленям, обхватил отца Канда за плечи. Екити с приятелями громко запели: «Проводим с песнею веселой...»

Страдавший ревматизмом старик Канда, пошатываясь, поднялся и, согнувшись, начал выделять какие-то причудливые движения руками. Канда взглянул на отца и молча потупился.

— Ловко, ловко! — кричали все, прихлопывая в ладоши. — Валяй, валяй! Ха-ха-ха!

— Сыну выпала честь идти на войну! Эх, у меня в молодости хороший голос был. Спеть вам песенку, что ли?

Все дружно захлопали в ладоши.

— Только песни у меня все старинные, подойдет?

— Подойдет, подойдет!

Женщины, стряпавшие на кухне, тоже пришли и сели на пороге, подвязывая рукава.

На горе Сакада
Рак с омаром дрались...

— Здорово!

— Подождите, дайте передохнуть!

Он передохнул и запел дальше.

Под конец все, прихлопывая в такт в ладоши, подхватили припев. Женщины надрывались от смеха.

Отец Канда, приговаривая: «Ловко, эх, ловко!», опять, согнувшись, пустился выделять руками разные фигуры.

— Ха-ха-ха! — засмеялся он. И, продолжая смеяться, стал кружиться. Все уже были пьяны, и потому захохотали вместе с ним. Отец Канда хохотал во все горло, потом плечи его стали дергаться, и вдруг он громко зарыдал. Сначала никто ничего не понял, и все продолжали смеяться. Но быстро сообразили, что это не шутка. Изумленные, все замолчали. В комнате сразу наступила тишина.

Старый Канда кружился по комнате и все еще плакал. Окружающие в растерянности молча смотрели на него. Когда учительница Ёсии услышала эти рыдания, ее как будто кипятком обдало, и она невольно закрыла лицо руками.

— Полно, полно... — Директор школы опомнился первый и схватил за плечи кружившегося по комнате старика.

6

Необходимо было выработать план действий. Могло случиться, что Каварада не вернется дня два. Кэнъитиро с Ёсии и еще двумя товарищами из молодежной секции быстро шагали по шоссе, обгоняя крестьян, возвращавшихся с собрания группами по пять-шесть человек. Ночь была холодная, но холод приятно обдавал горящие от возбуждения щеки.

Кэнъитиро и раньше боялся, что собрание может сорваться. Но он никак не ожидал, что эти опасения сбываются так быстро. Зато теперь все выяснилось. Те, которые обычно разыгрывали из себя защитников арендаторских интересов, в критический момент сразу показали свое истинное лицо. Однако нельзя было оставить разгром собрания без последствий — это могло свести на нет приподнятое настроение арендаторов, с таким трудом вызванное, а может быть и совсем запугать их. Кэнъитиро считал, что нужно немедленно, даже если бы пришлось не спать до утра, раскрыть арендаторам всю закулисную механику, которая привела к разгрому собрания, направить их неустойчивые настроения в определенное русло и убедить их, что если они не выступят теперь же, то потом уже не сумеют ничего добиться.

Все собравшиеся в доме Кэнъитиро были с ним согласны. У одного парня щека была рассечена от уха до подбородка. Он разбился, когда на сходке упал на земляной пол в сенях.

Кэнъитиро составлял черновик листовки. В стороне один из товарищей, Миямото, резал бумагу для шапирографа. Мидзухара приготовлял краску.

Кругом было тихо. И только стук шапирографа, как они ни старались работать неслышно, нарушал тишину. Ёсие вышла на улицу и в темноте обошла вокруг дома.

Она была очень взволнована, зубы у нее стучали. Она прислушалась. Все было тихо.

Она тихонько вошла обратно в дом. Перешагнула через отца и бабушку Кэнъитиро, спавших в комнате, где был очаг, и вернулась на свое место. Фуми нездоровилось, поэтому она на несколько дней переселилась к знакомым в Икусюбэцу и ходила на работу оттуда.

— Все спокойно? — тихо спросил Кэнъитиро, поднимая глаза на Ёсиэ.

— Все спокойно!

— Ну, хорошо.

— Ёси-тян, не показалось бы странным, что в крестьянском доме так поздно не спят. Завесь-ка окно вон тем кимоно, — сказал Кэнъитиро.

Ёсиэ достала из угла свернутое кимоно и навесила его на окно.

Кэнъитиро, написав немного, тихо читал товарищам, исправлял непонятные и чересчур сложные места, потом передавал текст резавшему бумагу Миямото.

— Подумайте только, этот Ёкити, который сегодня так навредил арендаторам и батракам, называет себя социалистом! Каково, а? — промолвил Кэнъитиро, лизнув карандаш. Ёсиэ невольно потупилась.

— Или возьмем Ямадатэ. Этот не то, что Ёкити, он не яхшался с Молодежным союзом, сельским управлением или полицией, больше того, он сам считает себя социалистом, участвующим в крестьянском движении. А вот сегодня... сыграл на руку Ёкити.

— Путаная штука! Крестьяне, наверно, не поймут, в чем между ними разница, — сказал Миямото, почесывая карандашом голову.

— Ничего, после сегодняшнего поймут! Помещики воспользуются этим переполохом и наверняка принудительно взыщут арендную плату, поймают, как на приманку, на это денежное пособие. А крестьянам придется питаться лесными кореньями. Вот тогда они поймут!

— Да-а, это верно...

Кэнъитиро продолжал писать, иногда он затруднялся сразу сформулировать свои мысли, останавливался и отрывисто произносил вслух несколько фраз.

— Когда я еще был связан с заводами в Токио, там раза два происходили стачки, ну, так вот, там рабочие тоже по-разному были настроены. Влияли размеры

зарплаты или возраст. А у крестьян настроение зависит от того, как они связаны с землей. Ведь даже самые боевые крестьяне-бедняки в ответственный момент начинают колебаться из-за того, что они так слепо цепляются за свой клочок земли!

— Это правильно! Как послушаешь Кэн-сана, становится все понятно. Это как раз то, о чем говорил Кава-рада!

— Да. А поэтому все то, что болтает Ямадатэ да Ёкити со своими приятелями, никуда не годится. И самое главное сейчас — это изолировать их от масс. В журнале «Крестьянская борьба» все время пишут, что нужно бороться с фашистами. Ёкити — законченный фашист, а Ямадатэ, как выяснилось сегодня вечером, — настоящий социал-фашист! Ведь сотни раз говорили мы такие слова, а вот рядом с собой проглядели этих мерзавцев! — сказал Миямото, державший печатный валик; слова Кэнъитиро как будто задели его за живое, и он прикусил губу.

Ёсиэ, складывая отпечатанные листовки, с тяжелым сердцем прислушивалась к разговору. Она думала о том, что главная вина за все случившееся на сегодняшнем собрании ложится на ее брата, и не знала, что ей делать. Кэнъитиро ничего ей не говорил, и от этого на душе у ней становилось еще тяжелей.

— Что мне делать? — воскликнула Ёсиэ, не поднимая лица.

— Что такое? — Все трое повернулись в ее сторону.

— Раз мой брат так поступает, я не смею людям в глаза смотреть...

— Вот ты о чем, — улыбаясь, просто сказал Кэнъитиро. — В нашем деле Ёси-тян одна стоит двух.

— Верно! — согласились остальные двое.

Кэнъитиро снова принялся читать вслух черновик листовки.

— Ну, как этот текст? Не получится ли скучновато? — спросил он.

Ёсиэ не могла понять, почему он так легко отнесся к тому, что ее тревожило. Она невольно устремила на него глаза. И ей вдруг стало стыдно за то, что она до сих пор так унывала. В то же время Ёсиэ почувствовала прилив беспредельного доверия к Кэнъитиро.

— Крестьяне думают, что война облегчит их положение, но ведь это ошибка, — опять заговорил Кэнъитиро. — Говорят, что из-за войны опять оживится промышленность и торговля, но ведь на деле ничего подобного нет и в помине. Об этом я напишу в первую очередь, а затем упомяну об Исияма и Канда. «Неужели семьи, лишенные единственного кормильца, могут хотеть войны? Из-за этой войны все мы пойдем по миру... Как же можно говорить, будто война ведется в интересах родины?» Если люди думают, что призовут только Канда и Исияма, то они жестоко ошибаются. Это место хорошо бы выделить крупным шрифтом... На этом примере ясно, что война ведется не ради интересов бедного люда. Просто помещики и капиталисты, высосав все соки из своего народа, хотят теперь захватить слабые отсталые страны, чтобы вновь обогащаться, эксплуатируя поработанные народы, и для этого они безжалостно посылают нас, крестьян и рабочих, на бойню... Поэтому мы должны разъяснить крестьянам, что их бедственное положение неразрывно связано с войной. Сейчас как раз благоприятный момент для того, чтобы сбитые с толку люди могли уразуметь что к чему...

— Хорошо, конечно, храбриться и кричать «Бандзай! Бандзай!» Зато потом похмелье тяжелое... Точь-в-точь как после дешевого сакэ...

— Иной подумает, что в такое время, когда у всех на уме война, разбрасывать листовки бесполезно. Нет, это как родительское наказание или как холодная водка — действует потом!

— Да... Только толковать крестьянам о войне — дело нелегкое...

Ночь близилась к концу. Равномерный стук шапирографа нагонял сон. Отец Кэнъитиро, спавший в соседней комнате, время от времени скрипел во сне зубами.

— А в самом конце, Миямото, — ты ведь у нас художник! — нарисуй карикатуру, как Ямадатэ и Ёкити Ота держатся за руки с полицией, помещиком Токуяма и прочими, — сказал Кэнъитиро.

— Все это будет хорошо!

Миямото, зажав в пальцах карандаш, несколько раз ударил себя кулаком по плечу — он так усиленно вертел ручку шапирографа, что рука у него совсем онемела.

Бескрайняя равнина Исикари по утрам вся покрывалась инеем, сверкала под утренним солнцем. Поля опустели, и стаи голодных ворон слетались в деревню.

Арендаторам деревни Нумадзири нужно было готовиться к наступающей зиме. Ни в одном доме не имелось риса хотя бы на первые два зимних месяца. Но люди находились в каком-то оцепенении, словно волю, одуревшие после тяжелой работы. Листовки, которые несколько раз выпускал Кэнъитиро и его друзья, противоречили пропаганде Ёкити, призывающего «объединиться в этот трудный для отчизны час!». К тому же обоих помощников Кэнъитиро — Миямото и Мидзухара — за распространение листовок разыскивала полиция. Кэнъитиро не был еще ни в чем замечен, но эти оба прятались у него или уходили в соседнюю деревню и продолжали начатую работу. Листовки и инструкции сейчас же расходились по рукам через молодого секретаря, оставшегося в союзе. Учительница Ёсин с неожиданной готовностью взялась поддерживать связь. «Мне кажется, я этим смогу загладить свою вину!» — говорила она. Она тяжело переживала то, что в школе ей приходилось говорить лживые слова, которым она сама несколько не верила.

Хотя еще не было известно, сколько денежного пособия придется на каждого и какая сумма отпущена на строительные работы, но, пользуясь этими разговорами, помещики начали вести переговоры об арендной плате отдельно с каждым арендатором. Они широко распространяли слухи о неурожае и продавали рис по вздутым ценам. Уже впоследствии арендаторы узнали, что помещики обратились в префектуру с жалобами на свое бедственное положение и просили хотя бы формально отпустить крестьянам денежное пособие, чтобы можно было таким образом взыскать с них арендную плату. И даже пугали, что в случае отказа «надо быть готовым к волнениям».

Арендаторы поняли, что они обмануты. Теперь им стало ясно, что Каварада попал в полицию за их же дело. Мало того, и Миямото и Мидзухара, работавшие вместе с Каварада, тоже вынуждены были скрываться от полиции. Получая время от времени листовки, крестьяне думали: «Эти люди в самом тяжелом положении все же продолжают болеть за нас душой!» Надев очки, иной раз не бывавшие в употреблении целый год, они медленно,

вслух разбирали написанное в листовках. «Эх, надо было тогда нагрянуть всем миром в сельское управление или в усадьбу к Токуяма!» — думали люди.

Газеты ежедневно кричали о неурожае, а крестьяне неотступно думали о непосильной арендной плате, которую они обязаны были внести. «Если бы удалось тогда добиться выполнения наших требований, как-нибудь перебились бы зиму... Конечно, что и говорить, неурожай жестокий, но если бы на этот год сняли с нас арендную плату, мы прокормились бы кое-как...» И, словно откликаясь на эти мысли, в листовках писали: «Кричат о неурожае и сваливают всю вину за бедственное положение арендаторов на природные условия!»

«Правильно написано!» — думали все.

А Ямадатэ тем временем ходил по деревне, соглашался, что положение тяжелое, но тут же добавлял: «Однако Маньчжурия — это для Японии вопрос жизни. Когда Маньчжурия будет завоевана, наша жизнь улучшится сама собой. В такое время не слишком-то похвально устраивать беспорядки внутри страны...» Но крестьяне, поглощенные мыслью о надвинувшейся на них беде, стали теперь косо поглядывать на «уважаемого», «почтенного» Ямадатэ.

Ёкити объяснял положение на свой манер. Нынешние трудности нельзя преодолеть обычными мерами, считал он. Первое доказательство тому — полное молчание со стороны Дзэнка, Дзэнно и партии Ротайто. Партия Мусанто тоже бессильна что-либо изменить. Нужно свергнуть деспотический финансовый капитал, всю промышленность нужно передать в руки государства. Таким путем удастся наладить жизнь рабочих и крестьян... Подобные речи встречали сочувствие у арендаторов, испытывавших страх перед такими организациями, как Дзэнно, а также и у мелких собственников, которые хотя и имели свои крохотные надель, но тоже подвергались беспощадной эксплуатации со стороны Токуяма и других помещиков.

Когда в воздухе замелькал первый снег, тут уж никто не мог больше оставаться безучастным. Зима на Хоккайдо тянется долго. Крестьяне, которые питались одной картошкой да тыквой, страдали от истощения. Стоило немного поработать, и люди обливались потом, задыхались. Но картошки и тыквы тоже было в обрез. К тому же, как и следовало ожидать, при распределении денежного

пособия первыми приложились к нему помещики, состоявшие членами сельского управления, владельцы мелочных лавок и торговцы удобрениями и за долги забрали все деньги себе. Однако полиция и резервисты вмешались: время сейчас особое (они опасались, как бы чего не вышло), следует, чтобы часть денег была выдана крестьянам на руки. На каждого пришлось по семь иен. Но у некоторых отобрали и это — в счет погашения старых долгов.

По вечерам бедняки арендаторы с фонарями в руках тянулись к Ямадатэ, дом которого превратился теперь в контору союза. В глубине души все думали: «Если сидеть сложа руки, то, когда выпадет снег, придется помирать с голоду... Так не лучше ли двинуться в сельское управление или к Токуяма, у которого склады набиты мешками с рисом?»

Ямадатэ, когда положение стало безвыходным, твердил только, что солдатам, которые ушли на войну, приходится еще тяжелее.

«Был бы здесь Каварада, он бы уж что-нибудь да придумал, а так и выхода никакого нет». В конце концов арендаторы стали высказываться так даже в присутствии Ямадатэ.

Как раз в это время на шахтах в Икусюбэцу начались увольнения.

У каменноугольных компаний существовала договоренность по ограничению добычи угля. Это делалось для повышения цен на уголь и предупреждения истощения угольных запасов. Однако обычно перед наступлением зимы на шахтах начиналось оживление и туда набирали больше рабочих. В этом году из-за войны период оживления был несколько продолжительнее обычного.

Для арендаторов деревни Нумадзири сокращение работ в шахтах явилось едва ли не большим ударом, чем принудительное взимание аренды, — ведь для разоренных неурожаем арендаторов и батраков, не имевших ни клочка хотя бы арендованной земли, пятьдесят — шестьдесят сэн, которые они получали в Икусюбэцу, являлись сейчас единственным источником существования. Как ни тяжело приходилось им до сих пор, все-таки еще оставалась надежда как-нибудь вывернуться именно благодаря шахтам Икусюбэцу. Теперь исчезла и эта поддержка. Ведь речь шла не о деньгах на карманные расходы для

сыновей и дочерей, как это бывало когда-то, в лучшие времена. Жить без единого гроша стало невыносимо. А тут вдобавок к голоду прибавились еще лишние рты.

Когда разбитая, согнутая болезнью Фуми вернулась домой, бабушка, глядя на нее, забилась в темный угол комнаты и беззвучно заплакала.

— Кэнъитиро! — не вставая с места, не поднимая головы, крикнул отец. Кэнъитиро готовил листовки по поводу последних событий. — Я молчал насчет твоих занятий, потому что думал, что все это делается для пользы крестьян-бедняков. А что же это за безобразие?

Фуми, бледная, сидела, прислонившись к стене, и тяжело дышала.

— Отец, раз уж так плохо, пойдемте вместе с нами в Икусюбэцу!

Ёсиэ, которая, как обычно, пришла помогать печатать листовки, удивленная необычными словами отца Кэнъитиро, переводила взгляд с него на Кэнъитиро.

— Сегодня на обратном пути из Икусюбэцу мы сговорились все вместе с отцами, матерями, братьями пойти на переговоры.

Отец, не отвечая, помешивал щипцами золу в очаге.

— Эх, хорошо жене, что померла вовремя! Верно, бабушка?..

Фуми отвернулась и закрыла глаза. Отец покачал головой.

— Крестьянам от вашей работы несколько не полегчало. Еще, пожалуй, в полицию заберут да избыют! Я уже подумывал, не лучше ли перейти на сторону Ёкити...

Ёсиэ сразу переменилась в лице. Дыхание у нее захватило.

— Что вы говорите! Мой брат стал полицейским агентом! Он за это деньги получает! Оттого-то я и ухожу из дома сюда к вам.

Вечером, когда собрались товарищи, Ёсиэ прежде всего заговорила об отце Кэнъитиро.

— Я думаю, что так рассуждает не один только отец Кэн-сана.

— Верно, такая опасность имеется, — сказал Миямото, — но нас, тех, что завтра во главе с уволенными парнями и девушками двинутся в Икусюбэцу, нас больше. Надо ударить в набат. Завтра двинемся! — продолжал он, разогревая краску для шапирографа.

После того как были заслушаны различные сообщения, Кэнъитиро заговорил со своим обычным спокойствием:

— Итак, во-первых, ясно, что крестьянам не осталось сейчас никакого иного выхода, кроме решительных действий. Вполне понятно, что в такие минуты люди находятся на распутье. И вот все зависит от того, сумеем ли мы завтра повести людей за собой. Этим решится все — удастся ли нам перетянуть на свою сторону эту в буквальном смысле слова революционную энергию, которая накопилась в людях, или ее используют в своих интересах Ёкити и Ямадатэ!

— Правильно!

— Недавнее собрание было по существу замечательное! И когда мы уже готовы были создать комитет, который потребовал бы полной отмены арендной платы и мог бы руководить большим числом неорганизованных крестьян... тут-то мы и потерпели этот разгром. Мы должны извлечь урок из этого опыта. Это поражение вызвано безусловно не чем иным, как нашей слабостью и ошибками — отсутствием четкости, ясности в наших установках!

— Пожалуй, ты прав, — сказал молчаливый Мидзухара.

— Конечно. Во-первых, мы считали Ямадатэ до некоторой степени своим и не вели против него решительной борьбы. А ведь это страшная штука — наша ошибка привела крестьян к нынешнему бедственному положению... Но теперь мы должны осуществить свое правильное руководство, какие бы трудности нас ни ждали. Иначе нам не добиться победы, я это чувствую всем своим существом!

— Кажется, теперь это все поняли, — сказал Миямото, размешивая краску для шапирографа. — Ведь с тех пор нашего полку значительно прибыло. Все эти люди полны возмущения. Завтрашний день все решит!

Кэнъитиро очень серьезно относился к завтрашней демонстрации. Она имела особенно важное значение как для того, чтобы усилить на шахтах влияние Дзэнкё, до сих пор не возраставшее из-за вредной агитации Молодежного союза, так и для того, чтобы показать всем крестьянам необходимость бороться плечом к плечу с рабочими, используя в качестве связующего звена

крестьян, которые ходят на поденную работу. Кэнъитиро проектировал создать среди крестьян, работавших в Икусюбэцу, союз крестьян-рабочих, относительно чего он получил соответствующие инструкции из Токио. Организация в шахтах нисколько не выросла, можно было опасаться неудачи, но тем более необходимо было, чтобы наемные рабочие из деревни Нумадзири создали свой союз.

— Что же, это дело. — Мидзухара почесал себе спину.

— А вдруг все сойдет гладко! — сказала Ёсиэ. Было видно, что эта идея увлекла ее, целиком поглотила все ее мысли.

— А чем эта организация будет отличаться от Крестьянского союза? — в раздумье спросил Миямото.

— Видишь, теперь все больше и больше таких крестьян, которые или совсем не имеют земли, или уходят на заработки на поденщину, словом — не занимаются крестьянской работой. Поэтому крестьяне постепенно становятся рабочими... Создать союз из таких крестьян — это значит создать звено между Крестьянским союзом нашей деревни и рабочими, работающими в городе. Ёси-тян и все вы, наверно, и так это понимаете, — ведь идете же вы завтра в Икусюбэцу!

При этих словах Ёсиэ зажмурила глаза, как от яркого света.

— Вот поэтому-то завтрашняя демонстрация имеет громадное значение!

Миямото и Мидзухара скрывались в соседней деревне, в доме одного из членов союза. Благодаря этому была налажена прочная связь с тамошним, еще очень слабым союзом. Так что из той деревни привлекли всех, кого возможно. Решили, чтобы ничто не помешало, выходить завтра рано утром небольшими группами.

— Сегодня я заходил в союз. Оказывается, Кудо-сан и Курихара, знаешь, оттуда, из-за речки, да еще Накада приносили картофель и папиросы для Миямото и Мидзухара.

— Неужели?! — воскликнула Ёсиэ.

Миямото взглянул на девушку.

— Смотри, не заплачь! — пошутил он и, чтобы скрыть свое волнение, громко засмеялся.

— Да, только каждый раз, когда они что-нибудь приносили, жена Ямадатэ начинала ругать Миямото и

Мидзухара. И шпионы-то они, и государственные преступники, и предатели, и хорошо бы их в полицию засадить! — Кэнъитиро расхохотался. — Вот на этот раз она искренне говорила, не то что всегда!

— А мы все это в листовках и пропишем. А все-таки она что-то усиленно распускает по деревне разные слухи. Дескать, к Ямадатэ заходить перестали, или Мидзухара с компанией хотят провести Ямадатэ и что-то такое замышляют... Опасные разговоры!

— Опасные. Смотри-ка, ведь это та же полиция!

— Да, то же самое! Одна шайка с Ёкити, только открыто не говорят, а это еще хуже!

Когда все было подготовлено к утренней демонстрации, Миямото и Мидзухара поднялись, чтобы не засиживаться слишком поздно.

— Я зайду к Ямаками, Сато, Кинго и Апко. А они потом передадут дальше. Да, совсем забыл: ты, Кэн-тян, собираешься сегодня в Икусюбэцу. Смотри, будь осторожнее. Кажется, Ёкити тоже пошел туда, — сказал Миямото, надевая в темных сенях таби на резиновой подошве¹.

— Вот как? Хорошо, я буду начеку. Значит, договорились?

— Не беспокойся.

Миямото пошел к черному ходу. Уже взявшись рукой за дверь, он вдруг обернулся.

— Слушай, Кэн-тян, что бы ни случилось, ты ни в коем случае не должен попасться!

— Хорошо! — сдерживая волнение, Кэнъитиро кивнул.

Когда товарищи ушли, Кэнъитиро начал собираться в Икусюбэцу. Надо было отнести на завтра листовки одному из тамошних членов союза. На шахтах не знали Кэнъитиро в лицо. Ему было удобней других это сделать. «Однако, если Ёкити тоже пошел туда, нужно принять меры предосторожности», — подумал он.

— Так как же завтра, пойдете с нами? — спросила Ёсиэ отца Кэнъитиро, все еще сидевшего у очага.

— У меня воп бабка, которая двигаться не может. Да Фуми, которая уже не может больше ни гроша

¹ Обычная рабочая обувь японских крестьян. (Прим. ред.)

заработать, да вдобавок еще Кэнъитиро... Как зиму протянем?.. Пойду завтра!..

— С кем? С моим братом?

— Нет, с вами, в Икусюбэцу.

— С нами?

«Вот это хорошо! — подумала Ёсиэ, и слезы вдруг выступили у нее на глазах. — Это хорошо!» — Она перевела на Кэнъитиро полные слез глаза. Он тоже был взволнован. Но, встретившись глазами с Ёсиэ, в замешательстве отвернулся.

— Ну-ка, посмотри — хорошо так? — Кэнъитиро завязал в узелок редьку таким образом, чтобы листья торчали наружу, а внутри рассовал листовки и перекинул узелок за спину.

— Вот это ловко! — воскликнула Ёсиэ, с довольным видом оглядывая его со всех сторон.

— Ну как, Фуми-тян?

Фуми, лежавшая в постели, устало взглянула на брата. Она было улыбнулась, но сейчас же страдальчески сморщила брови.

— Теперь в шахтах в связи с увольнениями начались беспорядки, охрана очень строгая, так что со стороны деревни Савада не войдешь. Лучше сделать крюк и пройти со стороны Нумабэцу.

— Это что, по шоссе вправо от полотна?

— Да.

— Понятно. Ёси-тян, ты пойдешь кругом вместе с Ямамура, Каку-тян и учительницей Ёсии... а сейчас выйдем вместе. С женщиной, пожалуй, мне будет безопаснее, — сказал Кэнъитиро и смутился.

Ёсиэ быстро собралась.

— Ну, Фуми-тян, завтра встретимся! Хорошо?

Фуми, улыбаясь, кивнула головой.

Когда они вышли на улицу, их охватила дрожь. Холодный воздух ударил в лицо. В чистом темном высоком небе мерцали звезды. Кэнъитиро, катя велосипед, шел рядом с Ёсиэ. Рука, которой он держал руль, сразу застыла. Он на ходу отогревал руки, поочередно засовывая их за пазуху.

Ёсиэ, дома оживленно болтавшая, теперь, когда они остались вдвоем, не произносила ни слова. Они прошли немного по дороге.

— Я... — сказала она, как будто не в силах больше сдерживаться — я ни одного дня больше не хочу жить под одной крышей с братом... мне противно!

— Это верно. Ну что ж, переходи ко мне, женишь меня на себе! — Он громко рассмеялся.

— Что ты!..

Некоторое время она шла молча.

— Сердишься? — шутливо спросил Кэнъитиро и взглянул ей в лицо. Но Ёсиэ не отвечала.

При мысли о том, что предстоит ему в будущем, все внутри у него задрожало. Он никак не мог справиться с собой. Его самого поражало, до какой степени он волнуется...

— Я... — опять заговорила Ёсиэ.

— Что?

— Вот уж не думала я, что Кэн-сан такой человек... — как бы про себя тихо сказала Ёсиэ.

— Какой?

— Да вот... который такой борьбой занимается...

— Ну, отлегло от сердца! А я-то испугался, думал, ты рассердилась на мою шутку!

— Я...

— Опять «я»! Ну, что еще? — подтрунивал над ней Кэнъитиро.

— Ничего. — Ёсиэ оборвала разговор и замолчала.

Пройдя еще немного, он спросил:

— Ну, так как же насчет того, чтобы женить меня на себе?

Ответа не было.

Вскоре они подошли к мосту. Отсюда Ёсиэ должна была повернуть направо, здесь им надо было проститься.

Кэнъитиро остановился.

— Смотри, чтобы все было в порядке. Понятно?

Он опять перешел на тот тон, которым обычно разговаривал на собраниях.

— Поняла? Ну, береги себя!

В темноте белело ее поднятое лицо.

— Смотри-ка, Ёси-тян, что это там, огонек, что ли?..

Ёсиэ, ничего не подозревая, повернула голову. В эту минуту Кэнъитиро вдруг охватил девушку за плечи и прикоснулся губами к ее шее.

— Ах! — Ёсиэ отскочила и закрыла лицо руками. Кэнъитиро рассмеялся и быстро вскочил на велосипед.

— Ну, я еду!

В темноте он покраснел и, не помня себя, нажал на педали. Отъехав немного, он оглянулся. Ёсиэ все еще стояла на том же месте и глядела ему вслед. Он махнул ей рукой.

В далеком темном небе красным заревом отражались огни шахт Икусюбэцу.

1932 г.



ЖИЗНЬ ДЛЯ ПАРТИИ

*Посвящается товарищу
Корэхито Курахара¹.*

Автор.

ГЛАВА I

Я умывался, когда под окном послышался громкий разноголосый говор, шарканье ног, обутых в ботинки и

¹ Корэхито Курахара — критик, литературовед, переводчик советской литературы. В 1932 г. был осужден на восемь лет заключения за участие в революционном движении. (Когда Кобаяси писал свою повесть, Курахара находился в тюрьме.)

в дзори¹. Это, закончив работу, возвращались домой рабочие второго цеха.

— Ты еще не готов? — в дверях показался Суяма. Он тоже работал во втором цехе.

Я, как был, с намыленным лицом, оглянулся и недовольно сдвинул брови. Мы давно уже договорились с Суяма — по возможности избегать возвращаться домой вместе. Это могло привлечь внимание, и, кроме того, в случае провала опасности подвергались сразу двое — нас могли арестовать вместе. Но Суяма то и дело нарушал наш уговор. «Ладно, не злись», — добродушно улыбаясь, всякий раз говорил он при этом. Чертовски славный, располагающий к себе парень, этот Суяма! Рассердиться на него нелегко, и я в таких случаях только криво усмехался вместо ответа. Но сейчас дело другое. Времена наступили суровые. Вот почему я постарался придать своему лицу как можно более строгое выражение. К тому же у меня имелись свои планы на сегодняшний вечер: мне предстояла встреча с одним товарищем.

Однако я заметил, что обычно веселое, оживленное лицо Суяма выглядело сегодня необычно. Я мгновенно уловил это тем шестым чувством, которое вырабатывается только на нашей работе.

— Сейчас иду... — ответил я, торопливо ополаскивая лицо водой.

Суяма, как видно, понял, что я встревожился.

— Зайти разве выпить по кружке пива? — спросил он, стараясь говорить обычным веселым тоном. И все-таки в голосе его звучали какие-то напряженные нотки. Ошибиться я не мог.

Мы вышли за ворота. Как ни беспечен был Суяма, он все же пошел не рядом со мной, а на несколько шагов впереди.

От завода до проспекта, по которому ходили поезда электрички, вела узкая улица. По одну сторону ее тянулась железнодорожная насыпь, по другую нескончаемым рядом выстроились лавчонки, закусочные, кафе. У одного из столбов линии электропередачи стоял перодетый в штатское сыщик и смотрел в нашу сторону. Мне давно и хорошо знакома эта гнусная манера слежки,

¹ Дзори — японская обувь типа сандалий.

словно шпик и смотрит и не смотрит на тебя. Я тотчас немного замедлил шаг, поравнялся с идущими сзади рабочими и заговорил с ними. В то же время, весь внутренне подобрившись, я краем глаза следил за сыщиком, ни на минуту не выпуская его из виду.

В последнее время переодетые агенты непрерывно сторожат нас: они торчат здесь и по утрам, когда рабочие идут на завод, и вечерами, после конца работы.

Сыщику, как видно, надоели однообразные, изо дня в день повторяющиеся обязанности, и он с уныло-безразличным видом смотрит куда-то в пространство. Суяма проходит мимо него, совсем рядом, и нарочно, словно издеваясь над шпиком, преувеличенно громко топает ботинками, ставя ноги носками врозь. Я догадываюсь, что он делает это специально для меня, в расчете, что я наблюдаю за ним, и мне против воли становится смешно.

Мы выходим на шумный проспект, и здесь я догоняю Суяма. Он оглядывается по сторонам и потирает лицо с самым безразлично-невинным видом.

— Понимаешь, какая история... — шепчет он.

Я не отрываю взгляда от его губ.

— Усатый не пришел на явку... — продолжает Суяма. — Уэда так и не дождался его...

— Когда? — спрашиваю я.

— Вчера.

Мы оба хорошо знаем, что Усатому можно доверять. Это верный товарищ.

— О месте встречи было условлено точно?

— Уэда говорит — точно.

Суяма рассказал мне, что вчерашняя встреча имела особенно важное значение. Речь шла об исключительно ответственном задании; в случае проволочки или задержки хотя бы на один день могли возникнуть серьезные осложнения в нашей работе. Местом встречи должен был служить отрезок улицы между тремя остановками электрички: от реки до улицы М. и оттуда до моста. Уэда вместе с Усатым специально прошли накануне по этому маршруту и точно определили, где они будут ждать друг друга.

Удивительное дело, Усатый точно предчувствовал что-то неладное! Он сам указал Уэда на дешевую закусочную: «На случай, если произойдет что-нибудь

непредвиденное», — сказал он при этом и пояснил, что если свидание на улице почему-либо сорвется, то Уэда должен ждать его в этой закусочной спустя двадцать минут после условленного времени. Наконец, расставаясь, оба — и Уэда и Усатый — сверили свои часы.

Товарищ, носивший кличку «Усатый», — ответственный работник нашей партии, наш руководитель, выполнявший особо важную, трудную работу. За его плечами был опыт почти тысячи таких явок (и все они проходили на улице!), и за все эти долгие годы он только два раза опоздал к намеченному часу. Казалось бы, принимая во внимание характер нашей работы, что такая пунктуальность — нечто само собой разумеющееся. Тем не менее немного встречалось людей, таких же аккуратных и точных, как Усатый. Собственно говоря, те два опоздания тоже произошли не по его вине. В первом случае не было точной договоренности, так что дело объяснилось простым недоразумением, во втором — Усатый, как впоследствии выяснилось, не заметил, что у него остановились часы. Случись кому-нибудь другому разок-другой не прийти на явку, это еще не давало бы повода к серьезному беспокойству. Но чтобы на явку не пришел Усатый, и при этом на явку, о которой заранее все было так точно установлено, это казалось нам просто невероятным.

— А как будет сегодня? — спросил я.

— Уэда говорит, что опять пойдет туда в то же время, — ответил Суяма.

— В котором часу?

— В семь. Значит, в закусочную Уэда зайдет в семь двадцать. Но у меня на душе все-таки беспокойно... Мы с ним условились встретиться в половине восьмого.

Я мысленно прикинул свои планы на вечер.

— Хорошо, в таком случае давай мы с тобой тоже договоримся встретиться в девять.

Мы тут же назначили место встречи и расстались. На прощанье Суяма сказал:

— Если окажется, что Усатого действительно взяли, то, честное слово, я сам пойду объявлюсь в полицию. — Разумеется, он шутил, но в голосе его звучало неподдельное волнение.

— Дурак! — ответил я, хотя хорошо понимал, что творится в душе Суяма в эти минуты.

Все мы так верили в Усатого, так на него полагались! В самом деле, если его не станет, как нам работать? В первый же день, завтра?.. Меня охватила растерянность. Нечего говорить, что, несмотря на арест Усатого, — если только он действительно арестован, — работа все равно будет продолжаться. И все же...

Я шел домой, а про себя всем сердцем желал одного, — чтобы наши опасения не подтвердились.

По пути я купил коробочку конфет для сынишки хозяев, у которых снимал комнату. Подойдя к дому, я увидел мальчика; вместе с другими он стоял перед уличным автоматом, продающим сладости. В последнее время на улицах повсюду появилось множество таких аппаратов, и возле каждого всегда толпились дети. Опустив в автомат медную монету, нажмешь на рукоятку, изнутри выпрыгивает мячик, попадает в углубление, и тогда из нижнего отверстия выпадают пряники разнообразной формы. Малыши нажимают на рукоятку, лица их сосредоточены, глазенки, не моргая, уставились на отверстие — каждый в душе надеется: вдруг из автомата вывалится не один пряник, а целых два? .

Я пошарил в кармане и, достав две медные монеты по одной сэн, протянул их мальчику. В первый момент ребенок нерешительно отдернул руку, но вдруг рожица у него так и просияла от радости. Я догадался, что до сих пор ему приходилось только смотреть, как другие дети покупали себе сладости. Сунув в карман мальчику только что купленную коробочку конфет, я вошел в дом.

К восьми часам мне нужно было успеть описать то, что произошло сегодня на заводе. Ровно в восемь рукопись следовало передать товарищу С., с которым у меня была назначена встреча, а завтра утром листовки должны быть распространены по цехам. Я запер дверь комнаты на ключ и достал из стенного шкафа чемодан с бумагами.

...Раньше на заводе Курата работало немного народу — всего около двухсот человек металлистов, — но с началом войны Компания дополнительно набрала еще около шестисот так называемых временных рабочих. Мы,

трое коммунистов, — я, Суяма и Ёси Ито (Ито была женщина-партийка, наш товарищ по работе) — воспользовались этим массовым набором, чтобы проникнуть на завод по фиктивным документам. Уже по одному тому, что к прежним двум сотням рабочих понадобилось нанимать еще шестьсот, можно судить о том, как резко увеличилось производство. С началом войны в Маньчжурии завод Курата прекратил выпуск электропроводов, которые производил до сих пор, и перешел на изготовление противогазов, парашютов и авиационных фюзеляжей. Однако вот уже месяц-другой, как в сбыте этой продукции обозначилась некоторая заминка, так что, по всем данным, из шестисот временных не менее четырехсот человек вскоре, очевидно, уволят. В последние дни на заводе только и было разговоров, что об этом увольнении. Все ждали его со страхом. Администрация имела свою точку зрения на этот вопрос, заявляя, что временные вообще не имеют права на что-либо претендовать — напротив, Компания, дескать, даже предоставила им возможность проработать на две недели больше, чем ранее предполагалось.

Действительно, срок найма продлили на две недели, но зато срочная работа стала напряженной до изнурения. Женщины, например, стояли у машин, не сменяясь, с восьми часов утра до девяти часов вечера, и все-таки заработок их не превышал одной иены восьми сэн. За вечерние часы — от шести до девяти вечера — платили всего по восемь сэн в час. При этом Компания еще умудрялась высчитывать из этих грошей две-три сэны за время, которое уходило у рабочих на еду, хотя это занимало не больше двадцати минут.

— Как видно, хозяева думают, будто наш брат — рабочий может вообще отлично обходиться без всякой пищи, — заметил я как-то раз, за ужином.

— Похоже на то! — согласился один из временных, работавший рядом. Он произнес эти слова с таким удивленным видом, как будто только сейчас сообразил, как хитро все это придумано.

Заметив его растерянно-удивленный тон, все, кто был рядом, невольно рассмеялись.

Зарплату выдавали ежедневно после работы. Каждой работнице, — а их было около четырехсот, — платили

одну монету достоинством в пять сэн и три монеты по одной сэн. Такой расчет отнимал много времени. Люди часами простаивали в очереди, дожидаясь полочки.

— О, черт бы их всех побрал! Платили бы по десять сэн — насколько быстрее пошло бы дело! Честное слово, лучше уж мы, что ли, сами пойдем на уступку, и пусть нам платят по пять сэн, лишь бы одной монетой! — раздраженно шумели в очереди.

— Ну и жадюги же, видно, эти богачи, — нашему брату, наверное, представить даже трудно!..

И вдруг по заводу разнесся слух, что при увольнении временных Компания якобы выплатит каждому уволенному пособие в десять иен! При этом особенно подчеркивалось, что поскольку дело касается временных, то Компания вправе вовсе ничего не платить, но, мол, выдает эти деньги как «вознаграждение за усердный и добросовестный труд». Никто не мог сказать определенно, насколько достоверны эти слухи. Зато все хорошо знали, что после увольнения снова долго придется искать новую работу. И люди, сами того не сознавая, хотели верить, что слухи о пособии — правда.

Но как же можно было поверить, чтобы хозяева, способные удерживать из заработка по две-три сэны за минуты, потраченные на еду, хозяева, хладнокровнозирающие на то, как несколько сот человек часами простаивают в очереди, дожидаясь заработанных денег, хозяева, отсчитывающие эти трудовые деньги по медному грошу, — разве мыслимо было поверить, чтобы они вдруг выдали нескольким сотням рабочих по десяти иен каждому: по кредитному билету достоинством в десять — шутка ли сказать! — в целых десять иен?!

Был какой-то скрытый умысел в распространении таких слухов. Очевидно, это был прием, рассчитанный на то, чтобы предотвратить возможные волнения среди рабочих и в нужный момент провести всю процедуру увольнения тихо и гладко.

Сегодня на заводе много толковали об этом, и я решил написать обо всем в листовках, которые предстояло завтра распространить. Позавчера в цехах тоже появились листовки — в них излагалось требование ускорить выдачу зарплаты, чтобы людям не приходилось тратить

каждый вечер так много времени в очереди. Как раз накануне рабочие с жаром обсуждали этот вопрос, и наши листовки вызвали живой отклик.

Я поудобнее уселся за стол.

Немного погодя ко мне на второй этаж поднялась хозяйка — пришла поблагодарить за подарки сыну:

— Большое спасибо вам за нашего мальчугана!

Никогда еще она не улыбалась мне так любезно.

В нашем положении приходится быть очень внимательным ко всякого рода пустяковым, на первый взгляд как будто ничего не значащим мелочам. Мы должны казаться такими, как «все люди». Хуже всего, если хозяева или соседи по дому будут считать вас «очень странным человеком», который «непонятно чем занят». Вот, например, товарищ Н. (сейчас он в тюрьме). За ним была установлена слежка куда более упорная, чем за мной и моими друзьями. Полиция разослала его фотографии по всем ресторанам, закусочным, парикмахерским, баням. К каким только уловкам ни приходилось ему прибегать, чтобы продолжать работу в обстановке таких преследований, — он даже приглашал своих квартирных хозяев в Императорский театр. Мы должны уметь поддерживать пустой, бессодержательный разговор, должны уметь говорить любезности, как «все люди». Что до меня, то мне это труднее всего: по этой части я совершенно бездарен. В последнее время стал, правда, как будто немого привыкать, но все еще получается довольно неуклюже.

— Что вы, что вы, это пустяки!.. Не стоит благодарности, — ответил я хозяйке.

Когда она вышла, я заметил, что покраснел от смущения. Вот это уже совсем никуда не годится!..

... Листовки должны быть короткими — размер текста не превышал двух, двух с половиной листов обыкновенной писчей бумаги, но писать после окончания длинного рабочего дня было нелегко. Наступил уже восьмой час, когда я, наконец, полностью изложил истинную подоплеку слухов об этом воображаемом пособии. Работая над составлением листовки, я то и дело утирал лицо полотенцем. Я всегда обливаюсь потом от напряжения, когда пишу.

Положив в конверт исписанные листки, я надписал сверху первое пришедшее на ум женское имя так, чтобы

снаружи письмо напоминало любовное послание, и ровно в семь двадцать вышел из дому.

— Пойду пройдуся немного! — бросил я, проходя мимо хозяйки.

Обычно молчаливая, она на этот раз приветливо кивнула:

— Ступайте, ступайте!..

Как видно, мои конфеты не пропали зря. Выйдя на улицу, я невольно усмехнулся.

Помню, как-то раз я вот также собрался было уже выйти из дому, как вдруг хозяйка заметила:

— А вы частенько уходите по вечерам.

При этих словах я оторопел. В самом деле, я уходил каждый вечер — это и впрямь хоть кому показалось бы подозрительным.

— Да видите ли... э-э... — в замешательстве пробормотал я, не найдясь, что ответить, но хозяйка поняла мои слова по-своему.

— Дело, мол, молодое, да? — смеясь, подхватила она. Только тогда я успокоился, сообразив, что хозяйка имела в виду совсем не то, чего я опасался.

Встреча была назначена на улице, примыкавшей к главному проспекту. Здесь было много заводов и фабрик, было оченьлюдно: у входов в лавочки и кафе толпилась заводская молодежь — парни с длинными, выпущенными на лоб чубами. Я всегда старался одеться так, чтобы мой костюм подходил к месту и обстоятельствам. Конечно, это не всегда удавалось, но в нашем положении это было очень важно. Мы вообще всегда должны стараться одеваться по возможности прилично и аккуратно, чтобы наш внешний вид не вызывал никаких подозрений. Но, конечно, появиться на этой улице в такой час в европейском костюме с тросточкой было бы по меньшей мере неуместно — здесь подобный костюм, напротив, мог бы привлечь внимание. Поэтому я вышел в обычном скромном кимоно с небрежно завязанным поясом и даже без шляпы.

Прямо впереди показался С. Я издали узнал его походку — при ходьбе он чуть подергивал правым плечом. Заметив меня, он на секунду остановился у какой-то витрины, потом с безразличным видом свернул в переулок. Я тоже завернул за угол и пошел за ним следом. Наконец, сделав еще один поворот, мы зашагали рядом.

С. спросил меня, какое впечатление произвели на заводе вчерашние листовки. Расспросив обо всем подробно, он сказал:

— Хорошо, конечно, что в наших листовках говорится о конкретных, повседневных событиях заводской жизни, но в целом они еще весьма далеки от совершенства — нам не хватает умения освещать вопросы с политической точки зрения...

Его слова поразили меня. «А ведь он прав!» — подумал я. Все эти дни я был так окрылен успехом, которым пользовались на заводе наши листовки, что совершенно забыл о необходимости подходить к оценке этого успеха с более высокими требованиями.

— Вот и получается, что на деле мы плетемся в хвосте стихийных настроений масс... Для того чтобы на примере повседневных, будничных происшествий разоблачить перед массами подлинную сущность империалистической войны, от нас требуются специальные, хорошо продуманные и при этом весьма умело направленные усилия.

С. пояснил, что, стремясь устранить недостатки прежних листовок, где протест против войны излагался лишь в самых общих, абстрактных формах, многие наши товарищи впали теперь в другую ошибку, сводя весь вопрос только к экономическим проблемам.

— Такой правый уклон, — говорил он, — приводит к тому, что мы фактически тащимся на поводу у масс. Этим отчасти и объясняется тот быстрый отклик, который временно имеют наши листовки, — добавил он. — Поэтому тот факт, что листовки пользуются популярностью, тоже нельзя переоценивать...

Шагая рядом, мы беседовали обо всем этом.

— Мы ничего не добьемся, если будем довольствоваться только тем, что уже достигнуто. Это значит пятиться назад! А мы, словно лошадь в шорах, видели до сих пор только обрывочные эпизоды вместо общей картины...

Немного погодя мы зашли в закусочную.

— Ну, вот письмо для моей девушки! — сказал я и положил конверт с текстом листовки на нижнюю полочку столика, за которым мы сидели. Мурлыкая про себя какую-то песенку и в то же время внимательно следя глазами за официантом, С. засунул конверт в карман.

— У тебя налажена связь с Усатым? — спросил он, проводя при этом пальцами над верхней губой.

Я рассказал ему о том, что узнал сегодня на заводе от Суяма.

С. слушал, продолжая напевать, — это была его всегдашняя манера, — но в глазах сквозило сосредоточенное внимание.

— Я тоже должен был встретиться вчера с Усатым в шесть часов, но встреча не состоялась....

При этих словах сердце у меня упало.

— Неужели его забрали? — спросил я, всем существом страстно желая услышать в ответ: «Да нет, все в порядке...»

— Трудно сказать... — С. ненадолго задумался, потом добавил: — Усатый — человек осторожный, но... Трудно сказать...

Мы договорились, что каждый из нас постарается установить связь с Усатым, затем условились насчет того, как будут доставлены на завод отпечатанные за ночь листовки, и расстались.

В девять часов я увидел Суяма. По выражению его лица я понял, что надеяться не на что: Усатого взяли. Мы тоже решили сделать все возможное, чтобы узнать о его судьбе, и быстро разошлись.

Я строго придерживаюсь правила заканчивать все деловые свидания не позже половины десятого вечера. Исключение допускается только для таких встреч, которые происходят где-нибудь совсем близко от моей конспиративной квартиры. Поздно вечером не следует находиться на улице — по пуги может подстеречь опасность.

Распроставшись с Суяма, я один зашагал по направлению к дому. Я сам не предполагал, что судьба Усатого будет волновать меня с такой силой. Странная, необъяснимая тревога давила мне грудь. Мне казалось, будто колени у меня подгибаются, дыхание спирается. Люди, живущие обычной жизнью, в обычной, спокойной обстановке, возможно сочтут мои переживания преувеличенными. Может быть, кое-кто даже подумает, будто я сочиняю. Нет. Для тех, у кого порваны все связи с привычным внешним миром, для тех, кто прекратил всякие отношения даже с самыми близкими, старинными своими друзьями, для тех, кто лишен возможности спокойно, не озираясь по сторонам, выйти из дому хотя бы на полчаса

в баню, кого в случае ареста ожидает, самое меньшее, шесть или семь лет тюрьмы, — для тех самое дорогое в жизни — товарищи по работе. И, когда вдруг теряешь одного из этих товарищей, понимаешь, насколько глубоко и прочны были связывавшие нас узы. Тем более, если речь идет о человеке, который постоянно руководил всей работой, — тогда это чувство еще более обостряется.

Помню, мне уже случилось однажды пережить нечто подобное. В ту пору я еще находился на легальном положении, работал в оппозиционной группировке одного желтого профсоюза. Но тогда я не ощущал утраты товарища так болезненно. Возможно, что различные события повседневной жизни помогали мне тогда рассеяться и отвлечься.

Дома меня уже поджидал Ота. Я никому не сообщал свой адрес и строго соблюдал это правило, но по договоренности с руководством сделал исключение для Ота. Дело в том, что для работы на заводе Курата обязательно нужен был человек, с которым была бы налажена постоянная связь. Ограничиваться встречами на улице было очень неудобно. Случается ведь, что нужно сообщить что-нибудь экстренное, тогда некогда ждать очередного свидания, да, кроме того, на улице не всегда удастся переговорить обо всем обстоятельно.

Ота пришел договориться о листовках, которые завтра предстояло пронести на завод. Я рассказал ему о беседе с С. Мы условились, что завтра в семь часов утра Ота придет на станцию электрической железной дороги. К этому же времени туда явится С., чтобы передать отпечатанные листовки.

Когда с делами было покончено, мы еще некоторое время болтали о всякой всячине. Инициатором этих бесед обычно выступал я.

— Ну, а теперь поговорим о чем-нибудь постороннем! — как всегда, предложил я, улынувшись.

— Опять ты за свое! — засмеялся Ота.

Так повторялось при каждом визите Ота: когда мы заканчивали говорить о деле, я всегда задерживал его, чтобы потолковать о чем-нибудь, не имеющем ровно никакого отношения к нашей работе. Похоже на то, что Ота считает это своего рода причудой с моей стороны. Но в последнее время я сам, наконец, разобрался, откуда

у меня эта непреодолимая потребность поговорить с ним о чем-нибудь, не имеющем отношения к делам.

Каждый день мы встречаемся с товарищами по вопросам нашей работы. Но даже в тех случаях, когда нам удастся зайти куда-нибудь в закусочную или кафе, мы всегда стараемся говорить по возможности тихо, беседуем только о деле, отбрасывая все лишнее, и спешим как можно скорее расстаться. И так изо дня в день, на протяжении трехсот шестидесяти пяти дней в году. Конечно, я уже привык к такому образу жизни и полностью покончил со всем, что когда-то наполняло мою жизнь. Но точно так же, как после длительного тюремного заключения человек испытывает острую потребность в чем-нибудь сладком, так и у нас, изо дня в день ведущих эту суровую, трудную жизнь, возникает в виде своеобразной реакции это желание поговорить о чем-нибудь постороннем.

Однако в глазах Ота, живущего совсем в другом мире, это мое стремление выглядит, вероятно, чем-то весьма легкомысленным. В самом деле, откуда же ему понять меня? Ведь он свободно общается со своими друзьями, он может, например, зайти с ними в бар и вдоволь наговориться за пивной кружкой.

Так разве же он может понять меня? Нередко бывает, что он «безжалостно» покидает меня и уходит, так и не поговорив со мной ни о чем. Жестокий!

Но сегодня Ота остался и принялся разбирать достоинства и недостатки девушек-работниц нашего завода. Я слушал и удивлялся, как быстро он ухитрился перезнакомиться с ними.

— Работница если уж полюбит, так не то что богатая барышня... У работниц любовь — непосредственная и конкретная, — говорил он.

Выражение «непосредственная и конкретная» в применении к данному случаю звучало очень забавно, и мы оба от души смеялись.

ГЛАВА II

С той поры как в заводских цехах появились листовки, написанные без всяких обиняков от имени коммунистической партии, вход и выход с завода стали

охранять особенно строго. Шла война, завод выпускал военную продукцию — понятно, что господа Компании перепугались.

Одна из девушек, работавших по соседству со мной, вбежала утром в цех, дрожа от страха. Оказывается, проходя мимо полутемного склада, она заметила, что в глубине склада, двери которого, как обычно, были открыты, зашевелилась какая-то фигура в черном балахоне. Потом мы узнали, что это был переодетый охранник. Охранников расставили повсюду. Уже по одному этому, да и по многим другим признакам, можно было судить, что хозяева изрядно обеспокоены.

Началась война, и молодых рабочих одного за другим забирали на фронт. В то же время выпуск военной продукции резко увеличился. Чтобы как-нибудь выйти из затруднительного положения, все заводы стали усиленно набирать новых рабочих. До войны каждый принятый на завод проходил тщательную проверку. Обязательно нужно было иметь поручителя — без этого нельзя было поступить на работу. Но с началом войны соблюдать прежний порядок стало уже невозможно. Мы с товарищами как раз и воспользовались этим, чтобы устроиться на завод.

Само собой разумеется, что вновь принятых рабочих нанимали только как временных и выжимали из них все соки, ссылаясь на «чрезвычайное положение государства». В результате зарплата снижалась у всех работающих в целом. Не удивительно, что хозяева, напуганные нашими листовками, готовы были теперь прибегнуть к любым, самым идиотским, постыдным мерам — вплоть до того, чтобы прятать на заводе по укромным местам охранников, наряженных в черные балахоны.

Все это было бы еще полбеды. Нас подстерегала опасность похуже: постоянно охотившиеся за нами сыщики в штатском. Моя фотография была разослана по всем полицейским участкам. Так попался один наш товарищ — его арестовал шпик, до тех пор ни разу не видевший его в лицо и узнавший его по фотографии, снятой тринадцать лет назад. После этого случая один из моих друзей посоветовал мне уйти в подполье. Разумеется, так было бы безопаснее, но, как подсказывал мне весь мой предыдущий опыт, руководить заводской организацией, находясь за пределами завода, было в сто раз труднее

да такое руководство не дает и сотой доли возможных результатов. Это положение остается в силе даже при условии, что с товарищами, работающими на заводе, налажена самая тесная связь.

Когда мы, коммунисты, уходим в подполье, это вовсе не значит, что мы «удаляемся на покой» или просто прячемся от преследований. Может быть, те, кто незнаком с нашей работой, представляют себе дело именно таким образом. Но если бы «уход в подполье» сводился только к этому, то, право, во сколько раз удобнее и проще для нас было бы самим явиться в полицию и спокойноенько отсидеть положенный срок в тюрьме!

«Уйти в подполье» — значит всемерно оградить себя от опасности, чтобы с большей решимостью и отвагой продолжать борьбу. Нечего и говорить, что нам гораздо легче вести работу, оставаясь на легальном положении, да и вообще это было бы лучше во многих отношениях. Вот почему я постоянно твержу Ота и всем другим, чтобы они старались как можно подольше сохранять легальное положение...

Таким образом, выражение «уйти в подполье» в сущности совершенно неправильное. Мы, коммунисты, ни в коем случае не «уходим в подполье» по собственному нашему желанию. Мы просто-напросто вынуждены делать это. Нас «загоняют в подполье» наши враги — вот такое выражение, на мой взгляд, гораздо больше соответствовало бы истине.

Так мы живем, ежечасно подвергаясь опасности. Естественно, что вид сыщиков, каждое утро и вечер слоняющихся у заводских ворот, изрядно действует мне на нервы.

В последнее время возле нашего завода всегда стоял один и тот же шпик. Но, когда я замечал, что вместо него дежурит какой-нибудь новый, незнакомый мне субъект, я невольно замедлял шаг, поправлял шляпу и старался еще издали удостовериться — знаю ли я его в лицо? Но вот это первое препятствие благополучно преодолено. Теперь надо миновать второе — обыск в воротах проходной. Однако товарищи, которые проносят на завод листовки, устраиваются так, чтобы не попадаться.

Ота всегда пользуется для этого помощью женщин — наших товарищей по работе. По его словам, самое безопасное, когда девушки прячут листовки под

кимono, где-нибудь «пониже талии». Охранники, по-видимому, не обнаглели еще настолько, чтобы подвергать женщину личному обыску.

На следующее утро, едва я открыл свой шкафчик с одеждой, как увидел листовки. Какое-то совершенно особое чувство — волнение, радость — мгновенно пронизывает все мое существо. Я вошел в цех. Моя соседка держала в руках листовку. Читала она медленно, с напряженным вниманием, точно школьница первого класса, и всякий раз, когда встречался незнакомый иероглиф, почесывала голову.

— Это правда, то, о чем здесь написано? — спросила она, едва я вошел в цех.

Я ответил, что да, правда, конечно. Еще какая правда!

— Вот гады! — сказала женщина.

Среди рабочих нашего цеха я пользуюсь репутацией человека, который «смахивает на красного». Когда в цехе обсуждали действия Компании или заводоуправления, я всегда принимал активное участие в разговоре. Шла ли речь о действительно серьезном событии или о каком-нибудь пустяке, все равно я всегда старался дать вопросу правильное и ясное освещение. Ведь доверие рабочих нужно завоевывать в обычной, будничной обстановке. Нужно, чтобы рабочие знали: случись что-нибудь, этот человек всегда будет в первых рядах. В этом смысле мы должны всегда идти впереди, чтобы завоевать доверие десятков и сотен людей, которые работают бок о бок с нами. Раньше на заводах нередко применяли сектантские по существу методы, когда людей старались привлечь на свою сторону поодиночке и при этом потихоньку, тайком. Но весь наш последующий опыт показал, что, действуя таким способом, нам никогда не удастся сделать движение массовым.

До начала работы оставалось еще немного времени. Я только собрался было подойти к группе рабочих, которые, столпившись в кружок, обсуждали содержание листовки, как в цех вошел мастер.

— У кого есть листовки — подавайте сюда!

При этих словах все инстинктивно спрятали листовки.

— Станете прятать — хуже будет! Ну-ка, ты, давай сюда бумажку! — обратился мастер к стоявшей рядом со мной работнице.

Женщина поспешно вытащила листовку из складок пояса.

— Видали дуру! Смотрите, как спрятала — сокровище какое бережет! — мастер скорчил презрительную гримасу.

— Да ведь хозяева очень уж нехорошо поступают, господин мастер! Разве нет?

— Слышь, слышь, что запела... Не зря я говорю, что листовки эти — пакость одна!

— Значит, когда работа кончится, нам и вправду заплатят по десять иен?

Мастер опешил:

— А я почему знаю? Спроси у дирекции!

— Да ведь вы сами, господин мастер, тоже недавно так говорили! Выходит, значит, что в листовках правда написана! — возразила женщина.

Раздался общий смех.

— Держись крепче, ребята! — крикнул кто-то.

Мастер вдруг багрово покраснел, принялся усиленно сморкаться и, не найдясь, что сказать, выбежал из цеха окончательно разъяренный.

Тут уж в полный голос заговорили все рабочие третьего цеха. Как ни слаб был отпор, но его оказалось достаточно, чтобы ненавистный мастер выбежал из цеха, даже позабыв отобрать листовки у остальных.

В этот день, примерно через час после начала работы, я услышал, что Ота арестован — полиция забрала его прямо с завода. Очевидно, им удалось пронюхать, что Ота проносил на завод листовки.

Ота арестован... И что хуже всего — ему известен мой адрес! Помню, как-то раз он сказал мне, что в случае ареста сумеет продержаться три дня. «Почему именно три?» — спросил я тогда, и он ответил, что так говорят все. Я постарался обратить весь разговор в шутку, но, странное дело, уже тогда я почувствовал какую-то душевную слабость Ота. Вот и теперь, услышав об аресте Ота, мне первым делом пришел на память этот разговор.

...Один наш товарищ, которого я хорошо знал, продолжал преспокойнейшим образом ночевать на прежней квартире, несмотря на то, что жившего с ним вместе друга арестовали. Все мы, в том числе и я, советовали

сму немедленно переехать в другое место. Как мы и опасались, на пятый день полиция произвела налет на квартиру. Наш товарищ выскочил из окна. Прыгнуть он прыгнул, но при падении вывихнул ногу. Его увезли, предварительно раздев донага, чтобы он не мог убежать по дороге. В камере, куда его посадили, он встретился со своим другом и тотчас же обрушился на него с бранью: «Болтун! Пустышка ты, барахло, а не человек!» Но, к немалому его удивлению, приятель сам отругал нашего товарища, считая именно его «пустышкой» и «барахлом» за беспечность, за то, что он, ни о чем не заботясь, оставался на прежней квартире.

Впоследствии, когда наш товарищ вышел из тюрьмы, все мы сказали, что его друг был полностью прав. «Правильно он тебя отругал! Знать об опасности и пренебрегать ею — это, если хочешь знать, нарушение партийной дисциплины, дружище!» Но наш товарищ не согласился с подобными доводами. «Меня забрали потому, что он разболтал! Проронить перед этими сволочами хотя бы одно слово — вот это действительно нарушение партийной дисциплины!» И в самом деле, он не промолвил на допросе ни слова. С самого начала не мысля себе, как можно вообще что-нибудь сказать на допросе, — это просто не укладывалось в его сознании, — он не мог себе представить, чтобы и другой был способен на это. Вот откуда происходила его беспечность. Помню, меня особенно задела тогда вся эта история. Ведь со стороны могло показаться, будто я советовал ему обязательно переменить квартиру оттого, что сам признавал себя способным в случае ареста на третий или на четвертый день все рассказать врагам. Нет, такой поступок не имеет ничего общего с поведением большевика! Это азбучная истина. Но сейчас, когда дело касалось этого ненадежного Ота, я не имел права на такую «благородную» беспечность. Мне следовало немедленно переменить квартиру.

И все-таки насколько было бы лучше, если бы я никому не сообщал своего адреса!

Помню другого товарища — он сообщил свой адрес ни более ни менее как семи своим знакомым и допускал, чтобы они бывали у него на квартире. При этом среди них даже не все были коммунисты — были и просто «сочувствующие». В результате к этому товарищу нагрянула полиция. Таких примеров множество. Мы должны

постоянно помнить, в какой обстановке нам приходится жить и работать, — ведь нас преследует полиция, которая недаром хвалится, что не имеет себе равных в мире.

Одно было хорошо: Ота ничего не знал о Суяма и Ёси Ито. Было время, когда я уже собирался, удобства ради, сообщить ему, что эти двое тоже наши товарищи, что им можно доверять. Но потом вспомнил о том впечатлении, которое производил на меня Ота... и не сказал. Отчасти для того, чтобы в случае провала гарантировать партию от лишних, напрасных жертв, отчасти оттого, что поймал себя на весьма опасном стремлении — на желании облегчить трудности нашей работы. В самом деле работать было бы куда проще, если бы каждый знал: такой-то, мол, и такой — тоже коммунисты... Но это путь, чреватый опасностями.

С завода я вернулся вместе с Суяма и Ито. В маленькой закусочной мы устроили экстренное совещание — как быть дальше? Было принято решение: мне — срочно, сегодня же, — необходимо переменить квартиру, до выяснения обстановки прекратить ходить на работу, еще теснее наладить связь с остающимися на заводе товарищами и — главное — принять все меры предосторожности. Сколько уж было случаев, когда наши товарищи попадали в руки полиции только из-за собственной беспечности: «Сегодня, пожалуй, еще обойдется!» или: «Э, навряд ли это случится!» Нет ничего опаснее подобных рассуждений.

Когда с этим вопросом было покончено, Суяма и Ито дали мне немного денег из только что выданной получки: Суяма — восемьдесят сэн, Ито — пятьдесят.

Суяма, как всегда, неизвестно с чего спросил, слышал ли я о Канда Хакудзан? ¹ Я засмеялся — это была его излюбленная манера: огорошивать собеседника самыми неожиданными вопросами.

Тогда Суяма рассказал нам, что этот Канда до самой смерти никогда не расставался с деньгами, которые были зашиты у него в пояс. Делал он это якобы потому,

¹ Канда Хакудзан — рассказчик и чтец, популярный в феодальной Японии. Умер в 1873 г.

что считал, будто человек никогда не может предвидеть заранее, где и когда с ним может случиться беда. И вот Канда считал позором для мужчины оказаться в унижительном положении только потому, что в трудную минуту не нашлось под рукой денег.

— Вот и с тобой теперь также получается... Угодить в лапы полиции только из-за того, что ты не сумел раздобыть необходимых денег, — это тоже, если хочешь, классовое предательство своего рода! — сказал Суяма и тут же добавил, что мы обязаны извлекать для себя уроки не только из опыта друзей, но должны учиться также и у своих врагов.

У Суяма всегда имелось в запасе множество подобных историй. Мы с Ито слушали его и смеялись, говоря, что голова Суяма — ни дать ни взять записная книжка с заметками на память.

Я поступил, кажется, довольно легкомысленно, прямо свернув в переулок, где жил. Хотя легкомыслие мое все-таки заслуживало снисхождения: мог ли я предположить, что Ота выболтает мой адрес так быстро? Я свернул в переулок и, вздрогнув, замер на месте. В окнах моей комнаты горел свет! В следующую минуту я почувствовал, что в комнате находятся люди — во всяком случае, там было несколько человек. Сомнений быть не могло: полиция устроила в доме засаду. Но у меня оставались там разные вещи, которые были мне нужны, которые могли понадобиться мне завтра же! Впрочем, я сразу же спохватился, что в данном случае о вещах уже не приходится думать.

У меня не было на примете никакого пристанища, куда бы я мог явиться прямо так, без предупреждения. Кочевой образ жизни, который я вел в последнее время, привел к тому, что я уже использовал все места, которые могли служить мне приютом. Кроме того, все эти знакомые мне дома были хороши только на один раз — ночевать там вторично было уже нельзя. Но прежде всего необходимо было выбраться куда-нибудь подальше от этого района. Я вышел из переуллка на проспект и, внимательно оглядевшись по сторонам, взял такси. У меня не было никакого определенного адреса на примете. «На улицу С. — двадцать сэн!» — сказал я шоферу.

В этот момент мне вдруг пришло в голову, что мой костюм мало подходит для человека, едущего в такси. На мне все еще была спецовка, в которой я вышел с завода. Сидя в машине, я напряженно размышлял, но так и не мог ничего придумать. Я чувствовал, что нервы мои напряжены до предела.

Среди моих знакомых была одна женщина, которая несколько раз оказывала мне услуги, помогая найти новую квартиру. Иногда мне случалось обращаться к ней с какой-нибудь просьбой, и она всегда все выполняла. В эту минуту мне не к кому было больше обратиться. Сама она снимала комнату у хозяев небольшого магазинчика на третьем этаже, а служила где-то в торговой конторе. Женщина эта сочувственно относилась к революционному движению, хотя сама не принимала в нем активного участия. Я знал, где она живет, но ведь не принято бывать на квартире у одинокой молодой женщины, поэтому до сих пор, когда мне бывало что-нибудь нужно, я ограничивался тем, что звонил ей на службу по телефону. Но сейчас я не мог отделаться от мысли, что эта женщина — единственный человек, который может помочь мне в данную минуту.

Добравшись до улицы С., я вышел из такси и, окончательно решившись, сел в вагон электрички.

Забившись в дальний угол, я уселся, сложив руки на коленях. Потом незаметно окинул взглядом вагон. К счастью, никаких подозрительных личностей не было. Рядом со мной какой-то господин в европейском костюме, похожий на банковского служащего, читал газету «Токио — Асахи». Неожиданно мне бросился в глаза набранный крупным шрифтом заголовок на второй странице: «Арест красных на заводе Курата». Я изо всех сил напрягал зрение, но слов разобрать не удалось. В эти минуты я впервые понял, как медленно тащатся поезда электрички! Меня душило внутреннее волнение.

Предосторожности ради я вышел из вагона на две остановки раньше. По дороге к дому моей знакомой я несколько раз нарочно сворачивал в боковые улочки. Мне впервые приходилось бывать в этом районе, и я не сразу отыскал ее дом, тем более, что несколько раз специально сворачивал в первые попавшиеся переулки. В прихожей, у самых входных дверей, сидел какой-то старик; спустив кимоно с одного плеча, он усердно массировал руку.

— Дома ли Касавара-сан, жиличка, которая снимает комнату наверху? — спросил я.

Вместо ответа старик молча уставился на меня, разглядывая с головы до ног. Я повторил вопрос немного погромче. Тогда он, повернувшись к жилым комнатам, что-то неразборчиво произнес. За стеклами закрытых сёдзи показалось чье-то лицо.

— Касавара-сан? Ее нет дома, — откликнулся женский голос; мне послышались в нем недоверчивые нотки.

Я спросил, когда Касавара вернется.

— Этого я не знаю, — был ответ.

Мне показалось, что старик и женщина подозрительно разглядывают меня и мой костюм. Не зная, на что решиться, я некоторое время неподвижно стоял на месте. Но делать было нечего. Сказав, что зайду еще раз в девять часов, я вышел на улицу. Очутившись на тротуаре, я взглянул наверх — в третьем этаже света не было. Мне стало вдруг удивительно тоскливо при виде этих темных окон.

Я вышел на проспект, по-вечернему оживленный. Я пробовал перелистывать книжки на прилавках у букинистов, стоял перед игральными досками, на которых какие-то подозрительного вида личности играли в го, сидел в закусочной и, наконец, кое-как убил два часа. Когда я снова очутился в переулке, где жила Касавара, в окнах третьего этажа уже горел свет.

Я коротко рассказал Касавара о том, как обстоит дело, и спросил, не знает ли она какой-нибудь семьи, где я мог бы переночевать? Но к этому времени у нее уже не осталось знакомых, где я не ночевал бы по ее рекомендации хоть один раз. Было у нее несколько подруг по службе, но все они несколько не интересовались нашим движением и к тому же все были, как она выразилась, «еще незамужние, одинокие». Склонив голову набок, Касавара старалась найти какой-нибудь выход, но ничего не могла придумать. Я взглянул на часы — время близилось к десяти. Ничего не могло быть опаснее, чем бродить по улицам после десяти вечера. К тому же на мне все еще была рабочая куртка — это еще больше увеличивало опасность.

— Если бы речь шла о женщине, то устроить ночлег было бы очень просто, — сказала Касавара, — но, понимаете, ведь вы мужчина! — добавила она, засмеявшись.

Я приуныл. Но не мог же я в самом деле допустить, чтобы полиция арестовала меня! Оставалось одно... Правда, требовалось некоторое мужество для того, чтобы произнести это вслух...

— А что, если мне остаться здесь? — собравшись с духом, решительно спросил я и запнулся, чувствуя, что краснею. Возможно, меня сочтут изрядным нахалом, но другого выхода у меня не было.

Касавара молча уставилась на меня — глаза у нее расширились от неожиданности и удивления. На секунду у нее даже перехватило дыхание. Потом она вдруг покраснела и, словно спохватившись, почему-то переменила позу: раньше она сидела небрежно, подогнув под себя ноги, теперь уселась прямо и чинно.

Все же через некоторое время она решилась. Спустившись вниз, к хозяевам, Касавара сказала им, что у нее останется ночевать брат, живущий далеко отсюда. Это объяснение звучало, кажется, довольно неправдоподобно. Касавара всегда одевалась прилично, платья носила хоть и скромные, но европейского покроя, причесывалась по моде. Брат в рабочей спецовке весьма мало подходил к такой девушке. Возвратившись наверх, Касавара сказала, что хозяйка ни слова не промолвила ей в ответ, только несколько раз молча смерила взглядом ее худенькую фигурку с головы до ног. Как видно, оставить у себя ночевать мужчину не такое простое дело для обыкновенной женщины.

Когда дело было улажено, мы оба почему-то почувствовали себя неловко. Разговор сам собой прервался. Я попросил у Касавара бумагу и карандаш и, растянувшись на циновке, принялся набрасывать расписание дня на завтра. Надо было немедленно организовать помощь Ота. Об его аресте нужно немедленно написать в листовках, обратиться за поддержкой ко всем рабочим завода Курата. Весь поглощенный своими мыслями, я писал, усиленно грызя зубами кончик карандаша. Внезапно я спохватился, что женщина не решается первой сказать: «Пора спать».

— А ты в котором часу ложишься? — спросил я.

— Обычно в это время...

— Тогда давай спать. Я уже закончил свою работу. — Я поднялся и зевнул.

У Касавара был только один матрац. Мне едва удалось отговорить ее от попытки дать мне хотя бы ватное одеяло; я улегся прямо на циновку, укрывшись стеганым кимоно. Когда свет был погашен, Касавара прошла в дальний угол комнаты. По шелесту одежды слышно было, что она переодевалась в спальное кимоно.

С тех пор как я перестал жить дома, мне все время приходилось переезжать с места на место, и постепенно у меня выработалась привычка спать где придется. Я сразу уснул. Но Касавара еще ни разу не приходилось попадать в подобные передраги. Не удивительно, что спалось ей неважно. А я, погружаясь в забытие, то видел какие-то сны, то снова вдруг просыпался. Так повторялось неоднократно. И снилось мне всякий раз одно и то же: будто за мной кто-то гнался. Как это обычно бывает, мне никак не удавалось ускользнуть от преследователей. Мучительный сон! Хочется громко застонать — и тут внезапно просыпаешься. Некоторое время лежишь без сна, чувствуешь только, как в висках колет, точно иголкой. У меня почти не было ощущения, что я спал. Я беспрерывно ворочался с боку на бок. Зато Касавара до самого утра ни разу не шелохнулась. Я понял, что она с самого начала приготовилась не смыкать глаз всю ночь.

И все-таки к утру я, очевидно, ненадолго уснул. Когда я открыл глаза, постель Касавара была уже убрана, а ее самой в комнате не было — наверное, пошла вниз готовить завтрак. Спустя недолгое время за скрипели ступеньки лестницы, и Касавара вернулась.

— Ну как, поспали немножко? — спросила она.

— Да! — ответил я, чувствуя себя как-то неловко, сам не зная отчего.

Касавара пора было идти на службу, и мы вышли вместе.

Старуха хозяйка была на кухне. Прервав стряпню, она посмотрела нам вслед.

Едва мы очутились на улице, как Касавара глубоко перевела дыхание, словно сбрасывая с себя тяжелый груз, давивший ее со вчерашнего вечера.

— Ф-фу!.. Обошлось! — проговорила она. Потом тихонько, словно про себя, добавила: — Чертова старуха!

В тот же вечер я встретился с С. и рассказал ему о случившемся.

— Скверная история! — проговорил он и ссудил меня деньгами для найма новой квартиры. Я подыскал себе подходящее жилье — теперь я решил немедленно перебраться туда. Суяма и Ито должны были принести мне все необходимые пожитки.

Сперва я долго колебался: что лучше — поселиться в том же районе, где находится завод Курата, или же безопаснее устроиться где-нибудь подальше? Остаться в том же районе было, пожалуй, довольно рискованно. С другой стороны, поселиться далеко — значит, придется расходовать много денег на транспорт. Пожалуй, было бы разумнее перебраться в другой район. Однако кто знает, а вдруг полиция как раз и рассчитывает, что я укроюсь где-нибудь подальше от завода, на другом конце города?.. Мне вспомнился один наш товарищ. Как-то раз при нем зашла речь о работнике, который, выполняя партийное поручение в районе Эдо, нарочно распространил слух, будто его нелегальная квартира находится в районе Сираниси. Помню, наш товарищ сказал тогда: «Вот уже это, по моему, крайне неумно! Будь я на его месте, нарочно пустил бы слух, что живу именно в районе Эдо...»

Поразмыслив, я решил снять комнату в прежнем районе — ведь здешние шпики еще не успели узнать меня в лицо, да и с точки зрения экономии это было выгоднее, — теперь, когда я больше не работал на заводе, с этим тоже надо было считаться.

Что до выбора квартиры, то хорошо, если вам удастся, например, подыскать мансарду в доме какого-нибудь мелкого торговца. Еще лучше, если ваши хозяева будут люди немолодые — скажем, пожилая супружеская чета. Такие люди бесконечно далеки от нашей работы и разобраться толком, чем занят жилец со второго этажа, они никак не способны. Совсем иное дело поселиться, скажем, в интеллигентной семье. Это поступок весьма рискованный. Уже одно то, как часто вы выходите из дома и возвращаетесь обратно, внушает подозрение. А стоит хозяевам разок заглянуть к вам в комнату, как они тотчас же безошибочно улови-

вают в ней «необычную атмосферу», чувствуют, так сказать, что здесь пахнет человеком, «не таким, как все люди».

Но, с другой стороны, в дом к мелким торговцам частенько заходят эти мерзавцы полицейские — проверяют прописку и бесцеремонно роются в домовых книгах, в то время, как в дома, имеющие более внушительный вид, они заходят крайне редко и то лишь затем, чтобы просто осведомиться, не произошло ли каких-нибудь изменений, — этим ограничивается вся проверка.

Квартира, где мне предстояло теперь поселиться, могла считаться чем-то средним между этими двумя категориями жилищ. Хозяйка — в прошлом, кажется, чья-то содержанка, — имела когда-то маленький дом свиданий.

Получив с помощью Суяма и Ито все необходимое на первый случай и устроившись на новой квартире, я наконец-то с облегчением перевел дух. Внизу, в первом этаже, жил еще один квартирант — это был, кажется, единственный минус моего нового пристанища. Я спустился вниз, в уборную. Сёдзи, отделявшие комнату жильца, были раздвинуты, его самого дома не было. Прежде всего я скользнул взглядом по книжной полке. Я никогда не забываю сделать это при переселении на новую квартиру, если там есть другие жильцы. Ведь по книгам сразу можно понять, что за человек здесь живет. На полке я увидел лишь самые обычные книги. Правда, на письменном столе я заметил собрание произведений японской литературы. Мне бросился в глаза один том — он был раскрыт на заглавном листе, там, где обычно помещают портреты писателей. Я узнал сочинения Катаока Тэппэй и Ёсики Хаяма¹. Но это была единственная книга подобного рода, — других, насколько я мог заметить, здесь не имелось.

А сколько раз уже бывало так: снимет кто-нибудь из наших квартиру, а потом вдруг оказывается, что хозяин служит в полиции. Хорошо еще, если профессию хозяина удавалось выяснить через сравнительно короткий срок, — нередко случалось, что проходил добрый месяц, прежде чем можно было это установить.

¹ Катаока Тэппэй и Ёсики Хаяма — прогрессивные японские писатели тридцатых годов.

Почему? Да потому, что даже такой обычный, невинный вопрос, как: «А где, простите, служит ваш муж?» — часто бывает не так-то просто задать, хотя бы в силу характера нашей работы.

Спросив у хозяйки, где находится баня, я вышел на улицу. Мне хотелось хорошенько обследовать местность. С мылом и полотенцем в руках, я неторопливо шагал по улице, рассматривая дощечки с именами владельцев домов, мимо которых мне предстояло отныне проходить ежедневно. Через несколько домов я внезапно увидел дощечку: «Сотрудник полиции NN». Впрочем, этот дом выходил воротами к заднему фасаду какого-то большого особняка, так что я мог особенно не беспокоиться. Помывшись в бане, я направился домой, намереваясь на этот раз обследовать переулки и маленькие улочки, примыкавшие к главному проспекту. Удивительно, как в этом городе (впрочем, возможно, и в других городах тоже) заводские районы и кварталы богачей близко примыкают друг к другу. Взять, например, эту улицу — ведь, казалось бы, я снял комнату поблизости от завода Курата, а как она не похожа на пыльный, грязный проспект, где расположен завод! Это была тихая красивая улица, по обеим сторонам ее тянулись жилые дома. Особенно удачно оказалось то, что эта безлюдная, прямая улица сразу же упиралась в оживленный проспект, — возвращаясь с задания, я мог сразу заметить: следят за мной или нет, а выйдя из дому, имел возможность через несколько минут попасть на шумный проспект, где легко затеряться в толпе. Таким образом, обстановка оказалась сверх ожидания, благоприятной.

Окно моей комнаты на втором этаже выходило на площадку, на которой хозяйки обычно просушивают и проветривают одежду. Оттуда легко было одним прыжком перемахнуть через ограду и попасть на такую же площадку соседнего дома. Я решил купить пару дзори и поставить их под окном, чтобы в случае необходимости можно было сразу обуться. Одно лишь было плохо: крыши в этом районе, точь-в-точь как в кинофильме «Под крышами Парижа», густо теснились одна над другой, так что стоило вам чуть приоткрыть окно, как жильцы по меньшей мере пяти-шести домов, в особенности жильцы мансард, видели

вас, как на ладони. Пока мне не удастся выяснить, чем занимаются люди, живущие в этих домах, придется, как видно, сидеть, не высовывая носа.

Изучив таким образом обстановку, я сошел вниз поболтать с хозяйкой. Из разговора я надеялся вывести, что представляют собой мои соседи. Оказалось, что в доме рядом живет служащий какой-то адвокатской конторы и учительница музыки, обучающая игре на сямисэне; во втором этаже снимал комнаты приказчик торговой фирмы да разместился какой-то женский клуб. В остальных домах поблизости жили все коммерсанты, зажиточные люди; это были богатые, комфортабельно обставленные особняки. В первый же день, как я обосновался на новом месте, мне удалось узнать так много — это большая удача! Пожалуй, за исключением разве лишь шумного женского клуба, — окружение можно было признать неплохим.

Теперь, учитывая опыт прошлого, мне оставалось только заранее подготовить себе убежище на случай, если полиция совершит налет на мою новую квартиру или вообще произойдет что-нибудь непредвиденное. Каким бы безопасным ни казалось новое жилище, это ни в малейшей степени не означает, что так будет всегда. В самом деле, у меня ведь был уже опыт, когда я, прожив на новой квартире всего несколько дней, возвращался домой из бани и вдруг заметил, что перед моим домом стоит человек, одетый в европейский костюм. Улица была прямая, я заметил его сразу, но мы оказались уже так близко друг от друга, что повернуть обратно было невозможно. Выбора не оставалось — я двинулся вперед, шагая вразвалку, стараясь, чтобы бросалось в глаза мое мокрое полотенце. При этом я еще насвистывал случайно засевшую в мозгу мелодию песенки «Тоскую о тебе». Я прошел мимо своих дверей, не заходя в дом. Мне показалось, что человек в европейском костюме посмотрел на меня — взгляд был пристальный, но в нем сквозило какое-то недоумение. Я оглянулся — он продолжал смотреть мне вслед. Ночь я провел у одного товарища. Это был старый, многое испытавший работник. Он сказал, что, по его мнению, я зря испугался: во-первых, слежка так не ведется, а во-вторых, не может быть, чтобы полиция нагрянула так скоро — через каких-нибудь

два дня после переселения на новую квартиру и при этом без всякой предварительной проверки. Действительно, когда на следующий день я попросил одного из моих друзей пойти ко мне на квартиру, выяснить обстановку, оказалось, что тревога была ложной.

Но, как бы то ни было, всегда следует принять дополнительные меры - предосторожности на случай, если неожиданно грянет беда. Как только я встретился с Касавара, я поручил ей подыскать для меня еще одну квартиру.

Работу быстро удалось вновь наладить. Обязанности Ота я решил поручить Ёси Ито — в последнее время она заметно выросла, как партийный работник стала активней. В нынешние времена, когда все свирепее обрушивался ураган репрессий, число активных работников заметно сократилось. Ито получила неплохое образование — она окончила колледж, но за годы, проведенные на фабриках и заводах (правда, ей приходилось то и дело переходить с места на место), она полностью утратила облик и манеры, свойственные барышням-студенткам. С тех пор как эта женщина перешла на нелегальное положение, вся ее жизнь заключалась в том, чтобы работать по поручению партии то на одном, то на другом предприятии. Много раз ее арестовывали — это ее закалило. Находясь на нелегальном положении, она не только не отдалялась, но, напротив, еще теснее сближалась с народом. Утратить связь с реальной, повседневной жизнью рабочих — нет, Ито не грозила такая опасность! Вся ее деятельность была прямым опровержением опасений подобного рода.

Всякий раз, когда полиция забирала Ито, вызывали ее мать и передавали ей дочь с рук на руки. Но не проходило и нескольких часов, как Ито вновь удираала из дому и вновь принималась за работу, скрываясь от преследований. При каждой новой встрече мать уговаривала ее «хоть на этот раз остаться, наконец, дома». Когда прибывала повестка, в которой предлагалось явиться за арестованной дочерью, старая женщина радовалась этому известию, словно счастливому событию. Она немедленно отправлялась в участок и уводила дочь домой, рассыпаясь в благодарностях перед полицейскими. Но однажды, очутившись дома после

третьего или четвертого ареста, Ито надумала сходить с матерью в баню. Она знала, что работать становится все труднее и что в будущем, если ей еще раз придется попасть в руки полиции, ей больше не удастся отделаться таким коротким арестом. Эта прогулка в баню была для Еси Ито чем-то вроде тайного прощания с матерью перед долгой разлукой. И вот там-то мать впервые увидела обнаженное тело дочери; от ужаса у нее невольно подкосились ноги: все тело Ито было покрыто сине-багровыми кровоподтеками — следами неоднократных, длительных истязаний. Ито рассказывала, что после этого случая мать совсем по-иному к ней относилась, стала сочувствовать ее работе. «Подумать только, я еще благодарила полицейских! А они так изувечили мою дочку!» — с гневом повторяла старуха. С тех пор, когда Ито испытывала затруднения с деньгами на жизнь или на переезды и через друзей обращалась за помощью к матери, та, неизменно отвечавшая раньше, что не даст денег, пока дочь не вернется домой, теперь всегда посылала больше, чем просила Ито, и при этом всякий раз передавала дочери, чтобы она «не тревожилась о доме». Теперь мать твердила встречному и поперечному, что во всем виновата полиция: «Так бить и мучить безвинную девушку только за то, что она старается для бедных людей!..»

В самом деле, разве может человек успешно организовать и сплотить вокруг себя множество самых различных людей, работающих с ним на заводе, если он не умеет заручиться сочувствием своей собственной, родной матери? Пример Ито блестяще подтверждает эту истину. Ее искусству завоевывать симпатии темных, несознательных, недавно пришедших на завод рабочих я не раз дивился от всей души. Чуть только выдавалось у нее свободное время, она ходила с товарками в мюзик-холлы в квартале Асакуса, вместе с ними смотрела японские национальные кинофильмы, читала им вслух произведения пролетарских писателей. Все увиденное, прочитанное она умела с удивительным искусством тотчас же использовать в беседе, без труда находя доступ к сердцам темных, политически неразвитых рабочих.

Возможно, я пускаюсь в излишние подробности, но упомяну все же, что Ито была так хороша собой, что

невольно привлекала к себе взгляды. Работавшие с ней на заводе мужчины нередко приглашали ее в театр, покупали подарки, хотя она не прилагала для этого ни малейших усилий. Она принимала эти знаки внимания чрезвычайно хладнокровно и всегда умела искусно использовать эти симпатии.

По природе скромная, она охотно прислушивалась к мнению других, но в отношении тех методов борьбы, которые усвоила на основании своего личного богатого опыта, была тверда и непоколебима как камень. В нынешние времена такие работники-женщины были нам особенно нужны. В особенности на заводе Курата, где семьдесят процентов составляли женщины, значение таких людей, как Ито, было поистине неоценимо.

Кроме организационной работы на заводе Курата, я выполнял теперь еще и задания районного комитета. Арест Усатого окончательно подтвердился, и мне пришлось взять на себя часть его работы. У меня стало вдруг очень много обязанностей. Но теперь, когда я снова имел жилье и больше не был связан ежедневным трудом на заводе, я получил возможность приняться за работу с еще большей энергией, чем раньше, конечно, при условии, что стану хорошенько продумывать план каждого своего дня.

До увольнения я был в курсе всех повседневных событий в каждом цехе; я мог организовать дело так, чтобы эти события на следующий день отражались в листовках. Теперь сбор информации пришлось поручить Суяма и Ито — они выполняли эти обязанности вместо меня. В первое время я очень тревожился, как пойдет наша работа, когда я окажусь вдали от завода. Однако благодаря хорошо налаженной связи с Суяма и другими товарищами я не только не оторвался от заводской жизни, но, напротив, — любопытный факт! — только теперь отчетливо понял, что и Суяма, Ито, да, впрочем, и я сам были до сих пор постоянно поглощены тем, что происходило у нас под самым носом, и совсем не умели обобщать, оценивать события широко, с более принципиальных позиций,

Да, мы занимались деталями, мелкими, частными фактами — можно сказать, были заняты ловлей блох.

Само собой разумеется, что я смог понять это теперь еще и потому, что приобщился к работе районного комитета, где горизонты были значительно шире. В результате я убедился, что могу не опасаться «отрыва от масс».

Прежде всего мне бросилось в глаза следующее обстоятельство: на нашем заводе, где насчитывается несколько сот рабочих, пытается наладить работу ячейка, состоящая всего лишь из четырех-пяти человек. Само собой разумеется, что без такой ячейки, пусть даже столь малочисленной, без ее самоотверженной, энергичной деятельности расшевелить весь завод невозможно. Но для того чтобы эти несколько коммунистов, работающих с напряжением всех сил (да, без колебания скажу — вот уж подлинно с напряжением всех своих сил!), действительно сумели бы увлечь за собой массу рабочих, нам следует всерьез задуматься над тем, как слить работу нашей ячейки с деятельностью массовой рабочей организации на заводе, задуматься, как создать такую организацию, с тем чтобы работать внутри нее. Нам необходимо выработать реальный, действенный план создания такой массовой организации, в противном случае все наши усилия не принесут никаких плодов, станут бесперспективными, напрасными.

Задача осложнялась тем, что большинство рабочих на заводе были временные. Это означало, что едва нам удастся ценой огромных усилий наладить с ними контакт, как они снова рассыплются, разбредутся в разные стороны. Однако не зря существует поговорка, что «даже мимолетная встреча предопределена судьбой». Мы решили создать среди временных рабочих нечто вроде Общества друзей. Создание такой организации облегчалось еще тем, что между временными и постоянными рабочими отношения устанавливались очень плохие: взаимная неприязнь возникала из-за разницы в зарплате, в обращении, а Компания сознательно способствовала сохранению этого ненормального положения. Поэтому временные нередко дружили между собой по принципу «свой своему поневоле брат», и это облегчало задачу создания рабочей организации. Правда, примеров такой дружбы было пока очень немного, но если бы наша ячейка постаралась развить и организовать это стихийное стремление к солидарности, если бы мы сумели хорошенько поработать среди временных рабочих, то, учитывая предстоящее

увольнение шестисот человек, всколыхнуть весь завод было бы вовсе не так уж невозможно.

Завод Курата — военное предприятие. Важность существования здесь рабочей организации в военное время не нуждается в доказательствах. С тех пор как началась война, наша партия перенесла центр тяжести своей работы на заводы, изготавливающие вооружение, — в основном на предприятия химической и металлургической промышленности, — и на транспорт, перевозящий войска и военное снаряжение. Вот тогда-то нас и послали на завод Курата: меня, Ота, Суяма, Ито. Но, к несчастью, все мы были приняты на время и меньше чем через две недели нам предстояло увольнение. Необходимо было успеть хотя бы пустить корни, создать на заводе организацию. А для этого нужно было заручиться сочувствием со стороны постоянных рабочих. Тогда, тесно связанные с оставшейся на заводе организацией, мы могли бы и после увольнения успешно продолжать борьбу. Вот почему мы решили использовать все возможности, каждый, пусть даже самый малозначающий разговор для того, чтобы всячески сближать между собой временных и постоянных рабочих, чтобы добиваться установления хороших, товарищеских отношений между ними. Впрочем, организация, охватывающая только одних временных, тоже могла бы стать своего рода зародышем будущего движения, ведь в нее войдут люди, которые после увольнения опять наймутся куда-нибудь на работу, разбредутся по самым различным фабрикам и заводам. С некоторыми из них ни в коем случае нельзя будет порывать связь в будущем.

Работа предстояла огромная, и всю ее надо было провести в тот короткий срок, который отделял нас от увольнения.

Через несколько дней я отправился на очередную встречу с Суяма. Я заметил его еще издали. Он приближался, сильнее обыкновенного размахивая руками, — обычная его манера, когда он бывал чем-нибудь взволнован. Суяма просто не мог сначала приблизиться к вам и только затем уж спокойно начать разговор, — волнение сразу же проявлялось у него в жестах. «Что-то произошло», — подумал я. Свернув в переулок, я намеревался

сделать еще один поворот и лишь после этого подойти к Суяма, но он уже рысцей догонял меня, громко окликав по имени.

— Ота прислал из тюрьмы записку! — проговорил он.

«Ого, это и впрямь событие!» — мелькнуло у меня в мозгу. Оказалось, что записку принес какой-то уголовник, объяснив на словах, что Ота попросил его передать письмо на волю.

...Весь район вокруг завода Курата представлял собой настоящее злочинное место. Вдоль узеньких улочек, убежавших в обе стороны от проспекта, длинными рядами тянулись строения с круглыми окнами над входом — дома свиданий. С наступлением темноты здесь открывались ночные магазинчики, наступало оживление. Весь этот район находился во власти банд хулиганов и жуликов: они царили здесь безраздельно и безнаказанно. Тем не менее один из них все-таки угодили в тюрьму, — за вымогательство, что ли, — и попал в камеру с Ота. Когда его выпускали на волю, Ота попросил огнести записочку товарищу Т., с которым и я и Суяма были знакомы.

Ота писал, что полиция усиленно охотится за мной, что обо мне известно все, вплоть до того, что я ношу очки в роговой оправе, и чтобы я остерегался, потому что в полиции ему якобы говорили, что «этого субъекта» (то есть меня) они смогут поймать в два счета, стоит им лишь немного постараться.

Я молча слушал, но потом не выдержал.

— Дело обстоит как раз наоборот! Меня потому и разыскивают, что Ота все разболтал в полиции! — вырвалось у меня.

— Ясное дело! — согласился Суяма. — Откуда им знать, например, что ты носишь очки в роговой оправе, если они сами ни разу тебя не видели и не убедились, что ты и есть тот самый, кто им нужен? — добавил он, засмеявшись.

Мы пришли к выводу, что Ота написал записку, чтобы как-нибудь загладить свой проступок. Но нас больше волновало, многое ли он разболтал из того, что было ему известно? Следовало принять необходимые меры предосторожности. По всей видимости, Ота скоро выйдет на свободу. Но человека, способного на такое предательство, надо опасаться пуще всего.

А между тем арест Ота, особенно то обстоятельство,

что его забрали прямо из цеха, произвело большое впечатление на заводе. Так, значит, вот кто проносил на завод листовки! Эта мысль невольно рождала у рабочих чувство безотчетной симпатии к Ота. Но дело было не только в листовках: теперь люди узнали, что один из тех таинственных и страшных коммунистов, которых мастер называл не иначе, как «тиграми» и «крамольниками», был Ота; теперь оказалось, что одним из тех коммунистов, которые представлялись рабочим чем-то далеким, существующим неизвестно где, невидимо для людского глаза, был Ота, изо дня в день, бок о бок с другими водивший утюгом по парашютной ткани. Неожданность и необычайность этой новости потрясла всех.

Еси Ито сразу сумела повернуть арест Ота на свой манер. «Ота-сан всегда болел за нас душой, за это его и забрали. Он, можно сказать, герой нашего завода! Давайте пошлем ему передачу в участок!» Она предложила собрать для Ота деньги и кое-какие вещи. Откликнулось несколько человек, в том числе девушка, любившая Ота. Начав с разговора об этом аресте, Ито перешла к истории с листовками, затем стала говорить о положении на заводе вообще и в результате сумела заручиться сочувствием восьми работниц. Много времени проработав на производстве, Ито знала, какое дело способно увлечь за собой людей. К тому же в парашютном цехе, откуда забрали Ота, работали почти одни женщины, и Ота пользовался среди них большой популярностью. Ито сумела искусно использовать и это. Выбрав из числа работниц самую боевую девушку, Ито поручила ей отнести посылку и деньги для Ота. В посылке лежали кимоно, рубашка, трусы, пояс, полотенце, туалетная бумага и одна иена денег. В полицейском участке девушку сперва заставили ждать, а потом велели уходить, заявив, что Ота благодарит, но принять передачу отказывается. Не знакомая с нравами полиции девушка принесла посылку обратно. Но Ито отлично знала эти увертки — она сама испытала их на себе во время арестов; она уговорила девушку еще раз сходить в участок и всеми правдами и неправдами отослать передачу. Зато впоследствии, узнав от Суяма, как вел себя Ота в полиции, она пришла в ярость.

Ота, вероятно, считает свою измену, свое малодушие сугубо личным делом, которое касается только его од-

ного. В таком случае, он не понимает, что его поступок имеет пагубные последствия для всего многомиллионного рабочего класса. Эгоист, пораженец и предатель! В довершение подлости он разболтал полиции все, что знал обо мне, и это, несмотря на то, что полиция еще ничего обо мне и не подозревала, раскрыло все мои дальнейшие планы. Это означает, что работать с товарищами с завода Курата станет теперь в десять раз труднее, чем раньше. Вот так получается, что мы попадаем под перекрестный огонь: нам несут гибель не только враги, но и разложившиеся элементы из собственной нашей среды.

Расставшись с Суяма, я пошел домой пешком — надо было экономить деньги. Нервы у меня были напряжены до предела. Каждый прохожий, попадавшийся навстречу, казался мне шпиком, я то и дело оглядывался: Ота писал, что, охотясь за мной, полиция ведет тщательную слежку за этим районом.

Мне вспомнилось, как Усатый рассказывал однажды, что за каждого арестованного коммуниста полицейские получают премию от пятидесяти иен и больше. Эта денежная приманка так разжигает страсти, что они готовы землю рыть от усердия.

«Э, нет, так нервничать не годится! — подумал я. — Это еще опаснее! Ведь я не смею, я просто не имею права попадаться им в лапы!..»

Я зашел в закусочную, сел за столик и усилием воли постарался взять себя в руки. Только почувствовав себя немного спокойней, я вновь вышел на улицу.

У нас нет и не может быть пути к отступлению. Вся наша жизнь принадлежит партии. Эта жизнь совсем не похожа на ту, которую ведут люди, сохраняющие легальное положение. Она полна неисчислимых трудностей. И в довершение всего — такое предательство! О, какой гнев, какую ненависть рождает в нас подобное вероломство!

Теперь, когда у нас не осталось ничего, что можно назвать личными привязанностями, личной жизнью, этот гнев, эту ненависть по отношению к предателям мы ощущаем, можно сказать, всем своим существом, каждой клеткой своего тела (если только допустимо подобное выражение).

Я был не на шутку взволнован и даже нарушил свое обычное правило: входя в дом, перебрасываться

несколькими словами с хозяйкой. Сегодня я забыл об этом и поднялся прямо к себе наверх.

— Негодяй! — вырвалось у меня, как только я очутился один в своей комнате.

В последующие дни я неожиданно сблизился с Касавара. Я сам не мог бы объяснить, как это произошло. Из-за предательства Ота я решил в ближайшее время переехать в другой район, но мне самому нельзя было ходить на поиски квартиры, и я попросил об этом Касавара: ведь она и раньше всегда безотказно выполняла все мои просьбы. Вот тогда-то мне и пришла в голову мысль: что, если нам с нею поселиться вместе? Для моей работы это тоже было бы очень удобно и значительно уменьшило бы опасность, которой я постоянно подвергался.

Представьте себе, что жилец — одинокий мужчина, который нигде не работает и при этом каждый день с наступлением темноты уходит из дому; что и говорить, одного этого уже достаточно, чтобы возбудить подозрения. Пока я работал на заводе, все выглядело благополучно, но сейчас... Примите теперь во внимание, что в один вечер у меня зачастую бывало по три, по четыре явки. Нередко случалось, что от одного до другого свидания выдавался целый час «пустой». Шататься в течение часа по улицам опасно, приходилось возвращаться домой и потом снова выходить. Не раз я замечал удивленный взгляд хозяйки. «Чем он зарабатывает себе на жизнь, этот человек?» — читал я на ее лице недоуменный вопрос. И когда при таком отношении хозяйки в дом является полицейский проверять домовую книгу, тебя всегда подстерегает опасность разоблачения.

А Касавара служила в торговой конторе и каждое утро, в определенный час, уходила на службу. В крайнем случае, даже если обо мне подумают, что я слоняюсь без дела, это будет выглядеть так, будто я живу на заработок жены. Люди вообще склонны питать доверие только к тем, кто имеет определенное занятие. И вот я спросил у Касавара, согласна ли она поселиться вместе со мной. В ответ она молча уставилась на меня внезапно расширившимися глазами и не произнесла ни слова. Я выждал немного, потом снова повторил свой вопрос,

добиваясь ответа. Но она продолжала молчать. В этот день она так и ушла, ничего мне не сказав.

Когда мы снова встретились, Касавара показалась мне какой-то удивительно присмирившей. Ужасно унылый был у нее вид! Она сидела передо мной, съежившись, руки ее чинно лежали на коленях, поза была напряженной. В эту минуту она ничем не походила на ту женщину, которая еще так недавно, в то утро, когда я, переночевав у нее, выходил с ней из дому, воскликнула так непринужденно, свободно, точно мужчина: «Чертова старуха! Ну, да ладно, обошлось!..» Я смотрел на нее с невольным удивлением.

Сначала поговорили о всякой всячине. Когда же эта тема иссякла, на лице Касавара отразилось замешательство. Мы оба избегали говорить о главном, каждый старался оттянуть время. Наконец, я решился и спросил. Оказалось, она согласна и пришла ко мне сказать об этом.

Вскоре мы с Касавара перебрались на новую квартиру. Она находилась довольно далеко от завода Курата, но Суяма и Ито могли тратить деньги на электричку, и мы договорились, что они будут приезжать ко мне. Таким путем я получил возможность экономить деньги на транспорт и до некоторой степени ослабить риск, связанный с частыми поездками.

ГЛАВА IV

Когда Суяма случалось бывать в той части города, где жила моя мать, он иногда заходил к ней. Он рассказывал ей, что я жив и здоров, а мне сообщал о том, как поживает она.

Мне пришлось уйти в подполье так внезапно, что я не успел предупредить об этом даже единственного близкого мне человека — мою мать. Помню, в тот день я пошел к шести часам вечера на очередную явку. Я уже выполнял тогда партийные поручения, но все еще сохранял легальное положение, работая как член оппозиционной группировки в одной профсоюзной организации, где верховодили реакционные лидеры. И вдруг товарищ, с которым я встретился, сообщил мне, что Ф., работавший вместе со мной в том же профсоюзе, арестован и что хотя обстоятельства его ареста еще окончательно не

выяснены, но мне необходимо немедленно скрыться. Это сообщение ошеломило меня. Ведь если в связи с арестом Ф. встанет вопрос обо мне, то дело не ограничится тем, что меня посчитают обычным представителем радикальной группировки внутри желтого профсоюза, — неизбежно выяснятся мои связи с компартией. Я ответил, что немедленно отправлюсь домой, приведу в порядок свои дела и, хорошенько подготовившись к новой жизни, перейду на нелегальное положение. Выслушав меня, мой собеседник (это был Усатый) сказал, словно посмеиваясь надо мной: «Ты это серьезно?! Ну, брат, шуткам тоже надо знать меру!» — и объяснил, что домой возвращаться ни в коем случае нельзя, устраивать мои дела придется потом кому-нибудь другому, теперь же ничего не поделаешь, надо уходить немедленно в том, что на мне. «Это, дружище, не поездка на студенческую практику!» — засмеялся он. Усатый принадлежал к той редкой категории людей, которые умеют ввернуть шутку, теплое, ласковое словечко даже в самый серьезный, суровый момент.

Он тут же рассказал мне несколько подходящих к случаю историй: о том, как одному товарищу, скрывающемуся в подполье, негде было провести ночь, и он вернулся к себе домой, решив, что «одна ночь как-нибудь обойдется». На следующее же утро его схватили. Рассказал и о другом товарище, который тоже вернулся к себе на квартиру, решив уладить какие-то неотложные дела, несмотря на то, что за его домом, по всей видимости, была установлена слежка, и тоже был арестован. Казалось, Усатый вовсе и не старается во что бы то ни стало убедить меня и доказать, почему мне не следует ходить домой. Он просто рассказал несколько подходящих примеров из жизни. Много испытал этот человек, и в памяти его сохранилось, как видно, немало подобных историй.

Я взял у Усатого все его деньги, пять иен, и нашел себе временный приют у одной знакомой четы. Впоследствии я узнал, что Усатый оказался полностью прав, — на следующее же утро ко мне в дом явились шпики и полицейские из главного и районного управления полиции с ордером на мой арест. Мать, ни о чем не подозревавшая, была потрясена. Она ответила им, что меня нет дома: как ушел вчера, так и не возвращался. Мне передавали потом, что в ответ на эти слова один из поли-

цейских, по виду главный, сказал: «Ага, почуял, видно, чем дело пахнет, и поспешил смыться...»

С тех пор я так ни разу и не побывал дома. Поэтому, когда Суяма зашел к матери с весточкой от меня, она встретила его, словно родного сына, провела в комнату, угостила чаем и все смотрела на него, не спуская глаз. «Ужасно, знаешь ли, не по себе мне было под этим взглядом...» — говорил мне потом Суяма, почесывая затылок. Он рассказал матери о моей жизни после ухода из дому, и стоило ему на минутку умолкнуть, как мать требовала: «А потом что? А дальше что?» Она тревожилась обо мне, не спала ночами. Суяма рассказал мне, что под глазами у нее набрякли мешки, щеки ввалились, а шея так исхудала, что казалось, не выдержит тяжести головы.

Под конец беседы мать спросила: «Когда же Ясудзи вернется домой?» Этот вопрос поставил Суяма в тупик. — «Когда вернется?..» Он смотрел на мать, на ее худую, тонкую шею и не находил в себе мужества открыть ей всю правду. «Да как сказать!.. Скоро, наверное...» — в конце концов уклончиво проговорил он.

Моя мать, разумеется, давно уже успела привыкнуть к тому, что меня то и дело забирают в полицию. Мне приходилось уже не раз проводить по двадцать девять дней в камерах при полицейских участках¹. В позапрошлом году я отсидел целых восемь месяцев; мать в это время ходила в тюрьму. — носила мне передачи. Сейчас она хорошо понимает, почему я скрываюсь, и сочувствует моей работе. Только одного она никак не могла уразуметь: отчего я не хочу, как бывало до сих пор, подчиниться неизбежному и без сопротивления отдаться в руки полиции? Она боялась, как бы потом мне не было хуже из-за того, что я скрываюсь.

Что ж, возможно, я бывал подчас жесток по отношению к матери, но в конечном итоге я не мог поступать иначе: этого требовало наше дело, в котором нет и не может быть дороги назад. Иногда я думаю о том, как случилось, что моя старая, шестидесятилетняя мать

¹ Арест на двадцать девять дней производился полицией с целью «изъятия» деятелей рабочего движения в определенный момент, например перед 1 Мая, Международным антивоенным днем и т. п.

научилась понимать меня, сочувствовать мне, и прихожу к выводу, что это результат душевной борьбы, быть может гораздо более мучительной, чем все трудности, которые испытываем мы, подпольщики, в нашей работе.

Дочь бедного крестьянина, в детстве не имевшая возможности ходить даже в начальную школу, она вдруг сама надумала недавно научиться грамоте. Она взялась за азбуку, когда я еще жил дома. Помню, как она, надев очки, сутулясь, сидела возле котацу и, приладив маленькую дощечку, выписывала буквы на оборотной стороне моих черновиков. «Что это ты затеяла?» — спросил я улыбаясь. Она ответила, что когда в позапрошлом году меня арестовали, она не могла написать мне в тюрьму ни единого письма, а все из-за того, что не знала иероглифов. «Только это меня и огорчает...»

После ухода из дому я все больше и больше отдавался борьбе. И мать понимала это. Она знала, что меня обязательно снова арестуют.

И вот, готовясь к этому времени, мать заранее учила иероглифы. Помню, незадолго до моего ухода я был порядком удивлен — она уже писала! Иероглифы выходили неуклюжие, неровные, но их свободно можно было разобрать.

Мать спросила Суяма, нельзя ли со мной повидаться, и, услышав в ответ, что это пока нежелательно, промолвила: «Значит, и письма, наверное, тоже посылать нельзя?»

Слушая рассказ Суяма, я отчетливо представил себе, что переживала мать, когда задавала этот вопрос, и сердце у меня больно сжалось.

Когда Суяма собрался уходить, она передала для меня кимоно, рубашку, трусы, носки и, попросив немного подождать, вышла на кухню. Суяма слышал, как она гремела посудой. «Что она там делает?» — подумал он. В это время мать вернулась в комнату, держа в руках пять вареных яиц. «Яйца нынче дешевы, — сказала она. — Передайте ему, пусть съест непременно!..» Мы съели эти яйца все вместе: я, Суяма и Ито.

— Эй, Ито, нам с тобой не полагается больше, чем по одному яичку, а то потом мамаша будет на меня сердиться! — шутил Суяма.

Словно не понимая его шутки, Ито украдкой утирала слезы.

Я решил, что в следующий раз, когда Суяма зайдет ко мне домой, он должен прямо сказать матери, что в ближайшие несколько лет я не смогу вернуться к ней. Он должен объяснить ей, что мое участие в движении вовсе не преступление; настоящий преступник — полиция, прислужница правящих классов, и гнев матери должен быть обращен не на меня, а на общество, раздираемое такими глубокими противоречиями. Я считал, что лучше сказать ей обо всем напрямик, чем отделываться уклончивыми и неопределенными словами. Откровенность и прямота рождают в душе силу внутреннего сопротивления. Мне был известен случай, когда семье одного арестованного товарища сообщили, что его обвиняют в связях с компартией. И что же? Жена и мать начали утверждать, что их сын и муж не способен заниматься такими «грязными делами», что на него нарочно возводят «несусветные обвинения», что «не может быть, чтобы он был коммунистом!» Моя мать всего-навсего простая старая женщина, но я не мог допустить, чтобы она думала или говорила что-либо подобное. Всю свою долгую жизнь она прожила на самом дне, испытала горе и нищету. «Нужно только объяснить ей все хорошенько, и она поймет нас», — рассудил я.

Суяма говорил мне потом, что мать выслушала его молча. Затем неожиданно спросила: «Я уже стара, не сегодня-завтра наступит мой смертный час, сможет ли он прийти попрощаться со мной перед моей смертью?» Суяма, не ожидавший подобного вопроса, не знал, что ответить. Когда спустя некоторое время он снова отправился навестить ее, я велел ему передать матери, что даже если она будет при смерти, я все равно не смогу вернуться домой.

— У меня язык не повернется сказать ей такое! — растерянно произнес Суяма.

Да, я понимал, я не мог не понимать, как это жестоко по отношению к матери. Но я считал, что правда необходима. Правда поможет ей укрепить в своем сердце ненависть, непримиримую ненависть к правящим классам, — ведь к этому подготавливала мою мать вся ее долгая жизнь. Поэтому я снова настойчиво потребовал от Суяма повторить ей, что не смогу вернуться даже к ее смертному часу и что в этом тоже повинны все те же нынешние правители Японии. И все-таки, когда в тот день я

шел на свидание с Суяма, сердце у меня болезненно сжималось.

— Ну, видел мать? — спросил я.

— Она просила передать тебе вот что...

Мать спрашивала: нельзя ли разок повидаться со мной?

По словам Суяма, за последнее время она еще сильнее похудела и побледнела.

Мне вспомнился вдруг Масаноскэ Ватанабэ¹. Когда он ушел в подполье, его мать тоже спрашивала у друзей сына: «Больше мне, наверное, нельзя будет с ним повидаться?» И друзья отвечали ей: «Да, вы не сможете больше его увидеть». Сейчас эта женщина не просто мать Ватанабэ — она стала матерью всего рабочего класса.

Я рассказал об этом Суяма.

— Все это так... Но ведь обязательно сообщать ей свой адрес. Можно ведь повидаться где-нибудь на улице, — возразил Суяма. Он все еще находился под впечатлением встречи с моей матерью и был, по-видимому, глубоко тронут ее словами.

— Полиция и так усиленно охотится за мной... А если что-нибудь случится?

Но в конце концов Суяма уговорил меня. Мы решили принять все возможные меры предосторожности. Для встречи выбрали отдаленный район, где мы никогда не бывали. Суяма должен был привезти туда мою мать на такси.

В условленное время я отправился в маленький ресторанчик. Мать одиноко сидела за столиком, чуть отодвинув стул. Лицо ее было грустно. Она оделась в свое лучшее выходное кимоно; у меня почему-то больно защемило на сердце, когда я это заметил.

Разговор не клеился. Она вытащила из-под стола узелок и подала мне; в узелке оказались бананы и снова яйца. Суяма сразу же заторопился уйти. Когда он уходил, мать почти насильно всунула ему в руку банан и яйцо.

Постепенно она разговорилась.

— Ты даже пополнел немного с тех пор, как я тебя в последний раз видела...

¹ Масаноскэ Ватанабэ — японский революционер, один из организаторов и руководителей Японской компартии. Убит агентами полиции на Тайване в 1928 г.

Ей то и дело снилось, что я исхудал, осунулся, что меня арестовали и подвергают пыткам; от этих снов она просыпалась среди ночи.

Потом мать сказала, чтобы я не тревожился о ней, что из префектуры Ибараги она получила письмо от зятя (мужа моей сестры), в котором тот писал, что они позаботятся о ней.

Раз уж речь зашла об этом, я решил сам, теперь уже без посредников, повторить ей то, о чем раньше передавал через Суяма.

— Понимаю, понимаю... — ответила мать, ласково улыбнувшись.

Только теперь я заметил, как она встревожена. Ей словно не сиделось, она не договаривала начатых фраз, обрывала речь на полуслове.

— Вот, пока не виделась с тобой, места не находила, все считала минуты до встречи, — наконец, проговорила она, — а теперь повидала и снова боюсь: вдруг схватят тебя здесь... Мне так страшно за тебя... Давай уж лучше попрощаемся, уходи ты поскорей отсюда!

И действительно, стоило появиться за соседним столиком новому посетителю, как мать оглядывалась на него и шептала:

— Как, по-твоему, этот человек не опасен?

Или:

— Какое-то неприятное лицо у этого человека...

Я же, напротив, сам того не замечая, увлекся и говорил так, как привык разговаривать с ней дома, но она одернула меня:

— Говори немного потише! Мне бы только знать, что ты цел и невредим... — прошептала она. — Чем встретиться с тобой да сидеть вот так, словно на иголках, лучше уж было бы совсем тебя не видеть!..

Мы уже прощались, когда она неожиданно сказала:

— Вот что, Ясудзи... Мне уже шестьдесят стукнуло... Ты не думай, я собираюсь еще долго, еще добрых двадцать лет прожить на свете, но, что ни говори, годы мои уже такие, когда не знаешь, может быть, завтра суждено умереть. Так вот, ты чего доброго, услышав, что я плоха, вздумаешь вернуться домой... Этого делать нельзя, слышишь! Имей в виду, я распорядилась, чтобы тебе не сообщали о моей смерти.

Проститься на смертном одре с дочерью или с сыном — что может быть естественнее этого желания? Слова старой матери потрясли меня. Взмолвленный до глубины души, я молчал. Я не мог говорить.

Мы вышли на улицу.

— Ты не беспокойся, я прекрасно доберусь и одна... — сказала мать. — Ты иди, иди, да смотри — будь осторожен! — И добавила с тревогой: — Очень уж приметная у тебя походка! Кто хоть раз тебя видел, тот сразу даже издала может тебя узнать... Приучись ты ходить ровнее!

— Да, мне все это говорят.

— А как же! Сразу можно тебя узнать.

И пока мы не расстались, она все твердила, словно про себя:

— Можно узнать, можно узнать...

Так оборвалась последняя нить, еще связывавшая меня с миром личных чувств, личных интересов, — связь с матерью. Отныне, пока не наступит новая жизнь (мы боремся за нее, но кто знает, когда оно придет, это время?), я наверное не смогу быть вместе с моей матерью.

В эти дни пришло известие от Усатого.

Пять дней Усатый просидел в полицейском участке, затем его перевели в тюрьму при главном полицейском управлении. Мы узнали об этом только из его письма; письмо это принес рабочий-кореец, сидевший с Усатым в одной камере. Усатый писал, что его арестовали на явочной квартире, — как это могло случиться, он до сих пор толком не знает, — и наказывал нам при перестройке нашей работы, которую нам придется проделать из-за его ареста, ни в коем случае не проявлять суеты, растерянности и приспособленчества. Эти последние слова были специально подчеркнуты.

Прочитав письмо, Суяма и я со стыдом почувствовали, что вообще работали мало, слишком мало, хотя бы для того, чтобы в нашей работе могли проявиться эти самые «суета и приспособленчество», от которых предостерегал нас наш товарищ.

У Усатого были родственники: родители, сестры и братья. Через них он прислал еще одно письмо на мое

имя (на то имя, под которым меня знали только товарищи по работе). «Я не собираюсь давать им никаких показаний, — писал он. — На все вопросы отвечаю одно: «Не знаю».

«Да, мужество и стойкость Усатого начисто смыли позор, которым покрыл нас всех малодушный предатель Ота!» — невольно подумал каждый из нас, когда мы прочитали это письмо.

Мы с новой силой уверились в том, что, какие бы изменники, какие бы оппортунисты ни проникали в наши ряды, какие бы предательства они ни совершали, правильная, подлинно революционная линия проходит через всю деятельность нашей партии отчетливо различимой, прочной красной нитью.

Усатый постоянно внушал нам, что ответить хоть слово на допросе — значит нарушить железную дисциплину партии, предписывающую отвечать врагу молчанием; значит склонить голову перед законами, которые стремятся навязать нам враги для того, чтобы заставить нас выдать хоть что-нибудь. «Для нас, коммунистов, партийцев, — говорил он, — совершенно закономерно подчиняться не порядкам, установленным врагом, а железной дисциплине нашей партии». Теперь он сам на деле показывал нам пример стойкости.

— Ёсико, слыхала ты, кто такой Шаповалов? — спросил вдруг Суяма.

— Знаю. Он написал книгу «На пути к марксизму».

— Опять что-нибудь из «заметок на память?» — улыбнулся я.

— Когда Шаповалова арестовали, он упорно молчал целых семь месяцев, не отвечая жандармам ни на один вопрос, — рассказывал Суяма. — В своей книге он пишет, что для рядового партийца нет ничего выгоднее этой тактики — с ее помощью он продержался семь месяцев.

Услышав эти слова, Ито сказала:

— А одна моя товарка, — о ней написана пьеса, ее недавно ставили в рабочем театре, — не отвечала на допросах, держалась стойко и сумела выйти на волю, так и не назвав следователю даже своего имени и местожительства. Вот как! Похлеще Шаповалова!

Она проговорила это с таким видом, словно сама прошла через все испытания, и Суяма, как всегда, когда

не находил, что ответить, с обескураженным видом почесал затылок.

Мы дали клятву в случае ареста не отвечать на допросе ни слова. На собрании нашей ячейки мы записали свое решение и довели его до сведения партийного руководства, чтобы так же вели себя на допросах все коммунисты.

Вскоре от Усатого пришло еще одно письмо на имя товарища Т. Из этого письма мы узнали, что Усатого перевели в другой полицейский участок и там несколько человек непрерывно истязали его на допросе, который длился в течение трех суток. Его подвешивали со связанными за спиной руками к потолку следственной камеры, и палач бил его бамбуковой палкой. Когда он терял сознание, его обливали водой и снова били. Так повторялось много раз, но Усатый не произнес ни слова.

«Негодяи!» — вырвалось у Ито, когда она прочитала это письмо. Ее тоже дважды избивали в полиции бамбуковыми палками, предварительно раздев донага.

Героическая борьба, которую вели наши товарищи, заставила нас подтянуться. Когда я, усталый, не находил в себе сил, чтобы закончить работу, которую непременно нужно было сделать к завтрашнему дню, когда сон одолевал меня, я вспоминал о тех, кто в эти минуты томился в тюрьме, и, борясь с сонливостью, продолжал работать. При мысли о мучениях тех товарищей, которые находились в тюрьме, моя усталость от бессонных ночей выглядела сущим пустяком. «А что испытывают сейчас они? Может быть, как раз в эту минуту их истязают?.. — думал я. — Нужно работать!»

Нерушимые узы связывали нас с теми, кто томился в тюрьме. Тюрьма и воля не похожи друг на друга, но и там и здесь не затихала борьба против угнетателей.

ГЛАВА V

Ито завела среди временных работников несколько подруг.

С каждым днем становилось все более очевидно, что с завода будет уволено шестьсот человек и что никакого пособия им выдавать не собираются. После наших листовок это поняли все. Рабочие встревожились, и это

было нам на руку: вокруг Ито и Суяма образовались кружки сочувствующих — они возникли легче, чем мы ожидали.

Возвращаясь с завода, работницы всегда бывали голодны. Ито, Цудзи и Сасаки (Цудзи и Сасаки были самые лучшие, наиболее надежные девушки в этом кружке) обычно предлагали зайти всей компанией куда-нибудь в закусочную или в лавочку, где торговали лапшой. Уставшие после тяжелого рабочего дня, проведенного стоя, наконец-то очутившись в тишине, девушки отдыхали от оглушительного грохота машин и громко болтали между собой, словно спеша наговориться.

Обычно Ито и ее подруги прибегали к такой тактике. Ито считалась среди подруг самой боевой, поэтому никто не удивлялся, когда в закусочной или в макаронной она заводила разговор на «рискованные» темы. Цудзи и Сасаки выступали в роли спорщиц. Они нарочно задавали Ито разные вопросы, высказывались даже против. В первое время они еще не всегда умели подладиться друг к другу, сбивались, повторяли одно и то же.

Однажды «помощницы» едва не выдали себя и так испугались, как бы остальные не догадались об их сговоре, что прямо похолодели от страха. Но все обошлось благополучно, и, только выйдя из закусочной, все трое заметили, что от волнения они даже вспотели. Однако с каждым разом дело у них шло все лучше, а когда «помощницы» Ито научились действовать искусно, им все чаще удавалось привлекать на свою сторону даже таких работниц, которые шли в закусочную без всякого умысла, просто за компанию. От «помощниц» требовалось хорошее знание психологии и всех предрассудков, которые владеют умами простых, политически неразвитых женщин.

Собираясь вместе, девушки обычно говорили о том, у кого с кем затевается флирт, подружилась ли такая-то работница с таким-то рабочим или еще нет, — все разговоры вертелись исключительно вокруг подобных тем.

Как-то раз, придя на явку, Ито рассказала мне об одной такой беседе.

На днях Кину-тян из парашютного цеха получила любовное письмо от постоянного рабочего цеха противогазов Иосимура. Он просил Кину-тян встретиться с ним

«где-нибудь в тихом уголке, чтобы можно было обо всем поговорить толком». Возвращаясь с работы, девушки оживленно обсуждали это событие, и даже в закусочной единственной темой разговора по-прежнему служило только это происшествие. Толковали о том, что, получив письмо, Кину-тян вдруг принялась усиленно белиться, что она завела себе маленькое зеркальце, повесила его на шнурочке у пояса и то и дело глядится в него даже во время работы, — короче говоря, толкам и пересудам не было конца. Одна из девушек, Сигэ, выделявшаяся своим умом, рассказала, что Кину-тян в порыве откровенности призналась ей: «Он хочет поговорить со мной в тихом уголке, но на заводе всегда стоит такой грохот... И потом, ведь я прихожу домой после вечерней смены всегда в девять-десять часов вечера, усталая до смерти, а он кончает работу в семь, так что нам и встретиться-то невозможно...» Кто-то сочувственно вздохнул: «Бедняжка!»

Тогда вмешалась одна из «помощниц», Сасаки:

— Выходит, мы даже не можем провести часок с милым, пошептаться с ним о сердечных делах.

Все поддерживали ее:

— Верно! И в самом деле!

— Да где уж тут погулять с парнем! Столько приходится работать, что никакие прогулки на ум не идут... А ведь тоже хочется иногда сходить с дружкой хоть кино посмотреть. Правда? — продолжала Сасаки.

Ее слова вызвали общий смех и сочувственные возгласы:

— Что верно, то верно!

— Правда! Если нам хоть немного не сократят рабочий день да не прибавят зарплату, так выходит, что нам и дружка любить заказано!

— В самом деле, хозяева черт знает как с нами обращаются!

— У нас в цехе мастер орал сегодня: «Знаете, какое сейчас время? Сейчас война!» Вы, мол, тоже должны считать себя все равно что солдатами, в лепешку должны расшибиться, вот как сейчас нужно работать... Если, мол, война затянется, вы будете обязаны из всех сил работать за такое жалованье, какое получают солдаты!.. Этого, мол, требуют интересы государства. Вот что он говорил, наш лысый черт!

Даже Ито удивилась, услышав эти слова, — она не успела заметить, как разговор о сердечных делах перешел на обсуждение жизни рабочих, отношения к ним хозяев. «Помощницы» и те были несколько ошеломлены.

Дальше уже без всяких усилий со стороны Ито разговор перешел в настоящую атаку на действия Компании.

«Да, так оно и должно быть!» — невольно подумал я, когда Ито рассказала мне об этом эпизоде. С началом войны нажим на рабочих принял поистине ужасающие размеры, оплата снизилась. Действительно, при нынешнем положении даже сердечные дела невозможны. И хотя работницы, может быть, не сумели бы выразить эту мысль словами, но каждая ощущала этот гнет на себе.

Теперь, рассказывала мне Ито, она уговаривает девушек сходить в театр, посмотреть какой-нибудь интересный спектакль.

В представлении работниц театр — это мюзик-холлы и ревю в квартале Асакуса или же спектакли Тиэдзо Катаока¹, но Ито вместе со своими «помощницами» агитирует за то, чтобы пойти в «левый» театр.

Выслушав отчет Ито, я, в свою очередь, посоветовал ей привлечь в свою группу и мужчин-рабочих. Это будет не так уж трудно, если Ито свяжется с Суяма. Присутствие мужчин значительно поднимет общее настроение и укрепит боевой дух группы. Кроме того, я сказал ей, что не следует вербовать только временных рабочих, — нужно постараться, чтобы в ее группу вошли также и постоянные.

Ито согласилась со мной.

Чтобы предстоящее увольнение встретить во всеоружии, мы решили прекратить выпуск листовок того типа, которые распространяли до сих пор. Что ни говори, они смахивали скорее на заводскую стенную газету, чем на листовки. Теперь мы решили выпускать и газету и листовки отдельно.

Когда я просил Суяма придумать название для газеты, он, сморщив нос в улыбке, предложил: «Любовный парашют»!

Решили назвать газету «Противогаз». Редактировать ее С. поручил мне, поскольку я не работал больше на заводе и, следовательно, был относительно свободен.

¹ Тиэдзо Катаока — артист.

Я писал заметки, основываясь на докладах Суяма и Ито, и через связного отдавал их в печать. Связной, имевший контакт с рабочими-печатниками, рано утром передавал готовые экземпляры Ито. Я встречался с ней, Суяма ежедневно узнавал, какой отклик имеет газета, и немедленно учитывал эту информацию в следующем же номере «Противогаза».

Из докладов Суяма и Ито я понял, что Компания со своей стороны тоже деятельно готовит контрмеры. Ни о пособии, ни о предстоящем увольнении больше уже не заикались. Это ясно показывало, что хозяева замышляют что-то новое. Мы не сомневались, что эти их новые планы по-прежнему направлены на то, чтобы ловко и гладко провести увольнение, не выдав при этом никакого пособия увольняемым. Мы должны были заранее до конца разгадать, что именно задумали хозяева, и своевременно разоблачить их замыслы перед рабочими, иначе грош нам цена! Если бы мы стали действовать только прежними способами, ничего не изменив в нашей тактике борьбы, мы рисковали отстать и оторваться от масс. Наша тактика должна учитывать разнообразные маневры, к которым прибегает буржуазия. В самом деле, о чем говорят те ошибки, которые мы допускали в прошлом? В первый момент нам обычно всегда удавалось запугать врага, но как только противник разгадывал наши планы, он обходил нас с тыла. А мы между тем, не обращая ни малейшего внимания на то, что и как предпринимают враги, зачастую продолжали идти напролом, гнуть прежнюю линию, прибегая все к одним и тем же методам и приемам. При такой тактике враг всегда останется в выигрыше и в последний, решающий момент нанесет нам неожиданный удар.

Ито тоже чувствовала напряженную атмосферу на заводе и не раз говорила: «Что-то на заводе готовится... что-то не так, как обычно...» Но что именно необычно — этого она сама еще толком не понимала.

Через день после моей встречи с Ито Суяма принес мне маленький клочок бумаги. На бумажке было написано:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

От имени Компании выражаю признательность всем рабочим за усердие в труде, обеспечившее успешную работу завода, и надеюсь, что все рабочие нашего предприятия порадуются этому

вместе с Компанией. Не сомневаюсь, что всем работникам завода ясно, что войну выигрывают не одни лишь солдаты на фронте. Усилия, которые мы прилагаем для изготовления парашютов, противогазов и авиационных фюзеляжей, необходимы стране, — без них Япония не может добиться победы. Вот почему Компания надеется, что даже в том случае, если работа станет тяжелее обычного, все рабочие выполнят свой долг, воодушевленные тем же духом решимости, с каким солдаты идут в бой под огнем врага.

Этим коротким обращением мы призываем всех рабочих нашего завода преисполниться решимости и энергии.

Директор».

— Борьба вступила в новый, гораздо более сложный этап, — сказал мне Суяма, когда я прочел объявление, которое он переписал специально для меня. И действительно, обращение директора помогло нам разгадать очередные намерения Компании.

По заводу поползли новые слухи. Теперь говорили, что вопреки прежним планам Компания решила оставить на постоянной работе двести человек из числа временных — тех, кто проявил примерное усердие. Пусть поэтому каждый старается изо всех сил. Этот слух упорно распространялся среди рабочих.

Мы с Суяма выходили из себя. Нам было совершенно ясно, что эти слухи распустили специально для того, чтобы вплоть до самого момента увольнения воспрепятствовать объединению рабочих. Вместе с тем Компания явно стремилась поймать людей на приманку: «Тебя, может быть, переведут в постоянные», чтобы таким путем выжать из них еще больше прибыли.

Я встречался с Суяма и Ито ежедневно, но обычно эти встречи всегда проходили на улице, и мы не могли обсудить тщательно, во всех деталях, все меры, которые нужно было предпринять в ответ на этот маневр. Поэтому мы решили один раз в неделю устраивать собрание; помещение для этих встреч обычно подыскивала Ито. Суяма и Ито вели легальный образ жизни, и для них эти собрания не представляли особенной опасности, но для меня проводить по два-три часа в незнакомом месте было сопряжено с большим риском. Требовалось максимальное внимание ко всякого рода мелочам. Обычно Ито на улице сообщала мне, где предстояло собраться, я сам обследовал дом и окрестности и, только убедившись, что место выбрано безопасное, отправлялся туда вслед за Суяма и Ито, но другой дорогой.

Приблизившись к дому, я никогда не входил в него сразу, а, выбрав место, которое могло служить наблюдательным пунктом, еще раз внимательно оглядывал дом и улицу. Если в доме все было спокойно, Ито вывешивала какой-нибудь условный сигнал.

Однажды вечером, когда от раскалившихся за день асфальтовых тротуаров поднимались теплые струи воздуха, я вышел на улицу, захватив с собой журнал «Знамя», орган нашей партии, и несколько брошюр. В этот вечер у нас было назначено очередное собрание. Я прошел уже половину пути, как вдруг заметил двух полицейских, стоявших на углу. Дошел до следующего перекрестка — здесь опять стояли полицейские, на этот раз трое. «Э, дело скверное!» — подумал я. При мне была партийная литература, и я стал размышлять: как быть? Не зная, на что решиться, я продолжал идти вперед и вдруг на следующем перекрестке снова увидел полицейских, к моему удивлению, в полной боевой готовности, даже с опущенными под подбородок ремешками. Повернуть обратно прямо с полпути было, конечно, весьма неуклюжим маневром, но ничего другого не оставалось. Я невольно замедлил шаги. Мне показалось, что один из полицейских взглянул на меня и сделал движение, как будто собирался подойти ко мне. Я мгновенно изобразил на лице замешательство и, приложив руку к шляпе, обратился к полицейскому: «Скажите, улица С. — это где-то здесь, кажется?»

Полицейский окинул меня, признаюсь, довольно-таки неприятным взглядом.

— Улица С. здесь.

— А! Весьма благодарен! — И я направился в ту сторону, которую он указал. Пройдя несколько шагов, я, словно невзначай, оглянулся, — полицейский стоял ко мне спиной и о чем-то разговаривал с двумя другими.

— О черт! — невольно пробормотал я, похлопывая себя по груди, где за пазухой лежали журналы и брошюры. — Эх, вот бы подосадовал он, если бы знал! Прозевал шестьдесят иен наградных!

После минутного раздумья я все же решил вернуться домой. На следующий день, утром, просматривая газеты, я узнал, что в том районе произошло убийство. Вот так часто с нами бывает — достается в чужом пиру похмелье!

Но ведь известно, что наши враги весьма охотно используют любое, самое незначительное происшествие как повод для облавы на «красных». В самом деле, каждый раз они шумят о том, что вот, мол, обыски дали совсем неожиданный, так сказать, «дополнительный» эффект.

С. говорил мне как-то раз, что в одном иностранном журнале он прочел, что в Японии люди лишены возможности выйти вечером из дома свободно погулять, что они не могут посидеть и непринужденно поболтать в кафе без риска попасть на заметку жандарма. Да, все это правда. И весь этот порядок направлен главным образом против нас.

Я всегда внимательно просматривал газеты и, прежде чем выйти на улицу, проверял, не случилось ли какого-нибудь происшествия в том районе, куда я направлялся. В особенности тщательно читал я статьи о поимке какого-нибудь скрывавшегося от полиции грабителя или убийцы. Когда попадались такие статьи, я не довольствовался той газетой, которую читал обычно, но просил Касавара купить мне побольше разных газет и внимательно просматривал все. Помню, как-то раз мне сослужила большую службу статья об одном преступнике, который скрывался целых семь лет. Обычно все утренние выпуски газет я начинал читать именно с отдела происшествий.

Недавно я вступил в социалистическое соревнование с товарищами С. и Н., которые, так же как и я, находятся сейчас в подполье. Мы выработали «пятилетний план успешного уклонения от ареста». Выигравшим соревнование считается тот, кто сумеет выполнить нашу «пятилетку» в как можно более долгий срок. «Пятилетку в шесть лет!», «Пятилетку в семь лет!» — вот какой у нас лозунг. Для того чтобы выполнить ее, нельзя полагаться на случайность, нужно действовать продуманно, на основании научных данных. Касавара, случалось, покупала в книжных лавках у букинистов журналы вроде «Молодой человек новой эпохи» и уговаривала меня почитать. И я действительно иногда выбираю время и весьма серьезно штудирую детективные романы.

Когда на следующий день после этого эпизода я пришел на обычную явку с Суяма, он, едва увидев меня, воскликнул:

— Вот хорошо! Вот хорошо, что ты цел!

Оказывается, он был убежден, что меня схватили, так как я всегда был аккуратен и никогда не нарушал договоренности, и признался мне, что совсем было упал духом, опасаясь самого худшего. Я рассказал ему о ложной тревоге и добавил улыбаясь:

— Зачем же ты волновался? Ведь у меня же обязательство: пятилетку в шесть лет!

— Так-то оно так, а все же... — отозвался Суяма.

Вчерашнее собрание сорвалось, и Суяма подготовил все для новой встречи сегодня. Мы должны были обратиться у Ито — она все равно предполагала через день-другой переменить квартиру. В доме было несколько квартирантов, условия не слишком благоприятные. Я решил не выходить из комнаты Ито: боялся встретиться с кем-нибудь из жильцов. Вот был бы номер, если бы я наткнулся на кого-нибудь из знакомых!

Атмосфера на заводе Курата сгущалась — дело близилось к решительной развязке. Ито рассказала, что сегодня утром какой-то парень, недавно поступивший в цех, выхватил из рук одной девушки номер нашей газеты «Противогаз» и ударил ее. Раньше, когда на заводе появлялись наши листовки или газета, рабочие остерегались только мастера, друг друга они не боялись и от товарищей по работе никто газеты не прятал. Так попала девушка. Ито, наблюдавшая эту сцену, заподозрила что-то неладное и решила проследить за новичком. Потом уборщица рассказала ей, что он не кто иной, как резервист из районного «Молодежного союза». Выяснилось также, что с началом войны его специально устроили на завод. Ито стала наблюдать за этим человеком; оказалось, что у него имеются друзья и во втором и в третьем цехах. В рабочее время он бросал работу и разгуливал из цеха в цех. Заметили, что мастер смотрит на это сквозь пальцы. Кроме того, выяснилось, что он общается с Ацута и Киёкава из давно уже существовавшего на заводе, но до сих пор не работавшего «Союза дружбы»¹, организации, созданной под руководством «Тайсюто»².

¹ «Союз дружбы» — название легально существовавшей на заводе профсоюзной организации.

² «Тайсюто» — оппортунистическая партия правых социал-демократов.

Забавно, что этот «Союз дружбы», до сих пор ровным счетом ничего не делавший, в последнее время зашевелился. По заводу пошли толки (кто их распространял — было пока не ясно) о том, что, мол, страна переживает сейчас тяжелое время, что на нас возложена большая и ответственная работа, что рабочие данного завода должны мобилизовать свой дух в гораздо большей степени, нежели рабочие других отраслей промышленности, и что неплохо было бы создать на заводе филиал союза резервистов, в который вошли бы все призывники. Дирекция, как видно, тоже одобрила такое начинание, но инициатива, по всей видимости, исходила именно от этих парней, недавно принятых на завод «по особому распоряжению». Кое-кто из «Союза дружбы» тоже поддерживал их.

Мы отлично понимали, почему всему этому делу стараются придать такой вид, будто это предложение исходит от самих рабочих, так сказать по инициативе снизу, из цехов. Ведь если бы в качестве инициатора открыто выступила Компания, то успех этой затеи оказался бы под большим сомнением.

— А как дела у тебя в цехе? — спросил я Суяма.

Он сказал, что у них в цехе пока ничего такого как будто бы незаметно; потом, подумав минутку, добавил, что действительно в последнее время у них тоже появился один парень, который каждый раз в обеденный перерыв усиленно разглагольствует о войне.

— Сейчас, пока Ито говорила, я вдруг вспомнил о нем.

И Суяма рассказал, что до сих пор в обеденный перерыв, да и в другое время, рабочие обычно толковали либо о войне, либо вообще о своей жизни; каждый спешил высказать новости, которые где-нибудь услышал, или же поделиться своими собственными нехитрыми соображениями, но теперь, когда Суяма припоминает эти беседы, он видит, что действительно среди рабочих появились такие личности, которые говорят совсем в другом духе, агитируют за войну, разжигают страсти.

Сомнений больше быть не могло: из рассказов Суяма и Ито стало ясно, что враг переходит в наступление.

Чтобы победить, нам необходимо точное знание всех сил, которыми располагает враг. Теперь враг понял, что недостаточно насильно навязывать свою волю сверху

тем, кто трудится; недостаточно расставлять на улице переодетых в штатское сыщиков, чтобы следить, как рабочие приходят и уходят с завода. И, поняв это, враги решили нанести удар нашей организации силами самих рабочих, — вот то новое, дополнительное оружие, к которому они теперь прибегли. Ради этого оживился «Союз дружбы», ради этого пытаются создать на заводе филиалы таких организаций, как «Молодежный союз» и «Союз резервистов». А на заводе Курата есть опасность, что эти организации хорошо привьются, учитывая хотя бы характер самого предприятия, изготовляющего снаряжение для армии.

Можно сказать, что враг окружает нас сейчас со всех сторон, — мы должны отражать его атаки на всех фронтах.

Из сообщения Суяма выяснилось, что в последнее время на заводе толкуют о войне не так, как это бывало раньше, когда вся агитация сводилась по существу к лозунгу «Верность императору, любовь к отчизне» или же к утверждениям, что «Япония должна проучить китайцев». Теперь толкуют о том, что нынешняя война не похожа на прежние, когда воевали только ради того, чтобы «Мицуи» или «Мицубиси» построили себе новые большие заводы на оккупированной территории; нет, теперь, дескать, война ведется для того, чтобы создать «жизненное пространство» для пролетариата. Когда Маньчжурия будет завоевана, крупный капитал устранил оттуда и создадут там новое государство — царство рабочих. Безработные из Японии массами поедут в Маньчжурию, и, таким образом, в нашей стране постепенно не останется ни одного безработного. В России нет ни одного безработного, и у нас тоже их не должно быть. Поэтому нынешняя война — это война для пролетариата, и мы все по мере своих скудных сил и возможностей, каждый на вверенном ему участке, должны работать изо всех сил. Вот как велась теперь агитация!

Однажды в обеденный перерыв Ацута и Киёкава из «Союза дружбы» попытались было вступить в спор с рабочими-резервистами и членами «Молодежного союза», говоря, что нынешняя война в конечном итоге тоже ведется для того, чтобы крупный капитал мог эксплуатировать колонии. Тем не менее Киёкава сказал: «Но только, с другой стороны, эта война выгодна также и

для пролетариата, например на предприятиях военной, химической и металлургической промышленности теперь такое оживление, что, сколько бы людей ни пришло, рабочих рук все равно не хватает... Это оживление видно хотя бы по росту так называемых «военных акций». И добавил (интересно, откуда он это узнал?), что акции компании «Тэйкоку каяку», производящей боеприпасы, например, стоили раньше четыре иены, а теперь — девять; акции судостроительной компании «Исикавадзима» шли раньше по пяти иен, а теперь — по двадцать пять; цены на селитру, необходимую для производства снарядов, поднялись с двадцати до ста иен. «Считается, что Германия, — заявил он далее, — была разбита в мировой войне в пух и прах, однако металлургические заводы Круппа дают теперь чистой прибыли в десять раз больше, чем в обычное, мирное время. Наша жизнь тоже постепенно улучшается благодаря правительству и войне, а значит, огульно протестовать против войны тоже было бы не совсем правильно. Нужно извлекать из нее ту пользу, какую можно...» Такова была его точка зрения. Ну, а когда его рассуждения завершились подобными выводами, то само собой вышло так, что вначале он хотя и пытался спорить с парнями из «Молодежного союза» и резервистами, но в конце концов их взгляды полностью совпали.

Судя по этим беседам, происходившим во время обеденных перерывов, рабочие воспринимали разглаговольствования членов «Молодежного союза» о «маньчжурском царстве» как нечто вроде красивой сказки, относительно которой приходилось еще очень и очень сомневаться, можно ли вообще в нее верить?.. — «Так-то оно так, да что-то не верится!..»

А вот речи Киёкава встретили сочувствие у временных рабочих. Люди рассуждали так: идти на войну, на смерть, или вернуться калекой не очень-то сладко. А что касается этого самого «маньчжурского царства», так, кто его знает, будет ли еще нам от него какой-нибудь прок? Но вот благодаря тому, что началась война, мы, что ни говори, наконец-то получили работу после долгих лет безработицы... Это факт!

Конечно, временные рабочие были недовольны, что им не полагалось выходного пособия, что их силой заставляли работать сверхурочные, что за одинаковую

работу им платили меньше, чем постоянным, но все-таки они считали, что война до некоторой степени облегчила их положение. А такой субъект, как Киёкава, начисто забыв о том, что он как-никак все-таки является членом партии «Тайсюто», которая называет себя «партией, защищающей интересы рабочих», озабочен ростом цен на акции, точь-в-точь как если бы он сам превратился в капиталиста, и с помощью аргументов, как будто специально придуманных для того, чтобы выслужиться перед хозяевами, ловко играет на самых насущных интересах рабочих, в особенности временных.

Потом говорила Ито. Она сказала, что, когда надо вскрыть истинную подоплеку такого образа мыслей перед всеми рабочими, мы зачастую действуем весьма неумело, не умеем искусно парировать доводы наших противников.

— Такая досада берет, сил нет! — вздохнула она.

И я подумал, что Ито права. Ведь мы ясно понимаем истинную сущность нынешней войны, но, признаться, еще очень плохо умеем объяснить это народу, объяснить так, чтобы показать связь войны с повседневной жизнью рабочих. Ленин говорит, что по вопросу о войне даже революционные профсоюзы часто впадают в ошибки. Задачи, стоящие перед нами, становятся еще труднее, потому что Киёкава и Ацута сознательно стараются еще больше запутать дело, чтобы таким образом еще больше сбить людей с толку.

В последнее время Компания продлила рабочий день до шести часов вечера (раньше работали до пяти), пыталась даже заставить оставаться до семи часов. И временные рабочие хотя и роптали, но не уходили с работы, опасаясь, что в случае отказа их потом, чего доброго, не переведут в постоянные. Но продержаться до шести часов невозможно без еды. Время, затрачиваемое на еду, не оплачивалось. Так получилось, что когда стали работать до шести, заработок сократился. Таким способом дирекция умудрялась понизить заработок, хотя никто как будто бы прямо не объявил, что зарплата будет понижена. Люди возмущались, говорили, что их «одурачивают». В парашютном цехе, где работала Ито, женщины ворчали: «Если нам не будут платить за то время, что уходит на еду, мы никак не сможем оставаться так поздно».

Рабочий день стал десятичасовым, но эти часы были совсем не похожи на прежние. Надежда попасть в число постоянных сделала свое дело: она подгоняла людей, точно шпоры. Раньше во время работы можно было иногда перекинуться словом с соседом или, как Кину-тян, достав из-за пояса зеркальце, время от времени взглянуть на себя. Теперь же некогда было даже утереть рукавом пот, обильно струившийся по лицу. В парашютном цехе употреблялись электрические утюги, и работницы буквально обливаясь потом. Капли пота градом катились на разостланную для глажки парашютную ткань. При взгляде на количество готовой продукции становилось ясно, что Компания извлекала прибыли процентов на сорок больше, чем раньше. Тем не менее зарплату платили прежнюю. Рабочие, конечно, чувствовали всю тяжесть этого гнета на себе. И все-таки люди привыкли считать, что война и работа на заводе ничем между собой не связаны. Рабочие не догадывались, что все мучения, с каждым днем все больше и больше терзавшие их, происходят из-за самой войны. Вот почему, если бы только нам удалось объяснить им эту связь, то они сами сумели бы разобраться в хитроумных выкладках Киёкава и членов «Молодежного союза».

Теперь и нам стало ясно, на что должна обратить внимание наша ячейка.

Для того чтобы лишить Киёкава и Ацута того влияния, которым они пользовались среди рабочих, нужно внести на собрание «Общества дружбы» такие лозунги, как: «Долой интенсификацию труда», «Повысить зарплату», «Улучшить обращение». Можно не сомневаться, что Киёкава и Ацута не только не встанут во главе этой борьбы, но, напротив, начнут под разными предлогами всячески ее саботировать. Тогда мы ясно покажем всем, что на деле они против рабочих, не защищают их интересов. Мы решили в газете «Противогаз» снова и снова с особой энергией разоблачать заводских фашистов и социал-фашистов. Это решение мы записали в свою резолюцию.

Суяма зажег спичку и принялся уничтожать одну за другой разбросанные на полу черновики и записи.

— Посмотришь на все это и видишь, что решающий бой — «кто кого?» — не за горами, — сказал он.

— Верно. Победа возможна только при том условии, что у нас будет научно правильный курс и твердая решимость во что бы то ни стало проводить этот курс в жизнь — последовательно и неуклонно. Фашисты переходят в наступление — борьба предстоит не на жизнь, а на смерть!

В ответ на мои слова Суяма улыбнулся.

— Выходит, для нас завод не крепость, а поле боя!

— А это откуда цитата?

— Это мое собственное!

Впоследствии, на районном партийном собрании, я услышал, что на государственном военном заводе не ограничивались тем, что расставили охрану из жандармов, вооруженных пистолетами и саблями: на всех важных участках завода, у входа в цехи, дежурили жандармы, переодетые в рабочие спецовки. Коммунисты, работавшие на этом заводе, были арестованы, — провал произошел потому, что товарищи не поняли, что имеют дело с переодетыми жандармами, и пытались их сагитировать. Такие «рабочие» нарочно прикидываются сознательными. Это самое опасное. Завод Курата раньше не был военным предприятием, и поэтому до жандармов здесь дело еще не дошло, но если события и дальше будут развиваться в таком же духе, то легко можно представить, что наши враги не остановятся и перед подобными провокациями.

ГЛАВА VI

Я взглянул на часы — было только десять часов. У меня оставалось еще немного свободного времени. Растянувшись на циновках, мы принялись болтать о всякой всячине. Я бросил взгляд на туалетный столик Ито: он был гораздо богаче, чем у Касавара, весь уставлен разными баночками с помадой и румянами — красными, желтоватыми и даже голубыми.

— Ого! — заметил я.

Ито уловила мой взгляд и подошла.

— Как не стыдно насмехаться!

— Ито каждый день подкрашивается на разный манер — такая искусница на этот счет, даже жутко! — засмеялся Суяма. — Гляди-ка, всё сюрпризные коробки от

«Мицукоси» и «Мацудзакая»¹, и немало! Всё подношения! Везет нашей Ито, право! Даже завидно!

Работницы, обладавшие миловидной внешностью, часто получали подарки от мастеров, от старших рабочих цеха. Мужчины — товарищи по цеху — приглашали их в кафе. Ито охотно принимала подобные приглашения, в особенности если ее звал кто-нибудь из таких ребят, на сочувствие и поддержку которых можно было рассчитывать. Случалось, она первая приглашала куда-нибудь своих товарищей по заводу. Поэтому она всегда ходила на работу тщательно причесанная и набеленная.

Разумеется, мужчины тоже следили за своей внешностью. Когда среди рабочих попадались парни, недурные собой, следившие за своим костюмом, то со стороны работниц к ним проявлялось то отношение, которое Суяма называл «непосредственным» и «конкретным».

— Ну, а как идут дела на этом фронте в последнее время? — спросил я.

Суяма усмехнулся, поглаживая подбородок.

— Полная депрессия! — откликнулся он.

— Ёси-тян еще «не готова»? — взглянув на Ёси Ито, снова спросил я, не меняя позы.

— Что такое? — переспросила Ито. В следующую минуту, догадавшись, на что я намекаю, она слегка изменилась в лице (это длилось не более секунды), но тотчас же, снова овладев собой, ответила: — Нет, нет! Ничего похожего!

— Ёси говорит, что для нее любовь возможна только после революции... Потому что, мол, наши мужчины хоть и марксисты по убеждениям, но стоит им жениться, как в них пробуждаются предрассудки тысячелетней давности. А такой муж поработит нашу Ёси! — засмеялся Суяма.

— Суяма, видно, по себе судит! — холодно заметила Ито.

— Просто не встретился еще хороший товарищ, да? — проговорил я, глядя на Ито.

— А что ты сказала бы обо мне? Я не подойду? — спросил ее Суяма, приподнявшись и усаживаясь на циновке.

¹ «Мицукоси» и «Мацудзакая» — названия торговых фирм, имеющих большие универсальные магазины в Токио.

— Ну, нет, вы не пара! — откликнулся я.

— То есть ты хочешь сказать, что она мне не пара, да? — лукаво посмеиваясь, проговорил Суяма. — Я слишком хорош для нее, ты это имеешь в виду?

— Посмотрите-ка на этого нахала! Воображает о себе невесть что! — расхохотались мы все трое.

Но, мысленно перебирая всех, с кем нам приходилось общаться, я прихожу к выводу, что среди них нет человека, достойного Ито. Если она действительно когда-нибудь найдет себе спутника, это обязательно должен быть выдающийся человек. И жизнь их обоих, когда они, помогая друг другу, посвятят себя делу партии, будет прекрасной. Вплоть до сегодняшнего дня я еще ни разу не думал об Ито, как о красивой женщине, так твердо и строго держалась она, и это невольно сказывалось на нашем к ней отношении.

— Так и быть, придется взять на себя эту заботу... Подышу тебе хорошего парня... — шутливо сказал я, но по существу я говорил серьезно.

Вместо ответа Ито бросила на меня смущенный, растерянный взгляд.

По пути домой я вышел на проспект и здесь взял такси. Шофер, стараясь, видимо, проехать кратчайшим путем, все время сворачивал в какие-то темные улицы, но внезапно машина выехала на светлую, оживленную магистраль. Притворившись, будто я немного навеселе, я надвинул шляпу пониже.

— Что это за улица? — спросил я.

— Гиндза¹, — ответил шофер.

Вот еще не было печали! Такие бойкие места мне решительно противопоказаны. Однако я не мог сказать об этом шоферу и потому, сделав вид, как будто не разобрал его слов, еще ниже нахлобучил шляпу на лоб. Кстати, сколько же времени я не был на Гиндза? Я мысленно прикинул: да уже целых четыре месяца! Время от времени я бросал взгляд по сторонам. Многое изменилось с тех пор, как я был здесь в последний раз. Незаметно для себя я с жадностью, точно захлебываясь, смотрел, впиваясь глазами, на улицу.

Мне уже приходилось переживать нечто подобное. Помню, это было в позапрошлом году, во время моего

¹ Гиндза — главная улица в Токио.

пребывания в тюрьме. Меня повезли в суд в тюремном автомобиле, в наручниках, и по дороге сквозь забранное железной решеткой окошко я в первый раз за полгода увидел улицы района Синдзюку. Я провожал взглядом каждое здание, каждую вывеску, каждую машину, каждого пешехода, спешившего по тротуару. С каким напряжением я вглядывался в каждого человека! Мне казалось: вот-вот я замечу в толпе кого-нибудь из знакомых или товарищей. Помню, когда меня снова доставили в мою одиночку, у меня несколько дней болели глаза от напряжения.

У четвертого квартала, на перекрестке, слышался сигнальный звонок, и на трамвайном столбе напротив загорелся красный огонек. Машина остановилась у контрольной черты. За окном сразу же замелькали силуэты прохожих. Некоторые, проходя мимо, даже заглядывали в машину. Я был вне себя от тревоги. Для того чтобы иметь возможность бежать в случае внезапной опасности, я взялся за ручку дверцы и сидел, уткнувшись подбородком в грудь. Наконец, снова зазвонел звонок. Я вздохнул с облегчением и разжал пальцы, лежавшие на ручке дверцы.

Я смотрел на людей, спокойно гуляющих. Признаться, из моей жизни начисто выпала такая вещь, как прогулка. Сейчас мне внезапно пришло это в голову. Ведь я не имею права запросто, от нечего делать выйти в город, да и находясь в комнате, не могу просто так, когда вздумается, открыть окно, потому что меня могут увидеть с улицы. В этом смысле моя жизнь абсолютно ничем не отличается от жизни товарищей, находящихся в тюрьме. В некотором отношении она даже более мучительна: ведь возможность выйти на улицу у меня как будто бы есть, но я должен постоянно подавлять в себе это желание.

Но все это пустяки, ведь у меня было сознание необходимости всех этих лишений. А вот Касавара такая жизнь давалась, по-видимому, очень тяжело. Ведь ей в конце концов тоже иногда хотелось выйти куда-нибудь погулять со мной. Но такие прогулки были совершенно исключены, и это, как видно, ее сердило. В довершение беды, когда она возвращалась домой со службы, как раз в это время я уходил. Днем я сидел дома — для встреч я пользовался исключительно вечерними часами. Так

получалось, что мы бывали вместе очень редко. Прошел месяц, другой, и раздражение Касавара стало проявляться очень заметно. Она старалась побороть в себе это недовольство, но такое положение слишком затянулось, и она не выдержала: ее отношение ко мне заметно изменилось. Тяжелая это штука, когда вместе живут двое людей, из которых один совершенно отказался от личной жизни, а другой, напротив, большую часть своих интересов связывает именно с личной жизнью.

— За время, что мы поселились вместе, ты ни разу не посидел вечером дома, ни разу не вышел со мной погулять! — с полной откровенностью высказалась Касавара.

Сперва я думал, что мне удастся уничтожить разделяющую нас пропасть, если я сумею вовлечь Касавара в нашу работу, и много раз пытался сделать это. Но с тех пор как мы поселились вместе, я понял, что Касавара не подходящий для этого человек. Она была очень поверхностна, не обладала ни малейшей выдержкой. Я часто говорил ей: «Ты похожа на флюгер...» Из-за пустяка она способна была приходить в возбуждение, а потом, напротив, сразу готова была упасть духом, предавалась унынию. Люди с таким характером никак не подходят для нашей работы.

Конечно, она вела очень тяжелую жизнь, не имела ни минутки свободной. День проводила за машинкой (работа, такая далекая от жизни рабочего класса!), вернувшись домой, должна была заниматься стряпней, а по воскресеньям — стиркой на нас двоих. Мне было жаль ее, но у нее не было ни стремления, ни воли самой сделать усилие, чтобы как-нибудь вырваться из привычной колеи такой жизни. Когда же я пытался увлечь ее за собой на наш путь, она не хотела следовать за мной.

...Я вышел из машины, не доезжая до дома, и, пройдя две остановки, переулком вернулся домой.

Касавара, бледная, печальная, сидела посреди комнаты.

— Меня уволили... — едва увидев меня, проговорила она.

Это было так неожиданно, что я невольно застыл на месте, не зная, что сказать.

Касавара отнюдь не совершила какого-либо проступка, но тем не менее на службе за ней установилась

репутация «красной». Поэтому ее начальник посетил хозяина квартиры, где она жила прежде и который являлся ее поручителем. Выяснилось, что она уже давно там не живет. Так как я решительно запретил ей давать кому бы то ни было адрес моей нелегальной квартиры, то на службе она не сообщила о перемене местожительства. Это навело на подозрения, и ее немедленно уволили.

До сих пор благодаря заработку Касавара нам удалось платить за квартиру, я имел деньги на мелкие повседневные расходы и кое-как ухитрялся жить так, чтобы моя работа шла без помех. Вот почему ее увольнение было для меня довольно тяжелым ударом. Но коли уж так случилось, хорошо было бы по крайней мере получить выходное пособие, и как можно в большем размере. Однако я находился на нелегальном положении и не мог помочь ей в хлопотах о пособии. И в самом деле, начальник намекнул Касавара, что ей, дескать, еще повезло, что вопрос о ней не передали в полицию, и потому, мол, лучше ей уйти без скандала, «по-хорошему».

Мы сразу же очутились в очень затруднительном положении. Хуже всего, что увольнение Касавара сразу же станет известным хозяйке.

А ведь всего важнее, чтобы на квартире, где вы живете, к вам относились с доверием, в противном случае вы сразу же рискуете очутиться под подозрением. Поэтому я решил во что бы то ни стало плату за квартиру вносить аккуратно. Но при этом условии у нас оставалось на жизнь не больше двух-трех иен. А две-три иены исчезают мгновенно. Касавара каждый день отправлялась на поиски службы, да и мне тоже нужно было ежедневно выходить из дому в среднем раза по три-четыре. Я решил ходить пешком там, где раньше пользовался электричкой. Из-за этого приходилось часто тратить по тридцать — сорок минут, чтобы добраться до места встречи, и столько же уходило на обратный путь. Иногда дорога туда и обратно занимала два часа. Продуктивность моей работы заметно снизилась. У каждого товарища, с которым я встречался, я просил то пять, то десять иен: я в шутку именовал это «кампанией по сбору денежных средств». При этом я невольно горько усмехался — увы, среди наших товарищей не встречалось ни

одного Канда Хакудзан, о котором рассказывал нам Суяма.

Суяма и Ито заботились обо мне, ссужали мне то пятьдесят сэн, то целую иену из своего поденного заработка, при этом они постоянно твердили мне, что ведут легальный образ жизни и, значит, оказаться без денег для них не так опасно, как для меня, да к тому же они, мол, свободно могут попросить займы у любого. Я пришел к выводу, что не имею права тратить на себя деньги, которые дают мне товарищи, и решил расходовать их только на транспорт — на поездки, которые требовались по работе, но ни в коем случае не тратить на еду. Баклажаны стоили дешево — на пять сэн можно было купить два-три десятка. Наша квартирная хозяйка обваливала их на кухне в крахмальном мисо, и я довольствовался ими утром, днем и вечером — все три мои трапезы состояли из баклажан. Несколько дней такого рациона сразу же сказались на самочувствии: поднимаясь по лестнице, я задыхался, пот катил с меня градом.

Несмотря на усталость и недоедание, аппетита у меня не было, уж слишком однообразная пища! В конце концов я дошел до того, что обливал баклажаны кипяченой водой и торопливо глотал их, крепко-накрепко зажмурив глаза. И все-таки хорошо еще, когда была хоть эта еда! А вот когда вечером у меня должно было состояться три свидания, да на все эти явки приходилось идти пешком и при этом на пустой желудок, потому что случалось, что в этот день я ел только один раз, утром, — вот тогда действительно приходилось туго! Один раз, помню, был такой случай: назначил я встречу с одним товарищем и рассчитывал, что смогу взять у него денег, хотя бы на кусок хлеба, но расчеты мои полностью провалились. Товарищ этот, — на лице у него было написано сострадание, — сказал, что сейчас ему предстоит встреча с М., возможно у того найдется хоть немного денег, и предложил мне пойти с ним вместе. Я знал М. в лицо, к тому же у меня просто не было больше сил терпеть муки голода; и я согласился.

М. угощал меня хлебом с маслом, а сам посмеивался: «Подумать только, ради куска хлеба с маслом такая важная персона самолично явилась ко мне в дом, подвергаясь опасности ареста... Вот был бы номер, если бы тебя арестовали!»

Я тоже смеялся в ответ, говоря, что впервые постиг правильность афоризма «Хлеб насущный прежде всего!», но в душе решил, что такое положение не должно долго продолжаться, — это совершенно никуда не годится. Для того чтобы чувствовать себя уверенно, для того чтобы как можно дольше не попасться в руки полиции, не годится так изнурять себя, подвергать себя таким испытаниям.

И я прибег к последнему средству: в тот вечер, вернувшись домой, набрался храбрости и спросил у Касавара, что, если ей попытаться устроиться официанткой куда-нибудь в кафе?

Касавара сидела угрюмая, усталая: в последнее время она ежедневно отправлялась на поиски работы. Услышав мои слова, она вдруг выпрямилась, потом лицо ее стало мрачным и злым. Я смотрел на нее, не опуская глаз. Но она ничего не ответила, продолжая упорно молчать. Мне тоже не оставалось ничего другого, как замолчать.

— Ты, наверное, скажешь, что это нужно для твоей работы, да? — не глядя на меня, наконец спросила Касавара, против ожидания тихим, спокойным тоном. И прежде чем я успел что-нибудь ей ответить, вдруг выкрикнула пронзительно громко:— Могу и в проститутки пойти!

Касавара никогда не хотела вступить на наш путь, поэтому все, что она делала, она считала не чем иным, как жертвами, приносимыми лично мне. Она не умела мыслить иначе. Жертвы!.. Если говорить о жертвах, так ведь я тоже целиком отдаю свою жизнь ради общего дела. Вот я встречаюсь, например, с Суяма и Ито, а когда мы расстаемся, они возвращаются в обычный мир, к обычной, нормальной жизни, я же по-прежнему должен возвращаться туда, где нельзя ни на секунду ослабить напряжение, ни на мгновение дать себе передышку. Если меня схватят, несколько лет тюрьмы мне обеспечено. Но все эти лишения ничто по сравнению с теми жертвами, которые ежедневно приносят многие и многие миллионы рабочих и беднейших крестьян. Я знаю это давно, с детства. Мой отец и мать — бедняки крестьяне — двадцать лет прожили жизнью, полной мучительных тягот. Поэтому все трудности, выпадающие сейчас на мою долю, я принимаю как необходимость, — я иду на это во имя того, чтобы избавить народ от мучительных жертв, в миллион раз более мучительных, чем мои собственные.

Но Касавара не способна была это понять, почувствовать всем своим существом и, что хуже всего, расценивала все трудности, встретившиеся на ее пути, только как жертвы, которые она приносила мне. «Ты необыкновенный человек, а я всего-навсего глупенькая женщина, поэтому вполне естественно, что такая дурочка должна жертвовать собой ради тебя!» — говорила она. А между тем я — это «личность», у которой не осталось ничего «личного». Раз это так, то, само собой понятно, что никаких жертв лично мне она не приносит. Я только один из членов нашей организации; я свято оберегаю нашу организацию, а наша работа — это дело освобождения всего пролетариата. Мой долг — выполнять эту работу, пока есть силы. Ради этого, и только ради этого, я должен максимально оберегать себя, а вовсе не потому, что я «необыкновенный человек» или «герой». Касавара не знает иной жизни, кроме личной, и не может поэтому мерить других людей иной меркой.

Я часто говорил с ней об этом. Она слушала меня молча. И в этот вечер Касавара рано улеглась спать, не сказав мне больше ни слова.

ГЛАВА VII

В эту ночь я засиделся допоздна: писал статью для заводской газеты, приводил в порядок отчет для районного руководства, потом читал брошюры и материалы, полученные из партийного центра.

На следующее утро я проспал до десяти часов. В последнее время я сам удивлялся, как чуток и восприимчив я стал, — стоило кому-нибудь постороннему войти в дом, как я мгновенно улавливал это каким-то шестым чувством. Вот и в то утро я внезапно, словно от толчка, открыл глаза. Приподнял голову — так и есть: в доме участковый полицейский. Явился проверять домовую книгу. Для того чтобы избавить себя от вызова в таких случаях, я уже давно написал на клочке бумаги все свои данные и заранее отдал хозяйке. Полицейский спрашивал обо всем подробно, досконально. О семье хозяйки он тоже расспрашивал так тщательно, словно явился расследовать невесть какое преступление. Это показалось мне странным — меня

охватило недоброе предчувствие. Не переставая прислушиваться к разговору внизу, я запер чемодан, в котором лежали мои бумаги, и начал одеваться, стараясь не производить шума.

— Жильцы есть? — слышался голос полицейского.

— Так точно, есть... — ответила хозяйка и прошла в соседнюю комнату — по-видимому, достать написанную мной бумажку.

Я слышал, как полицейский говорил:

— Здесь не указано, где они проживали раньше... Муж и жена? Тут не поймешь, когда они прописались... Или, может быть, они вовсе не прописаны?..

Хозяйка что-то говорила в ответ.

— Муж, говорите, не работает? — снова услышал я голос полицейского. — А сейчас он дома?

«Вот оно!» — подумал я.

— Сейчас вышел куда-то... — сказала хозяйка.

Я облегченно вздохнул и подумал, как хорошо, что мы из последних денег аккуратно платили за квартиру.

— Ну-с, я еще зайду немного позже, поговорим подробнее... — сказал полицейский и, как видно, направился к выходу.

«Проваливай, проваливай!» — мысленно проговорил я, снова усаживаясь на постель. Послышался скрип открываемой двери, и в этот момент до меня снова долетел голос полицейского:

— В нынешнее время надо смотреть в оба... Частенько случается, что жильцы-то на поверку оказываются «красными»..

При этих словах я невольно замер на месте.

— Как вы сказали? — переспросила хозяйка.

Полицейский что-то ответил, но мне не удалось разобрать слов. Наверное, объяснял хозяйке, кто такие «красные». В проверке чувствовалось что-то подозрительное.

В этот день, возвращаясь с явки, я увидел, как в маленький магазинчик по соседству вошел полицейский, под мышкой у него торчала домовая книга. Не прошел я и квартала по той же улице, как из переулка снова вышли полицейские, на этот раз двое, с такими же книгами. Позже, встретившись с С., я сообщил ему об утреннем посещении, и он сказал мне, что нам следует быть начеку, так как полиция, по всей видимости, производит по городу повальную проверку всех квартирантов,

снимающих комнаты в частных домах. Мне стало ясно, что утренний визит полицейского тоже был частью этого мероприятия.

Сколько уж раз враги заявляли, что наша партия уничтожена, что самые корни ее вырваны! Они широко-вещательно кричали об этом в своих газетах, выходящих огромными тиражами, они пытались внушить это сбитым с толку рабочим, они лезли из кожи вон, чтобы лишить партию ее влияния на массы. Но не успевали они громогласно объявить, что партия больше не существует, как партия снова начинала действовать повсюду. И как ни пытались враги скрыть и извратить работу нашей партии, скрыть и извратить ее они были бессильны. Тем более теперь, когда началась война, они идут на все, чтобы как-нибудь ослабить силы партии, в особенности накануне таких массовых кампаний, как 1 Мая или 1 августа — Международный антивоенный день. Для этого они мобилизуют все свои возможности, все разнообразные средства, которыми располагает их государство. На словах они заявляют, что презирают партию, уверяют, что не придают ей никакого значения, распространяют о ней всяческие небылицы, но эти действия, эти репрессии полностью разоблачают их самих, — свидетельствуя лишь о том, что партия для них — самый страшный, смертельный враг.

С. рассказывал мне, что одна газета, выходящая далеко за рубежом нашей страны, назвала Японскую компартию «маленькой, но боевой партией». В отличие от Суяма, любившего откапывать всякую старину, вроде истории с Канда Хакудзан, С. хорошо знал новости такого рода. «Да, эта маленькая, но боевая партия, обладает такой мощью, что умудряется противостоять давлению всей государственной машины... — сказал он. — Даже больше чем противостоять, — действовать наперекор этому давлению!...» И добавил, что враги, располагающие средствами и возможностями неизмеримо большими, чем мы, вынуждены напрягать все свои силы для того, чтобы уничтожить самые корни этой «маленькой, но боевой партии». Вот почему каждый из нас — рядовой, незаметный работник партии — должен постоянно помнить об этом и работать с чувством гордости и ответственности за дело

нашей партии. «Это благородная гордость!» — сказал он тогда, и мы оба чувствовали себя по-настоящему счастливыми в ту минуту.

Именно это чувство ответственности и подсказывало мне теперь: нельзя допустить, чтобы им удалось схватить меня!

Нет ничего опаснее, когда подобная обстановка складывается у тебя на квартире. Ведь мы трое — Суяма, Ито и я — готовились поднять рабочих завода Курата накануне 1 Мая. Принимая во внимание готовящееся увольнение шестисот человек, условия для выступления вполне подходящие, если только мы будем действовать энергично. И в такой момент попасться в руки полиции! Это было бы настоящим предательством!

С. говорил мне, что в последнее время, ложась спать, кладет под подушку пару дзори и трость. Вспомнив об этом по дороге домой, я тоже купил пару дзори, чтобы поставить их на всякий случай на крышу под окном (я давно уже собирался это сделать, но до сих пор так и не выполнил своего намерения).

Еще издали заметив фигуру Суяма, я был поражен — вся голова у него была обмотана бинтами, на одну ногу он прихрамывал.

— Ох, и досталось же мне! — говорил он, то и дело прикладывая руку к забинтованной голове. Ушибы сильно болели, и он решил уж не ходить сегодня на явку, но нельзя было прерывать связь перед самой демонстрацией, и он пришел через силу.

На этот раз мы не стали ходить по улице и расположились в закусочной. Суяма рассказал мне все, что с ним случилось.

Оказалось, что заводоуправление, убедившись, что полицейские посты не дают нужного результата, решило провести «охоту за красными», так сказать «изнутри», собственными силами, мобилизовав для этого членов «Союза дружбы» во главе с Ацута и Киёкава, а также молодых парней из «Союза резервистов».

Наша газета «Противогаз» и листовки немедленно разоблачили все их замыслы. Хозяева пришли в ярость.

В последние дни Компания опять принялась проводить сбор пресловутых «пожертвований» на армию. Это делалось с целью создания на заводе «атмосферы единства», — хозяева надеялись, что таким путем застрахуют

себя от проникновения на завод «красных». «Верность императору, любовь к отечеству» — для них годилось все что угодно, любая формула, лишь бы это в конечном итоге служило им, давало прибыли. Предложили проводить этот сбор, кажется, те самые переодетые в рабочие спецовки парни из «Союза резервистов», которые в свое время избили в парашютном цехе работницу за то, что нашли у нее газету «Противогаз».

Суяма решил использовать кампанию сбора пожертвований армии для того, чтобы разоблачить перед рабочими истинное лицо Ацута и Киёкава из «Союза дружбы». Нужно было ясно показать всем, что партия «Роното» хотя и называется демократической партией, хотя как будто и протестует против войны, но на деле несколько не защищает интересов рабочих, и ее протест против империалистической войны носит только внешний, показательный характер. Для того чтобы рабочий класс мог распознать истинную сущность различных мошеннических трюков буржуазии, для того чтобы он мог успешно вести борьбу против войны, необходимо в первую очередь сорвать маску с таких, с позволения сказать, союзников (а они могли бы показаться таковыми на первый взгляд), как этот «Союз дружбы», возглавляемый правыми оппортунистами.

Суяма предложил Киёкава обсудить вопрос о пожертвованиях на общем собрании «Союза дружбы». А сам в то же время решил с помощью своих друзей и товарок Ито придать этому обсуждению такой характер, чтобы в нем приняли участие все рабочие.

Когда Суяма и Ито пришли на собрание, то, к немалому своему удивлению, увидели среди рабочих и парней из «Молодежного союза».

Нужно сказать, что мы придавали большое значение «Союзу дружбы», потому что в нем большинство составляли постоянные рабочие. А среди товарищей Суяма и Ито постоянных было всего один-двое. Мы вновь и вновь напоминали себе о важности завоевания симпатий и привлечения на нашу сторону постоянных рабочих, но в этом отношении дело у нас подвигалось довольно туго. У людей, состоявших в «Союзе дружбы», была изрядная путаница в головах. Если бы нам удалось на этом собрании наглядно показать им, на чьей стороне правда — на стороне Суяма или Киёкава,

то тем самым мы получили бы шансы привлечь их на нашу сторону.

Несмотря на то, что война шла уже целых полгода, за все это время «Союз дружбы» созывал общие собрания не более одного-двух раз. Многие члены союза сами уже выражали недовольство по этому поводу. Суяма попытался заручиться поддержкой этих людей в первую очередь. Начал он со слов о том, что в такое время, когда столько рабочих и крестьян силком погнали на войну, а в тылу так выжимают пот из трудового народа, «Союз дружбы» ни единого раза по-настоящему, по-деловому не провел общего собрания.

— Это, — сказал Суяма, — настоящее классовое предательство.

Несколько человек поддержало его. Впрочем, потом, в решающий момент эти ребята начали мяться. Но Суяма, так же как и я, имел уже в прошлом некоторый опыт по разоблачению реакционных профсоюзных лидеров, нам были знакомы «методы» и «стиль» их «работы», и поэтому мы оба очень хорошо понимали, что означает это замешательство рядовых членов профсоюза. Когда Суяма рассказывал мне об этом, я невольно рассмеялся. Суяма тоже было засмеялся вместе со мной, но тотчас же схватился рукой за лицо, поверх повязки:

— О, черт! Больно!

Итак, на собрании начали обсуждать вопрос о денежных жертвованиях для армии. Киёкава, взяв слово, сказал, что, мол, солдаты, воюющие сейчас в Маньчжурии, такие же рабочие и крестьяне, как и мы сами, что эти солдаты наши товарищи по работе и поэтому союз, со своей стороны, не видит никаких препятствий к сбору жертвований, рассматривая их, так сказать, как выражение пролетарской солидарности. Люди слушали молча, не поднимая глаз, ковыряли под ногтями.

— Когда наши товарищи работали на производстве, их эксплуатировали капиталисты, теперь на войне они погибают от вражеских пуль. Кто же позаботится, кто же поддержит их, если не мы?.. — продолжал разглаживать Киёкава. — Я считаю, что мы можем откликнуться на призыв — собрать деньги для армии, — ничего плохого в этом не нахожу!.. — заключил он, и на

этот раз все утвердительно закивали головами, словно соглашаясь, что он говорит дело.

Тогда вмешалась Ито.

— Вот ведь как получается... — начала она, с озабоченно-сокрушенным видом наморщив лоб.

Замечу кстати, что в «Союзе дружбы» состояло свыше десятка работниц, но на собрания почти никто из них никогда не ходил. Вот и теперь тоже присутствовало всего шесть женщин, да и тех почти всех уговорила прийти Ито. Шесть женщин — это было редкое событие для «Союза дружбы». Но чтобы женщина высказывалась на собрании, — такого в «Союзе дружбы» еще не случалось ни разу. Немудрено, что все взгляды внезапно обратились к Ито.

— Когда слушаешь Киёкава-сан, словно бы и правду он говорит, — продолжала она, — да только речь его, ни дать ни взять, смахивает на выступление военного министра...

Раздался общий смех.

— И сам Киёкава-сан, да хоть бы и другой кто, — все мы отлично знаем, что нынешняя война пойдет на пользу не нам, а капиталистам и помещикам. Будь это такая война, которая велась бы для нашей выгоды, для всех нас — рабочих, безработных, крестьян-бедняков, — тогда мы, конечно, все деньги, до последнего гроша, пожертвовали бы на армию, последнюю рубашку с себя сняли бы... Но только эта война не такая!

Ито не успела кончить: парни из «Молодежного союза» шумом и криками пытались помешать ей говорить. Тогда пришел на помощь Суяма. Используя выражения самого Киёкава, он сказал:

— Правильно, нас, рабочих, эксплуатируют, когда мы работаем на заводах, а когда у капиталистов нет больше надобности, нас выбрасывают на улицу; ну, а стоит начаться войне, как нас же первых гонят на убой, на фронт. Во всех случаях на нашу долю только и достается, что жертвовать собой ради капиталистов. Поэтому, если уж говорить о денежных взносах, так это они должны жертвовать деньги, а не мы! — Так сказал Суяма, и все опять закивали головами, подтверждая, что и эти слова тоже справедливы.

— Они хотят заставить нас жертвовать деньги на войну, — продолжал Суяма. — Для чего им это понадо-

билось? Да ни для чего другого, как затем, чтобы с помощью этого трюка внушить нам, будто война ведется не ради их прибылей, а якобы для блага всего народа...

Тут уж Ито, подхватив слова Суяма, завела речь о том, что с началом войны наша жизнь несколько не улучшилась, и так далее, и тому подобное...

Теперь, когда обсуждение приняло такой оборот, Киёкава с компанией были уже бессильны перейти в наступление. Да и парни из «Молодежного союза» тоже уже не могли прийти к ним на помощь. Но мы знали: подлинная сущность подобных социал-фашистов как раз в том-то и проявляется, что главный свой спектакль они всегда стремятся разыграть не перед лицом масс, а за спиной у них, поэтому мы понимали, что было бы ошибкой с нашей стороны на основании результатов одного лишь этого собрания считать, что мы уже добились значительных успехов.

Когда люди расходились с собрания, несколько человек из «Молодежного союза» окликнули Суяма:

— Э, да ты оказывается «красный»! Поди-ка сюда на минутку!

И не успел он свернуть в переулок, как они окружили его и избили.

— Их было трое, так что мне досталось изрядно! — улыбаясь, рассказывал мне Суяма.

Он намеревался через Ито сообщить всем членам «Союза дружбы», присутствовавшим вчера на собрании, об этом подлом нападении из-за угла. Это лучше других аргументов покажет им, на чьей стороне правда.

Через час после свидания с Суяма я встретился с Ито. Она рассказала, что все с большим интересом расспрашивали ее, почему из-за вопроса о пожертвованиях вышла драка. Таким образом, ей представился новый, очень удобный повод поговорить о сущности этих жертвований, и Ито очень радовалась. В свое время она беспокоилась, что не могла достаточно подробно, простыми, понятными для всех словами разъяснить вопрос о жертвованиях, но теперь оказалось, что непосильный, тяжелый труд на заводе действует лучше всяких аргументов. Когда же, сверх всех мучений, у рабочих пытаются еще выманить и деньги, то у них, как выразилась Ито, «совсем руки опускаются». Вот почему вопреки

надеждам администрации кампания по сбору пожертвований закончилась полным провалом.

— Судя по всему, после нападения на Суяма авторитет его на заводе внезапно сильно поднялся, происшествие сразу взволновало рабочих. Зато мастер начал косяться на Суяма, и это, пожалуй, небезопасно для него... — рассказывала мне Ито. — Вся эта история со сбором пожертвований выглядит очень подозрительно, — добавила она. — Уж не нарочно ли Компания затеяла этот сбор, чтобы выявить и взять на заметку «красных»?

Я согласился, — ее догадка, по-видимому, правильна.

Тогда она сказала:

— Мы, кажется, попались на удочку...

Растерянный тон, которым были произнесены эти слова, удивил меня, ведь Ито всегда отличалась хладнокровием.

— Нет, ты ошибаешься! — возразил я. — Зато десятки людей увидели, на чьей стороне правда! Вместе с тем мы усилили свое влияние в «Союзе дружбы». А это тоже очень важно. Если нам удастся закрепить свое влияние, это будет означать, что мы добились блестящих результатов. Никакая работа не обходится без жертв... Зато все это непременно сослужит службу в последний, решающий момент борьбы.

Ито вдруг покраснела.

— Понятно! Так оно и есть, конечно! Понятно! — И она, соглашаясь, несколько раз кивнула головой с характерным для нее сосредоточенно-серьезным выражением.

— Ведь говорят же: хорошо смеется тот, кто смеется последним! — пошутил я. — Что ж, пусть пока досталось Суяма, но будет и на нашей улице праздник!

Ито улыбнулась.

Потом она рассказала, что ходила со своей группой в «Маленький театр» Цукидзи¹. Оказывается, все работницы представляли себе театр не иначе, чем спектакли «Кабуки»² или артистки Яэко Митани, и поэтому, когда на сцене появились рабочие и работницы и завязалось оживленное действие, девушки, кажется, были

¹ «Маленький театр» Цукидзи — прогрессивный театр, сыгравший большую роль в развитии передового театрального искусства Японии в тридцатых годах.

² «Кабуки» — классический японский театр, основан в начале XVII в.

изрядно поражены. Когда спектакль кончился, все заявили, что это «не театр». «Тогда что же это такое?» — спросила Ито. «Это все, как в жизни», — ответили девушки. А на ее вопрос: «Интересно ли было?» — высказались уклончиво: «Да как сказать...» Но, видимо, зрелище все-таки поразило их, потому что даже на следующий день разговор то и дело заходил о театре Цукидзи.

Маленькая Кими-тян, постоянно льнувшая к Ито, сказала:

— Мне! всегда так стыдно, когда меня называют работницей... А в этом театре работницы, наоборот, как будто даже гордятся этим... Я думаю, на самом деле так не бывает!.. — И после небольшой паузы добавила: — Конечно, если бы, скажем, началась забастовка, я тоже сумела бы держаться не хуже других и ходить с важным видом!.. А все-таки как-то стыдно, когда все соседи кругом называют тебя фабричной!

А когда Ито предложила подругам: «Ну что, сходим еще разок?» — многие охотно согласились. «Потому что в этом театре, — заявили они, — очень хорошо показывают, как рабочие задают основательную трепку такому типу, как мастер...»

В ответ Ито с равнодушным видом заметила, что все равно ведь скоро их всех уволят; если, мол, и дальше будем сидеть так же тихо, как сидели до сих пор, то даже выходного пособия не получим; вот если бы всем дружно выступить, устроить забастовку да хорошенько проучить мастеров, как показывали в театре? Что они думают на этот счет?

Такая мысль всем понравилась. «Да это было бы здорово!» — переглянувшись, с улыбкой заговорили девушки и наперебой принялись обсуждать, как именно следует «проучить» мастера.

Слушая их, Ито убедилась, что они, сами того не сознавая, предлагали именно тот способ действия, который видели на сцене в театре Цукидзи.

Под влиянием Ито к ее группе присоединились еще три работницы — постоянные, состоявшие в «Союзе дружбы». Эти женщины уже несколько освоились с атмосферой легально существующей профсоюзной организации, были до известной степени знакомы с общественно-политической терминологией и потому то и дело весьма непринужденно употребляли такие слова и обороты

речи, о которых девушки из группы Ито вообще не имели понятия. Поначалу это создавало некоторую отчужденность между ними и временными работницами. Ито приходилось придумывать разные способы и возможности, чтобы наладить между ними дружеские отношения.

— Не идет дело так гладко, как пишут в книжках... — улыбаясь, рассказывала мне Ито.

Мы наметили день для проведения собрания ячейки. Ито обещала подыскать подходящее помещение. Пришло время готовиться к решительным действиям.

— А вы все по-прежнему питаетесь баклажанами? — спросила Ито, вставая.

— Да, — засмеялся я. — Ничего, они мне на пользу!

Ито сунула руку в складки пояса и вытащила мелко сложенную бумажку. Решив, что это ее отчет, я положил бумажку в карман.

Когда я развернул ее дома, оказалось, что это деньги — билет, достоинством в пять иен, завернутый в тонкую бумагу.

ГЛАВА VIII

Касавара устроилась на работу официанткой в маленький чайный домик.

Когда решение было окончательно принято, мне стало ее очень жаль. Что ни говори, страшная это штука, когда наши товарищи вынуждены идти работать в чайные домики или другие заведения подобного рода, чтобы как-то просуществовать. Как бы они ни старались держаться, все равно невольно поддавались влиянию обстановки и менялись прямо на глазах. Так называемое «окружение» играет для всех нас не меньшую роль, чем вода для рыбы. Точно так же обстоит дело, когда наши товарищи-женщины, чтобы прокормить себя (а иногда, если мужчина и женщина работают по заданию партии вдвоем, чтобы не умереть с голоду обоим), поступают в чайные домики. Теперь туда идет работать Касавара, а между тем у нее нет даже той закалки, которая дается нашей работой, — ясно, что она будет падать все ниже и ниже.

Но Касавара меньше всего обнаруживала склонность посвятить всю свою жизнь нашему движению; а я

обязан был любыми средствами сохранить для себя возможность работать. Вот почему я не мог быть сентиментальным.

Сначала Касавара решила, что будет ходить на работу из дому. Она вернулась поздно вечером, измученная непривычно тяжелым трудом, в плохом настроении. Швырнув в сторону сумочку, она опустилась на циновку, не выбирая места, устало ссутулив плечи. Даже разговаривать ей не хотелось. Несколько минут спустя она молча вытянула передо мной ноги.

Я вопросительно взглянул на нее и дотронулся до ее ног. Колени и лодыжки сильно распухли. Она попыталась согнуть ноги. В коленях послышался легкий хруст — чертовски неприятный звук.

— Да, целый день на ногах... Это нелегко! — вырвалось у меня.

Я рассказал ей об одной текстильной фабрике, о которой слышал от Ито. У работниц этой фабрики от вечного стояния так опухали ноги, что не хватало сил стоять у станков. Но, если девушки пытались присесть, их пинали сапогом в спину, чтобы заставить работать. Обо всем этом я рассказал Касавара. И еще я сказал ей, что она не должна думать, будто эти страдания выпали на долю только ей одной, не должна искать выхода и спасения от них только для себя одной. Тяжелый, непосильный труд — удел всего пролетариата, вот о чем она должна помнить. Касавара слушала меня молча, потом после некоторой паузы сказала:

— Да, ты прав!

Впервые за долгое время я посадил ее к себе на колени и обнял хрупкие плечики. Она сидела неподвижно, закрыв глаза, прижавшись ко мне.

Потом Касавара стала ночевать там же, где работала. Чайный домик принадлежал хозяйке, по-видимому чьей-то содержанке. Хозяйка считала, что нехорошо оставлять помещение на ночь без присмотра, да при том же Касавара и питалась на работе, питание входило в ее зарплату. И Касавара переехала в чайный домик, предупредив наших квартирных хозяев, что она ненадолго уезжает на родину. Хозяйка ее была женщина с образованием — окончила не то учительский институт, не то женский колледж, отлично говорила по-английски. Любопытников у нее было несколько, кажется целых трое,

и она поочередно ночевала у них, являясь домой только утром. Это были: профессор университета, известный писатель и киноартист; возвращаясь от них, хозяйка рассказывала все до мельчайших подробностей, вслух сравнивала достоинства и недостатки своих любовников, так что Касавара не знала, куда деваться от смущения. Потом хозяйка укладывалась спать и спала до двух-трех часов пополудни.

Когда по утрам мне бывало нечего есть, я ходил в чайный домик. В эти часы посетителей почти не бывало, Касавара готовила завтрак, и я наедался до отвала. Сперва это немного ее смущало, но потом она привыкла. «Подумаешь! Не объедем мы ее!» — стала говорить она.

Кухня в чайном домике была маленькая, тесная и сырая. Присев на корточки, я торопливо уничтожал еду.

— Ну и вид же у тебя! — приглушенно смеялась Касавара, — она боялась разбудить спавшую наверху хозяйку.

Но окружение у Касавара было и в самом деле ужасное. Все было скверно: и жизнь, которую вела хозяйка, и посетители. Люди, которые ходили в чайный домик, где их обслуживали женщины, конечно же не являлись туда только за тем, чтобы напиться чаю и уйти домой: среди них было немало субъектов, любивших приставать к женщинам. Ко всему этому надо было подлаживаться. И я заметил, что вся эта обстановка действует на Касавара. Но я не мог полностью бросить ее на произвол судьбы. Когда представлялась возможность, я доставал для нее разные книги, разговаривал с ней, объяснял, пуская в ход все свое красноречие. Однако она тяготилась этими беседами еще больше, чем раньше, перестала серьезно задумываться над тем, что нас окружало.

Впрочем, я не имел возможности уделять Касавара много времени. Я был связан неотложной работой. Обстановка на заводе Курата все более накалялась, и, по мере того как положение становилось все сложнее и сложнее, как-то само собой получилось, что я стал ходить теперь к Касавара только затем, чтобы поесть и взять у нее немного денег на электричку. Работы все прибавлялось, работа все усложнялась: я нес обязанности по району, по участку, по заводской ячейке. Случалось, что в один день у меня было назначено по двена-

дцати—тринадцати явок. В такие дни я выходил из дому в девять часов утра и освобождался только к десяти часам вечера. Возвращаясь домой, я чувствовал, что затылок и шея одеревенели от усталости, голова раскаляется от тупой боли. Я с трудом поднимался по лестнице и, не раздеваясь, валился ничком на циновки. От чрезмерного переутомления, видно, что-то разладилось в моем организме; и я, точно ослабевший ребенок, тотчас же засыпал, уткнувшись лицом в циновки. Помню, вот точно так же засыпал мой отец, крестьянин префектуры Акита: придет, бывало, с поля, упадет ничком у порога, даже не сняв облепленных грязью соломенных сандалий, и засыпает средь бела дня. Отец так работал, что надорвал свое здоровье. Арендная плата была непомерно высока, поэтому, кроме арендованного участка, он взялся обработать пустырь, сплошь усеянный камнями, от которого отказались все другие крестьяне. Но отцу хотелось получить с этого каменистого участка хоть маленький урожай, чтобы как-нибудь прокормиться. Он вконец испортил себе сердце на этой работе... И теперь, когда я тоже засыпал, едва доташившись до циновки, мне стало казаться, что я постепенно становлюсь похожим на отца. Но мой отец даже не помышлял о том, чтобы возразить помещику, чтобы потребовать от него снизить арендную плату, — вместо этого он искал выхода в работе и работал так, что вконец подорвал здоровье. Это было двадцать с лишним лет тому назад. Теперь не то — я уже не похож на отца! Да, я расстался даже с горячо любимой матерью, я порвал всякую связь с сестрой и с братом, а сейчас принес в жертву и свои отношения с Касавара. Мало этого — я разрушил, кажется, даже собственное здоровье, но все это не для того, чтобы, подобно отцу, еще усерднее работать на помещиков и капиталистов. О нет, поистине для того, чтобы делать нечто прямо противоположное этому!

У меня не осталось ничего, никакой, даже самой небольшой личной жизни. Даже смена времен года стала для меня теперь частью той жизни, которую я веду для партии. Цветы и деревья, расцветающие в определенное время года, картины природы, голубое небо, дождь — сами по себе они теперь не имеют для меня никакого значения. Я радуюсь, когда на улице дождь, но это потому, что, отправляясь на явку, я смогу взять зонтик и,

следовательно, буду подвергаться меньшему риску быть узнанным. Я хочу, чтобы поскорее миновало лето. Но все не потому, что не люблю лета, — летом приходится носить легкое кимоно и особенности моей походки (о, черт бы ее побрал!) становятся более заметными. Я доволен, когда наступает зима, и думаю: «Вот еще год прожит, а я невредим и могу работать дальше!» Вот только плохо, что зима в Токио чересчур ясная и светлая, — это приносит мне большие неудобства. Так я живу, но это вовсе не означает, что я стал равнодушен к природе; скорее напротив — теперь я восприимчив к ней совсем по-особому, гораздо больше, чем раньше. Теперь у меня к природе совсем особое чувство, которое ни с чем не сравнишь; не похоже оно и на те переживания, которые испытывал я в позапрошлом году, когда сидел в тюрьме и тоже очень остро воспринимал смену времен года. Я сам не заметил, как это получилось. Это сделала жизнь, которую я веду, в которую я ушел весь без остатка. Раньше, когда полиция еще не охотилась за мной по пятам, я тоже отдавал всю свою энергию делу освобождения пролетариата, но все же тогда у меня еще сохранялась так называемая «личная» жизнь. Случалось, я гулял с товарищами из той профсоюзной организации, где работал в ту пору, по кварталам Асакуса или Синдзюку, болтая о всякой всячине; хотя я, как член заводской партийной ячейки, участвовал в политической жизни, но у меня все еще сохранялось «общение с людьми», которое, естественно, возникает у человека, ведущего легальный образ жизни; я бывал в кино (кстати, в последнее время я вообще позабыл о том, что на свете существует такая вещь, как кино!), я ел, пил, и все это составляло немалую часть моих интересов. Нередко бывало, что из-за личных дел я откладывал на денек-другой дела ячейки. В те времена во мне бессознательно говорило честолюбие, желание славы для одного себя, и, если случалось, что работа в ячейке не совпадала с тем, что могло бы способствовать росту моего личного авторитета, я не раз, бывало, брался в первую очередь не за нее, а именно за такие дела, которые больше меня привлекали. Со временем это все, конечно, изменилось, и все же я не мог бы сказать, что как член партии отдавал тогда делу партии все двадцать четыре часа суток. Но вина за это не лежит целиком на мне одном. Суще-

ствуется предел сознательным усилиям человека, если они не подкрепляются определенными условиями жизни. Теперь я с удивлением понял: все, что было для меня когда-то так трудно, все, с чем я безуспешно боролся, все это стало чрезвычайно естественно и легко осуществимо теперь, когда я стал вести определенный, подчиненный известному порядку образ жизни, когда прерваны все мои личные связи, когда у меня не осталось никаких стремлений, которые не были бы подчинены жизни партии. Теперь я могу сделать за два-три месяца то, на что раньше у меня уходило несколько лет. Поначалу эта новая жизнь показалась мне тяжелой. Меня не покидало ощущение, сходное с тем, которое испытывали мы, бывало, в детстве, когда ребяташками соревновались, кто сумеет дольше проплыть под водой, — ощущение невыносимой тяжести и напряжения в груди, которые невозможно выразить словами.

Но, разумеется, я и теперь еще не закален по-настоящему. Товарищ С., который тоже любит всякие цитаты и примеры (хотя совсем в другом роде, чем Суяма), в ответ на мои слова о «двадцати четырех часах в сутки, отдаваемых партии», сказал как-то раз, что нужно выработать в себе способность «работать для партии двадцать восемь часов в сутки и при этом не знать усталости». Тогда я не мог хорошенько понять, как можно работать по двадцать восемь часов в сутки, но вот наступило время, когда мне нужно было в один день поспеть на двенадцать—тринадцать явок, и я понял смысл его слов. Самое большое, самое заветное мое желание — хоть немного приблизить то время, когда личная жизнь будет совпадать с жизнью твоего класса, твоего народа.

По заводу Курата снова упорно поползли слухи о том, что часть временных рабочих переведут в постоянные. Очевидно, Компания пустила в ход последнее средство.

Для того чтобы ответить на этот маневр, мы должны были по-новому перестроить работу ячейки. Было решено принять несколько новых членов — одного молодого рабочего из постоянных (из группы Суяма) и двоих работниц — одну временную, другую постоянную (из группы Ито). По нашей просьбе товарищи написали свои биографии. Я отнес их в вышестоящую организацию и получил согласие на прием новых членов.

Мы четко определили обязанности и ответственность каждой из этих групп за положение на заводе и выработали конкретный план действия на тот случай, если Суяма или Ито будут арестованы. Ведь работа не должна прерываться ни на один день! Мы заранее условились, что в этом случае новые члены ячейки придут вместо Суяма и Ито на явку туда, где мы обычно встречались. Нельзя допускать, чтобы прерывалась связь между работниками партии, чтобы из-за временного замешательства хотя бы на один миг менялся твердый курс руководства и не были бы приняты немедленные контрмеры. Это было бы настоящим классовым предательством.

«Не удалось выполнить намеченных мероприятий, потому что из-за ареста прервалась связь», — подобный стиль работы есть не что иное, как пораженчество. Как будто опасность не угрожала нам с самого начала, как будто мы вовсе не предвидели ее! Ведь мы заранее знаем, знаем совершенно определенно, что кто-нибудь из нас будет арестован. Значит, мы с самого начала обязаны подготовить двойную, тройную линию обороны.

В самом деле, после скандала в «Союзе дружбы» положение Суяма стало очень рискованным. Он ходил на завод, готовый к мысли, что не сегодня-завтра его арестуют. Арест на работе совершается очень просто. Человеку говорят: «Ну-ка, пойді сюда на минутку...» — и все! Но в последнее время силы нашей организации укрепились, и поэтому Суяма продолжал ходить на завод. Конечно, ему грозила опасность, но в то же время он приобрел теперь возможность до некоторой степени открыто высказывать свои мысли в цехе; рабочие относились к нему хорошо, с доверием.

Приближался конец месяца. По всей видимости, Компания собиралась провести увольнение 30-го или 31-го. Несмотря на обещание перевести кое-кого в постоянные рабочие, до сих пор ничего не было сделано, так что люди в конце концов почти перестали этому верить. В нашей газете я поместил статью, в которой писал, что все эти обещания не более чем уловка администрации, обман, рассчитанный на то, чтобы, во-первых, повысить таким образом производительность труда, а во-вторых, подавить коллективное сопротивление рабочих ввиду предстоящего увольнения. Теперь правота моей статьи становилась понятной каждому.

Временные рабочие составляли на заводе большинство и были главной опорой нашей организации. Совершенно ясно, что, как только списки увольняемых будут опубликованы, сила организованного сопротивления на заводе снизится. Нужно было решать дело в оставшиеся два-три дня.

О необходимости протестовать против войны мы писали постоянно все в новых листовках и сообщениях. Но если бы рабочие поднялись теперь на борьбу против увольнения, то, ручаюсь, — и при этом я не просто механически повторяю слова Ленина, — что объяснить им, почему против войны надо протестовать, нам удалось бы поистине «со сказочной быстротой». Тем более, что речь идет о заводе, изготовляющем вооружение: уж одно это создает возможность и условия для сознательной, целестремленной борьбы.

Нужно было поручить новым членам нашей ячейки, молодым рабочим из групп Суяма и Ито, одновременно поднять свои цехи на собрания под лозунгом «Долой увольнение!» А чтобы обеспечить успех, Суяма должен открыто разбросать на заводе листовки.

Среди подруг Ито была девушка, старший брат которой работал в заводууправлении. С ее слов мы узнали, что увольнение решено провести не 31-го (как это заранее старались внушить рабочим), а, так сказать, забежать вперед и вывесить списки увольняемых 29-го числа. По всем данным, в этот день на завод должна прибыть не только полиция, но и солдаты. Вот почему во что бы то ни стало нужно было начать забастовку 28-го. Мы сами должны были опередить их.

Но над Суяма нависла угроза ареста. Ито сообщила мне, что в последние дни она часто видела переодетого в штатское полицейского: выйдя из конторы, он обычно останавливался у входа во второй цех, где работал Суяма, и о чем-то разговаривал с мастером.

Несмотря на арест Ота, партийные листовки продолжали распространяться на заводе; несколько раз появлялась и газета «Противогаз». Можно не сомневаться, что полиция подозрительно приглядывается к Суяма.

Кроме того, нам необходимо учесть следующее: рабочие считают (вернее, им стараются внушить это), что компартия — что-то абстрактное, наподобие не то бога, не то черта, то есть нечто такое, что находится неизвестно

где, в какой-то бесплотной вышине, «над людьми», или же, наоборот, скрывается где-то «под землей», в подполье. В действительности же коммунисты — простые люди, такие же, например, как Суяма, который пользуется всеобщим уважением, люди, которые работают тут же рядом, плечом к плечу со всеми, — вот это нам нужно показать, чтобы пробудить у рабочих чувство близости и доверия к нашей партии. Вот почему я решил, что Суяма должен открыто, при всех, разбросать партийные листовки. Это необходимо для последнего, решительного сражения — не будь в нашей организации Суяма, все равно кто-нибудь другой открыто разбросал бы листовки. Невозможно мобилизовать на борьбу массы, действуя одними лишь заговорщицкими методами. Тщательно обеспечив тайную, подпольную организацию, мы наряду с этим должны действовать также и методом открытой пропаганды.

Мы готовились провести собрание ячейки и обсудить эти последние меры. Я хотел, чтобы товарищи обсудили мой план и вынесли решение.

Но при мысли о Суяма я чувствовал, что у меня невольно сжимается сердце. Разбросать листовки компартии... Весь наш опыт подсказывал, что за это его ждет минимум два-три, а то и все пять лет каторжной тюрьмы. Обычно, выходя на улицу, я мгновенно оставлял все посторонние размышления и шел, зорко приглядываясь ко всему, — это уже вошло у меня в привычку, — но сегодня я поймал себя на том, что занят исключительно мыслями о Суяма. Однако до такой степени отдаваться этим мыслям тоже не годится! И сам Суяма, если трезво оценит обстановку, в которой мы сейчас очутились, должен принять это решение, как нечто закономерное и необходимое. Другой дороги или обходного пути у нас нет. Через это надо пройти во имя освобождения пролетариата. А раз так, значит все побочные соображения, такие, например, как: «Не будет ли это слишком жестоко по отношению к товарищу?», или: «Это невозможно — жаль товарища», нужно решительно отбросить.

И все-таки на протяжении всего пути, пока я шел к месту собрания, передо мной неотступно стояло лицо Суяма, с его пристрастием к столь неожиданным цитатам из своей «записной книжки», Суяма, всегда умевшего развеселить нас веселой шуткой.

Местом встречи служил дом одного старого приятеля Суяма, где мы собирались уже несколько раз. В темной прихожей, где не видно было ни зги, я снял гэта и, сунув их за пазуху, поднялся во второй этаж. В косо падающих лучах света я увидел Суяма.

Ито сидела, прислонившись к стенке, и растирала себе ноги. Когда я вошел, она откинула прядь волос, падавшую ей на лоб, и взглянула на меня снизу вверх. Я поздоровался, она слегка кивнула в ответ. На заводе она всегда тщательно белилась, но на собрания Ито ни разу еще не приходила набеленная, да это было бы и ни к чему. Но на этот раз я вдруг заметил, что сегодня она одета так тщательно и выглядит такой красивой, как никогда.

— Товарищ Ито только что вернулась со свидания с одним парнем из постоянных рабочих, которого она привлекает в организаторы... — тотчас же пошутил Суяма, кивая на слегка подкрашенное личико Ито.

Ито, как всегда в таких случаях, молчала. При последних словах Суяма она почему-то быстро, исподлобья взглянула на меня.

Собрание началось. Я прислушивался с особым вниманием к тому, что говорил Суяма. Он рассказывал, что согласно решению предыдущего заседания нашей ячейки готовит общее цеховое собрание и что, судя по обстановке на заводе, увольнения произойдут в ближайшие дни, поэтому нам необходимо принимать экстренные меры.

Ито добавила, что, как она уже сообщала нам раньше, увольнения, намеченные якобы на 31-е, будут проводиться 29-го, продукции наготовили столько, что рабочих можно увольнять, и поэтому нам следует не позже чем послезавтра (послезавтра наступало уже 28-е число) перейти к решительным действиям.

Наши мысли совпадали. Весь вопрос заключался теперь в том, как, в какой форме провести это решительное выступление.

После некоторого раздумья Суяма сказал:

— Подготовка проведена, настроение у всех боевое, теперь от нас требуется только сделать какой-нибудь решительный шаг, организовать массовую пропаганду... — Он сделал небольшую паузу, потом продолжал: — От того, будем ли мы действовать по-настоящему, смело или

проявим колебание, зависит сейчас все: успех или поражение.

— Да, нам осталось, можно сказать, только поднести спичку к горячему... Дело идет о судьбе восьмисот человек! — проговорила Ито. Лицо ее, против обыкновения, было взволновано.

— В эти последние дни, — снова заговорил Суяма, — я, по правде сказать, изрядно злился в душе. До сих пор мы всеми способами стремились покончить с сектантством, наследием периода фукумотонизма¹, но, как видно, это самое сектантство еще основательно засело в каждом из нас. Чего доброго, еще не сумеем поднять на борьбу рабочих... — Суяма взглянул на меня. — Кто-нибудь из нас должен открыто выступить перед рабочими, иначе всю нашу работу нельзя назвать настоящей борьбой, я так считаю. От количества, так сказать, перейдем к новому качеству, вот что я хочу сказать. И вовсе это не значит, что мы прибегаем к «ультралевым» действиям, правда, товарищи? — Последние слова Суяма особенно подчеркнул, как будто кто-то с ним спорил, утверждая, что его мнение «ультралевое».

Я всегда был убежден, что в нашей борьбе мы должны руководствоваться не догмами, а исходить из глубокого понимания сущности создавшейся обстановки. Поэтому я молчал и только следил, чтобы обсуждение развивалось в правильном направлении. Так оно и случилось. Товарищи сами подошли к правильной постановке вопроса. В особенности хорошо было то, что и Суяма и Ито решили вопрос о методах нашей борьбы, исходя не из заученных истин, а из стремления успешно разрешить задачи, которые ежедневно ставила перед нами заводская жизнь. И это закономерно приводило обоих к правильной точке зрения, потому что оба они жили одной жизнью с рабочими, а не где-то вдали, в отрыве от них. В данном случае передо мной был замечательный пример совпадения теории с практикой.

Я ответил Суяма, что называть его точку зрения «ультралевой» могут лишь правые оппортунисты, которые

¹ Фукумотонизм — левый уклон в Японской компартии в конце двадцатых годов, принесший большой вред революционному движению в Японии, назван так по фамилии вожака левых уклонов Фукумото.

с помощью таких обвинений стремятся замаскировать свою капитулянтскую сущность, свою подлость и трусость.

— Так оно и есть! — откликнулся Суяма.

Тогда я выдвинул свое предложение. На секунду воцарилось напряженное молчание. Но оно длилось лишь короткое мгновение.

— Я тоже думаю так... — первым нарушил молчание Суяма. Его голос — и это вполне понятно — звучал несколько напряженно.

Я взглянул на Суяма, и тогда он добавил:

— Это, конечно, нужно сделать мне.

Я утвердительно кивнул.

Ито, вся сжавшись, молчала, словно оцепенев, и только переводила глаза с меня на Суяма. Когда я обратился к ней, она тихо проговорила:

— Сог... лас... на...

Суяма машинально рвал на мелкие-мелкие кусочки лежавшую перед ним на циновке коробку из-под сигарет.

Когда решение было принято, наступила тишина. Вдруг стал слышен стук шагов прохожих под окном, громкие выкрики продавцов в ночных киосках.

Потом мы обсудили все детали предстоящего выступления.

В последнее время в заводууправлении догадались, что листовки и газета проникают на завод с помощью женщин-работниц. До сих пор их обыскивали в проходной довольно небрежно, а теперь обыск производился очень строго. Ответственность за доставку листовок в решающий день мы возложили на Ито. Она должна была надеть плотно облегающие рейтузы с резинками, туго обхватывающими ноги, спрятать листовки на теле и так пронести их на завод. Листовки ей передаст на улице утром до начала работы товарищ С. Она войдет в общественную уборную и спрячет листовки. На заводе в условленное время она опять-таки выйдет в уборную и передаст их Суяма. Разбрасывать листовки он будет в перерыв, когда все выйдут отдыхать на крышу. Таков был план наших действий.

— Надолго, пожалуй, расстается... — сказал я Суяма.

— Было у меня два товарища... — вдруг вспомнил он. — Они очень дружили между собой. Одного забрали

пятнадцатого марта¹ и приговорили к трем годам. А второго взяли в следующем году шестнадцатого апреля² и осудили на четыре года. Вот вышел на волю первый, тот, что был взят в марте, да в прошлом году опять и угодил в тюрьму, снова получил три года. А ему так хотелось повидаться с другом, дожидаться, когда тот выйдет на свободу! Когда его забирали во второй раз, он и говорит: «Видно, нам так и не придется повстречаться... Разминулись мы с ним... Наверное, так все время и будет!..» Замечательные ребята! — заключил Суяма и вдруг добавил: — Кажется, это последняя история, которую я вам рассказываю!...

Мы оба — и я и Ито — невольно улыбнулись. Но улыбка у меня получилась кривая, больше похожая на гримасу.

— Что бы со мной ни случилось, но, если наша ячейка будет существовать, значит борьба будет продолжаться, корни ее будут жить... Только ты уж, пожалуйста, смотри не попадайся им в лапы! Если они тебя сцапают, все наши труды пропадут зря, даже и это дело, которое мне предстоит теперь сделать, — сказал Суяма.

Мы решили провести всю подготовку точно, как наметили сегодня, и еще раз собраться вечером 26-го числа. Затем со словами: «Ну, пора!» — мы поднялись. И в этот момент, сам не знаю, как это вышло, но, уже стоя посреди комнаты, мы с Суяма внезапно обменялись крепким рукопожатием.

Суяма вдруг смутился, как ребенок.

— Что это?.. Ну и маленькая же рука у тебя, Са-саки! — пробормотал он.

На улице Суяма рассказал мне, что заходил к моей матери — он, очевидно, думал, что другой возможности поговорить со мной уже не представится.

— Твоя мать от встречи к встрече как-то, знаешь ли, вроде бы меньше становится...

Сперва я не понял, что он хочет этим сказать, и вопросительно взглянул на него. Потом вдруг понял, сердце мое сжалось. Я как будто своими глазами увидел мать, которую сушила тревога. В то же время я

¹ 15 марта 1928 года полиция произвела массовые аресты коммунистов по всей Японии. Были арестованы тысячи людей.

² 16 апреля 1929 года — вторая волна арестов.

невольно рассердился на Суяма: пришел же время говорить мне об этом! Я нарочито равнодушным тоном ответил: «Вот как?» — и оборвал разговор.

Мы распрощались с Суяма. У Ито оставались свободные полчаса до встречи с одним товарищем, и она пошла немного проводить меня. Мы говорили о том, что 26-го числа нужно будет устроить для Суяма маленькую вечеринку. Ито обещала купить пирожные или фрукты.

Обычно Ито всегда шагала широкой, размашистой, как у мужчины, походкой, но сейчас она шла рядом со мной мелкими шажками, и ее походка была удивительно женственной. Мы уже прощались, когда она вдруг сказала: «Подождите минутку...» — и зашла в маленький магазинчик. Вскоре она вышла обратно с каким-то свертком.

— Это вам... — она протянула мне сверток и, несмотря на мои протесты, насильно заставила меня взять его. — В последнее время у вас рубашка очень грязная, и вообще вы обносились. А у полиции очень наметанный глаз на этот счет...

Вернувшись домой, я развернул сверток и вдруг поймал себя на том, что мысленно сравниваю Ито и Касавара. Обе они женщины, но до сих пор мне ни разу не приходило в голову проводить между ними какое-либо сравнение. Но теперь, мысленно сопоставив обеих этих женщин, я впервые почувствовал, как далеко отошла от меня Касавара.

Вот уже десять дней, как я ни разу не заходил к ней в чайный домик.

ГЛАВА IX

В обеденный перерыв рабочие завода Курата обычно поднимались на крышу вновь отстроенного третьего цеха. Одни лежали, греясь в лучах солнца, другие разговаривали, шутили, играли в волейбол. В этот день бетонная площадка была залита ослепительным солнечным светом. Суяма, окруженный друзьями, постарался устроиться так, чтобы по возможности уменьшить опасность ареста. Было ровно без четверти час, когда он, внезапно громко выкрикнув: «Долой массовые увольнения!», «Даешь забастовку!» — швырнул в толпу

пачку листовок. За первой пачкой последовала вторая, третья. Дальнейшие его слова потонули в разном поднимавшемся шуме. Красные и желтые листовки яркими пятнами мелькали на солнце. В первый момент все словно оцепенело от неожиданности, но в следующее мгновение рабочие с криком ринулись поднимать листовки. Многие хватали-слипшились в пачку бумажки и сами, в свою очередь, подбрасывали их в воздух. Листовки, упавшие сначала в одном углу крыши, мигом разлетелись по всей площадке над головами шестисот человек. Охранники, как всегда на всякий случай дежурившие на крыше, вмешались в толпу.

— Эй! Эй! Не смей поднимать! — вопили они надрываясь.

В общей суматохе уже невозможно было разобрать, кто первый бросил листовки. Куда ни посмотри — повсюду то один, то другой рабочий разбрасывает их.

Охранникам не оставалось ничего другого, как загородить узкий выход с крыши: пропуская рабочих по одному, они пытались выяснить, кто первый кинул листовки. Но для того чтобы проверить каждого, понадобилось бы гораздо больше часа, отведенного на перерыв, и начало работы неминуемо задержалось бы. Как только из толстой бетонной трубы раздался гулок, возвещающий начало работы, люди, взявшись за руки, с победным криком устремились к выходу с крыши. Охранникам пришлось уступить им дорогу. Ито рассказывала мне потом, что видела, как в этой тесноте и давке Суяма с невозмутимо-спокойным видом спустился вниз по лестнице.

Потом мастера спрашивали каждого: не видел ли он, кто бросил листовки? Но, несмотря на то, что некоторые безусловно видели, как Суяма разбросал листовки, ни один человек не указал на него. Заправила из «Молодежного союза» возмущенно ворчали. В этот день во втором цехе, где работал Суяма, и в парашютном, где работала Ито, царил всеобщее воодушевление. Дело дошло до того, что решено было выбрать представителей для переговоров с рабочими других предприятий, а также для того, чтобы заявить Компании протест против увольнения.

С работы Ито и Суяма пошли вместе. Суяма сказал ей:

— В такие минуты даже коммунистам не грешно прослезиться... — Он то и дело поправлял кепку, надвигал ее пониже, усиленно тер лицо. По дороге он твердил: — Нет, знаешь, такого я даже не ожидал! Такого не ожидал! Вот что значит поддержка масс! Вот какая это великая штука!

В этот день, поздно вечером, у меня была назначена встреча с Ито, — она должна была доложить мне, как прошло распространение листовок. Честное слово, я никак не ожидал, что вместе с Ито на явку придет Суяма! Когда следом за ней Суяма вошел в комнату, я, ей-богу, несколько раз взглянул на него, прежде чем поверил окончательно, что это в самом деле Суяма. Но сомнений быть не могло, передо мной действительно стоял он! Когда я осознал это, то невольно приподнялся ему навстречу.

Он рассказал мне все подробно. Я тоже был взволнован, и так же, как Суяма по дороге говорил Ито, так и я теперь сказал:

— По такому случаю даже нам не возбраняется распить бутылку пива, что ли!

И мы втроем выпили бутылку «кирин».

Но главная, решающая схватка ожидалась завтра: мы еще и еще раз проверили свою готовность к борьбе.

На следующее утро, когда люди, как обычно, пришли на работу, Компания, не допустив их на территорию завода, прямо у ворот произвела расчет четырехсот человек: им выдали зарплату за два дня вперед. На заводе дежурило около двух десятков полицейских.

— Нечего, нечего тут околачиваться! Ступай домой! Пошла прочь! — гнали они работниц, которые хотя и получили выходное пособие, но продолжали растерянно бродить или стоять у заводских ворот.

Возле расчетного стола висело большое объявление:

«Вопреки предварительному намерению провести увольнение 29-го числа, Компания вынуждена произвести расчет увольняемым сегодня, 27-го. Однако, стремясь ни в коем случае не ущемлять чьих-либо интересов, Компания выплачивает вперед жалованье за два дня, остающиеся до 29-го числа, и надеется, что рабочие оценят эту заботу Компании. Кроме того, Компания ставит всех

в известность, что, как только объем производства на заводе снова расширится, Компания признает за уволенными право первоочередного приема на работу. Дирекция надеется, что рабочие примут во внимание это обстоятельство».

Двести человек временных рабочих оставили на постоянную работу на заводе, — в этом тоже чувствовался какой-то тайный маневр Компании. Но, во всяком случае, мы заставили их спутать карты.

В числе уволенных оказались и Суяма и Ито. В самый решающий момент борьбы Компании удалось опередить нас и нанести нам неожиданный удар. Суяма и Ито так приуныли, что на них было жалко смотреть. Мне тоже было невесело. Но ведь враги наши тоже не какие-нибудь безмозглые деревянные куклы. Теперь нам нужно было немедленно собраться с духом, учесть опыт и, не бросая дела из-за неудачно сложившихся (вопреки нашим планам) обстоятельств, сделать так, чтобы этот опыт пригодился нам в следующей схватке.

Удар врага выбил нас с завода, развеял в разные стороны, но два члена нашей ячейки из постоянных рабочих остались на заводе. А те, кого уволили, разбрелись кто куда в поисках новой работы — среди них около десяти человек из кружков Суяма и Ито. С ними надо будет наладить прочную связь, и, таким образом, сфера нашей борьбы не только не сузится, но, напротив, еще больше расширится.

Наши враги сумели опередить нас и, верно, считают, что свели на нет нашу работу. Они не подозревают, что в действительности они только и сумели, что собственными руками рассеять по ветру семена нашей организации!

Сейчас, когда я пишу эти строчки, все мы — Суяма, Ито и я — с новой, удвоенной энергией продолжаем нашу борьбу.

1932 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Такидзи Кобаяси родился в 1903 году в бедной крестьянской семье на севере Японии. Ценой больших усилий ему удалось получить образование и поступить на службу в Сельскохозяйственный банк, финансировавший разоренных крестьян — переселенцев на Хоккайдо из Внутренней Японии. В начале двадцатых годов скромный банковский служащий Кобаяси обратился к литературной деятельности. Успех пришел не сразу. Первые произведения, композиционно рыхлые и художественно незрелые, не привлекли внимания общественности. Но Кобаяси обладал неоценимыми качествами истинного писателя: острой наблюдательностью и умением анализировать виденное. Эти качества в сочетании с превосходным знанием жизни мелких хоккадосских арендаторов, среди которых он вырос, и зловещей роли Сельскохозяйственного банка в их разорении и закабалении вскоре помогли начинающему автору создать произведения, которые, при всей их литературной незрелости, вызвали сенсацию. Никто до Кобаяси не писал о жизни японского крестьянина с такой обличающей резкостью. Результаты этих первых удач сказались очень быстро: в 1925 году правление Сельскохозяйственного банка выгнало Кобаяси со службы.

В начале 1928 года Кобаяси закончил повесть «Снегозащитная роща». В ней он рассказал о том, как доведенные до отчаяния арендаторы, преодолевая страх перед помещиком и полицией, принимают на борьбу за право работать на своей земле, за право пользоваться плодами своих трудов. Следующая повесть Кобаяси «Пятнадцатое марта», вышедшая в свет в конце того же года, посвящена так называемому «инциденту 15 марта» — массовым

арестам и избиениям коммунистов и членов революционных профсоюзов в крупнейших городах Японии. Правда, не обладая тогда достаточной политической зрелостью, автор не сумел, да, вероятно, и не ставил перед собой задачи вскрыть значение этого события полностью и ограничился зарисовками характеров отдельных революционеров; тем не менее повесть привлекла всеобщее внимание.

В 1928 году Кобаяси был избран секретарем Союза японских пролетарских писателей. В этот же период он вступил в ряды коммунистической партии Японии. Начался самый важный и ответственный период в его жизни: он стал признанным вождем пролетарских писателей и активным работником партии.

В 1929 году он опубликовал повесть «Краболов», где описывает чудовищную эксплуатацию рабочих на плавучей крабоконсервной фабрике. Повесть эта интересна и тем, что в ней автор выразил свое отношение к Советскому Союзу. Наперекор японской официальной прессе повесть утверждала светлые идеи подлинного революционного интернационализма, дружбы между советским и японским народами. Первое издание «Краболова» было конфисковано, но буржуазные издатели знали, что повесть будет иметь громадный успех. Стремление к выгоде взяло на этот раз верх над классовыми интересами, им удалось добиться разрешения печатать повесть, и тираж «Краболова» за полгода достиг невиданной тогда для Японии цифры: двадцать тысяч экземпляров. После этого повесть издавалась почти ежегодно, хотя и со значительными цензурными купюрами.

Если в «Краболове» Кобаяси описал процесс пробуждения классового самосознания у забитых сезонных рабочих, процесс перерастания примитивного стихийного протеста в организованную борьбу, то повести «Фабричная ячейка» (1930) и «Организатор» (1931) явились яркими картинами повседневной практической деятельности японских революционеров. В этих произведениях писатель рассказал о том, чему он сам был свидетелем, в чем сам активно участвовал. «Фабричная ячейка» и «Организатор» — это конкретные эпизоды борьбы японского пролетариата в 1929—1930 годах. Это повести о героизме солдат революции, повести, призывающие к борьбе и показывающие, как нужно бороться.

В 1932 году была опубликована повесть «Деревня Нумадзиря». В ней Кобаяси вновь обращается к крестьянской тематике. Показывая, как обманутые арендаторы поднимаются против угнетателей, он вскрывает всю сложность и противоречивость отношений в современной японской деревне. Кобаяси не пытается выдать желаемое за действительное, он не скрывает того, что единодушные

крестьян в их выступлениях против своих врагов далеко не всегда является проявлением подлинной классовой сознательности. Интересно, что в этой повести Кобаяси выводит образ фашиста-демагога, пытающегося играть на антикапиталистических настроениях крестьян. Этот образ мог создать в то время только тонкий наблюдатель и знаток политической обстановки.

С началом захватнической войны в Маньчжурии новая волна реакции и террора захлестнула Японию. Коммунист и прогрессивный писатель Такидзи Кобаяси вынужден был уйти в подполье. За его поимку была назначена крупная награда. Скрываясь от преследований, полуголодный, лишенный крова, он работал по поручению партии на одном из военных заводов, организуя там выступления против войны. Но и в этой невероятно тяжелой обстановке Кобаяси не переставал писать. Именно тогда было создано одно из наиболее значительных его произведений — автобиографическая повесть «Жизнь для партии».

«Жизнь для партии» — правдивый документ об участниках японского сопротивления, о героях, отдавших все силы для того, чтобы остановить наступление фашизма в своей стране, о японских патриотах, предвидевших гибельные последствия войны, развязываемой агрессорами, и старавшихся предотвратить ее. Рассказывая о себе, Кобаяси в то же время говорит о сотнях таких же рядовых работников партии, действовавших по всей Японии. Им приходилось бороться в труднейших условиях. Против них выступало японское гестапо с его громадным шпионским аппаратом; против них была направлена раскольническая деятельность правых социалистов и оппортунистов, проникших в ряды партии; им мешала слабость японского рабочего движения, оторванного от мирового рабочего движения; их голоса заглушала оголтелая пропаганда шовинизма и милитаризма.

От коммунистов требовалось огромное мужество и беззаветная преданность и стойкость. Герои повести «Жизнь для партии» обладали и мужеством и стойкостью. Эти качества придавала им нерушимая преданность идеям ленинизма. Недаром право называться большевиком являлось для них наивысшей похвалой. И, несмотря на трагические обстоятельства, в которых разворачивается действие повести, она проникнута жизнеутверждающим духом, верой в будущее.

Картина неисчислимых трудностей подпольной работы, показанная в повести «Жизнь для партии», правдива даже в мельчайших деталях. Кобаяси не преувеличивает опасность, когда пишет о преследованиях и избиениях: его личная судьба подтверждает это. «Жизнь для партии», последнее крупное произведение Кобаяси.

осталась незаконченной. Проведя год в подполье, писатель в феврале 1933 года был схвачен, доставлен в полицейский участок и зверски замучен там через час после ареста. Его изуродованный труп полиция выдала родным, а после похорон охранка бросила в тюрьмы многих прогрессивных деятелей японской культуры, выследив их, когда они пришли отдать последний долг писателю-борцу.

Через год, в январе 1934 года, было официально объявлено о «самороспуске» Союза японских пролетарских писателей. Реакция повела наступление по всему фронту.

Литературная деятельность Кобаяси продолжалась всего несколько лет. Но и за этот короткий срок он получил признание на родине и далеко за ее пределами. По действительности, по непоколебимому оптимизму и обилию фактического материала его произведения являются документами огромного познавательного и литературного значения, превосходными иллюстрациями к истории революционной борьбы в Японии. Созданные им образы профессиональных революционеров — коммунистов Ватари, Кудо («Пятинадцатое марта»), Кавада («Фабричная ячейка»), Исигава («Организатор»), Сасаки, Ито, Суяма («Жизнь для партии») — самоотверженных борцов, отказавшихся от личной жизни для великого дела своей партии, до сих пор служат вдохновляющим примером для прогрессивно настроенной молодежи Японии.

Прогрессивная японская литература тридцатых годов стремилась подчеркнуть свой боевой публицистический характер, начисто отвергая психологизм старой буржуазной литературы. Эта тенденция в большей или меньшей степени была характерна для творческой манеры всех прогрессивных писателей того времени. Характерна она и для Кобаяси. В его произведениях бросается в глаза известная сухость изложения и некоторая прямолинейность в описании мыслей и чувств героев. Автор стремился избежать всего, что могло бы отвлечь читателя от главной идеи произведения. Но эти особенности стиля не заслоняют и зачастую даже подчеркивают объективные достоинства творчества Кобаяси. Заслуга Кобаяси состоит в том, что он вывел на страницы литературных произведений не только покорных и страдающих, но и борцов. Его произведения не только обличают, но и учат, зовут на борьбу. Кобаяси показал человека труда поднявшимся во весь рост, готовым к смертельной схватке с эксплуататорами. Он нарисовал широкие картины растущего самосознания японского рабочего класса и крестьянства, их героической борьбы за свои права, показал лучших сынов и дочерей народа — коммунистов, единственных до конца последовательных и верных защитников трудящихся масс. Борьба против старого

мира, кропотливая, будничная, но озаренная светом прекрасного будущего, — вот главное в произведениях Кобаяси.

Произведения Кобаяси несомненно принадлежат к числу лучших образцов японской прогрессивной литературы. И в памяти народов навсегда сохранится образ верного друга трулящихся, негибаемого революционера Такидзи Кобаяси — писателя, борца, коммуниста.

А. Стругацкий

СОДЕРЖАНИЕ

Снегозащитная роща. <i>Перев. Н. Чегодарь.</i>	5
Краболов. <i>Перев. Н. Фельдман</i>	85
Фабричная ячейка. <i>Перев. Е. Пинус.</i>	155
Организатор. <i>Перев. И. Львовой.</i>	240
Деревня Нумадзири. <i>Перев. Р. Карлиной.</i>	300
Жизнь для партии. <i>Перев. И. Львовой.</i>	362
Послесловие А. Стругацкого.	457

ТАКИДЗИ КОБАЯСИ
ИЗБРАННОЕ

Редактор *М. Малышев*
Художественный редактор *Г. Клодт*
Технический редактор *В. Корниченко*
Корректор *Г. Сулис*

Сдано в набор 4/V 1957 г.
Подписано в печать 30/VII 1957 г.
А 06905. Бум. 84×108¹/₂. 14,5 печ. л.
= 23,78 усл. печ. л. 24,33 уч. изд. л.
Тираж 75 000. Цена 8 р. 80 к.
Заказ № 2072.

Гослитиздат
Москва, Б — 66, Ново-Басманная, 19

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической
промышленности.
4-я тип. им. Евг. Соколовой.
Ленинград, Измайловский пр., 29.